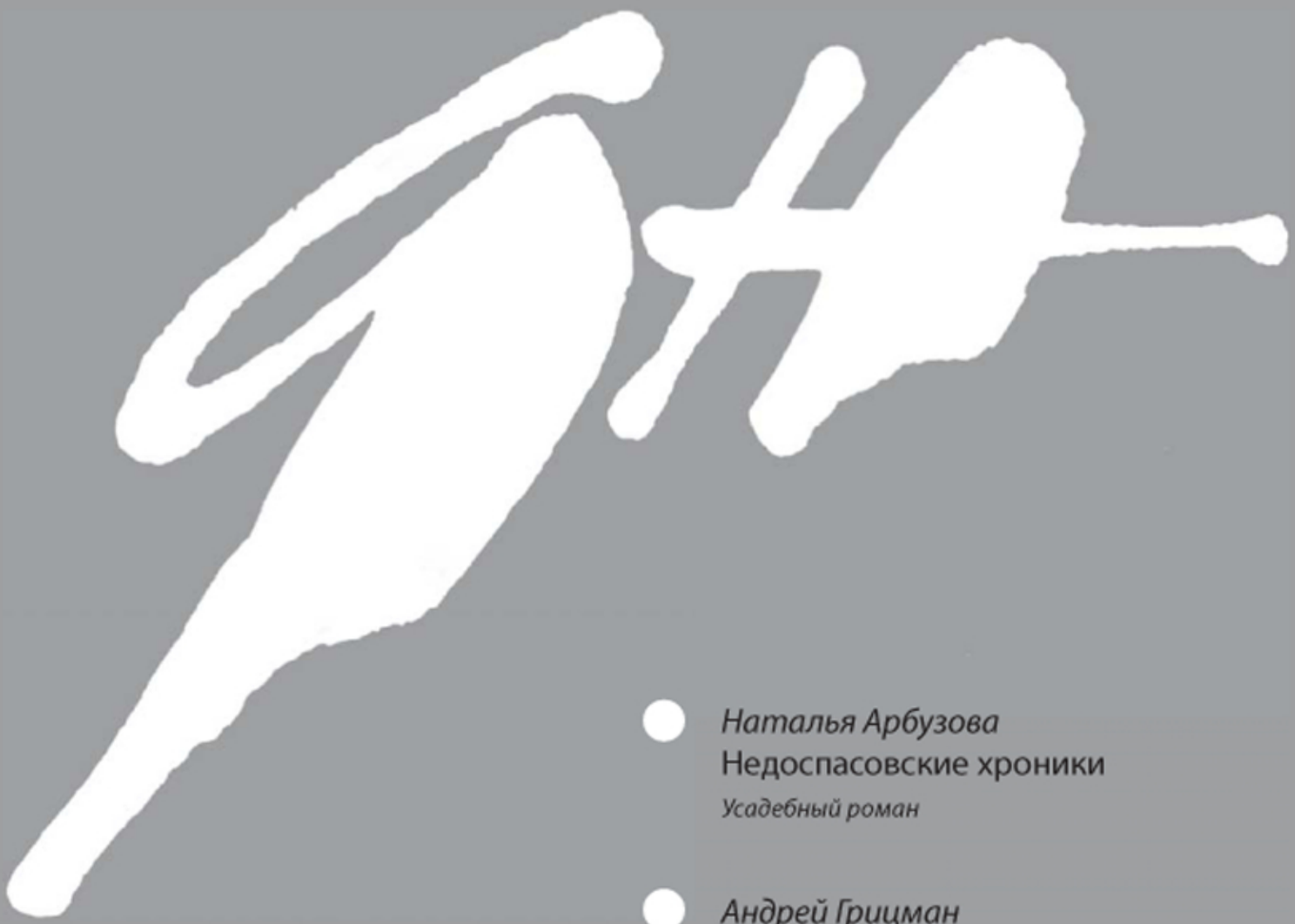
ISSN 0012-6756

ДРУЖБА НАРОДОВ



Наталья Арбузова
Недоспасовские хроники
Усадебный роман

Андрей Грицман
Пока по времени летишь
Стихи

Валерий Бочков
Коронация зверя
Роман

Валерий Былинский
Заколдованный
Рассказы

Вячеслав Рыбаков, Роман Арбитман
Осторожно: будущее наступает!
Жанр предупреждения в литературе и кино

7'2016

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

Основан в марте 1939 года

Дружба народов

7'2016

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/druzhba/
LiVEJORNAL: http://drujba-narodov.livejournal.com/

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.рф тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Сдано в набор 20.06.2016.
Подписано в печать 27.06.2016.
Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000экз.
Заказ 3169. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Александр ЭБАНОИДЗЕ

Лев АННИНСКИЙ

Леонид БАХНОВ

Ирина ДОРОНИНА

Зам. главного редактора Наталья ИГРУНОВА

Галина КЛИМОВА

Владимир МЕДВЕДЕВ

Ответственный секретарь Сергей НАДЕЕВ

Зам. главного редактора Александр СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Рамазан АБДУЛАТИПОВ
Сухбат АФЛАТУНИ
Муса АХМАДОВ
Ольга БАЛЛА
Алла ГЕРБЕР
Денис ГУЦКО
Иван ДЗЮБА
Александр КЛЯЧИН
Валентин КУРБАТОВ
Ольга ЛЕБЁДУШКИНА
Захар ПРИЛЕПИН
Кнут СКУЕНИЕКС
Сергей ФИЛАТОВ
Ренат ХАРИС
Вячеслав ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН
Леонид ЮЗЕФОВИЧ

16+

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Сергей СОЛОВЬЁВ. Между жизнью и речью. *Стихи* ***3***
Наталья АРБУЗОВА. Недоспасовские хроники. *Усадебный роман* ***6***
Андрей КОРОВИН. Жизнеутверждение. *Стихи* ***37***
Валерий БЫЛИНСКИЙ. Заколдованный. *Рассказы* ***40***
Андрей ГРИЦМАН. Пока по времени летишь. *Стихи* ***53***
Александр ХУРГИН. Три рассказа ***57***
Станислав ИВАНОВ. Армия Спасения Вселенной. *Рассказ* ***64***
Евгений СТЕПАНОВ. Счастье какое. *Стихи* ***69***
Валерий БОЧКОВ. Коронация зверя. *Роман* ***71***

Культурный слой

Осторожно: будущее наступает! *Жанр предупреждения в литературе и кино*
Вячеслав РЫБАКОВ. Мечты об улице Вязов ***166***
Роман АРБИТМАН. Не только Третья мировая ***171***

Публицистика

Леонид БЛЯХЕР. Трансграничье ***175***

Нация и мир

Тамара ПИРОЖКОВА. Десять «личных правд» о Каталонии ***197***

Критика

Елена ПОГОРЕЛЬСКАЯ. «Актов об уничтожении архива Бабеля нет...» .....
Разговор ведет Елена Константинова ***214***

ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ
Николай АНАСТАСЬЕВ. Burnt-out case ***225***

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР
Евгений АБДУЛЛАЕВ. Война и мір ***235***

Дружба на вырост

Даниил ЧКОНИЯ. Что такое суп с котом ***239***

Книжный развал

Ирина ВАСИЛЬКОВА. «Грозового облака внутри» ***243***
Ольга ПАХОМОВА-СКРИПАЛЁВА. «И понимаешь простую красоту за гранью боли...» ***245***
Ольга БАЛЛА. Ничего нельзя исключить ***249***
Евгений БРЕЙДО. Поэтика ускользающей ясности ***252***

Эхо

Вспоминая Баруздина. *Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ* ***255***

Summary ***256***

© «Дружба народов», 2016

Сергей Соловьёв

Между жизнью и речью

* * *

Я уехал не уехал из России,
и из рідной Украины я уехал не уехал.
Не улыбка на лице — руинка смеха,
левый глаз — иерусалим, другой — мессина,

в мюнхене, похоже, голова с ногами,
а душа индусит, с узелочком сердца
ходит, бродит — ждёт, пока приснится.
А вообще давно развеян я над гангой.

Но и то сказать — развеян не развеян
этот прах навязчивых видений
родин, солидарностей, людеев
и мышленья в целом. Я воздушным змеем

женщину выгуливал по небу,
и она металась, но летела,
с телом не рифмуясь. Нить осталась.
Если жить, то лишь светло и слепо.

Левый глаз — луна, в другом — белеет парус,
тёмен берег, сложены вещички,
слов шалашик, вылетает птичка.
Если жить — не быть. Вот это и сказалось.

Соловьев Сергей Владимирович — поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1959 г. в Киеве. Автор 12 книг поэзии и прозы, в числе которых «Крымский диван», «В стороне», «Адамов мост» и др. Лауреат премии «Планета Поэта», финалист премии Андрея Белого. Живет в Мюнхене.

* * *

Не жди вестей нибудь откуда,
куда ни глянь — не будь, не путь,
и жизнь, как рыба барракуда,
плывёт, вся соткана из пут.

Сирень во рту, очей лучины
затеплены. Что делать ей,
присевшей на скамью пучины,
когда и впрямь не красть детей.

Как рыба всякая конечна,
как рукопись испещрена,
и губы делает колечком
у зеркальца, как женщина.

И воскресенья тьмой затоплен
корабль. Дети немоты
прильнули к окнам. Изотопы
повсюду страшной красоты.

Она одна на весь корабль —
и красота, и рыба, и
притихший соловей — Маратом,
в крови по горло, как в любви.

Ей всё равно — быть ямбом спетой
иль светом тоненьких костей.
Господь с тобой, корабль светлый,
плыви, плыви, не жди вестей.

* * *

Спи, моя милая,
нас только двое:
так же, как твой я,
ты не моя.

Спи, моя ясная,
чтоб не свихнуться
здесь, на земле,
ты не обязана,
петь и трудиться,
спи на крыле.

Сон твой похож на...
Впрочем, не важно.
Будем дышать
смежно и чутко,
я — твоя шутка,
спи, моя небыль, душа.

* * *

Ты теневая оконница:
сводить-разводить крылья —
любовь и смерть,
и не взлетать.
Рисунок зеркальным мнится,
таким и запомнится.
Телом его не спеть —
единое, на разрыве,
как сын и мать.

Ночь, на стекле оконном
зимний узор: лебедь, Леда...

Ты и сама — проём
воздуха, замутнённого
плотью, крылом, светом
тёмным — вдвоём с собой.

Зренье на длинных спицах
что-то вяжет и распускает.
Лена, впадающая в Тоскану,
яблочко, островок святой...
Крылья твои за спиной
перелистываются как страницы.

* * *

Маленький хайдеггер вопрошания
распускается, тих и холост,
воздух в полях радеет,
небо в незримых прачках.

Когда пчела жалит —
утрачивает способность
к деторожденью,
будущее утрачивает,

остаются только корзиночки на ногах.
Пыльцу собирать с бытия-к-смерти.

Да и так ни на ком ведь лица
нет, и не было.

Светел лёгонький прах.
Лишь ветер
и корзиночки. И пыльца.

* * *

Иногда в процессе письма
бывает такое чувство,
что вот сейчас
между словами
что-то произойдёт, случится —
то, чего не было
и, наверное, быть не может
на пути слов.
(Но что значит «не было»,
что мы знаем об этом?)
Вот кажется,
ты подходишь к каким-то пределам
близости
между жизнью и речью,
и в просвете
вдруг начинает мниться
выход...
Куда?
Что-то брезжит, и зыблется там:
что-то сдвинулось
и вот-вот разрешится...
Но нет, заволакивает.
И просвет, и слова,
и тебя
с твоей жизнью.

Наталья Арбузова

Недоспасовские хроники

Усадебный роман

Орловский уезд выздоравливает от болезни под названьем военный коммунизм. Бежит полевая дорога, бежит по ней красивый старик Иван Андреич Недоспасов в изношенной парусиновой паре. Декламирует по-итальянски, пугая птичек в кустах. Несет в узелке десяток яиц, четыре ржаные баранки, кулечки разной крупы. Легко взлетает над полем, раздув полы пиджака, и парусит его парусина, и убегает земля. Ходил на хутор к бывшему своему кучеру. Этого хуторянина Алёша, внук старика, долго звал «прохор Яков», будучи свято уверен, что «прохор» как раз значит «кучер». В Москве у них был кучер Прохор — мальчик видел любительский снимок бородача на козлах, со здоровенным кнутом. Орловский их Прохояков перед войной женился — стал наконец на якорь, а был изрядный буян. Иван Андреич на радостях отрезал ему землицы, выделил лесу построиться, дал кой-какого скота. Женился-переменился: ухоженный чернозем *до* сих пор исправно родит, и Якопрохор всегда посылает в усадьбу гостинцы, если барин невинно прогуливается вблизи. Жена Ивана Андреича поднимет прозрачные веки, выразит удивленье, поставит варить пшено. На крестьянской телеге приедут две взрослые дочери: давали уроки в городе, получили сала кусок. Сироты Петя с Алёшей покажут тетрадки тетушкам, срежут зеленого лука — все сядут кушать кулеш.

Кулеш подчистую съеден, а с общей кухни доносятся запахи настоящей готовки: центральную часть дома занял ловкий бухгалтер совхоза «Недоспасово», существующего только на бумаге — галантный напомаженный Лев Семёныч Самсонов, владевший прежде галантерейным магазинчиком в Орле — Орёл совсем рядом. При господине бухгалтере состоят: голубоглазая жена Ольга Ильинична и вовсе синеглазая свояченица Ирина. Тринадцатилетнему Пете они кажутся сказочно красивыми — дедушке тоже. Обеим идут короткие стрижки (завитки на античной шее), короткие юбки (одеяние Артемиды) и выставляемые напоказ фильдеперсовые чулки со стрелками. Старшая Петина тетушка, высоколобая Александра Иванна, в просторечии Шурочка, невнятно, но непочтительно поет в коридоре:

Арбузова Наталья Ильинична — родилась 11 ноября 1939 г. в Москве. Закончила мехмат МГУ. Доктор математических наук, профессор. Член Союза писателей Москвы. Автор книг «Пока дают сказать», «Город с названьем Ковров-Самолетов». Автор «ДН». Последняя публикация — повесть «Торжество Афродиты», № 5, 2013.

Какой пассаж случился,
Не знаете ли вы —
Самсонов отравился,
Осталось две вдовы.

Петя по делу и не по делу крадучись проходит мимо своей же кухни, не подымая глаз, овеваемый в*о*лнами безымянного очарованья, не задаваясь вопросом, кто из двух круглоколенных богинь сейчас там в*а*рит и шкварит. Алеша той порой разевает рот на чужой каравай. Вынося с кухни горку блинчиков, Ирина говорит: «Ты сегодня молодец, ничего не просил... вот тебе блинчик». Алёша пытается развить разговор в нужном направлении: «И котлет я не просил». Но колонноногая уж не слышит, стучит каблучками по хорошему паркету — туда, в захваченную эфемерным совхозом львиную часть дома, куда пару раз наведывался мифический директор Вольфензон. Очнувшись, Петя берет семилетнего брата за измасленную руку и ведет гулять в поля.

Не пахано, не сеяно, заросло репьями. Они цепляются за матросские костюмчики, что сохранились от выросших сыновей Ивана Андреича, которых уже и на свете нет. Осталась равнина, пересеченная оврагами, — на ней покоится небо. Иван Андреич, бывало, каждый промытый вешними водами овраг воспринимал как личное оскорбленье. Вот покинутый хутор под лесом — дедушка называет его лесной сторожкой. Лесник — бессемейный Авдей Енговатов — скрылся, земля отошла к совхозу. Мужики поснимали железо с крыши, к крыльцу не пройти: стеной встал бурьян. Но сзади доски оторваны — можно проникнуть внутрь. Пол провалился, открылись спрятанные лари. В общем давно разграблено, однако с бору да с с*о*сенки, глядишь, с полведра овса они по ларям наскребли.

На обратном пути Алёша долго молчал, на него не похоже. Потом все же заговорил. Петенька, давай высыпем этот овес... пускай тут прорастет. Смотри, уже проклюнулся...затхлый какой. Прохояковлевы ребятишки на разобранной крыше Авдея видели... прибивал железо обратно, аж звон стоял. И Авдеева собака Разбой к ним во двор забег*а*ла... выла возле сарая, где железо лежит. Петя молчит, и дальний вой доносится сзади, с хуторов. — Ватсон, что это было? — Это был голос собаки Баскервиллей. — Петя покрепче сжимает тощий мешок и мелко дрожащую братнину руку.

Авдей Енговатов был мужик двужильный и — молва гласила — несмертельный. Дед его слыл конокрадом, а женился увозом на купеческой дочери. Авдей пошел в него: дерзкий и двужильный, черт. Таких бьют и не убьют. От людей сторонился, однако службой в лесниках у недоспасовского барина не тяготился, лес берег. Слово знал. Наверное, даже не одно. Это он при всем народе предсказал советской власти мужицкий век. А какой мужицкий век? Семьдесят лет, или чуть поболе. Советской власти показалось мало — за Авдеем приехали из ОГПУ. Забрали, заперли в подвал. Развязал замки и ушел. Утром хватились — в тюрьме его нет, на хуторе нет, и пса его нету Разбоя, что умел издыхать не насовсем. Уж соберутся зарыть, а он ка-ак зарычит! Полно, тетя Анечка... дальше не рассказывай... Бог с ним, с Авдеем... н*у* его — пса.

Ивана Андреича в те дни тоже таскали: считали — от него идет. Спрашивали: как относится к советской власти? Отвечал улыбчивым голосом: нет власти, аще не от Бога. И вперял ясный взор в очки срединного из «тройки». Власть, смерть... он вообще относился к смерти толерантно. Право же, друг мой

Шурочка... что в бою, что в своей постели, что в подвалах ОГПУ — все едино. Сумел родиться — сумей помереть. И прибавлял назидательно: не бойтесь убивающих тело, душу же не могущих убить. И свистал-заливался щеглом. В нем тоже просматривалась своя хрупкая несмертельность. Недаром земля его не держала, и он порою взлетал, как воздушный шарик.

Проросший овес даже полезен... так говорил нам профессор Вебер на лекции (тетушка Шура чуть меньше года, перед войной, училась в Германии растениеводству). Алёша давится, ест. С набитым ртом шепчет Пете: возьмите меня с собой. — Ты трусишь. — С Анхен не буду. — Анхен не согласится. — А вот и нет, соглашусь. Уж ужин... ужели вправду пойдем? Июньская ночь наступает там, на востоке, за Волгой, и скоро будет у нас.

Не светло, не темно, а прозрачно и призрачно. Керосиновых ламп огоньки погасли в усадьбе. Анхен, ты правда его видала? Анхен ткнула покрепче в волосы шпильки, подобрала решительно юбку и, не ответив, пошла. Петя с Алёшей — за ней.

Не шли — плыли в тумане. И юбка тетианечкина намокла росой, и Петины длинные панталоны, и Алёшины чулки. Вот хутор Якова Охотина... ты, Алёша, бывало, его все Прохором звал. Прохор — имя такое, в святцах записано... а ты что думал? Господи, вас придется дома всему учить... закону Божьему, языкам и, чего доброго, математике... а то из вас не то что авиаторов — землемеров не выйдет. — Постой, тетя Анечка... ведь огонек горит не у Охотиных, а дальше. — Ну, что я вам говорила! — Неужто ты не боишься, Анхен? ведь это нежить какая-то. — Петька, а Вольфензон реален? всё смешалось. Вот вашим дедом посаженный лес. Если там леший, то по крайности свой. Смотри, погасло... должно быть, Авдея нету в живых, раз он являться стал. Не трясись. Алёша... волков бояться — в лес не ходить.

Ей есть в кого храбриться. Дедушке она на самом деле не дочь, а племянница. Мать ее, дедова младшая сестра, встала к стенке рядом с мужем, капитаном Иваном Карловичем Эрлихом. Местный комбед своим разуменьем записал капитанскую дочку Анну Ивановну Эрлих как Анну Ивановну Недоспасову — по девичьей материнской фамилии, и молчок. Сама она названых родителей так родителями и зовет, а на Ивана Андреича даже лицом похожа больше, чем Шурочка, особенно же — пренебреженьем к смерти и постоянной радостью без очевидных причин.

Окно не светилось боле, потом и енговатовская изба скрылась за поворотом. Лес выделялся неясным сияньем во мгле. Пахло березовым мокрым листом, точно банным веником им хлестало в лицо. Елки-подсвечники нижний ярус стелили, подняв верхушки повыше и прихватив по звезде. Встретился волк носом к носу, зыркнул зеленым глазом. Разбой! — позвала тетя Анечка. Тот завилял хвостом — не собачьим, правда, а волчьим. Такой колыбельный серый волчок, а Разбой был, помнится, рыжим. С хутора лесника донесся стук молотка. Чинит покойник крышу — стал быть, надо чинить. Шли навестить Авдея, который тогда, при жизни, два слова жалел сказать, а теперь, небось, и подавно. Зряшное дело и страшное. Да пустяки, пошли. Наш этот лес, и сыпучий злостный овраг, и волки — настоящие и прикинувшиеся нарочно. Что нам тут может подеяться? Почитай, ничего.

Стоят на поляне возле избы — туман поднялся повыше, плотно окутал крышу. Стук прекратился, замер в лесной тишине. «Авдеюшко! — кричит тетя Анечка не своим, испуганным голосом, это мы, недоспасовские». Знакомый бас лесника сверху ей отвечает: «Нету Авдея, весь вышел... тогда недалёко ушел.

Коли сейчас поспешите домой, младший барчук до конца ихней власти с грехом пополам доживет... да что *о* там — и старший тоже. Только быстрей бегите». Помчались они со всех ног, вперегонки с волками, взлетевшими облаками, звуками близкого *у*тра и отступающей тьмой. А тетя Шурочка, слыша, как сестра на розовой заре пробирается к себе за перегородку, думает Бог весть что. И лишь найдя в равной степени промокшими одеяния сразу троих домочадцев, немного успокаивается. Следствие не ведется — по деликатности остальных членов семейства: у преступников и без того слишком несчастный вид.

Слово не воробей, скорей бумеранг: будучи произн*е*сено, может вернуться и обернуться реальностью. Однако ж и мысль не воробей: коль скоро выпустишь из подсознанья, глядишь, окажет воздействие на ход событий в неустойчивом нашем мире. С Анхен должно было произойти, только вот что? И глаза ее лихорадочно блестели, а Шурочкины грустно щурились, когда возле дальнего, оттяпанного совхозом, пустующего крыла дома, за центральными покоями Самсонова, притормозил дважды уже тут появлявшийся «мотор». Петя с Алёшей насчитали троих элегантных джентльменов, из которых наиболее импозантный оказался шофером, судя по тому, что именно он отгонял машину от дальнего крыльца. Другой, по-видимому, был Вольфензон, поскольку очертил дом широким жестом, приглашая третьего входить и располагаться. Дотоле сей сын волка был для мальчиков всего лишь звуком, ни разу средь бела дня не появившись. Третьего едва успели разглядеть со спины: прежде нежели он повернулся, бабушка Софья Владимировна попросила всех отойти от окна. Отошли послушно, и Петя стал гадать вслух, ради чего этот троянский конь с чихающей выхлопной трубой вдвинулся в пределы ихнего парка. Алёша сказал не очень уверенно: «Я их видел еще вчера... автомобиль, как он к нам въезжает, и этих троих... один в клетчатом шерстяном костюме, двое в кожанках». — «Во сне?» — «Нет, в голове... я теперь все вижу раньше, чем оно случится». — «С каких это пор?» — «Как к Авдею ходили». — «Брось! тебе задним числом кажется. Скажи лучше, что завтра будет». Но Алёша грустно замялся. Сели есть овсянку — пришла Ольга Ильинична Самсонова звать барышень в гости по поводу дня рожденья своего мужа. Ну, понятно: дам за столом не хватает. Но уж очень вкусно пахло. Не выдержали, взяли какую-то фарфоровую статуэтку и пошли.

Утром «мотора» в парке уж не было. За чашкой ячменного кофия Шурочка оделяла членов семьи кусками серого пирога с рисом и яйцами — от щедрот Ольги Ильиничны. Подлить кофию, мама? Фамилия второго *О*десс... Михал Борисыч *О*десс и Леонид Маркович Вольфензон. Коммунисты, сыновья фабрикантов. Учились в Германии, там набр*а*лись марксизма, здесь нежданно-негаданно пригодилось. Бывает, бывает... Энгельс любимый их тоже. Холеные, хорошо образованные, категоричные, высокомерные. Всегда начеку, никогда не оговорятся, не обмолвятся. Прекрасно держат круговую оборону. — Полно, мой друг! К чему столь подробный разбор! Нам с ними детей не крестить. — Не знаю, не знаю. Они предложили Ане урок. Немецкий язык — шестилетней дочери *О*десса. Кажется, живет у бабушки. Девочку крестили Фаиной, но сейчас зовут Фейгеле. — А почему не ты? У тебя немецкое произношенье лучше. — Ну, не могла же я хулить Анин немецкий... как есть, то и ладно.

Дальше Петя не слышал — Алёша зашептал ему в ухо: «Вижу эту девочку... у ней локоны и клетчатый бант». — «Молчи, не говори никому... лучше посмотри в своей голове, не зарыл ли чего Авдей уходя». — «Не вижу... если Авдей и п*е*редал мне чуток от своего ведовства, то себе небось больше оставил... даже

за гробом. Он сильный колдун... к кладу нас не подпустит. Такого нагонит страху». — «А есть ли клад?» — «Не знаю... не спрашивай». — «Не буду».

И на другой же день пошли. Одни, без Анхен — та уехала в город знакомиться с кудрявой Фейгеле и ее бабушкой Елизаветой Аркадьевной. Недоспасовских барышень любая телега на дороге подбирала. Но дорога кладоискателей была пустынна даже не доходя охотинского хутора, а уж дальше и подавно. Петя, мы же не взяли чем копать. — Лопату? полбеды, если дедушка увидал бы... а вот если Авдей с крыши... не стучи зубами, сделай милость. (Старший из братьев — герой по определенью. Весело лезть на рожон, когда восхищенный свидетель и робкий участник твоих безумств постоянно рядом. Смешанный лес светел в июне, и жизнь, готовая оборваться когда угодно, особенно хороша. Благословенны будьте, лица Ирины и Ольги, улыбка отчаянной Анхен, нашего старого дома полные тайн углы. Благословенно будь, прошлое, глядящее отовсюда, и бурное будущее, которое нам грозит).

Мимо двора Охотиных мелькнули — никто не заметил. Брошенный хутор Авдея сам вырос из-под земли: солнцем зал*и*тая крыша без всяких следов починки и вырубленная опушка, где рылся огромный пес. Разбой! — позвал его Петя, но тот продолжал трудиться, ухом не поведя. Два пуда земли разбросал, тряхнул рыжей шерстью — и в чащу. Из ямы блеснул медной ковкой небольшой сундучок. Откапывали черепком от глиняного горшка: ведь тут земля точно пух, в нее так и тянет лечь. Сундук был не заперт и пуст, лишь старая книга на дне. Петя сунулся взять — вор*о*ны на елках закаркали, туча на солнце наехала (по-орловски будет туч*а*). Алёша достал, раскрыл — всё затихло. Значит, это ему. Заровняли яму, пошли по новому старшинству: Алёша с книгой под мышкой, смущенный Петя за ним. Если кому и можно сказать о случившемся, то разве Анхен.

Тетя Анечка той порой сидела за столом с девочкой, полностью соответствовавшей вчерашнему Алёшиному вид*е*нью. Рисовала ей в тетрадь картинки, подписывала под ними слова. Was ist das? das ist ein Loffel... das ist eine Gabel. Елизавета Аркадьевна внесла чай, поставила вазочку с клубничным! вареньем. Посмотрела умиленно на старанье зеленоглазой Фейгеле, сказала: «Дети — это капитал, а внуки — проценты». С тем учительница соглашается, и занятие завершается. Начинается веселое чаепитье с пастилой и ванильными баранками. Пете с Алёшей, о существовании коих мадам *О*десс наслышана (бедные сиротки!), тоже кой-что посылается. Не осматривай за собой ветвей маслины, но оставляй пришлецу, сироте или вдове. Пришлецами выглядят Недоспасовы в земле, где их предок сидел воеводой. После многочисленных реквизиций скарб семьи можно увезти на двух цыганских телегах.

Цыгане и подвезли домой тетю Анечку — ехали две телеги. Тетя Анечка с ними пела «На фартучках петушки, золотые гребешки-и, они-и золоты-ые-е, они дороги-и-и-ие». Голос звучал прелестно. Старуха дала ей ломтик медовых сот в деревянной плошке и в платочке пион без стебл*я*. Довезли до усадьбы певунью и покатили дальше, на хутора. Анхен застала Ивана Андреича распекающим внуков. Как говорил потихоньку Петя, дедушка натравился. Ушли не сказавшись и пропадали долго. А у тетушки Александрины нынче уроков в городе нет — следовало с утра поучиться и потом уж гулять. Вырастете неучами при таких обстоятельствах времени, места и образа действия. Тетя Шурочка скорбно кивала.

Тетя Анечка, только не рассердись! Опасайся Фейгелиного отца. — Молчи, дитя! Что ты в этом смыслишь... чернокнижник в коротких штанишках. —

Аннетт, ты напрасно... Алёша мне описал девочку накануне первого твоего урока... локоны, клетчатый бант. — Бант, Петя, не есть неотъемлемая принадлежность ребенка. Ну, был... клетчатый... теперь мода на клетку. И локоны... кудрявые волосы уложить ничего не стоит. Подумаешь! Устами младенца глаголет истина! Аннетт смеется новым, незнакомым смехом. И сияет неправдоподобной, сияющей красотой. Невыносимо... за месяц так измениться! Распевает, сделав страшные глаза:

Есть в заброшенной усадьбе
Развалившийся сарай,
А кругом растет крапивы
Непочатый целый край.

И лишь только ночь сгустится,
Услыхав условный знак,
Собираются к сараю
Стаи бешеных собак.

Всех собак там шесть бывает.
Лишь придет седьмая тень —
Перебесятся собаки
Всех окрестных деревень.

Правда ль это, я не знаю.
Но одно известно мне:
То, что там чертовски страшно,
Особливо при луне.

Анхен, а Разбой не взбесится? — Ты у нас ясновидец, ты и скажи... откуда мне знать. Лежат втроем на траве за тем самым сараем. Облака уплывают в потоке ветра: каждое величаво и стройно, а уж обо всей флотилии и говорить нечего. Перед Анхен лежит развенчанная Авдеева книга — оказалось, просто «Цветник духовный». Воры, ограбившие клад, на «Цветник» не позарились. Алёша кладет ладонь с редкостным рисунком линий поверх перевернутой ветром страницы. Предупреждает: сейчас Разбой прибежит. Пес выскакивает из-за осевшего угла сарая, ластится к Алёше, треплет зубами и без того растрепанную книгу. Явленье третье: те же и Софья Владимировна. Вот вы где, заговорщики! теперь буду знать тайное ваше убежище. Петя, захвати пяток поленьев... как они тут завалялись, ума не приложу. А Разбоя давно не было видно... кто его кормит? или он сам о себе промышляет? Разбой застеснялся, схватил зубами трухлявое полено и затрусил прочь. Это он, мамочка, Авдею в ад понес. Фу, Аннетт, как тебе не стыдно! Авдей был добропорядочный прихожанин... он у Якова Охотина детей крестил до самой смерти — до двадцатого года... Таню уже Иван Андреич крестил. Не взводи напраслину... всё сказки. Vous etes une materialiste, maman. Скорее ты, дочь моя. Пойдемте в дом. Самсоновы вернули фортепьяно — чудеса, да и только. Яков Охотин помог его к нам подвинуть. Теперь станешь учить племянников.

Но до уроков не доходило. Стосковавшаяся по музыке тетя Анечка сама играла целыми днями. Остановившись после какой-нибудь любимой фразы, говорила со слезами в голосе: «Напишите... напишите это на моей могиле». Тетя Шурочка замечала ей: «Учи своих двоих верных рыцарей. Ужо напишут, если освоят сольфеджио». Омытые музыкой, светлели в июньский полдень стены. На

поленовской картине, не реквизированной по причине религиозного содержанья, белела известняком каменистая земля Палестины.

Какой грозовой август! Весь день собиралось, копилось и наконец разразилось. Алёша давно не спал, проснулся и Петя. Гремело кругом, будто небо рушилось. В доме творилось неладное. По коридору сновали свои и чужие: бабушка с дедом, осунувшаяся Шурочка, Самсонов с обеими дамами, огромный Яков Охотин и доктор Павел Игнатьич Теплов. Везти надо... не довезем... это мышьяк... студите кипяток, будем промывать. Алёша, вцепившись в заплесневелый «Цветник духовный» без последних страниц, шепотом торговался с суровыми небесными властями: пусть нас на Соловки... меня и Петю... пожизненно... а она пусть живет. Петя положил руку на книгу — поставил на кон свою свободу — так и сидели в темноте. Мимо их приоткрытой двери прошел доктор Теплов, сказал тете Шурочке: конвульсии прекратились, Господь пронес... посидите, я чаю попью. Самого его в церковь калачом было не заманить, но тут, сын дьячка, он все же перекрестился, не желая оказаться неблагодарным — а ну как есть? Доктора мотало точно пьяного. Его усталое существо моталось между верой и неверием, как еще час назад у него на руках моталось между жизнью и смертью содрогающееся тело с непонятно в чем держащейся душой.

Черная роза — эмблема печали. Елизавета Аркадьевна отвезла Фейгеле погостить в Кисловодск к другой бабушке, за столом у которой та могла теперь называть ложки и вилки по-немецки. Тетя Анечка пошла вместе с сестрой учительствовать в деревенскую школу, выстроенную дядей-отцом до ее рожденья. Туда же ходили — не очень прилежно — Петя с Алёшей. Вечерами Анхен вязала Александрине шерстяной жакет. Вперив неподвижный взор в свое рукоделье, пела все одну и ту же фразу: «Счастья было столько, сколько капель в море, сколько листьев желтых на сырой земле». Листьев и впрямь было много. После их разметало ветром, смыло дождем. Окончив Шурочкин жакет, Анхен принялась вязать одеяло Ивану Андреичу — тяжелых он не переносил, а хорошие пуховые ушли из дому. Вязала долго, как Пенелопа, быть может, распускала по ночам? Доктор Павел Игнатьич частенько бывал к ним, хоть никакой медицинской необходимости в том не было. Вообще не было никаких резонов тащиться в осеннюю слякоть на случайной телеге до деревни, а до усадьбы обычно пешком, кроме общечеловеческой жажды любви (Петя в этом уже немножко разбирался), реальной тревоги за жизнь собственноручно вытащенного с того света существа и расплывчатых прав на него, кои предъявлены быть не могли.

В школе отапливаются два класса. У старших ведет урок Александра Иванна, у младших Анна Иванна. Пете с Алёшей здесь делать нечего, но сегодня обещали выдать сахар на двух учительниц плюс двоих учеников. Сидят оба в классе Анхен — в смысле ученья им безразлично. Петя, сунув в печку полено, ушел гулять в причудливый сад, что вырос на замерзшем стекле. Там кружевные дворцы в окруженье плакучих берез, скамейки с ажурными спинками. Дамы — песцовые шубки — катаются в выгнутых лебедем санках, белые лошади цугом. Падает снег, как на фантиках от конфет, привезённых из Риги. Звуки приглушены, и так мягки движенья. После суметь бы всё это нарисовать. Алёша повернул голову в другую сторону — к печке. Дверца открыта, пляшет огонь. Петя! Авдеев хутор горит! скажем Анхен. Полно, Алёша, мы всё равно не успеем. Хутор стоял еще два дня невредим, сгорел с субботы на воскресенье. Никто, кроме Пети, про виденье Алёши не знал. Караулить брошенный хутор? Хватит, Алёша, не мучайся... что мы с тобой могли сделать.

Яков Охотин ночью видел зарево, что-то уж больно высокое. Постоял у окна, перекрестился и лег. Лишь утром отважился запрячь лошаденку — поехал посмотреть. Смотреть было не на что. Точно адское пламя, вырвавшись из преисподней, слизнуло крепкие енговатовские постройки. Возле гигантских головней бегал огненно-рыжий пес, мало похожий на Разбоя. Скалил зубы, не подпуская всякого там Якова. Прохояков повернул лошаденку — та помчалась к дому без специального приглашенья.

Ой, метет. Ну и метет. Свечи на елке сгорают быстро — так сильно дует непонятно откуда. Или с темного неба через печную трубу? Поднебесье рушится снежной лавиной, грозя подмять под себя раскрылетившийся дом, но тот храбро держится. Мишка, Прохояковлев старшенький, пришел засветло, до метели — один, укутанный поверх тулупа платком. Доктор Теплов сидит клеит бонбоньерки для нехитрых латышских конфет, что сам же принес. Жена с кем-то прислала. Выехала с подростками-дочерьми в Ригу три года назад, предъявив медицинское свидетельство о необходимости морских купаний для девочек. Возвращаться не собирается. Павел Игнатьич тогда нарочно остался, чтоб их отъезд выглядел временным. Позже просился к ним — отказали и пригрозили. Его бонбоньерки — шедевры. Тень Анхен, трепещущая на стекле, тоже произведенье искусства. Вдруг зафырчало и фарами засветило. Вошли с мороза Елизавета Аркадьевна с Фейгеле и шофером. Подарки, гостинцы... тревога за Анхен: как она это перенесет. Перенесла спокойно — на земле мир, в человецех благоволенье. Явился Самсонов с дамами, снова и снова гостинцы. Шофер Коновалов открыл две бутылки вина — сам же, конечно, не пьет. Иван Андреич ведет сомнительные разговоры. Дамы поставили таз для варенья, серьезно льют н*а* воду воск. Круги по воде расходятся, фигурки на миг сближаются, потом ломается хрупкое счастье, когда остывает воск. Петя устроил театр теней для Алёши, Мишки и Фейгеле. Тени гораздо сговорчивей: танцуют, долго целуются, мелко дрожат от ветра, дующего в трубу. А это еще откуда? мощные тени-стены, круглые тени-башни, главы церквей без крестов? Петя, шофер ГПУшный, сидит и слушает деда. Елизавета Аркадьевна? Нет, она здесь не при чем.

Ивана Андреича арестовали в третий день Рождества. За ним приехали: тот же шофер Коновалов и двое неизвестных. Пересыльная тюрьма до весны, после на Соловки. Алёша, нас всё равно бы не посадили... не доросли. — Выходит, мы дедову голову тогда предлагали? — Не мучайся, мы еще дорастем. Алёша не слишком быстро растет, но слишком быстро умнеет. Понимает такие вещи, которых бы в восемь лет понимать не след.

Не получается печаль. Май такой светлый (на Соловках тоже). Орловские покатые поляны зацветают желтыми купавками. Четырнадцать лет, небольшое физическое истощенье — всё равно хорошо. Петя норовит сбежать от братишки и побродить в одиночестве. Примостился под дубом, достал блокнот и рисует. Дедушкин лес шев*е*лится: не попадаясь на глаза, играют с волчатами волки. Вот и Авдеево пепелище, на *у*гольях проросла малина. Авдей сидит на горелом бревне. Авдей Арефьич, я понял, ты несмертельный... кланяюсь: дай мне того — не знаю чего. Потупился, а когда п*о*днял глаза — Авдея нет, только пес ощетинил шерсть.

Он покупает на золото. Профиль его коллекционированья — семейная миниатюра. Николай Степаныч Ильин, инженер, учился в Германии, как многие и многие. Служит у бельгийцев на паровозостроительном заводе в Луганске. Привел его доктор Теплов, с которым Софья Владимировна всерьез обсуждала, что бы еще продать. Решили поленовского Христа сохранить во что

бы то ни стало. Загнать складень — парный портрет прадеда и прабабки Софьи Владимировны в очень дорогом обрамленье. Да еще два, должно быть, не менее ценных детских портрета — их старших сыновей, умерших в нежном возрасте. Пушистые головки, отложные воротнички. Павел Игнатьич побеседовал с орловским антикваром и через него вышел на покупателя. Тот сидит, поджавши ноги в ботинках маленького размера. Пьет чай, вспоминает с Александрой Ивановной Германию. Но доктор Теплов чует вещим сердцем, и то же самое шепчет Алёша брату: он увезет от нас Анхен.

Принцессу уводят в рабство. Почти окрепшая взрослая сила — дар Авдея Арефьича Пете — тут ничем не может помочь. Только хуже. Сорокапятилетний инженер и его девятнадцатилетняя жена отправляются не в Луганск — в Москву. Семейные портреты остаются у Софьи Владимировны вкупе с деньгами, чуть раньше за них заплаченными. То есть деньги уж розданы заимодавцам, просто портреты зять ей при отъезде вернул.

Холодный апрель без Анхен. Петя идет пешком из геодезического техникума. Бывает домой лишь по выходным, а так живет у тамошнего сторожа, он недоспасовский. Подождать — подвезут свои же. Деревня большая, тут бойкое место, общее оживленье в делах: разобрали и снова выходили несчастную барскую землю. Но Пете веселее в ходьбе — Авдей ссудил беспокойной силы. Деда уж нет в живых, у них это быстро делается. Дед подает бесчисленно много знаков присутствия. Вот пробился сквозь тучи и внуку, как легкую руку, луч положил на плечо.

У Анны Ильиной дочь в кроватке — Марина, и странные колыбельные мать Марине поет:

Там, в высоких теремах,
На железных на замках
Взаперти сидит одна
Мужа старого жена.

Караульщики кругом,
Сторожами полон дом.
Брови соболиные,
Речи соловьиные.

Брови и впрямь соболиные, а шубка из серой норки. Мужу всего сорок восемь — что, разве очень много? Смотрится в зеркало. На подзеркальнике две увядшие розы в синем хрустале. У Анны две домработницы: кухарка Домна Антоновна и рыжая нянька Луша, убирают они вдвоем. Чтоб разогнать тоску, Анна Иванна учится у Домны Антонны готовить: блинчики с мясом, сырники, котлеты с тушеной морковью и суп жюльен — с зеленым горошком. Потихоньку посылает с оказией в Недоспасово сахар, какао, манку и сливочное масло. Денег ей в руки муж не дает. Анна занимает у прислуги чулки, что сама дарила, в ожиданье похода с мужем по магазинам — в центр. В короткой юбке и ботиках будет бежать на полша*г* позади Николая Степаныча к трамваю: у мужа на редкость размашистый шаг, при небольшом его росте. Луша любит Маришу, Домна Антоновна Анну, но время, сошедшее с рельсов, не любит их всех четырех. Дом на Ордынке набит чекистами и троцкистами — Анну с души воротит от любого мужского лица. Не в кого тут влюбиться, не обо что разбиться: в лифтовых шахтах сетки и во дворе кусты. Тебе уже двадцать два, неумная голова. Однажды посмотришь в зеркало — а это уже не ты. В зеркале

отражается скупо поданная Москва: дом напротив и ясень, пожелтевший не до конца. Консерватория, театры... это где-то совсем не здесь. Лушенька, ну дай ей что тебе Бог н*а* душу положит. Кашу так кашу. Кисель так кисель. Пробует перешить платье. Зачем — неизвестно. Домна Антонна кому-то открыла дверь. В зеркале отражается Петя — выросший, возмужавший, необычайно грязный и бесконечно свой. В Москве уже третий месяц. Как? почему не пришел? — Всё неопределенно... в институт еле взяли... геодезии и картографии... справка была, что работал год землемером, пока учился. Сейчас в общежитье. — Ступай скорей в ванную, а то возвратится муж. Возвратился... поговорить не успели. Ладно, хоть вымылся. За мытого двух немытых дают.

Разгулялась осень в мокрых долах. Мишка Охотин пошел домой из школы в смазных сапогах. Недоспасовские волки, существование коих кем-то признаётся, а иными оспаривается, ехидно воют в оврагах. Людьми они обычно брезгают, предпочитая на худой конец зайчика одиннадцатилетнему Мишке, сразу после уроков выкурившему здоровенную самокрутку — это мерзость перед лицом леса. Алёша находит другое объясненье неоспоримому факту Мишкиной неприкосновенности: обитатели Охотина хутора пользуются покровительством Авдея, по-прежнему присматривающего за дедовыми посадками. Ни один волос не упадет с Мишкиной головы, ни один волк не пойдет супротив Авдея: у них нынче сговор. Попробуй теперь сунься кто чужой — живо узн*а*ете. У Алёши самог*о* за пазухой охранная грамота: лист, вырванный Злодеем из «Цветника духовного». Злодей все такой же — рыжий и наглый, хоть ему давно пора издохнуть, не понарошку, а взаправду. Видно, Авдеева несмертельность распространяется на него. А вот Софья Владимировна лежит с грелкой на животе: у нее приступ болей. Согнула ноги, натянув на них одеяло. Такая поза у Пети с Алёшей звалась «сделать слоника». Названье давнишнее, и давнишние боли. Однако доктор Теплов обеспокоен — частично приехал, частично пришел посмотреть больную. Усталая тетя Шурочка подает ужин. Павел Игнатьич не делает вслух никаких назначений, лишь отмечает про себя: пациентка генетически нуждается в щадящем образе жизни. Алёша пристально смотрит на фитилек керосиновой лампы и видит: Петя целует щеки тети Анечки, а годовалая девочка шлепает его ладошкою по лицу.

В общежитье на кухне окно с переплетами, еще не забрезжило утро. Высокие потолки казенного старого зданья неясного назначенья. Наверху закрытая форточка — до нее не достать. У титана длинная очередь: чайники — как вереница слонов. Качаются на расшатанных ручках, склоняют узкие хоботы. Дует откуда-то, девушки поднимают плечи в бумазейных халатах. Худенькие их шеи перетекают в стриженые затылки. Тапочки — одинаковые, различной степени стоптанности — терпеливо переступают ближе к цели. Щуплые, не выспавшиеся, юноши молчаливы. Петя возвышается надо всеми на полголовы. Ему нипочем набитый трамвай, бредовая лекция по марксизму — его объемлет нездешняя легкость со вчерашнего дня.

Николай Степаныч держит коллекцию миниатюр под замком в секретере. Дамы в умильных буклях целуются в темноте с гусарами в эполетах. Относится как к валюте, хранимой про черный день. Девочка стала уже говорить: «Мама целует Петю». Анхен, гений обмана, т*о*тчас целует куклу-петрушку и дочь заодно. Чужая душа потемки: прислуга не любит хозяина, а молодую барыню всегда берет под крыло.

Софья Владимировна скончалась в двадцать восьмом. Приезжала Анхен с красивым высоким Петей и двухлетней Маришей. Николай Степаныч в то время

был в Конотопе по служебным делам: на заводе случилась авария. Сухонькая тень теперь появляется всякий день в аллее. Седые волосы собраны на макушке, в светло-карих глазах голубиная глубина, а губы — с кроткой усмешкой страданья. Ольга Самсонова раз с ней едва не столкнулась. Но привиденье, смутившись, свернуло под сень тополей. Алёша к слову спросил несмертельного: «Что это бабушка ходит, Авдей Арефьич?» — «А вот никак не сустренется с барином... больно его кончина нехороша была». Напрасно, значит, Иван Андреич храбрился: они, выходит, и душу могут убить.

А в Александровском саду такие тюльпаны: темно-розовые, стройные, как бокалы! Двоюродный племянник Петр Недоспасов держит Анхен под ручку. Она хороша в темно-розовом платье, помада палевая на губах, и жизнь вся в розовом свете. Вернулась домой — в доме обыск. Вредительство, заговор! На Николай Степаныча свалили аварию, которую он тогда, в дни похорон, устранял.

Прислуга ушла, Маришу отдали в ясли, Аннетт работает стенографисткой. Достала Пете из шкафа мужнины брюки, отогнула внизу — его истерлись до дыр. Отнять у узника не только жену, но и брюки... жизнь оскорбляет на каждом шагу. Нашли ключи, грустно смотрят вдвоем Николайстепанычевы миниатюры. Выпустили на свет розамунд в каштановых локонах, мужчин с грибоедовским коком на лбу. Петя давно не рисует: не до того. Плохо быть виноватым перед тем, кто страдает, а страданье находит и заурядных людей.

Под Орлом метет и метет — доктор Теплов застрял на три дня в усадьбе. Он только что получил из Риги разводное письмо: его жена Зинаида Григорьевна в одностороннем порядке расторгла брак и сочеталась по лютеранскому обряду с латышом — хозяином ресторанчика, после того как выдала девочек тем же манером. У Людмилы трехлетняя дочь Кристина, у Елены пока никого. В конверте листочек от Зины с приписками Люды и Лены. И лягушиная бумага о расторжении брака на нежном и мягком латышском языке. С этой филькиной грамотой Павел Игнатьич боится сунуться в советское учрежденье — о православной церкви нечего и говорить. Он женат на призраке прежней любви. Александра Ивановна накрывает на стол, сочувственно слушает — белая шаль метет, как метель, по холодному полу. Мишка здесь тоже две ночи ночует: на хутора не пройти. Алёша решает за Мишку задачки под носом рассеянной Шурочки. Та под белым платком застыла, точно озимый росток. Самсоновы загостились в Орле у Ирины — теперь жены комбрига Середина, матери сына Серёжи. Кто где был, тот там и остался. Но неожиданно в дверь звонят. На пороге мужик в тулупе, шапка из снега по самые брови, а глаза — угольки. Авдей. Пришел, когда нету соседей. Сел возле печки, обтаял — глядишь, и взгляд подобрел... но молчит. И белая фигура в саду маячит: ищет любимую тень. Встал, подошел к окну, поглядел в темноту. Поднял с полу обрезок веревки, завязанной крепким узлом. Наговор на этой веревке, не поднимай никогда их с земли — чужая беда привяжется. Раскрыл пошире печную дверцу, пережег на угольях узел, подал обрывки Теплову и Шурочке. Взял со скамейки шапку и, не надевши, ушел. Шурочка печь закрыла — пламя заплакало тоненьким голосом. Алёша шепнул: кто-то умер. Она же: типун тебе на язык.

Официальное известие о гибели Зинаиды Берзинь в автокатастрофе пришло через три недели — на том же кичащемся собой языке, но теперь уже с переводом. Доктор Теплов привез потертый конверт в кармане. Заперли дверь на засов и дверцу печную закрыли. Страшен размах дьявольской помощи — лучше жить во грехе. Впрочем, Авдей в эту зиму больше не появлялся. Злодей

же ходит с Мишкою в школу, сидит у порога, ждет, а после уроков смирно провожает на хутор. Довел до дому — и в лес. С волками живет и по-волчьи воет.

Думала — душа его станет витать в Недоспасове, где двое наших остались, чтоб повстречаться с моей. После ждала в Москве, возле дома Анхен с Маришей, куда приезжает Петя из экспедиций раз в год. Не дождал*а*сь, полетела над неласковым морем, под монастырские стены из холодных камней. Собрала по кусочкам растерзанную его душу, сложила, и оживила, и увела с собой.

Мариша моя разумная усердно водила пальчиком по нашим растрепанным детским книжкам и очень бойко прочла:

Жил на свете зайчик юный,
Легковерный и простой.
Он не хаживал далёко
От норы своей родной.

Свет и люди незнакомы
Были зайчику тому.
Жил в довольстве, без заботы
Он в родительском дому.

Учительская натура Шурочки ликовала, Павел Игнатьич радовался, Алёша рукоплескал. Петя не появился на свадьбе: торчит в Салехарде. Заочно учится, дали комнату — много работы, мало любви. Призрака я в саду не видала, все говорят: исчез. П*и*сьма от Николай Степаныча в первый год получила дважды, а теперь они прекратились... значит, совсем дошел. Я завожу служебные шашни, совесть черна, как у грешного негра, и без Пети каюк.

Сидят на замшелом бревне — четырнадцатилетний Алёша и задержавшийся в сорокалетнем возрасте хмурый Авдей. Алёше на вид дашь двенадцать — рос в голоде, да еще придавлен Авдеевым даром. Зато отсутствующий Петя (тоже рос в голоде) в двадцать лет — скоро будет двадцать один — гренадер. В плечах косая сажень, и усы гренадерские. Знал, хитрец, что просить у Авдея. Вернее, не знал — получил то, чего чаял. Беседа Алёши с Авдеем беззвучна. Поодаль сидят в напряженных позах шестеро молодых волков — охрана Авдея. Успешный ученик догадался: дети Разбоя от волчицы. Сам Разбой где-то гоняет. Алёша уж месяц как учится в фельдшерском, живет в Орле у супругов Тепловых, бывает к Авдею редко и тайно. После гибели Зинаиды Берзинь имени колдуна стараются не поминать. В именье сейчас жить нельзя — там теперь правленье колхоза, и председатель не местный. Самсонов при нем уцелел, занимает с женою комнатку. *О*десс и Вольфензон в городе на культработе. В момент коллективизации выслали под Архангельск семью Охотиных: Якова с Мишкой и восьмилетней Танькой. Хозяйка же Яковлева — Авдотья, не вынеся суматошных сборов, досрочными родами померла. На хуторе колхозный коровник, однако коровы доятся плохо: пугаются Авдеевой свиты — а он так и ходит кругом. Нужен вредитель? Вот вам вредитель. Расстреляйте его второй раз, товарищи...посмотрим, как у вас это получится — ему любой волк товарищ.

Конец декабря, в Недоспасове ранний вечер. Аннетт приехала в таком авто и с таким начальником, что председатель колхоза «Маяк» Василий Власьич Запоев, вытянувшись, предоставил гражданке Анне Ивановне Ильиной всё то же левое крыло теперь колхозного зданья. Аннетт послала шофера в город за Алёшей с Тепловыми и скорей к фортепьяно: в Москве у ней его не было. Сыграла свое любимое — покровитель вконец обалдел. Сидел, прикрыв глаза

веками, раздвинув в улыбке рот. Мариша трогала пальчиком клавиатуру — пора учить, пятый год.

Шофер еще не вернулся с нашими. При волчьем солнышке выхожу на крыльцо. Заснеженная усадьба молчит. Вон там трава росла за сараем, мне п*о* пояс. Мы в ней прятались: Петя, Алёша и я. Maman нас нашла... о, найди снова, пересчитай, как цыплят. Если ты не узн*а*ешь меня, я уеду тогда... насовсем. Я тебе много раз говорила: когда умрешь, подай мне знак, что всё это существует. Моих — отца с матерью — туда отправили второпях и насильно, мы не успели договориться. Ты меня так обласкала... ты обещала... дай знак мне, дай знать.

У нас теперь с Павлом Игнатьичем в Недоспасове дача: товарищ Запоев шелковый, ни слова мне поперек. Аннетт приезжает с этим своим, как его, Раскроевым. Тот к нам в контекст не вписывается, но ему на это плевать. Николай Степаныча доконали — прислали Аннетт свидетельство год с небольшим назад. Он нелюбимым жил и нелюбимым умер. Я пыталась Маришу учить языкам — она с каждым часом рассеянней. Котятки, бантики, глазки, ранняя женственность... восемь, почти девять лет, вся в Аннетт. Нет, Аннетт была поотчаянней... правда, так же красива. Покойные родители привезли ее в Недоспасово перед самой войной — я тогда уезжала некстати в Германию. Ей было восемь, а мне восемнадцать, как сейчас Фейгеле, или Фаине, которую прячем на всякий случай в усадьбе: *О*десса расстреляли по страшному обвиненью — участье в убийстве Кирова. Елизавета Аркадьевна не дожила. Петя приехал — где это записать? Скоро будет и Анхен.

Не получается грусть, как всегда. Вот, Фаина, наш лес, он прогрелся до дна торфяного озерца. Можно оттаять после зимы в Салехарде. Вместо полярного волка — полукровки с рыжим подшерстком. Если сложить облака и сосны, лучи меж стволов, свист птиц и шорох в кустах — будет примерно равно быстрому твоему взгляду, что я поймал на себе.

Когда отравилась вторично Анхен — легче, чем в первый раз, — Алёша уже работал фельдшером. С Павлом моим Игнатьичем откачивали вдвоем. Откачали, Бог не без милости. Только вот стала чахнуть, точно Марфа Собакина. Ровно ее кто испортил или опоил. Петя же по-советски расписался с Фаиной, увез в Москву — коммуналка его на Башиловской — и на работу приткнул. О вузе сейчас разумней не заикаться... опасное время... не надо лезть на глаза. Раскроева арестовали. Думала: выгонят нас из усадьбы. Нет, Запоев молчит. Наведывался о здоровье, покуда Анхен лежала. Я сказала Алёше: поди к своему Распутину бишь Авдею... Господь простит.

Авдея не было видно, лишь неуемный рыжий Разбой в пожелтевшем малиннике рыскал. Я постоял, подождал и ушел под моросящим дождем. Однако Авдей поздней осенью к нам не раз приходил: следы большеногого мужика с полдюжиною волков на дорожке тогда оставались. Тетя Анечка встала, снова что-то вязала и пела теперь вот так:

То не плачи, то не стоны,
То бубенчики звенят,
То малиновые звоны
П*о* ветру летят.

Звоны и впрямь неслись откуда-то с хуторов — или Авдей кроет крышу невидимой нам избы? А тетя Анечка все надрывала душу:

И зачем спешит он к месту —
Я найду ему ночлег.
Я совью ему невесту
Белую как снег.

Прихвачу летучий локон
Я венком из белых роз,
Что растит по стеклам *о*кон
Утренний мороз.

Слушал ее и видел сплошную сумятицу впереди.

Я успокоилась было за Анхен. Декабрь стоял снежный и вьюжный — не приведи Господь. В ранние сумерки, меж собакой и волком, заметаю порог. Тут-то пришел товарищ Запоев свататься к бедной к ней. Она его сейчас выгонит — он тут же выгонит нас. Не выгнала, обласкала. Господи, как ее жаль!

На удивленье свету Василий Власьич Запоев оказался человеком порядочным. Стоически стерпел отъезд в Москву бывшей учительницы недоспасовской школы Анны Иванны Ильиной с девятилетней дочкой. Сам отвез их к поезду в кабине грузовика. Грамотного человека в Москве всегда ждут... и со здоровьем у ней зимой было неважно. Здесь отлично справляется сестра ее, Александра Иванна Теплова. И фельдшерский пункт их племянника, Алексея Фёдорыча Недоспасова, у нас в деревне работает хорошо... доктор Теплов помогает в трудных случаях. Что, товарищи, может закрепим за ними те три комнаты, за стенкой? единогласно? пиши, Клим. Фельдшер пусть живет постоянно, инструменты держит, то се. К деревне поближе... вдруг ночью роженицу привезут. (И привозили, случалось.) Все не в город трястись. Учительница учебники может оставить, тетради... не из Орла таскать. Наша колхозная интеллигенция... верно я говорю, товарищи? Товарищи были свои, недоспасовские. Их оголтелую преданность усадьбе приезжий председатель уже раскусил. Умышленно промолчал о том, кем построены и оснащены школа, фельдшерский пункт. Кем лес посажен, овраги кустарником укреплены. И без него помнят. О воеводе Недоспасове, боронившем эти земли от набегов с юга, не сказал, поскольку не знал. Знали краеведы в орловском музее, но и тех посадили, так что и не знал никто. Ни к чему было. Земля лежала, беззащитная перед накатывающимся девятым валом безвременья, и все председателевы достоинства ничем не могли помочь. Скорей его снимут, чем он тут наладит. На опустевшем охотинском хуторе мычали коровы, не выполнив план по надою. На горелом Авдеевом денно и нощно стучал молоток. Хозяин строил — невидимое, несгораемое — и никому не прощал.

Велика Москва, а спрятаться негде. Аннетт единственный раз пошла в театр — и бежала, завидев Петю с Фаиной. Ведь это теперь на всю жизнь... в ее семье... хуже любого застенка. Что травиться мать малолетней дочери не имеет права — в резких словах объяснил ей Раскроев, прежде, нежели сел. Еще он успел устроить Аннетт без диплома преподавать немецкий в пединституте на Пироговке. Ее экзаменовала старая дама-смолянка, осталась довольна. Советских кадров не хватало на этой ниве. Маришеньке скоро десять, у ней есть подруги. Любит остаться одна в большой квартире, вертеться у зеркала, мерить мамины шляпки. Сдать комнату Анхен боится: могут отнять за ненадобностью. Лучше сидеть взаперти, авось и забудут. Эврика! в консерваторию Петя Фаину не поведет: та всегда ненавидела занятия музыкой. Анхен сперва зачастила в

Большой зал, потом поступила на вечерний по классу вокала: у ней открылось хорошее меццо-сопрано. Вот вам «на фартучках петушки, золотые гребешки» ... цыганкин пион без стебля, что был завернут в платочек. Мука отступила, произошло как бы переключенье. Есть равновеликие вещи, их немного, но музыка и любовь в этот перечень входят. Во всяком случае, для нее. И хватит уже травиться.

Фельдшерский пункт на краю деревни, по дороге к усадьбе — можно идти пешком. До города вчетверо дальше. Сентябрьское золото в низком квадратном оконце — как на иконе оклад. У Алёши для фельдшера слишком длинные волосы, поверх линялая белая шапочка с оборванными тесемками, халат не по мерке на узкой спине разошелся. Белый монах. На кушетке сидит его черный учитель. Авдеюшкины глаза цыгановаты и быстры, его борода кудрява, а сапоги блестят. Ощерился волчьей улыбкой. Ежовщина на дворе, Вольфензон уже арестован, Запоев носит всякий день смену белья в портфеле. Авдей возлагает руки на каждую склянку с мазью, на каждую ампулу сыворотки, на пузырьки микстур. Алёшино врачеванье, все говорят, помогает, но что за этим скрывается — поди разбери. Авдеюшка долго смотрит в золотое оконце, потом говорит: «Не тронут Тепловых, тебя и Анну. Я вас у этих дьяволов в карты вчера отыграл». Алёша глядит неотрывно в смеющиеся глаза. Ну ладно... в карты так в карты. А как же Петя с Фаиной? Авдеюшка не сказал, Алексеюшка не спросил. В зеленой бутылке стоит букет из осенних астр. Авдей выдергивает стебелек затесавшейся травки под названьем «костер безустый». Пропускает сухой султанчик между корявыми пальцами, подмигивает Алёше: петушок или курочка? Тот молчит. Авдей отвечает: курочка — и показывает Алёше комочек из пыльных семян. Оборачивается к ходикам с картинкою на доске и оловянной гирькой в виде еловой шишки. Подталкивает маятник: «Не волнуйся, Алёша... успеет твой брат уехать... им все равно кого».

Сидят на Ярославском вокзале почти уже сутки. Фаина на скамейке промежду чужими мужчинами, Петя на чемодане. Арестовали обоих сотрудников, с кем он должен был ехать. Петя с Фаиной из страха дома не ночевали. Билет обменять, уехать пораньше не получилось. Только бы не пришли за ним к поезду, а там как-нибудь. У Фаины теплые щеки даже на расстоянье и трогательная корзинка из кос. Когда (если) увидятся, она будет совсем другой: ей двадцать, в этом возрасте быстро меняются. Ехать Пете до Омска, после на пароходе по Иртышу и Оби до Салехарда. В конце навигации, почти впритык к ледоставу... место ему бронировано — первым классом... три места. Наши перроны по образцу французских: чугунное кружево и часы на столбе. Идут они очень медленно — или у Пети спешат? Огромные стрелки дрогнули, словно большие усы, и двинулись пошустрее. Состав немедленно подали, объявили посадку. Посадят. Петя только вошел в купе — дали сразу же отправленье. Фаина еле успела выскочить... вагон оставляет перрон. «Вот она, — сказал запыхавшийся неприметный мужчина в штатском другому точно такому же, — берем ее, у нас равноправье... и нужно еще двоих».

Светлый июнь — он и в Москве июнь. Снова у Пети не получается горе. Приехал после зимовки не в коммуналку, а к Анхен: Мариша в пионерлагере, ей одиннадцать лет. Пете с Анхен такая судьба: обманывать тех, кто сидит. К дьяволу только сунься на хутор — живо к рукам приберет. Век-волкодав кидается на слабые плечи Фаины — ее красота в лагерях хуже любой вины. Что

возвратится к Пете вместо холеной Фейгеле? вообще — возвратится ли — трудно вообразить. Das ist ein Loffel... das ist eine Gabel... аккуратные локоны... клетчатый бант в кудрях. И Анхен, полуголодная, склонилась над головой..

Июньской ночью в Недоспасове л*у*чше, чем на московских бульварах. Алёша идет через лес спокойно: его провожает Разбой, как некогда Мишку. Где Мишка, мой друг закадычный? где сопливая Танька? Если живы — ему двадцать два, ей шестнадцать... уже не такая сопливая. Остальные Авдотьины детки все померли — а не зови в кумовья черта! Таньку уже крестил мой дед — хутор*а* с усадьбою жили дружно. Танька зато и выжила. Хотя вот Мишка Авдеев крестник... мой ровесник... чертенок разбойный! Пока вспоминал лицо товарища — тринадцатилетнего не сумел, а восьмилетнего вспомнил — к Разбою пристала волчица, бежит бок *о* бок на полголовы позади. Должно быть, с нею Разбой прижил шестерых Авдеевых телохранителей. Их так боялись коровы на бывшем Охотином хуторе! Сейчас там доярка, похожая на Мишкину мать. Лет тридцати пяти — как Авдотья была перед смертью, когда выселяли. Кажется, тоже Авдотьей зовут. Приручила всех шестерых полукровок — стадо теперь стерегут. Ну, ведьма! Коровы у ней от волков не шарахаются, доятся — хоть залейся... ведьма выдоит и пенек. Вот пришли на Авдееву пустошь. Разбой обнюхал горелую печь, торчащую средь поляны. А где волчица? баба сидит спиною к Алёше на перевернутом чугунке. Знакомый затылок, знакомая стать... Мишкину мать как не узнать? Частенько голодного барчука кормила эта рука. Обернулась... уже и редеет тьма. Так вот у Авдея какая кума. Несмертельная, нестареющая... пропадала, потом появилась. Не удивились — глаза отвела. Прячется, шепчет, знает травы. Бабы к ней ходят лечиться — стыдятся фельдшера. Уж он собирал их в клубе. Агитировал: бабы! не лечитесь у бабки. Впрочем, какая бабка... бабенка. А где она? Нету, пропала! оборотень. Разбой сидит и скулит без своей волчицы. Авдея Алёша не повидал — а нужен. Ладно, он сам придет. Мы с ним как белый день и ночь — так мир раскололся н*а*прочь.

Извините за такое высказыванье, товарищи — Бог пронес... не посадили. Два года ходил с чистым бельем в портфеле. Теперь одел... старое совсем, сопрело. А что с председателей сняли, я не в обиде...городского поставили, грамотного. Разве я трясся — я работал... у меня отец крестьянин. Учусь заочно в орловском агротехникуме... давно уже... поздновато, конечно. Диплома пока не получил, но, Бог даст (простите, товарищи), получу. Справку дали: Василий Власьич Запоев сдал з*а* два курса. Недоделанный недоспасовский агроном... сельская интеллигенция. Занимаю теперь одну из трех остатних господских комнат... про господ лучше не поминать, чтоб, упаси Бог (поперхнулся), не узнали кому не нужно. Вот доктор Теплов дьячковский сын, а в Бога не верит... это ему в плюс. Они с учительницей Тепловой занимают вторую комнатку. Хошь тут живи, хошь в Орле... нам без доктора нельзя. Вон Андрон спьяну сунул руку в английскую косилку, что от бар отстал*а*сь. Резали, как, прости Господи (закашлялся), на войне. Третья комнатушка — фельдшера Алексея Недоспасова... вы его знаете, товарищи, как облупленного. Смирный человек... вроде юродивого Христа ради... это я так, к слову пришлось. Трудовая интеллигенция. Землемер тоже, Петр Недоспасов. Подумаешь, фамилия... бывает, по названью деревни пишутся. Был у нас, разделил поля под травопольный севооборот... это, товарищи, первое дело. Само из-под земли лезет только на охотинском хуторе... чего и не сажали. Заговорённое место, и баба там Авдотья... она знает... то есть

только так говорится... темное суеверье. Баба она и есть баба... для меня что бревно (потупился). Учительница наша бывшая приезжала, Анна Иванна Ильина... на певицу теперь учится. Очень нужное дело культура, товарищи. Наши сельские выдвиженцы. Будет арии петь — нам только в плюс... мы взрастили, воспитали. И дочку ее в люди выведем. Легко ли, Господи (замялся), самой учиться и девчонку учить... знаю по себе, как трудно. Приезжала к нам на Рождество (после Нового года, правильнее сказать). Пела в клубе: «Между небом и землей». Учительница Теплова на пианино подыгрывала. Певица ребятишек в хор отбирала. Пой, говорит, как я: в*о* поле береза стояла. Про наше колхозное поле — как раз в точку. А вот между небом и землей — нехорошо. Меня, товарищи, из партии пока никто не исключал. Я вам вот что скажу, товарищи мои сельские интеллигенты: стойте обеими ногами на земле. И почаще приезжайте в родной колхоз «Маяк». Уж мы потеснимся... я в фельдшерском пункте на родильной кушетке переночую... комнату маме с дочкой уступлю. (Простое лицо его на продолжении последней фразы хорошеет, голос теплеет, потом вовсе пресекается.) Всё, товарищи.

Зима—лето, зима—лето. Двенадцать месяцев зима, а остальное лето. Два года из десяти. Что без права переписки — в приговоре не было. Десять лет без права переписки — это не то и не про то. Однако п*и*сьма от Фаины и к Фаине передавать не велено. Канула, как ключ на дно. Ее на ранней стадии отделили от стада. Ни конвоирам, ни лютым бабам уголовницам не видать, как своих ушей. Ею поклонились высокому начальству, после определили в передвижной гулаговский театр играть передовых доярок, выпустив на грудь даже не завшивленные косы. И чтоб безо всяких поцелуев на сцене. Ferboten. Вплоть до особого распоряжения — а оно не поступало. С героем-любовником Фимой Нудельманом украдкой целовались за кулисами.

Авдей живет в невидимых хоромах. Скрипит крыльцо, когда он к нам выходит — ко мне, а иногда и к Пете с Анхен. Ступив на землю (*ли* ударившись об землю), вочеловечится, а иногда и волком является. К Авдотье ходит в гости: миловаться, да заодно проведать полукровок, пасущих стадо. Говорит нам с Петей: «Пождите... скоро мы войну затеем... не н*а*долго. За ней придет другая... большая, страшная... такая уж как надо». — «Кому, Авдеюшко?» Молчит... должно быть, черту... кому ж еще. И Анхен грустно гладит сначала Петин жгуче-черный ежик, потом мою нефельдшерскую стрижку. Алёшенька, скажи, кого ты любишь? Я, тетя Анечка? да всех. Она смеется. Никто так не смеется... лишь она... и умиленный рыжий пес ей лижет руку.

Кого Алёша любит? Машу, Федосьину дочь, которую вытащил с того света, как некогда доктор Теплов тетю Анечку. Было Маше семнадцать, она уж побывала в руках у «бабки» Авдотьи, что бабкой *николи* не будет. Пришла Маша в фельдшерский пункт на своих ногах, м*о*я кровью крыльцо. Тр*и* дни Федосья ее не хватилась — не то привыкла, не то пила. Маша билась головой о кушетку: «Колодец высох... дай голову покрыть... за дверью стоит». Лекарства как об стенку горох. Дважды переливал свою кровь, в глазах темнело. Уговаривал не слышащую: «Не впущу... поперек лягу... под венец поведу... ветру венути не дам». Продержался до Авдея целые сутки. Авдей кровь остановил, сбил жар. Подоспел Павел Игнатьич с новым лекарством, но Машина молодость уж собрала войска и повела в атаку. Смерть отступала на глазах — Алёша крестился на рукомойник. Когда через полгода пошел свататься, выполняя обещанье,

данное один на один находящемуся без сознанья человеку, Маша закрылась подол*о*м и лица не казала. Мать буркнула: «Подите, Алексей Фёдорыч... стыдно ей». Так было и во второй раз, и в третий. В четвертый он идти не посмел. Если встречались на деревенской улице, Маша его видела и, не подымая глаз, сворачивала в проулок.

Встречаем в Недоспасове сороковой год: мы с Петей, Мариша-подросток, доктор Теплов и Шурочка, Алёша, супруги Самсоновы, Ирина Сер*е*дина в трауре, десятилетний Серёжа. А сам Сер*е*дин погиб на отчаянно обороняемой финнами финской границе. Запоев ушел в запой — ничто не предвещало, кроме фамилии. Наивный, он только теперь догадался о наших с Петею отношениях. К тому же не знал, что меня только выдают за родную сестру Александры, и, следовательно, родство немного (не намного) дальше. Когда пытались открыть ему тайну расстрела моих родителей, глаза его были бессмысленны — он ничего не понял. Звали Авдеюшку на предмет загов*о*ра, сегодня должен придти его «отчитать». Жалкий, грязный, Василий Власьич Запоев, вечная наша защита, лежит за тонкой стеной. Я пою «Лесного царя», и мне что-то не по себе.

Горе поди к Егорью — *ме* Егорий побор*е*. Горе поди за море — там вино не шата*е*. Авдей переливает воду из ведра в ведро, наговаривая на текущую струю. Алёша ассистирует: смачивает бинт в ведре «с наговором», переворачивает бесчувственное тело Василья Власьича и наносит влажный крест на лоб его. Тете Анечке велено стоять лицом к стенке: от нее отвораживают, пусть отворачивается. Смиренно все терпит: Авдей плюет ей в подол, отрезает порядочный клок волос — выбрасывает на вьюжный ветер. Горе неразделенной любви летит к оврагам и воет там волком на ущербную луну. Вышли втроем, оставив спящего — Серёжа сидит под дверью, бормочет: горе поди к Егорью. Алёша будущего давно не видел, что-то оно становится больно смутным, но тут разглядел: этот мальчик держит в руках «Цветник духовный». Преемник растет.

Петру Фёдорычу к Фаине из Салехарда близко, однако сердце сердцу вести не подает. Фаина давно любит Фиму, Пётр Фёдорыч пока Анхен, Запоев теперь — только водку да полевой простор. Ирина Сер*е*дина вышла замуж, и что-то у ней не ладится: Серёжа живет в Недоспасове неведомо у кого. На Серёже заметно фирменное недоспасовское клеймо: след молодости его матери, прошедшей в этих стен *а*х. Из Риги бежали на запад Елена Крум*и*нь с супругом, а муж Людмилы Янис зачем-то бежал один. Людмилу Янис с Кристиной заслали в Курганскую область. Пётр Фёдорович седеет, а Фаина сидит. И вот уж май сорок первого — лучше не видеть будущего, оно подступит вплотную, успеете разглядеть. Опять зацвели поляны, побеги выгнали елки, и смирно ластятся волки к Авдееву сапогу. Алёша *о*бнял Серёжу за пл*е*чи — *и*дут на хутора. Серёжа вдруг изрекает: война будет через месяц. Еще один ясновидец... их тут хоть пруд пруди.

Сдавать странички (зачет по немецкому) значит столько-то знаков текста перевести из газеты, издаваемой на немецком здесь, в Москве. Осуществить перевод с перевода. Анхен красивей студенток, хоть ей уже тридцать шесть. Вечернюю консерваторию закончить она не успеет: чего-то не досдала, чего-то недостает. В начале войны докопаются до фамилии Эрлих — сослать в Сибирь не сошлют, но из вуза турнут.

Стенографисткой-машинисткой на прежнее место не взяли, уехали в эвакуацию без нее. С горя устроилась нянечкой в близлежащую школу — школу

тут же закрыли: налеты стали сильней. Пётр Фёдорович на фронте — офицер, но не муж... стало быть, за него аттестат никак не получишь. В Орле давно уже немцы, о наших ни слуху, ни духу, и никому на свете дела до Анхен нет. Оклад продала с иконы, которой благословили названые родители на несчастливый брак. Сидят в темноте с Маришей, немного отдернули штору: прожектора нащупали в небе фрица... ведут. На батареях отопленья пестрые шкурки кошек, а батареи не топятся — надо таскать дрова. Заработала грыжу, попала на операцию. Оставили санитаркой: врачам ее стало жаль. Мариша худая и черствая... какие там киски-бантики. Ходит к матери в госпиталь — не за так, за обед. Читает ослепшим письма сухим подростковым голосом. Кормит безруких с ложки без улыбки в лице.

В конце сентября рыли окопы в мягкой орловской земле — Александра Иванна Теплова со старшими учениками, включая Серёжу Середина. Бухало, ухало, полыхало и через несколько дней прокатилось поверх неглубоких окопов в стороне от деревни. Александра Иванна отпустила ребят и ставни в школе закрыла. Сказала: делайте вид, что по-немецки не знаете. И про меня молчите... я понимаю все. Павел Игнатьич последнее время работал сутками в госпитале. В недоспасовском фельдшерском пункте появлялся по понедельникам — Алёша давно на фронте. Запоев ушел в ополченье: лучше убитым, чем полоненным, хоть бы и женщиной. А что же Авдеево волхованье? это как от запоя: на время. Ушел на фронт несвободным — жизнь была не мила. Закрылись на засов вдвоем: Шурочка и Серёжа — Самсоновы не пришли... Авдея вот тоже нет.

Авдей при деле: в полевом госпитале медбратом без документов при Алексее Фёдорыче, под его личный ответ. Петр Фёдорович по штабам, картограф-геодезист с дипломом: обзор с любого холма сумеет изобразить, грамотно пишет сводки и донесенья печатает. Алёша хирург без диплома, от Бога. Уж коли Бог не помог — тогда, Авдей, ничего не поделаешь. Просто так вытащить пулю в несложных случаях доверяют Алёше — хирургам времени нет поесть. Очень способный фельдшер, доучится после войны. Мишка Охотин попал к Алёше в палатку с начинающейся гангреной. Уже бы и отняли ногу, но было три операции понеотложней — хирург свалился и Мишке назначил на утро. За ночь Авдей шаманским способом крестника у гангрены отбил. Не мог порадеть о душе — так хотя бы о животе. Утром хирург сказал коротко: ампутация отменяется — и подал рапорт (давно собирался) о представленье к награде фельдшера Недоспасова. Авдею Арефьичу Енговатову выдали пару белья. Мишка на фронт из ссылки ушел, у него под Архангельском жена и двое детей. Таньке сейчас девятнадцать — гуляет, пес ее ешь, а то б я тебе сосватал. Отец давно уж не жив ... он бы ей показал (про мать Алексей промолчал) ...да ладно, найдем другую... такому-то молодцу. Молодцу — значит молодцу... Алексей себя в зеркале не разглядывал, даже во время бритья. Изменился, в какую сторону — не поймешь. Война, брат, изменит, еще и не так.

Февраль, юго-западный ветер летит от теплых морей. Авдотья везет салазки по осевшему снегу: тащит еду в усадьбу, без нее пропадут. Устала — обернулась волчицей, тянет, как ездовая собака, по насту нелегкую кладь. Глядишь, сыновья припряглись, побежали с матерью рядом. Перед усадьбой их прогнала, встала во весь стройный рост — Настасья Микулична, да и только. У ней большая опека: в невидимом доме Авдея наших раненых двое, в усадьбе Тепловы с Серёжей, а супруги Самсоновы удрапали от греха. Бывший охотинский хутор

снова теперь стал хутором — немцы смазливой Авдотье оставили пару коров. В госпитале лежат немцы, Павел Игнатьич прячется — никто пока, слава Богу, на него не донес. Фельдшерский пункт и школа на деревне закрыты, лечат и учат в усадьбе, да и то потайком. Серёжа ходит за ранеными на Авдеевом хуторе — знает неплохо травы и много чего еще. Сказал: Алёша с Авдеем спасли Авдотьина сына... не волка, а настоящего — придет на обеих ногах.

Мишку отправили обратно в часть, признав годным: з*а*жило, как на собаке. В Авдеевом невидимом доме двое солдат поначалу ковыляли на костылях — Серёжа ночью принес, у него ключи от Алёшина фельдшерского пункта. Через месяц отнес назад за ненадобностью. Олег Белоглазов прихрамывает, а младший, Женька Клушин, уж пляшет, сотрясая вполне осязаемый пятками пол. Двигаются наугад. Полное впечатленье, что ходят по воздуху над цветущей поляной. Снаружи их не видно даже Авдотье. Внутри дома Авдотья видит все, Серёжа — то, что Авдотья позволит. Сейчас видит своих подопечных: те сидят на явственно скрипящей скамье, пьют молоко от Авдотьиных вечно взбрыкивающих коров, говорят за жизнь — куда податься? как выбираться отсюда? Не миновать поклониться Авдотье: если кто выведет за линию фронта, так это она, черт-баба. Давно не показывалась, ровно ей ни к чему. Только пес ее рыжий тут крутится.

Танька задр*а*ла подол, ходит тряпкой по временному настилу, улыбаясь Алёше счастливой улыбкой. Приехала — Мишку уже выписывали. Гл*я*нула на Алёшу, какой он вырос хороший, и бух в ноги главврачу: возьмите меня санитаркой. Ну да! гулять ты сюда приехала? тебя вон брат родной ославил. Ладно, хрен с тобою... проверим: коли ты худо-бедно здорова, поступишь в гнойную перевязочную... неповадно будет гулять.

Худая, как дикий гусь, плоские щеки в веснушках. Похожа скорей на архангельскую, а сама из Орла. В восемь лет увозили — испуганную, зареванную, от горшка два вершка, н*е* на что посмотреть. Сказала горячим шепотом: вернемся вдвоем в Недоспасово... нас с тобой не убьют... ведьма, ведьмина дочь! Стреляют довольно далёко, полог палатки топорщится от полночного ветра — ах, хорошо... хорошо.

Не говорите, пожалуйста: у колдовской нежити всё не как у людей. Право же, много сходства: Авдей на передовой — Авдотья в тылу отдувается. Натаскивает Серёжу, как лет двенадцать назад Авдей обучал Алёшу опасному ведовству. В волчьем облике принесла еще шестерых волчат, а выздоравливающих солдат сначала вконец иссушила, потом приласкала обоих, поссорив до мордобоя. Невидимый дом шатался, разросшийся лес смеялся, и облака играли в невиданную чехарду. Линия фронта в те дни была ох не близко — не выведет и Авдотья. Пока все бои друг с другом, а там еще поглядим.

У Петра Фёдорыча никогда толком не получалось горе. Его генетически сильная, да еще Авдеевым колдовством приумноженная энергетика всегда превозмогала, перебарывала горе, аки Егорий в Авдеевом заговор*е*. Пока приходилось чертить разгромные карты военных действий, он никак не мог уныть духом. Уныние не входило в список его грехов. Как в ходе войны наступил перелом, Петр Фёдорыч стал за штабным столом вовсю свистать-заливаться щеглом. Ни дать, ни взять покойный дедушка Иван Андреич, давно уж находившийся в раю вместе с супругой, собирательницей растерзанной души его. Внук был и щегловит и щеголеват в деда. Петр Фёдорыч с Анхен пошли в Ивана Андреича: старший наследник имени и сбоку-припеку племянница.

Сияли разными гранями дедова очарованья: зашкаливающей красотой, изящною бесшабашностью, успешностью в искусствах и любовной науке, небрежением к быту, готовностью к переменам. Если незлобивый Иван Андреич при жизни и предъявлял большевикам какие претензии, то разве лишь за обман доверчивого простонародья. За своих прощал: считал себя полномочным. Парит над недоспасовским полем, парит в восходящем потоке воздуха легкая его тень. Не бойтесь убивающих тело. И убивающих душу не бойтесь. Останьтесь до самой смерти бесстрашными... не из роду будет, а в род.

Шурочка немцев последней и видела — наши заняли город пару часов назад. Собирала не вовремя августовские грибы — в доме ни крошки не было: Авдотья забастовала. Летом пусть ноги кормят... ведь кормят они волков. Грибы войну больно любят — так из земли и лезут, даже войну предвещают, хошь верьте, а хошь бы и нет. Поставила наземь корзинку — двое вышли из лесу и двинулись по шоссе вслед еле видным вдали. Села пыль отступленья на мураву обочины, ноги тяжко топтали растрескавшийся асфальт. Чур нас... перекрестилась и послала Серёжу, показавшегося из чащи, с вестью на хутора.

Олег Белоглазов и Женька Клушин плясали теперь вдвоем — пол провалился, прах заклубился, и дом стал виден на миг. Серёжа, свидетель чуда, остался в недоуменье: то ли он один видел, то ли и плясуны. Было не до того: подъехали двое СМЕРШевцев на мотоцикле с коляской, у каждого автомат. Быстро все разглядели, и говорить задержанным пришлось уже в другом месте, если только пришлось. Серёжа слышал две очереди, будто по убегавшим (надеялся, что ослышался), и вой Разбоя в лесу. Думал: может быть, живы, пес его к ним проводит, и снова удастся выходить — однако Разбой не пошел. Упирался, гад, до упора и мрачно щетинил загривок, а сам Серёжа искал, но ничего не нашел.

Самсоновы появились и рассказали: Ирина Середина с новым мужем, какой-то шишкой на ровном месте, сумели эвакуироваться при отступленье наших в октябре сорок первого. Серёжу — ему тогда было двенадцать — может, и вправду забрать не успели: немцы наступали с недоспасовской стороны. Пока вестей от пропавшей матери не было. Серёжа всю оккупацию оставался без тети-дяди. Не то тепловский, не то Авдотьин, не то обобщенно-недоспасовский. Первым пришло письмо от Алёши: странное и пространное, очень счастливое — на него не похоже. Все не по делу: про падучие звезды, заброшенные яблочные сады — как только цензура его пропустила. Скажут еще: шифровка.

Май в сельце Недоспасове — престольный праздник на тридцать один день: время цветущих полян. Мягкая средняя полоса торовата на чудеса. Ангелы вострубили победу — прислали последнюю партию раненых к Павлу Игнатьичу в госпиталь. Сопровождали их аж от самой Германии Алёша с Авдеем и осунувшаяся Танька — один торчащий живот. Не все помирать, кому-то надобно и рожать. Авдотья скрылась: не хочет, ведьма, быть бабушкой — рыщет волчицей. Ладно, Алёша роды сам принимал с Павлом Игнатьичем вместе: трудные были роды. Сын, Недоспасов Константин Алексеич. Жена уже год как вписана к Алёше в военный билет. Убьют, так хоть что-то получит... теперь уже не убьют.

Сентябрь только начался, пока еще не желтеет. Алексей Недоспасов нынче студент-заочник второго медицинского института в Москве. У него казенная квартира в деревне рядом с фельдшерским пунктом. Танька, качая сына, поет: придет серенький волчок, схватит Костю за бочок. О сером речь, а серый

навстреч: серебристая волчица который раз заглядывает в сени. Интересуется. Пошла вон! пошла!

Покуда Алёша держал вступительные экзамены, при явно предрешенном их исходе, — жил у Анхен. Ей сорок, Марише девятнадцать, как и Кристине Янис — той почти двадцать. Людмилу Павловну из ссылки пока не вернули, Кристина одна отправилась к дедушке в Недоспасово. Ему за шестьдесят пять, он сильно сдал и в госпитале только консультирует. По дороге Кристина остановилась н*а* два дня все в той же огромной квартире Анхен. Девушки-ровесницы прощебетали две ночи напролет и в результате поехали вместе к супругам Тепловым, сопровождаемые благополучно поступившим Алексеем Фёдорычем. Благополучно не поступившая в инъяз темноволосая Мариша и светленькая сдержанная Кристина гуляют рука*о*б руку под заметно постаревшими недоспасовскими липами. Кто-то вошел в ворота парка. Высокий, интересный офицер с эффектной седой прядью. Петр Фёдорович, знакомый Марише со времен, когда та еще говорить не умела. Двойник куклы-петрушки, паж для поцелуев. Авдеев бесценный подарок конечно же цел у тридцатишестилетнего красавца. Плюс два ордена — под конец войны уже в штабе дивизии... и обворожительная улыбка. В общем, пусть Анхен будет благодарна, что Петр Фёдорович показывает пейзажистые недоспасовские окрестности Кристине, а не Марише, которая зато пишет матери жесткие отчеты о положении вещей. И Анхен не едет в Недоспасово — не едет, не шлет письм*а*.

Новый председатель колхоза «Маяк» товарищ Похмелкин взъелся на увертливого пятидесятипятилетнего бухгалтера Самсонова и выгнал на фиг. Тот подался с Ольгой Ильиничной в Феодосию, где у ее матери был частный домик. Шестнадцатилетнего Серёжу, учащегося все того же фельдшерского училища, оставили в подручные Алексею Фёдорычу до востребования Ириной Ильиничной. Однако та не объявлялась — затерялась в послевоенной неразберихе, хоть такой красавице спрятаться трудно. Должно быть, где-то в прекрасном далеке все сорокалетние женщины статны и синеглазы. Так или иначе, Серёжа сидит в апрельской теплой дымке на скрипучем крыльце Авдеева невидимого дома и вежливенько говорит в пустоту: «Авдей Арефьич... Вы бы сделали что-нибудь... Анна Иванна там в Москве убивается — как бы чего не вышло. Алексей Фёдорыч до зимней сессии туда не попадет». Из воздуха возникает моложавый Авдеев басок: «Какая такая спесия? не разбираюсь я в ихних бабьих делах. Уволь, сынок, на покой...мне вон Авдотью пожалеть некогда. Сеять пора... мужиков мало, погоды нету. Надо суетиться. Поди к фе*рш*алу Алёшке — там хоть дело есть... не морочь мне голову». И удаляется делать погоду — это он умеет... еще как.

Женщина лет тридцати с застывшим взглядом и белесым фибровым чемоданом, перетянутым матерчатым ремнем, пыталась отпереть входную дверь коммунальной квартиры номер пятнадцать дома номер двадцать шесть по Башиловской улице. Не получилось — замок сменили пять лет назад. Сколько звонков? Забыла. Позвонила дважды: рука сама вспомнила. Открыла девушка лет двадцати с соломенными волосами. Вы Фаина? (У приезжей не получилось кивнуть.) Мы вас ждали через год. (Прозвучало: не ждали.) А вот моя мама д*о* сих пор... входите. (Куда теперь? у Фимы жена с сыном вернулась из эвакуации.) Середина октября, но еще не топят. Сидит в пальто у стола. Безымянная блондинка подвинула чемодан к стенке, стоит посреди комнаты. (Жива ли бабушка в Кисловодске? Если нет, дом достался тете Доре. Но ведь там были

немцы... может, никого уже...) Сглотнула, встала, взяла чемодан. Ручка оборвалась, чемодан грохнулся. Подняла за матерчатый ремень. Пожалуй, пойду... я проездом в Кисловодск. — Не хотите забрать вещи? — Нет, и без того тяжело. (Что правда, то правда. Наволочки с костяными пуговицами прежние, не износились. К тете Анечке... там была какая-то юношеская любовь... но тетя Шура говорит: пустые сплетни.)

Вышла на площадку, не приглашая в квартиру, растрепанная полуседая гражданка в халате школьной нянечки и больничных тапочках с кантом. Фаина не сразу сообразила, кто это. Взглянула вопросительно в глаза — опять не узнала. Неописуемая, неповторимая прелесть взгляда Анхен — глубина, тишина, радость, ласка, пытливость, удивленье — всё начисто исчезло. Будто не Фаина из лагерей, а наоборот, она. Муть в зрачках, и двери настежь, и бутылка стоит на столе. В третий раз не отравилась одним махом — стала травиться ежедневно. Женщина, не умеющая держать удар. Кладущая все яйца в одну корзину. Сверхреактивная, необычайно быстро расцветающая и столь же быстро загибающаяся. Фаина пробормотала: простите, я ошиблась дверью — и устало поволокла фибровый чемодан неведомо куда. В конце концов стало ведомо, что в Кисловодск.

Снова май не замай в Недоспасове — май сорок седьмого. Горелое бревно на енговатовском хуторе в целости и сохранности. Невидимая изба, должно быть, поближе к лесу, а это у них, у Авдея с Авдотьей, заместо завалинки. Сидят — красивые, черти полосатые. Авдотья говорит без умолку, неважно что — важен голос. Обволакивающий, льнущий, по-звериному раскатистый. Так мурлычет уссурийская тигрица, вибрируя пушистым брюхом. Земля ходит ходуном от Авдотьина говора, и тихо дребезжат призрачные стекла. Ждала Авдея-чародея четыре года. Ну, не так уж строго ждала, на то она и ведьма. Теперь два года наглядеться не может. Чудеса в решете: Авдей поседел. Двадцать один год его не брало. Как в двадцатом годе большевички расстреляли чернявого конокрадова внука, так в сорок первом и ушел: без единого седого волоска и без единого документа. У нечисти какие-такие бумаги. Только война не свой брат, повидал почище расстрела. Поседеешь небось. Однако ж ему, черту лешему, все неймется. А кукушка кукует им, несмертельным, и не может накуковаться.

Лето в зените. Алёша лежит на пузе в траве-снытке за недоспасовским сараем, где некогда предупреждал тетю Анечку насчет Фаининого отца. Двухлетний Костя с непокрытой русой головкой сидит, дует на непрочный одуванчик. Пачкает руки белесым соком, что оставляет темные пятна. Авдей — кум серебристой волчицы — тоже стал серебряным. Торчит курчавой шапкой волос из высоко поднявшейся сныти — та цветет, пахнет и зовется об эту пору иначе: дурманом. Держат совет — дитя в нем участия не принимает, Танька тоже: стоит смотрит на мужа. Ее глаза всегда на Алёше: Костя успеет отползти-отойти куда угодно, нескоро спохватится. Авдей, конечно, знает, от кого отвораживают Анну Иванну. Однако дело деликатное. Надо, чтоб и Петр Фёдорыч не знал, и она, сердешная ворожбы не заметила. Господа они есть господа, тридцать лет советской власти ничего не меняют. Подошел Серёжа — нужный человек. Ему восемнадцать, пошел бы в осенний призыв, кабы не фельдшерское училище. Все равно будет военнообязанный, по стопам Алёши. Услыхал начало разговора будучи в доме — у него последнее время прорезалась такая способность... фиг утаишься. Говорит: пошлите меня, она не догадается... а наговор сделаем на

хорошо продуманный подарок. Остановились на холщевой блузке с рукавом-японкой: Алёша купил в городе для Таньки, она еще не носила... пусть вышьет крестом Авдеев наговор. Тетя Анечка поспешит надеть красивую вещь и подпадет под власть слов мелкого, едва различимого узора.

Не надела. Сидела, наливши глаза, — к подарку не притронулась. Серёжа ей: померьте да померьте — ни в какую. Пришлось ночью подсунуть под нее, бесчувственную, смятый Авдеев наговор, добавляя для верности: горе, поди к Егорью. И вздрагивал, засыпая не пришедший с войны в Недоспасово наконец кем-то любимый товарищ Запоев. Утром она встала какая-то не такая: безразличная ко всему без изъятья. Серёжа взглянул рано наметанным глазом, перекрестился посередь груди незаметным крестиком и сравнительно спокойно отправился в Орёл, тем более что навстречу ему ехала из Орла Мариша.

Анна Иванна Ильина сейчас ведет уроки пенья в московской женской школе. Это не то что мыть толчки промеж двумя бомбежками. За консерваторию не досдала всего чуть-чуть, представила необходимые справки — после войны дело обычное, никто не удивился. Голос у нее стал ниже и глуше. Разучивает со смирными девочками бравурные песни тридцатых годов — в них заметен фашистский оттенок:

Старшие братья идут в колоннах,
Каждому двадцать лет.
Ветер над ними колышет знамена,
Лучше которых нет.

Пусть я моложе, ну так что же —
Быстро дни пролетят,
И в комсомоле я буду тоже,
Буду как старший брат.

Буду расти я здоровым и смелым,
Бодрым и в зной, и в метель,
Свой парашют открывать умело,
Бить без промаха в цель.

И так далее, и тому подобное. Ей, сверхвпечатлительной, Авдеева-Серёжина ворожба вышла боком. Не от Петра Фёдорыча отворожили — от любви отвадили раз и навсегда. Застывшая красота осталась на лице пугающей маской — девчонки ее побаиваются, зовут за глаза ведьмой. Не видали они настоящих ведьм: те ого-го. Мариша, обучающаяся теперь кройке и шитью, по старой привычке примерила материну вышитую блузку. Долго смотрелась в зеркало: понравился рукав-японка. Была и раньше черствая — стала вовсе расчетлива. В общем, первый прокол у Авдея... пора на переквалификацию.

Значит, вы не видали настоящей ведьмы? Вот она — зашла наконец в человечьем обличье поглядеть на внука. Заодно и на дочь, которой не видала не много не мало семнадцать лет, если не считать той короткой минуточки, когда та храбро прогнал*а* веником ее, волчицу, от порога. Дочь со всей силы шлепала худыми руками тесто о столешницу. Глянула в бойкие глаза тридцатипятилетней красавицы, задернула ситцевую занавеску сыновней кроватки. Обтерла руки о передник и хмуро ждала. Тут занавеска с цветочками сама отползла обратно, и спящий мальчик предстал черным очам Авдотьи. Улыбнулся во сне, сказал явственно: бабушка! Танька не в шутку перепугалась, грудью выперла непрошенную гостью за дверь, столкнула с крыльца — откуда что взялось. Бабенка не

удержалась на ногах, полетела кубарем. Ударилась оземь, обернулась волчицей и пустилась к лесу как-то боком, оглядываясь с разворотом всего корпуса, по волчьему обыкновенью. О Господи! Скорей бы Алёша пришел. А то ведь эта нахалка была один к одному похожа на покойницу мать. Сообразила, когда у перелеска к волчице пристал узнаваемый рыжий пес — не их, енговатовский. Потом оба слились с октябрьским рыжим лесом, укутанным в волчий серый ранний вечерний туман, — и концов не найти.

Из кисловодской семьи уцелела лишь тетя Дора, врач, находившаяся на фронте. Фаина уж год как живет в том доме, где некогда за столом у бабушки Хавы демонстрировала знанье пары немецких слов. Бабушка всплескивала руками, точно ниточкой перетянутыми, и долго восхищалась на непонятном идиш. Ну, немцы с ней по-своему и поговорили. Серебряные столовые приборы с подставками для ножей и вилок тогда же ушли со двора, а с ними и память об успехах Фаины в немецком. Снявши голову, по волосам не плачут. Развод с Петром Фёдорычем Фаина оформила заочно. В свои тридцать она слегка утратила талию, изумрудный взор ее стал тяжелее. Под причитанья тети Доры отр*е*зала хорошие косы и стала ходить в парикмахерскую. Работает администратором по приему отдыхающих в санатории — тетя Дора устроила. Носит в конце октября бежевое коверкотовое пальто доброй тети Адочки, не успевшей эвакуироваться, и маленькую бордовую велюровую шляпку-плюшку. Не по погоде, но очень уж нравится. Жизнь начала обретать если не вкус, то во всяком случае краски. Темная деревня Недоспасово с неровной кромкой леса по горизонту и подвываньем мифических волков не снилась больше Фаине. Пусть гром с ясного неба разразит эту равнину. Пусть врастут в землю бревенчатые избы, скрывающие нищету. Что-то уж больно много проклятий. Значит, еще не забылось, не вытеснилось.

Такие времена видевши — долго не заживешься. Павлу Игнатьичу нет и семидесяти, однако ж он совсем развалина. Вдобавок его мучает конфигурация Кристина—Петя—Анхен: боится, как бы она опять *не*. Руки помнят холод бьющегося о грань жизни и смерти тела. Сердце помнит, как проваливалось сквозь пол со страху. Черт бы побрал женщин... они всё ставят н*а* кон. Черт бы побрал пресловутые Петины достоинства. Черт бы побрал цепкие Зинаидины гены... Кристина точь-в-точь такая же. Черт бы побрал пережженную Авдеем веревку с узлом. Шура... она одна... покой ее глаз... покой ее голоса... покой смерти.

Его хоронили по первому морозцу на неухоженном недоспасовском кладбище, возле обезглавленной церкви Спаса. Пети, как всегда, не было. Спокойная Анхен беседовала с красивой Кристиной. Да, я после войны не была в Недоспасове. А лучше б побывала — показала старику свое равнодушное лицо. Или, может, было бы еще хуже. Черт их всех побери. Высокомерную двадцатидвухлетнюю Маришу, томящуюся возле разверстой могилы, и не менее скучающую Кристину, новоиспеченную фрау Недоспасо*фф*. Нет, вот два неподдельных горя: вдова Александра Ивановна обняла не заставшую отца в живых Людмилу Янис. И еще одна птичка прилетела: сорокачетырехлетняя Ирина Ильинична Сер*е*дина явилась наконец оприходовать девятнадцатилетнего сына. Хотела увезти в Свердловск, но он, совершеннолетний, воспротивился — наследник тайного знанья.

Михаилу Охотину про похороны *опосля* всё же написали — он ведь помнил бонбоньерки доктора Теплова. Приехал довольно скоро: в несравненном недоспасовском мае навестить образумившуюся сеструху и друга детства, негордого

барчука Алёшку, великовозрастного студента-заочника. Сидели пили. Танька, как всегда, глядела только на мужа. Нет бы на брата — с госпиталя его не видала. Зато племянник Костя — по четвертому году — дядю сразу признал, пошел на коленки, теребил колючие щеки. Ну уж с детьми Михаил как-никак умел. Подарил мальчонке глиняную свистульку-петушка и долго с азартом свистел. Пообедали, Танька уложила Костю, моет посуду. Друзья вышли за ворота и не сговариваясь зашагали на хутора. Рыжий пес вынырнул из первого же куста, перегородив Михаилу дорогу — тот споткнулся от неожиданности. Разбой прижался к длинной его ноге и замер в порыве собачьей нежности. Пошли втроем — пес все заглядывал Михаилу в глаза. Вот охотинский хутор. Справная черноглазая бабенка пасет двух комолых коров. Слегка отвернулась, взглянула на прохожих исподтишка, и сердце Михайлово заныло: вылитая покойница мать... должно быть, из той же деревни *брадена,* из Починок. Пришли на Авдееву пустошь — обгорелая печь торчит средь поляны. Потрогали — теплая. Полезли внутрь — там горшок пшенной каши. Поели без ложек: брали щепотью, подставляли ладонь, чтоб не проронить. Как сызмальства пошло-поехало, так в сказке и обживаемся, иной раз довольно страшной. Слоеный билибинский закат, зубчатый ельник, круторогий белесый месяц — все сказочный фон. По нему как по канве вышиваются нехитрые чудеса: подумаешь — печь от сгоревшей избы сама растопилась... это что, то ли будет. Авдеюшко! — кликнул Алёша. Такой из чащи вышел матерый седой волчище. Разбой с ним обнюхался, и ушли бок о бок. Вот тебе и весь сказ. Посидели на горелом бревне, покосились друг на друга — оба с проседью. С детства как братья, теперь еще породнились. Молчат: говорить не выходит. Алексей стал сильный, суровый, жилистый: деревня его отняла у барской усадьбы, перетянула. Была и быльем поросла сложная жизнь усадьбы. Разбилось — не склеишь. Алёша привил себя черенком к дикой яблоньке. Жертвенный изначально — нашел, кому жертвовать. Кому и чему. Встали как по команде, двинулись домой.

Мимо Охотина хутора шли, не вздымая глаз. Чуть отойдя, наткнулись на девушку лет восемнадцати — сидела плела венок. Ты чья? — Охотинская... Авдотьина дочь. — Не бзди! У меня сестра Танька, вот ее муж Алексей. Как звать-то, чудо лесное? — Никак... меня не крестили. Мать когда померла родами, думали, я не живая... не было семи месяцев. Бросили... не дали оглянуться... леший меня забрал. — А ты, лешачиха, красивая... Таньке куда до тебя. Бледновата, правда... сойдешь и так. Айда, девка, с нами! Вот мы тебе жениха! — Не, я помолвлена. — С кем же, чудо? Молчит. Пришли на деревню. Серёжа у них в гостях, играет с Костею в прятки. Ну, брат, дела! Лесную русалку встрели. Раньше тут не водилось. Видал? Тот, покраснев, не ответил. Ага, попался! ты что же, венчаться станешь? — Не тронь его, Мишка... оставь. Места у нас непростые... не одно, так другое. Вон город сюда не растет... и люди совсем не меняются... Сам заметил, небось.

Русалкин жених Сергей Середин, фельдшер, студент-заочник мединститута— по следам обожаемого Алёши — ужинает на большой недоспасовской кухне, где некогда его мать Ирина Ильинична стряпала и пленяла невольно подростка Петю. Вдова Александра Иванна, вся седая — ей нет и пятидесяти пяти — ласково налила ему супу. Весь день прививал деревенских ребят комбинированной вакциной. Прислали строгий приказ, только что-то было неладно: дети с прививки болели. Поел, помог тете Шуре убрать со стола, поцеловал ей руку и деру. Начало мая (коронный недоспасовский месяц). Подземные воды вышли в неширокий долок, там сейчас мокрый луг и цветут калужницы. Девушка без

имени моет в стоячей лужице стройные ноги, узлом завязав подол. Он подойдет неслышно, невысокий и ладный, белокуро-чубатый (смахивает на Есенина), а дальше все не для вас. Эти места не простые — Алёша верно сказал.

Ведьма, которая в первом своем, человеческом, воплощении, померла, рожая, заведомо не сторонница и не пособница продолжения рода человеческого. В повитухи Авдотью никто и не звал. Это по части доктора Алексея Фёдорыча (чуть-чуть еще не доучился) и его подпаска Сергея. Вдво*е*м они баб-рожениц пасли. Зато уж извести плод — Авдотьино дело, особенно в пору послевоенного запрета на аборты, дальше по инерции. Небойкая Маша, испорченная Авдотьей перед войной и Алёшей спасенная, в сорок втором умудрилась попасться немцам возле горящей скирды — ее в упор расстреляли. Героини потом из нее не вышло: мать спилась и ничего не могла пояснить, а собственная Машина скромность витала в воздухе, гася все попытки изобразить ее храброй подпольщицей. Сейчас, летом сорок девятого, тоже пришла тихая девушка — Авдотья имени не спросила (его и не было), а кивнула лечь. Та все стояла. Тетка Авдотья, скажи, кого я рожу? Ведьма так на нее прикрикнула, что задрожали стекла в распахнутых окнах. «Рехнулась что ли? мне плевать с высокого дерева — сын или дочь». Дочь... дочь... дочь — отозва*л*ось от леса. С*е*рдца как такового не было у Авдотьи (черт разберется там у ведьмы в нутре), то и не защемило. Добро Авдотья делала более из упрямства: кого советская власть обездолила — тех кормила, кого изранили немцы — лечила. Нам бы ее упрямство. Девушка продолжала мяться: «Не серчай... а вдруг я рожу лешачонка». Ведьма живо включилась в проблему. От лешего так от лешего. Что перед ней лешач*и*ха — она не доперла. Авдей бы живо сообразил, но его в бабьи дела и не путали. Знаешь, девка, там и впрямь чего*й*-то неладно. А ну потерпи. Когда безымянная выбралась от Авдотьи — еле дошла до леса. Села подобно Алёнушке над торфяным озерцем и затужила. Из черной воды высунулась рука, потянула ее за подол. Сопротивляться совсем не хотелось. Зеркальная гладь сомкнулась над головой. Какое еще там венчанье. Через два дня Разбой привел Алёшу с Серёжей к лесному болотцу, прежде обнюхав ленту малиновую из косы. Шарили долго шестом, но б*е*з толку. Таньку пугать не стали: и без того кругом лес. Вот так посади его — он подступит к крыльцу. Глядишь, то волчица в сени заглянет, то поглядит русалка в окно. А что, бывает? как же — в лунные ночи. Не лесная, а водяная: на крыльце по утрам лужа, как из ведра. Ага.

Сидят на кафедре в академии Фрунзе: Петр Фёдорович — он пришел преподавать в феврале сорок шестого, сейчас уже защитился — и заведующий Вячеслав Никифорович Сороковой, муж двадцатипятилетней Марины Ильиной (угадайте, кто посватал). Петр Фёдорович показывает снимок сына Юры — ему полгода, лежит задравши ножки. Окно выходит на строгие асфальтовые задворки. Поэтичный Арбат течет, как река, с другой стороны, и там же, в конце бульвара, жухнет на ранней жаре майская сирень. Петр Фёдорович глядит на часы, дергающие секундной стрелкой под портретом товарища Сталина. Убирает фотографию в стол, идет принимать зачет. За десять минут раздал курсантам вопросы для подготовки, неподвижно смотрит в окошко — из этой аудитории уже на ту, арбатскую сторону. Несерьезно нарядный павильон станции метро, ресторан «Прага»... далее туда, к Дорогомиловской — дорога в Кунцево. Легкий шумок, шорох бумаги. Дежурный встает, говорит с нажимом: товарищи офицеры! Утихло. Кристина ему чужая... понял не сразу, но отчетливо. Всё не его... не в свои сани не садись. Родное осталось в юности. Верней, в Недоспасове. Некоторое время хранилось в глазах у Анхен. Теперь погасло.

И еще год прошел. Снова май — подымай выше: Анхен катает по Гоголевскому бульвару коляску с трехмесячной внучкой Аллой. На девочке розовый чепчик в рюшках, женщина в темно-розовом платье, как двадцать четыре года назад. Назвать ее бабушкой не поворачивается язык, и все же какое-то несоответствие в этой сцене. Женщина явно красива, но словно душа отлетела из тела загодя, раньше смерти. Куда? должно быть, туда где отрадно. А здесь ничто не держит — ни дочь, ни внучка, ни май.

У Фаины сегодня мозги набекрень. Наконец свершилось: главврач Натан Соломоныч Поляков вчера выдал замуж Эстер, единственное дитя. Фаине давно обещано: через месяц после свадьбы дочери Натан подаст на развод. Мадам Полякова — детский ревматолог — проходит дважды в день через приемный покой мимо Фаины, вся в заботах и в полном неведении относительно планов мужа. Фаина — или Фейгеле? она совсем растерялась — чуть не забыла послать в процедурный кабинет мать с ребенком без третьей комбинированной прививки. Таких много: вакцина еще не везде получена. Вот бы тетя Дора ругала... Натан вчера строго приказывал — инструкция пришла из Москвы. Дитя поболеет дней пять с высокой температурой. Но огорченная мать до девятого кабинета дойти не успела: ей преградил дорогу поднявшийся с кресла человек весьма обычной наружности. Присядьте, гражданочка... и мальчика усадите. Подходит к Фаине, показывает удостоверенье, от которого бедную в дрожь бросает. Уводит ее в кабинет без номера, что всегда заперт. Открывает своим ключом и начинает допрос. Дело кремлевских врачей разошлось кругами по воде — шьют вредительство. Фаина дрожит, в*а*лит тетю Дору, Натана. Ее отпускают, но приступить к работе не разрешают. Завтра получит расчет и трудовую книжку. Домой идти страшно, сидит до темноты на бульваре. Когда наконец решается — дверь опечатана. Теперь у Фаины нет даже фибрового чемодана. Мерзнет всю ночь на скамье у бювета под облетевшим каштаном. С утра получает деньги за пять дней работы плюс неиспользованный отпуск. Уезжает — не в Москву, а в Орёл. Точней, в Недоспасово, по давнему своему представленью о нем как о нерушимом убежище. Хорошо, что не провалились сквозь землю эти темные избы... не плюй в колодец. «Фейгеле, девочка, — говорит тетя Шура, — всё минует, не плачь». И миновало, еще как миновало. Тело вождя лежало неприбранное: боялись войти, а душа уносилась таким зияющим смерчем, будто намерена землю насквозь просверлить.

Ранней весною, на мягком солнышке, на теплых пятнах талого снега, на неизбывном горелом бревне сидят втроем: тридцатисемилетний доктор Алексей Недоспасов, студент-заочник-медик Сергей Сер*е*дин и безразмерный, безвозрастный, но поседевший беспаспортный всемогущий медбрат Авдей Енговатов. Авдеюшко, что у нас впереди? — Да вы, мои умники, сами чай видите. — Не, не видим, скажи. — Вернемся к церкви... не скоро... лет через сорок. — А ты? — Уйду, должно быть... про себя я так четко не вижу. — Куда? — А куда ушел этот кремлевский... там, поди, жарко. — Да уж не холодно. Блик от лужицы у Авдея на лбу. Морщин прибавилось. Ты постарел, Авдей. — Пора уж... ст*о*ит только начать. Лет до восьмидесяти доживу, поумнею. — Ты и так не дурак... тридцать три года небось не старел, пора бы и честь знать. — Ладно, теперь постарею... меняется мир на глазах. Злодей вот издох. — Кремлевский? — Нет, пес... даже в лес не ушел. Я т*у*т закопал. — Авдей! у Серёги невеста в Москве завелась, похожая на русалку. Он ф*о*то показывал... правда. — Мне что, я не поп... и не отец русалкам. — Кто тебя знает... с твоей Авдотьей. Она еще не стареет? — Дерзкие стали вы мужики... а были тише воды. — Были да сплыли... жизнь

выучит... я вон и сам седой. — Зато с едой, и с женой, и с сыном, язви его, Константином. В школу, зараза, ходит, к Александре Иванне... балуется, черт. А ты чай от нас уедешь, Серега? молчишь...стало быть, уедешь. Ну, скатертью дорога тебе. Фаня ваша к черкесам опять собирается? — На завтра у ней билет: в ночь поезд через Орёл. Тетю ее выпустили, а главврач ихний помер сердечным приступом на допросе. Ты, Авдей, еще не забыл такое слово «главврач»? — Помню малость... он мне выдал бязевое белье, когда мы Мишке Охотину ногу с тобой сохранили. Так помер Анатолий Максимыч? — Нет, другой... Натан Соломоныч. — Некрещеная, значит, душа... не увидит рая. И я не увижу. Погляди за меня, Алёшенька... ты человек праведный, хоть языкастый. — Посмотреть посмотрю, да тебе, брат, в пекло весть подать не сумею. — Ишь как разговорился... для красного словца ни матери, ни отца не жалеешь. А коли меня, колдуна, Господь помилует? выйдет, ты зря брехал? Греха не боишься. — Авдей, а ты слово «допрос» тоже помнишь? — Не спрашивай... подите лучше домой. Убывает моя колдовская сила. Хорошо тебе потешаться. Погоди еще... без меня будет трудно в новой, как ее... — Амбулатории, Авдей. Ну, прощевай. А ты, Серёга, вставай и айда.

Недоспасовский май — ай, хорош. Фаинин след не успел простыть — явился Петр Фёдорович. Один, без жены и ребенка. Тетя Шурочка так и не дотянулась положить седую голову на его изрядно обвисшее, опустившееся плечо. Блуждающий Петин взгляд, дергающееся веко. Петенька, на работе неладно? перемены, перестановки? — И это тоже... но главное — дома. И замолчал. Серёжа побежал за Алёшей — пришли всей семьей. Костя серьезно пел: есть в заброшенной усадьбе развалившийся сарай. Тетя Шурочка собирала на стол. Танька как всегда глядела на мужа (можно не говорить, само собой разумеется). Братья опять поменялись ролями, точно в детстве, когда несли домой с хуторов рваный «Цветник духовный». Алёша: мосластый, обветренный, резкий, насмешливый, сильный, задиристый. Только теперь стало видно, какой у него дальнобойный и синий взгляд. Не Авдеевым колдовством, а многолетним безудержным обожаньем несчетного числа деревенских заезженных баб. Петр Фёдорыч: человек, из-под которого только что незаметно вынули стул. То есть стула пока что никто не выдернул, просто душу объял леденящий страх, отнимающий напрочь силы. Поел, поцеловал, как все, у тетушки руку — и уж торопит брата на хутора. Пошли. Из лесу порскают зайцы: волков давненько не видно — перевелись. Проскочили Охотин хутор — Авдотья не то притаилась (не подняла занавеску), не то гостила у кума. Корова мычала в хлеву. Авдей их заслышал и встретил — на самодельных липовых костылях... скырлы, скырлы. Ты что, Авдеюшко? — Вот, вступило в колени. Закашлялся. Пётр Фёдорыч сник: похоже, не у кого теперь просить силы. А прежний подарок слабеет вместе с дарителем. Отольются Петру Фёдорычу прежние женские слезки. Их несчастья вовне — его беда в нем самом.

Май и в Москве хорош, только уже кончается. Серёжа сдал какой-то экзамен, сидит у пруда с русалкой в любимом Нескучном саду. Игрушечный пруд зарастает желтенькими кувшинками — одна уж раскрылась, раскрываются и другие. Девушку зовут Тоней. Тонущее у ней имя, тонкие у ней руки, и волосы, точно мокрые, стекают к покатым плечам. Вся обтекаемая, как морской лев или, вернее, львица. Мастер спорта по плаванью, лаборантка мединститута. Если надумает поступать — поступит, проблем не будет. Похожа и не похожа на ту, безымянную нежить. Это чувство безадресно, зациклишься — пропадешь.

Удивительное есть свойство у советского учрежденья, военного или штат-

ского: делать исправным трусом мужчину, выросшего из храброго мальчика. Пётр Фёдорыч, хоть и трясся, благополучно п*е*режил в академии имени Фрунзе: расстрел Лаврентия Палыча, приход Никиты Хрущева, обе опалы маршала Жукова — преподает, уцелел. Как говорил генералитет при министре Гречко: кукурузу п*е*режили — и гречку переживем. Пётр Фёдорыч пока в чине майора, но вскоре ждет повышенья. Не разведен... измены жены его стали давно анекдотом на службе. Красивая, холодная, тщеславная... не люблю. Встретил на улице Анхен — еле-еле раскланялись. Не *о*жило все былое в обоих отживших сердцах.

Когда в начале шестидесятых вошло в обиход слово «экстрасенс», доктор Сер*е*дин как раз им и оказался. «Нетрадиционная медицина», «целительство» — этого еще не было. «Телепатия» — пожалуйста. Ему телепали и телепали: стопроцентное попаданье. Жил он с женой Тоней и тещей Галиной Евгеньевной в одной комнате коммуналки на какой-то по счету улице Ямского Поля. Пять семей соседей. Те, еще не вполне оттаявшие в период хрущевской оттепели, боялись думать при нем. Интенсивно размышляли лишь в часы его больничных дежурств — теща вывешивала график в туалете. Серёжа вниманья не обращал: считал, речь идет об уборке. Сам до того навострился, что слышал из Недоспасова тяжелые, как жернова, Авдеевы мысли: что*й*-то я быстро старею... не надо бы... много чего впереди... Алёшка вон *о*тдал маненько силы... он ишо нагуляет... Серега — пиши пропало... как от козла, ни шерсти, ни молока. Преувеличивает. Для Авдея кто в Недоспасове — тот хорош. А в Москве одно баловство.

Картина из запасников Русского музея: Авдотья купается в лесном озерк*е*. В чем мать родила... а вы что думали — в бикини? Май... жара стоит небывалая Как говорится: старожилы не припомнят. Не стареет Авдотья, до нее еще не дошло. Волчицей больше не бегает: откочевали друзья ее волки в Тамбовскую область. Купается, полотеничком вытирается, в зеркале вод отражается. И бледная, не очень счастливая русалка глядит на мать из кусточка ракитова. Зачем они только рождаются, в недобрый час не доношены — сама что лось, а ребенка хучь брось? Кто удачных нас разберет: не заживаем ли силушку на тр*и* поколенья вперед? А после скажут: природа де отдыхает? кто знает и кто рассудит? Буд*я* зря говорить... вон Мишка и Танька справные. Почему-то однако совестно забрать себе столько силы... добром оно не кончается... и куда ее, силу, девать?

Тетя Шурочка прожила семьдесят лет, для женщины мало: отказалась от операции. Оттуда окликнули — быстро она собрал*а*сь. Похороны, октябрь шестьдесят пятого года. Все явились, кого она привечала, и даже кого осуждала — стоят у гроба. Седая Анхен с застывшим лицом. Холеные иждивенки мужей Марина с Кристиной. Пётр Фёдорович с язвенною болезнью. Сын его Юра с комсомольским значком. Тринадцатилетняя Алла, выглядящая на пятнадцать. Дружные Сергей с Тоней — бездетные, подсознательно боящиеся родить маленького водяного. Красивый, неуклонно мужающий Алексей Фёдорыч и худущая преданная Татьяна. Костя, пришедший из армии, рабочий сцены в орловском драматическом — не пропускает ни репетиции, мечтает о режиссуре. Мишка Охотин, немного спившийся, но обаятельный, и Фаина, вконец располневшая. Авдей — припадает на левую ногу. Все да не все: нет Авдотьи. Стареть не хочет, в Недоспасове жить скучает. Торговала из бочки квасом в Орле, после и вовсе исчезла. Баба с возу — кобыле легче. Вот и кобыла: на деревенской телеге едет на кладбище — два шаг*а* от усадьбы — учительница Теплова. Увидимся, милые! *а*нгел на все дела!

Шестьдесят седьмой год — пятидесятилетье советской власти. В магазинах

много женских мохеровых свитеров (одна модель в двух цветах) и мужских болоньевых курток до колен, болотного цвета. Подарок народу в честь юбилея, но больно уж дорого, не в подъем. Константин, фактически поработавший без оплаты помощником режиссера, поступает успешно в Щукинское. Жить он будет у Анхен — та на пенсии, ходит во МХАТ по входным, в консерваторию по талончикам от дешевых абонементов прошлых лет. Авдотья объявилась у Серёжи с Тоней немедленно после смерти Галины Евгеньевны: жить втроем им не привыкать. Постарела, как ни крутилась: года на *а* три постарше их. Развела в Москве такую экстрасенсорику — не хлопай ушами, держись. Опять не желтеют долго ясени на Ордынке под окошком у Анхен — в карих глазах юноши проходит другая жизнь.

Невидимый дом Авдея стал виден с паденьем власти, которой он сам предсказал когда-то мужицкий век. Только что получивши за спектакль «золотую маску», Костя привез на машине дядю Петю в гости к отцу. Дядюшке сейчас восемьдесят, братьям пора повидаться — все мы под Богом ходим, откладывать смысла нет. Назавтра с утра пораньше повез их на хутор к Авдею: хотели увидеть дом, о котором идет молва. Волки опять расплодились, надо бы их пугнуть: выходят и нагло смотрят из-подо лба в стекло. Нету на них управы, нету пса-провожатого, а ведь ходили лесом, и никогда ничего. Авдей уже слег помирать и потому их не встретил. Лег не под образа — какие у колдуна, прости Господи, образа. Лег под афишку Авдотьи с ее моложавым портретом и полным перечисленьем оказываемых услуг. Приворот по ф*о*то, возвращенье мужей и прочее. Гарантия результата, умеренная цена. Авдеюшко, что, не можется? хвораешь? — Как можно, доктор... так можется, что и можно сей же час помирать. Ихняя власть окочурилась, д*о*жили мы до праздника... праздник сегодня на н*а*шей улице, только б успеть помереть. — Ладно, Авдей, не каркай, не лезь ты больше в пророки... обыкновенный старик, я тебя очень люблю. Поехали к нам с Танюхой, не гордись, она приголубит. Покуда мы на колесах... не упрямься, Авдей. — Алёшенька, я не упрямлюсь. Вы думали, я несмертельный? а я оказался двужизненный, только, брат, и всего. — Ладно, не будем считаться... может быть, их и девять, как, понимаешь, у кошки... кто тебя разберет.

Положили Авдея в Алексеевом доме, прямо под образами, в белоснежном белье. Полежал две недели — вновь стал волосом черен... с виду лет этак сорок... полежал и ушел. Идет полевой дорогой, встречает мужа с женою. Здор*о*во, Авдей Арефьич. — Так вы меня что ли знаете? — А то! знаем маленько. Чего же не удивляетесь? я долго был стариком. — Ай мы темнота какая? небось телевизор смотрим... ну был, да и перестал. И мимо спокойно прошли. Так Авдей и остался, низко отвесив челюсть. Залетел к нему в рот ворон и каркает изнутри: «Не мудрил бы, Авдей Арефьич... и без тебя жизнь мудрёна... не мудрил бы ты, мать ядрена!» Тут и сказке нашей конец.

Андрей Коровин

Жизнеутверждение

зелёный бомжик

зелёный бомжик едет с хлебом
ему даздравствует весна
он в мире с завтраком и небом
а остальное едет на

небрит немыт товарищ дикий
но как подснежник он цветёт
и морд его брадатоликий
не возмущает наш народ

он бог весны в своём районе
чумазый одичавший царь
его приветствуют вороны
и пень любой его алтарь

с луной посередине

это зацветает луговина
иван-чай осот и резеда
лета золотая пуповина
гордая плакучая вода

в небе пучит небеса Колумба
под землёю колумбарий сна
и сосна раскинулась как румбы
старая засохшая сосна

прокричит кукушка на стремнине
зноя уходящего в бега

и стоишь с луной посередине
и найти не можешь берега

Коровин Андрей Юрьевич — поэт, критик, издатель, руководитель культурных программ. Родился в 1971 г. Автор восьми поэтических книг. Руководитель Международного культурного проекта «Волошинский сентябрь», литературного салона в Музее-театре «Булгаковский Дом» (Москва) и других программ. Живет в Москве.

подруга весна

вчера было лето а завтра зима
никак не догонят друг друга
ко мне же весна прикипела сама
подруга подруга подруга

когда зацветает апрель в головах
и стих его весел и звонок
побег как растенье пускает в словах
ребёнок ребёнок ребёнок

и май что беременен тысячью жён
и всем мириадом соцветий
он ливнями света навек обнажён
как дети как дети как дети

пускай медоточат миндаль и сирень
и пчёлы пируют привольно
и каждый цветок попадает в мишень
не больно не больно не больно

портрет незнакомки

она уже и ей не надо
что было замуж то прошло
жизнь продолженье снегопада
где всё уже произошло

сидит усталая пустая
в огнях вечернего метро
жизнь лишь изгнание из рая
в интерпретации кокто

она могла бы быть любима
блистать прощальной красотой
но жизнь увы непоправима
неповторимой правотой

древняя грецкая песня

сидят цикады на сикоморе
поют цикады о синем море
о синем море поют цикады
а мимо волны волхвы дриады

у них в зелёном обличье птичьем
поют цикады по безналичке
поют лавстори на древнегрецком
им подпевает турист совецкий

среди платанов и кипарисов
поют цикады напев каприсов
и бьётся солнце и бьётся море
в цикадный город на сикоморе

жара в июле платок в кармане
кому поверить что не обманет
есть лишь цикады на кипарисе
полдневный стрекот
ни капли риска

юному натуралисту

пусть расцветают лук гусиный
и медуница и ольха
когда идут в растопку зимы
жизнь притягательней стиха

ломая наши представленья
о том что было до весны
из-под земли ползут растенья
корнями новыми сильны

они обучатся трудиться
дышать и пить
расти и петь
и будут звери или птицы
в глаза их дерзкие смотреть

а человеческий детёныш
нарвёт себе лесной букет

ты лес
и ты от боли стонешь
но для бессмертных
смерти нет

жизнеутверждение

ты уверен что жизнь по тебе
и что где-то на кромке прибоя
при умеренно малой ходьбе
ты увидишь такое
такое

сердолика закатного глаз
янтаря набежавшую пенку
жизнь когда это здесь и сейчас
а не завтра не вместо
не в стенку

всё твоё достаётся тебе
не твоё тебе нет не досталось
так играй на судьбе на трубе
на траве
что под нами слежалась

ты по кромке прибоя идёшь
ты сжимаешь находки в ладони
жизнь полна когда ею живёшь
бесконечно
бессрочно
бездонно

Валерий Былинский

Заколдованный

Рассказы

Живые

С сумками и заплечными рюкзаками, в которых лежат складные мольберты, поцарапанные этюдники, карандаши, краски, листы бумаги, они выходят из своих квартир. Зимой, в сильные морозы, их становится меньше, но к весне они появляются вновь, почти в том же количестве.

Бывает, за прошедшую зиму кто-то из них умирает: от старости, инсульта, водки, тоски.

И тогда, если об этом узнают, ушедшего поминают. Вечером, после работы, или даже до работы (так ведь еще злей, веселей), они пьют, сидя на рыбачьих раскладных стульчиках, дешевое вино или крепкую водку.

Однажды летом, когда вот так же пили, к ним подъехала патрульная машина, вышел сержант, небрежно спросил:

— Так, пьете?

— Пьем. Уже двадцать лет, как пьем. А что? — уставились на него бородатые, хмуро-кислые лица.

— Ладно, Вань, это ж художники, — махнул из машины напарник сержанта, — Сына нарисуете?

— Приводи, командир.

Машина уехала. Продолжили поминать.

И я — вспоминаю.

Валерий Былинский родился в 1965 году в Днепропетровске. В 1997 году окончил Литературный институт имени А.М.Горького. Дебютировал с рассказом «Риф» в журнале «Новый мир» (1995). Роман «Июльское утро» в 1997 г. получил первую премию «Новое имя в литературе» в российско-итальянском литературном конкурсе «Москва-Пенне». Рассказы печатались в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Литературной газете».

Роман «Адаптация» (2011) номинировался на премию «Национальный бестселлер» (лонг-лист) и на премию «Русский Букер» (лонг-лист). В 2015 году стал лауреатом литературной премии «Ясная Поляна» в номинации «Детство. Отрочество. Юность» за книгу «Риф», в которую вошли повесть и двенадцать рассказов.

Живет в Санкт-Петербурге.

Это ведь сейчас, только в последние десять-пятнадцать лет, они, арбатские уличные художники, стали умирать. А раньше смерти на Арбате не было. Хотя и умирали, конечно, как и все люди на земле, — но не было.

В 1988 году я, наглый, драгоценный юноша восьмидесятых, впервые пришел на эту улицу с этюдником на плече. Сел — и стал рисовать. Вальяжно, легко, слушая в плеере Heep и LedZeppelin. Черно-белый портрет стоил тогда десять советских рублей, цветной — пятнадцать, двадцать. Месячная зарплата моего отца, главного инженера, была сто семьдесят. О какой смерти могла идти речь? В день на портретах я зарабатывал рублей шестьдесят-восемьдесят. Некоторые из нас за три-четыре года покупали квартиру. Я менял шмотки, таскался по миру. Как и вся наша новая страна, мы были начинающими. Надеялись, что скоро наступит всеобщий...

Хочется написать лохматые три буквы вместо трех райских.

Он и наступил — не сразу, конечно. Как всегда, во время взросления, с насильственным выламыванием из души чего-то простого и важного, того, о чем ты стесняешься вспоминать, но о чем позже грезишь, потом плачешь, а потом теряешь это навсегда.

Повзрослел и Арбат.

Кто-то, «поднявшись» на портретах, перешел в престижный дизайнерский бизнес. Кто-то, посчитав, что на улице рисовать теперь стыдно, начал писать актуальные картины и продавать их в галереи. Оставшиеся на улице разделились на два лагеря. Одни стали впаривать прохожим сериалы и мыльные оперы в виде вылизанных под гламурные фото портретов. Другие рисовали небрежные авторские портреты «не для всех». Хотя и у тех и у других получалось — для всех. Первые получали в месяц, как сегодняшние главные инженеры. Вторые зарабатывали только на пиво, гамбургеры из Макдональдса и проезд в метро.

Шатаясь между первыми и вторыми, я возненавидел Арбат. И однажды, найдя наконец высокооплачиваемую работу, я сделал то, о чем мечтал: на глазах удивленных коллег зашвырнул свой раздолбанный этюдник вместе с продавленными рыбачьими стульями, пастелью и карандашами за стену Мира, возле которой мы рисовали в последние месяцы. Я сделал это в торжественном отчаянии, зная, что никогда не вернусь на эту панель.

А за день до этого один из самых тихих арбатских художников — Виктор, Витька, Витек (тут всех, невзирая на возраст, называют просто по имени), лет шестидесяти, бедно одетый, похожий на русского Ван-Гога, сказал мне и еще двум нашим друзьям, Саше (который сильно любил теории рисования) и Ромке (который любил читать стихи Хлебникова):

— А давайте нарисуем друг друга.

— Зачем? — не поняли мы.

— Ну как же, — пояснил он, — а вдруг мы скоро умрем?

Мы задумались, погрустнели, пожали плечами. Но так и не нарисовали друг друга.

А потом — мы умерли.

Я умер в нефтеперерабатывающей компании, куда устроился актуальным дизайнером за пару тысяч долларов в месяц. Мои друзья вместе с Витей скончались, как мне рассказывали, кто где. Кто в чужих странах, кто в картинках с выставки каких-то сайтов и офисов, кто в переходе метро перед

стаканчиком для подаяния или на русской коммунальной кухне перед стаканом тоски.

А потом...

Великим дизайнером я не стал, художником тоже. Квартиры не купил, с работы сократили, жить стало не на что. У знакомого я выпросил старый этюдник и пару ржавых складных рыбачьих стульев. Срисовал из журнала портрет какой-то ужасающе улыбчивой модели — и вышел, дешевый сорокалетний мальчуган образца 2000-х, на улицу, с сумкой на плече.

Сел, стал уговаривать прохожих нарисоваться. «Стоимость портрета — один бизнес-ланч!» — обращался я к проходящим. Но почти никто не садился.

Мои умершие товарищи тоже оказались здесь. Живые. Ромка почернел, потерял половину зубов, у него родилась дочь, и он по-прежнему знал Хлебникова наизусть. Саша обрюзг, оброс бородой, редко бывает трезвым, его улыбка сквозь белую бороду светится, как у Санта-Клауса на детских картинках. А Витька — наш помолодевший Витька-Ван-Гог — прожил последний год в Индии. Собрал деньги на самолет и полетел, питался фруктами, спал в лесу и пещерах, изредка за деньги или еду рисовал туристов. Сколько ему сейчас лет? Семьдесят? Восемьдесят?

Мы выпили — за встречу, за то, что живы.

— Скажи, в чем секрет? — сурово спросил я Виктора, совсем как буржуин допытывался когда-то у Мальчиша-Кибальчиша.

— Я скажу тебе, в чем, старик... — возник перед нами восторженный, с пушистой бородой толстый Саша. — Надо так подточить карандаш, — говорил он взахлеб, взмахивая руками, — чтобы у него живот круглый, выпуклый снизу был... Понимаешь, живот! И вот этим животом карандашным, нежно так, надо рисовать. Гладить, именно гладить бумагу, тогда линия бархатная становится и в воздух уходит, растворяется... Рисунок живой. Понимаешь, понимаешь, живой! — обнимал он меня и падал вместе со мной, потому что, как и я, сильно напился.

Я понимал.

Мой живущий в Канаде двоюродный брат (бросивший пить и ставший отличным руководителем отдела продаж в какой-то компании) шлет мне частые электронные письма о том, как все плохо в России, потому что мы не следуем завету Чехова по капле выдавливать из себя раба.

Рабы — это да, это понятно.

Но может, надо выдавливать господина?

Русская мысль, не правда ли? Абсурдная, смешливая, какая-то рабская, что ли.

Ну да ладно.

Ромка умер глухой зимой, в самый сильный мороз. Когда я, опять на новой удачной работе, в новом пальто и с кейсом с лежащим в нем ноутбуком случайно проходил по Арбату, то случайно об этом узнал. И выпил с оставшимися живыми из грязных пластиковых стаканчиков чистую водку. Все было хорошо. Витя уехал на Огненную Землю. Саша рисует бархатные портреты животом. Солнце встает. Мы читаем стихи Хлебникова и рисуем друг друга. Получается хорошо.

Бомж и женщина

Однажды вечером — как раз ударили сильные морозы — я шел с режиссером одной телекомпании по центру Москвы. Возвращались мы с мини-банкета, где выпивали с коллегами. Поскрипывал снег, мороз был серьезный, я был без перчаток, но руки не мерзли — они вообще у меня редко мерзнут, потому, вероятно, что я родом с юга. Я шел и думал, что вот опять год прошел, и дальше что? Два раза звонила Вика, и оба раза я говорил ей что-то наполовину искреннее и смешное, и она мне тоже что-то весело отвечала. В ее компании сегодня тоже отмечали приближающийся Новый год. Случайно я бросил взгляд вверх и увидел звезды. Их было мало. Может быть, дюжина. Маленькие, они тускло светились в темноте, всем своим потерянным видом передавая ощущение невыносимо огромной бездны, разделяющей нас. Интересно, подумал я, где-то еще, кроме нашей планеты, существуют времена года? Мой спутник — его звали Илья, субтильного вида парень лет двадцати семи, был задумчив и все время как бы слегка улыбался. Это было особенностью его личности: детская, даже глуповатая, улыбка и еще отсутствие всякого желания спорить, доказывать свою правоту. Работая вместе, мы интуитивно пробовали подружиться, но я так и не смог привыкнуть к его мягкому, одинаково бесстрастному ко всему отношению. Да и все-таки мы были из разных поколений. Ссутулившись в своем тонком пальто, Илья шел, опустив голову, и казалось, ничего не видел вокруг.

Мы проходили мимо сверкающего огнями ресторана «Прага», на пороге которого швейцар в шинели с золотыми позументами встречал подъезжающие машины. Сбоку от ресторана, в темноте, на мраморных ступенях какого-то запертого бутика — невидимый тем, кто подъезжал к ресторанному входу — сидел человек.

Внезапно Илья остановился и стал смотреть в его сторону. Я пошел дальше, ожидая, что он догонит меня.

— Серега! — крикнул он мне.

Я вернулся.

— Он же замерзнет, — сказал Илья. — Наверное, сейчас минус двадцать?

Мы подошли к человеку. Это был мужчина лет сорока, в изношенном пальто, в спортивной шапке и с рваным серым шарфом, обмотанным вокруг шеи.

— Эй, вы давно тут сидите? — наклонился к нему Илья.

Мужчина не отвечал, только покачивался взад-вперед. При этом он вроде бы смотрел на нас — и в то же время как бы сквозь нас, куда-то вперед, намного дальше. Сузив глаза, он сцепил на животе руки. Они были как у меня, без перчаток, с темными, почти черными пальцами.

— Замерзнет, — Илья повернулся ко мне, — Надо вызвать «скорую».

Я кивнул. Потом показал на ходящего неподалеку охранника ресторанной автостоянки:

— Может, ему скажем?

— Ага.

Мы подошли к охраннику.

— Вызовите, пожалуйста, «скорую».

— Для кого?

Илья показал на сидящего на ступенях человека.

— А...этот, да он уже часа два здесь сидит.

Охранник отправился к выезжающей со стоянки машине.

Илья покачал головой, вытащил свой мобильный телефон, стал набирать номер. Стал говорить, что на улице возле ресторана «Прага» замерзает человек, а я смотрел на покачивающуюся, словно китайский болванчик, фигуру бомжа.

Фигура бездомного замерла. Я взглянул на часы: одиннадцать вечера. Человек не двигался, но было видно, как шевелятся, живут его глаза. Почти не моргая, мужчина задумчиво смотрел прямо в нас. От него не несло ни алкоголем, ни вонью немытого тела или грязной одежды. Но, наверное, это из-за мороза.

— Вы откуда? — зачем-то спросил я.

Его рот что-то медленно ответил. Невнятно, скорее всего, не на русском. Он напоминал пожилого гастарбайтера: таджика или узбека.

Прошло около получаса. «Скорая», вероятно, застряла в потоках Садового кольца. Илья несколько раз перезванивал, ему отвечали, что да, едут.

Мороз крепчал. Сидящий на мраморной ступеньке человек походил на памятник — настолько он был неподвижен. Иногда, не шевелясь, он говорил что-то на невнятном языке и смотрел сквозь нас. Его черные руки стали еще больше. Илья стянул с него его рваный шарф и замотал им его почерневшие пальцы.

— Подложить бы под него что-нибудь, — сказал Илья, — он же на ледяном камне сидит.

— Ага...

Охранник ходил туда-сюда, как маятник, у въезда на стоянку. Услышав мой вопрос, он посмотрел на меня с хмурым недоумением, пожал плечами и пошел к выезжающей машине.

Я вернулся.

По Арбату мимо нас шел странной, пружинящей, подпрыгивающей походкой человек. Он свернул и направился прямо к нам. Это был парень лет двадцати пяти, с улыбкой во весь рот, в серебристой куртке и в меховой бейсболке.

— Мужики! — сказал он, неестественно улыбаясь.

Мы молчали.

— Мужики! — бодрым голосом, переминаясь на месте, повторил парень, — не подкинете рублей десять-двадцать, немного совсем не хватает.

— Найди лучше нам кусок картона, — сказал Илья со своей полуулыбкой.

— Чего? — улыбка парня стала недоуменной.

— Человек тут замерзает, видишь? Подложить под него нужно.

Парень в бейсболке увидел бомжа, и глаза его округлились:

— Чего? Ну вы...вы вообще... в реале...зачем вам это?

Илья молчал, улыбаясь. Я тоже, но без улыбки.

— Вы приколисты, что ли? Ну вообще... — парень с выпученными глазами покачал головой и, пятясь, исчез в темноте.

— Обдолбаный, что ли, — сказал я. — Ну и мороз, я протрезвел уже. Ты как?

Илья пожал плечами. Мои ноги сильно замерзли. Интересно, сколько сейчас градусов? Минус двадцать, двадцать пять?

— Слушай, — сказал я, двигая плечами, — скажем охране, чтобы показали, где он сидит, и пойдем, а?

Илья пожал плечами, улыбаясь.

Пискнула эсэмэска. Я вытащил телефон. Вика: «Ты уже дома? А у нас еще долго. Целую, мой самый самейший».

Парень в бейсболке резко вынырнул из темноты. В руках он держал кусок картона от ящика для бананов.

— Нет, вы точно приколисты, — восторженно заявил он. — Это позитив, я с вами!

С сияющим лицом парень вручил мне картонку. Мне не хотелось прикасаться к бомжу, но на таком холоде, пожалуй, это не страшно. В самом деле: он оказался твердый, холодный, без запаха. Я и Илья наклонили человека, словно неподвижную статую, и подложили под его зад картонку. Он снова пробормотал что-то на своем языке.

Приехала «скорая».

Из машины вышли мужчина лет сорока и молодая девушка. Девушка, видимо, была главная — высокая, в куртке с капюшоном поверх белого халата, в сапогах на каблуках. Коротко взглянув на застывшего на ступенях человека, она обернулась к нам:

— Это из-за него мы, что ли, ехали? У меня столько вызовов. Нет, мы его тащить не будем.

У нее было красивое, утонченное и презрительное лицо. Она была, как и я, без перчаток, с белыми накладными ногтями на тонких пальцах.

— Вы не давали клятву Гиппократа? — сказал вдруг я.

Девушка окинула меня быстрым темным взглядом, прищурилась и отвернулась:

— Так, сами вызывали — сами и тащите.

Я вдруг представил ее занимающуюся сексом. Длинная, влажная, гибкая. Рвется, душит, сопит. Интересно, как она кричит, когда кончает, звереет? Мне показалось, что я в точности сейчас вижу, как она это делает.

— Давайте, мужики, дотащим его к машине, — кисло сказал мужчина-санитар.

Он и Илья легко подхватили бомжа и повели — я шел сзади и как бы помогал, но больше для вида. Бродягу втиснули в салон «скорой».

— Все равно его из больницы завтра на улицу вытурят, — вяло покривился санитар. — А может, и сегодня, — добавил он, влезая на водительское сиденье.

— А зачем вы приезжали? — спросил я.

Он окинул меня удивленным насмешливым взглядам и промолчал.

Машина уехала.

Мы с Ильей пошли дальше по зимней морозной улице. Я думал о том, что, вероятно, прошел бы мимо этого человека, если бы был один.

Внезапно прямо перед нами из темноты резко вынырнул парень в серебристой куртке и в меховой бейсболке. Теперь он, кажется, действительно сильно поддал или ширнулся.

— Мужики! — подпрыгивая, с ненормальным восторгом выкрикнул парень, — а вдруг это Христос был, а?

— Кто?

— Ну, тот которому мы картонку подкладывали. Помните, у Достоевского «Легенда о Великом инквизиторе»? А мы с вами инквизиторы, ха-ха, мелкие. Как думаете, зачтется мне эта картонка, а? зачтется?

Руки, которыми я прикасался к бездомному, в пути я не засовывал в карманы и не касался ими головы. Дома, не раздеваясь, сразу включил горячую воду, тщательно намылил руки и стал их мыть.

После этого достал телефон и прочитал Викино сообщение: «Завтра в шесть в нашем кафе, да?»

Да, почему бы и нет.

И так далее, и так далее...

Я разделся и влез под душ.

Ночью, перед тем как заснуть, я вдруг представил человека, которого мы отправили на «скорой» в больницу, сидящим в моей спальне. Я его не видел, потому что лежал, завернувшись в одеяло, на кровати и смотрел в другую сторону. Страшно не было — только странно. Я воочию представил, как он сидит сейчас за моей спиной у шкафа на стуле, сложив на животе свои черные руки, и смотрит в окно. Покачивается взад-вперед и что-то тихо, неразборчиво говорит. Будто нарисованный на холсте темными вязкими мазками масляной краски. Мне послышалось, что он молится — на каком-то своем азиатском языке.

Время спустя. Вечер.

Наконец, мы встретились с Викой в том самом «нашем» кафе, что на Пятницкой. Огни, потеплело, предпраздничная суета. По тротуарам идут с покупками люди, летит пухлый радостный снег как из фильмов советского прошлого. Вика ест. Я внимательно, даже чуть завороженно, наблюдаю, как она вкладывает вилкой себе в рот листья салата, как расчленяет ножом лазанью, как прожевывает и глотает куски политого соусом мягкого коржа со слоями мяса. Вика ест предельно аккуратно. Но глядя на нее, я почему-то вижу совсем не ее, а какую-то незнакомую жующую женщину.

— У меня сегодня родители, — говорит Вика, поднося ко рту кусочек еды и посматривая на меня одним глазом.

— А, да...

— Приехали на выходные. Ну, я тебе говорила.

— Да, помню.

— Так что давай сегодня к тебе.

Ко мне? Точно, сегодня суббота, наш с ней день. В этот день у нас по расписанию совместное времяпрепровождение и общая сексуальная ночь.

— Ко мне? Хорошо, — сказал я. — Но как же твои родители?

— А что родители? — удивилась она.

— Ну... они же приехали тебя повидать.

— А! — Вика рассмеялась, — я же взрослая девочка. Могу я поехать к своему мужчине?

— Конечно, — улыбчиво кивнул я.

— Вика.

— Да?

— Знаешь, я тут вспомнил один случай, — сказал я.

— Ага, ну.

— Вчера я шел по Арбату. И увидел замерзающего человека...

— Человека?

— Ну да, человека. Это был бездомный. Бомж.

— Угу, — она отправила в рот кусочек еды.

— Я решил вызвать для него «скорую».

Она ела.

— Ты меня слушаешь? — спросил я

— Да, конечно, — Вика несколько удивленно и в то же время иронично посмотрела на меня. — Так что ты говоришь?

— Я говорю, я решил вызвать для этого человека Скорую помощь.

— А, ну да. И что?...— Вика отпила из бокала красное вино.

— Потому что вчера был мороз, помнишь? Градусов двадцать или больше. Он мог замерзнуть.

— Конечно... — кивнула она.

Я молчал, и она ела. Потом, видимо, почувствовав мое недовольство, Вика положила нож и вилку и посмотрела на меня. Я улыбнулся.

— Но я не вызвал, — сказал я.

Вика расслаблено и с какой-то полуулыбкой смотрела на меня.

— Что? То есть как, почему?

— Да не знаю... Просто не вызвал и все. Решил, что это не мое дело. Да и холодно все-таки было. Я пошел дальше, сел в метро и уехал.

Глядя на меня, она слегка кивнула, затем, взяв нож и вилку, ловко смела все с тарелки, вытерлась салфеткой и снова посмотрела на меня.

— Ну что, десерт? — сказала Вика, — Мне каппучино и нью-йоркский чизкейк. А ты что?

— Я просто каппучино.

— Слушай, — сказал я, когда она почти покончила с чизкейком, — а тебя не удивляет, что я бросил замерзающего человека?

— Что? А, ты об этом. Слушай, ты какой-то сегодня не такой, как всегда. У тебя что-то случилось?

— Нет, все нормально.

— Тогда почему задаешь такие вопросы?

— Какие вопросы?

— Сережа, ты издеваешься? Почему я должна обсуждать, почему ты не вызвал «Скорую» какому-то замерзающему бомжу!

— Но ведь он наверняка замерз. Выходит, я убил его.

Вика явно разозлилась. Ее щеки раскраснелись, глаза засверкали. В такие мгновения она становилась особенно привлекательной — мне нравилось заниматься с ней сексом, когда она такая.

— Блин, ну какой же ты становишься иногда нудный, — Вика сжала руки в острые кулачки. — Ну кого ты можешь убить! К тому же...— она как-то хитро, исподлобья взглянула на меня.

— Что?

— К тому же, может быть, ты все это придумал.

Я выдержал ее насмешливый взгляд.

— Да, — я кивнул, — придумал.

— Ну вот видишь, — Вика улыбнулась и протянула руки, — иди же ко мне. Как я хочу тебя, милый мой. Вот такой, когда ты весь правильный, пафосный, ты мне особенно нравишься...

В машине, едва закрыв за собой дверь, я задрал ее тонкую шерстяную юбку, рванул вниз колготки и погрузился в прохладную, пульсирующую плоть. В какие-то доли секунды мне показалось, что я, словно раб, закован в змеевидные колодки ее ног. Уперев подошвы сапожек в боковое стекло, Вика громко, утробно закричала, несколько раз конвульсивно дернулась и затихла. Ее ноги медленно сползли с меня, словно две мертвые змеи.

— Какое счастье, — сказала она, запрокинув голову, — какое счастье, что тебя вот так могут дернуть в машине, как в фильме. Серега, напиши для меня кино, которому дадут «Оскар», и тогда мы купим с тобой остров и будем на нем жить. Как Марлон Брандо — это же он купил себе остров в Полинезии, да? Мы будем на острове только вдвоем, и клянусь, я не буду тебе изменять. Напишешь, Сережка? Прославься, я умоляю тебя! Ты трахаешься лучше всех, кто у меня был, и я не могу тебя потерять...

На обратном пути тихо шуршали колеса и мелодично вращались счищаю-

щие с лобового стекла снег «дворники». Играло радио. Я подумал, что и черт с тем, как этот год закончился. Будущее мягко укутывало снегом мою, и ее, и его, и всех пустоту, разноцветные блестки наступающего Нового года сыпались со звезд, летели на Землю и прилипали к лицу. Я был внутри теплого моря, выныривать не хотелось. Зачем — если ты научился дышать под водой? Правда, с берега сквозь нежную пелену океана доносились какие-то странные глухие удары — словно кто-то стоял и нудно стучал деревянным молоточком в дверь или в стену. Чтобы заглушить эти звуки, я сделал погромче музыку в радио — и мы двинулись дальше.

Заколдованный

Мне надоело рисовать. Когда-то мне это нравилось, а сейчас как белая горячка, из которой без капельницы не выйти. Или черная. Черная, сажа газовая — отвратительная краска в живописи, я бы ее запретил, но ее производят. Все, что я рисую сегодня — банальность и чушь. Все просто, как было и в 19-м, 20-м веке, и вообще, до начала веков: когда-то у тебя был дар, а потом кто-то из тебя его вынул, выдернул, словно кусок дерна, и выбросил. И ты ничего не можешь сделать. Ты как импотент, у которого вместо члена старая засохшая в краске кисть, которой можно тыкать в холст и палитру, да что толку, все равно ничего не получится.

Но все же я рисовал. Как заведенный, «красил», как говорят между собой художники, свои «картинки». Один и тот же стиль, прием, когда-то легкий и свежий, повторялся, множился, пух, принося деньги и какие-то мутные облачка признания. Я занял свою нишу (ужасное слово): меня выставляют русские и западные галереи, печатают в музейных каталогах, мои работы находятся «в частных коллекциях Москвы, Санкт-Петербурга, Парижа, Рима, Праги...»

Но я-то знаю, что все это чушь.

Вернее, знаю я это нечасто, редкими минутами, часами, а иногда днями, когда начинаются приступы бессилия,и я тогда вообще ничего не могу рисовать. Но потом все проходит. Ведь невозможно долгое время что-либо делать, не любя хотя бы чуть-чуть свое дело. И я, конечно, «люблю». Ха-ха. Точнее, функционирую в каком-то радостном забытьи, накачиваю себя наркотиком успешной жизни, вырабатываю безостановочным трудоголизмом эндорфины счастья, как педальный генератор пускает электрические разряды. Это дает результаты: новые и новые картинки закрашиваются и уходят вдаль по конвейеру бесконечности.

Помогают и женщины. Ведь успех у них, особенно молодых и юных, всегда побуждает схватить холст, отмыть кисти от старой краски, выдавить красок и рисовать, писать, спать с ними, иметь их, брать, побеждать.

«Ты победитель», — так говорила мне одна, двадцатилетняя, сидя на подиуме сплетенной змеей, когда я ее рисовал. В перерывах она сходила с подиума, будто статуя с постамента, и оплетала меня руками и ногами, и мы прямо на полу, на холстах, среди кистей, красок и склянок с растворителем, растворялись.

Впрочем, она чуть презрительно недоумевала, когда у меня начинался очередной спад настроения.

«Ты врешь, — фыркала, — это все слабость. Мужчина не должен быть слабым, это закон. А уж тем более художнику преступно быть хиляком. Иначе

станешь бомжом, нищебродом, как все эти, что на улице портретики рисуют за полбутылки водки. Ты же не хочешь быть таким? Нет. Тогда вставай, иди и рисуй, на хер».

Я знал, что отношения с ней недолговечны. Но не это пугало меня. Я мог бы еще соблазнить двадцать, тысячу женщин, хоть до восьмидесяти лет с ними спать. И картинки я красить свои не перестану — что я, идиот? Я же ничего больше делать не умею и не хочу. Но...

Я вспоминаю.

Да, я, черт возьми, вспоминаю.

Когда-то в детстве, когда я только начинал и ходил в художественную школу, преподаватель учил нас, юнцов, прежде чем начать рисовать портрет или натюрморт, сощурившись, посмотреть на него. То есть велел стать как бы полуслепым, чтобы увидеть предметы, которые ты рисуешь, единым силуэтом, в котором тени и свет, отбросив размытости и полутона, четко занимают свои места.

«Современный мир расколдован, — говорил нам учитель. — Чтобы научиться рисовать, нужно снова заколдовать его, увидеть, каким он был в самом начале».

Тихо, как мыши, мы сидели за мольбертами и старательно рисовали, а учитель, расхаживая между нами, поправлял наши руки с зажатыми в них карандашами и кистями, и вальяжно рассуждал о том и о сем. Он вообще любил почесать языком, особенно, если выпьет.

«Вот говорят, вначале было Слово, — продолжал учитель, — но это не так. Слово было кем-то сказано. Правильно? Перед этим возникла мысль, чтобы его сказать. А перед мыслью что? Чувство, ощущение. Так вот, чтобы создать что-то, надо сначала почувствовать, потом — описать, и только тогда начнется творение. Но что такое описание? Те же линия, рисунок, штрих. Был бы я Богом, я бы всех художников лишил дара речи. Зачем вам языки — если вы умеете рисовать?»

Тогда, в те годы, я заколдовывал миры, и каждый из них был единственным и неповторимым, как моя жизнь.

Где вы, мои детские рисунки?

Однажды я вернулся в город, в котором родился, и отыскал на антресолях родительской квартиры пару завалявшихся акварелей. Картинки оказались детским примитивом. Они полностью остались в том времени. Расколдованные. Все равно, что пытаться влезть в штанишки, которые мама торжественно покупала тебе в первом классе.

Но вечность? Были ли она?

Я видел ее, честно. И даже запечатлел.

Это был промежуток от двадцати до двадцати двух лет. Тогда я заканчивал художественную академию и снимал подвал в Прачечном переулке. Родители продали одну из наших квартир и прислали мне достаточно денег, чтобы я мог не думать о заработке. В подвале рисовать было невозможно, и я ранними утрами выходил на Мойку, писал восходы, дома, мосты, фонари в зыбком туманном мареве, первых прохожих. Забирался на крыши и рисовал Землю оттуда, как с вершины космического корабля.

И у меня получалось. Легко, глубоко, свободно. Будто рвалась мутная целлофановая пленка, и я видел мир таким, каким он был на самом деле: таинственным, чарующим, робким, нежным, плачущим и смеющимся от радости и любви.

Боже, как я тогда жил... Я летал. Утренней, похожей на невскую чайку птицей носился по сонным петербургским улицам. Мне не нужны были деньги, хотя они у меня были. Мне не хотелось пить и есть — я пил прямо из воздуха. Я вообще не думал о зрителях, а думал, наверное....

Боже, тебе нравились те мои работы?

«А покажи мне их», — попросила как-то моя новая анаконда, которой я зачем-то рассказал о прошлых рисунках. Я пообещал и неделю потратил на розыски, привез стопку холстов и картонов в мастерскую, разложил, глянул, и... чуть не заплакал. От удивления, ярости и стыда. Потому что я увидел, что ничего не вижу. Сел на стул и едва сдерживался, чтобы не зарыдать. Теперь и на мне была пленка — мутная, толстая, и я не знал, как ее разорвать. Не было сил. Да и желания. Только память — о том, что что-то когда-то было хорошо...

Боже! А ты что думаешь о нарисованном когда-то тобой мире — был он хорош?

«А знаешь, — сказала кобра, указывая тонким пальцем на один из эскизов моста через Мойку, — вот этот милый. Подари его мне».

Все рушилось. Хотя и не разрушалось. Мои нынешние картинки ничем не отличались от тех, прошлых, потому что я ослеп. Господи, верни мне зрение! После того как змея уползла, я, напившись водки и рома, выбрался на крышу своей мастерской и, как тогда, поставив этюдник, стал рисовать закат над каналами, дома, церкви, птиц и серебристые облака. Но ничего не получалось. Мир не заколдовывался, наоборот, он становился мельче, известней, обычней.

Я разломал этюдник, разодрал холсты. Хотел швырнуть обломки с крыши, но представил, что кого-то это может убить, а мне потом отвечать... Лучше я сам. Сейчас, с крыши. Хотя нет. Это пройдет, ты же помнишь. День-два максимум, и ты снова будешь здоров. Или наоборот, заболеешь. Мои мозги и душа ходили кругами, будто вращались как грязное белье в стиральной машине. Хотелось вынырнуть, в чистое. Где же ты, чистота?

В церкви, что ли?

Я добрел до Никольского собора, он недалеко от моей мастерской. Там шла какая-то служба, но я не обращал внимания. Выбрал икону и стал молиться. Говорил скороговоркой первое, что приходило в голову:

— Господи Боже. Иже еси на небеси... Да услышь ты имя мое, душу мою, Господи Боже. Помоги, а? Я художник — ты тоже художник. Когда-то ты нарисовал наш мир. Написал картину. Ты заколдовал нас — а мы с тех пор все время пытаемся расколдоваться, идиоты. Но мы не виноваты. Так получается, что колдовство у нас объявлено преступным. Тайна смешна. Магия под запретом. Реализм, логика и консервная банка — три наших священных осла. Мы красим картинки, Боже, слышишь — заборы, а не картины! Но я хочу рисовать. Я утратил зрение и не соображаю, что хорошо и что плохо. Верни мне зрение, Бог! Дай хоть какой-то шанс хоть немного побыть снова тем, кем я был, научи снова меня заколдовывать. Понимаешь? Если я снова начну рисовать... я все за это отдам. Слышишь, все! Все, что захочешь. Боже. Эй. Ты слышишь меня? А-а-а-а-а-а! Я здесь, я тут, вот он я. Помоги!

Не помню, как я добрался домой. Как свалился в кровать и заснул. Проспал почти сутки. Снилось мне, что ничего нет. Ни хорошего, ни плохого — ничего. И от этого мне было как-то совершенно никак.

Примерно через месяц я шел по Сенной площади в одну из галерей договариваться о выставке. За час до этого в галерею подвезли мои работы — осталось уладить финансовые формальности. Проходя по подземному переходу,

я зачем-то решил подать милостыню нищему. Подойдя к сидящему на картонке бомжу, перед которым стояла железная банка с мелочью, я увидел, что бездомный странным образом, просто невероятно похож на меня. Да! То же лицо, нос, губы, фигура. Даже пальцы с забившейся краской под ногтями — мои. Только нищий был грязнее, чернее, вонючее. Наверное, он мой двойник — говорят, бывает такое... Завернувшись в старое рваное пальто, бомж сидел, опершись спиной о стену перехода, и вроде бы спал. От него несло дешевым алкоголем. Я сел на корточки и заглянул ему в лицо. Решив удостовериться, что он жив, я дотронулся до его плеча. И в ту же самую секунду бомж открыл глаза. Будто распахнулись бойницы. У него были — мои глаза! Огромные, серо-зеленые, с таким же радужным рисунком в зрачках. Не выдержав его пьяного прожженного взгляда, я вскочил и поспешил из перехода.

На улице, вместо того чтобы идти на встречу в галерею, я вошел в винный магазин, купил маленькую бутылку французского коньяка и всю ее одним махом выпил. Настолько этот человек был похож на меня.

А может... он вообще — я?

От этой мысли холодный озноб пробежал по коже. Как только я об этом подумал, бомж вышел из перехода и замер, озираясь, с жестянкой в руках. Мы столкнулись с ним взглядами. Бездомный быстро отвернулся и направился, хромая, в сторону канала Грибоедова.

На ватных ногах, весь дрожа, я двинулся за ним.

Он пересек мост через канал и свернул в Столярный переулок.

Я следом.

Скрывшись в одной из подворотен, бомж вынырнул из нее с бутылкой какого-то пойла в руках, которое, вероятно, купил на собранные в переходе деньги. Отхлебнув из бутылки, он оглянулся — я вовремя спрятался за угол дома.

Засунув бутылку в карман, он двинулся дальше, к Мойке. Вскоре мы уже шли по тому самому Прачечному переулку, в котором я когда-то снимал жилье. У меня закралась странная мысль: а что если мой опустившийся двойник спустится сейчас в тот самый подвал, где я жил? Но бездомный прошел мимо и вдруг резко свернул в арку на другой стороне тротуара, пролез в приоткрытую решетку ворот и исчез. Я заглянул сквозь решетку — никого. Тогда я тоже протиснулся в ворота и очутился в мрачном дворе-колодце. Меня окружали облезлые серо-желтые стены, в которых зияли черные провалы окон.

Я заглядывал в подвалы, откуда несло невообразимой вонью, поднимался на верхние этажи. Дом, вероятно, подлежал сносу: он был с покосившимися стенами и трещинами, с обваливающимися балконами. Но моего меня нигде не было. Когда, уже совсем отчаявшись, я готов был прекратить поиски и вернуться, я увидел незамеченный ранее след грязного ботинка перед входом в одну из дверей. Я потянул дверь на себя. Она открылась.

Я вошел. Миновав прихожую, оказался в комнате, в которой стояли покрытые пылью и грязью шкафы, стулья, кресла. На стенах и потолке местами сохранилась лепнина. Обои почти везде сорваны со стен и висели клочьями. В углу неработающий камин. Рядом с камином, на участке голой стены, я заметил нечто, что заставило меня замереть. Это был рисунок, чем-то напоминающий наскальные изображения древних, пещерных людей. Частью процарапанный на стене, частью нарисованный коричневой и красной краской. Я приблизился. Это был портрет какого-то ангельски прекрасного существа с глубокими удивленными глазами, тонкой линией контура лица и тела и волосами,

напоминающими лучи света. Человек-солнце. Подойдя вплотную к картине, я почувствовал запах экскрементов и крови и понял, что использовалось вместо красок. Автор рисунка лежал чуть поодаль, за стопками старых журналов и книг, на продавленном матрасе. Его руки были в крови и в кале, он дергался в конвульсиях, изо рта шла пена. Рядом валялась пустая бутылка.

Я вызвал «скорую».

Увидев, в каком состоянии находится бомж, врачи побрезговали нести его в машину, но я дал им денег, и они затащили его в салон. В больнице я тоже заплатил медперсоналу. Через некоторое время врач вышел ко мне и сказал, что больной — никто не узнал его имени — отравился некачественной водкой, ему сделали промывание желудка, приняли все меры, но пока трудно сказать, какой это даст результат.

Я поблагодарил врача и направился по коридору к выходу из больницы. Проходя мимо палаты, в которой лежал бездомный, я остановился, потому что увидел выходящего из палаты медбрата с ведром воды и шваброй в руках. Решив, что нужно и ему дать денег, чтобы он присмотрел за моим подопечным, я тронул медбрата за рукав и, протянув купюру, высказал свою просьбу.

— Да на хер мне твои деньги, — морщась и глядя куда-то в пол, брезгливо бросил медбрат, — ты мне лучше скажи: меняешься?

— Что? — не понял я, — о чем вы?

— О том, — медбрат недовольно повернулся ко мне, — что ты просил тогда в церкви, помнишь?

— Я?

— Ты. Забыл?

— Нет... Не забыл, — сглотнул я тугой комок.

— И что решил — становишься им? Рисовать будешь по-настоящему, как и хотел. Ну?

Я молчал, не в силах выговорить ни слова.

— А, что... — наконец выдавились из меня звуки, — надо... сейчас ответить?

— А когда же? — медбрат, куснув губу, недовольно оглянулся, — давай, поц, решай быстрее, мне пол еще мыть.

— Скажите... а что будет, если я... откажусь?

— Что будет, что будет... — медбрат пожевал губами, и мне показалось, что он сейчас сплюнет на пол. Но не сплюнул. — Сдохнет он, — пояснил медбрат. — Ну?

Я вздрогнул и медленно покачал головой. И услышал, словно издали, свои слова:

— Я... не могу.

— А, ну как знаете — перешел вдруг на «вы» санитар, нагнулся к ведру, достал тряпку, сильно выжал ее обеими руками и швырнул на пол. Затем ткнул в тряпку шваброй и, согнувшись, начал энергично тереть покрытый линолеумом пол.

— Погодите. Вы... вы... — я пошел за ним следом и коснулся его плеча.

— Что вам нужно, мужчина? — поднял тот голову.

— Мне... Ничего.

— Ну раз ничего... Время посещений закончилось. Или вы что-то хотели?

— Нет...

Медбрат стоял, опираясь на швабру, и с каким-то изучающим неудовольствием оглядывал меня, ожидая, по-видимому, когда я исчезну.

Я кивнул с глупой полуулыбкой, зачем-то сказал «спасибо», повернулся и пошел к выходу.

Андрей Грицман

Пока по времени летишь

* * *

Я хотел рассказать тебе наше житьё-бытьё
вчера, сегодня, а ты говоришь — не вынести.
Тогда я включил волшебный фонарь и всё
осветилось: цвета побежалости,

в саже перрон, последний вагон в инее,
местность — в провал, под откос убегающая.
А ты говоришь: родной, Боже мой,
куда же ты делся? по вагонам,
на перроне остался?

А я говорю: пошёл я домой,
туда, где, мол, ждут,
в тридевятое царство.

А ты говоришь: кто же ждёт тебя, кто?
Я же одна могу это вынести.
Вот — твой окурок, шарф, пальто,
папка в углу неоконченной повести.

Не до повести, тающий звук
ведёт за предел беспредельной точности.
Издали — всплеск говорящих рук
и темнота обесточенной вечности.

Андрей Грицман — поэт, эссеист. Кандидат медицинских наук. С 1981 г. живет в США. Пишет по-русски и по-английски. В 1998 г. закончил литературный факультет Университета Вермонта со степенью магистра искусств по литературе. Автор нескольких книг стихов и прозы на русском и английском языках. Главный редактор и издатель журнала INTERPOEZIA.

* * *

Ничего не осталось.
Лишь июньская пухом метель.
Ещё пару пивных да трамвая кольцо за заставой.
Да в заросших дворах над площадкой
футбольная пыль.
Ну а что мне ещё? Слава Богу, что это осталось.
И кому там понять, кому вспомнить, кому загрустить.
Нет, не детство, не юность, всё мимо.
Голубятня сгорела, потерялась суровая нить.
И покрыт чешуёй мёртвый пластик четвёртого Рима.
Ничего не осталось.
И кому там в захлёбе понять.
Белый город покрасят
Мелкой сетью охранных надзоров.
Но свободна моя
по бульварам бредущая память.
Только следом летит
незамеченный в сумерках ворон.

Яма

Анатолию Головкову

Официант поставит кружку деликатно.
По высшему разряду, еле слышно.
А по утру похмелья клин нещадный,
и даже лёгкий звук — ударом страшным.

Но мрамор столика под кружкой стынет.
Официанта Сашу за фарцу и прочее
из Метрополя в Яму опустили.
Потом без Саши Яма обесточена.

За 20 коп. автопоилка пенисто,
затем ещё жетон — и кружка полная.
За рубль гардеробщик — за «Московской»
и в наших душах кружка та бездонная.

Актёры роль зубрили, барды плакали,
художники сарделькой в долг обедали.
Из Ямы парни уходили в армию,
туда же возвращались после дембеля.

Прощай, Москва, пельменная, пивбарная,
и подворотная, подъездная, морозная.
Базарная, дворовая, бульварная,
вокзальная, зенитная, безъямная.
Безъямная, жетонно-телефонная,
родная, трёхвокзальная, бездомная.

* * *

Галине Климовой

Не копи в себе одиночества.
Разменяй его на углу.
Не запомнит никто твое отчество,
морду в зеркале поутру.

Одиночество — бескорыстное,
это — боль в душе иль в груди.
То ночное, а то воскресное.
Твоя тень бредёт позади.

И она навсегда приручена,
словно старый последний пёс.
Отнимает она твоё творчество.
Но и сам ты уже прирос

к этой тени, идущей заживо
по асфальту чужих столиц.
Но ведь кто-то ж меня отслеживает?!
Тоже — из «перемещённых лиц».

* * *

Льеж — Нью-Йорк.
Нальёшь по последней.
Шарф на горло повяжешь — пока.
По дороге в Нью-Йорк собеседники —
бесконечные облака.

Но француженке рядом не спится:
облучение от меня.
В темноте будто светятся лица
от тоски и немого огня.

У окна разберу свои вещи —
от Москвы до окрайных углов.
В этой зоне и воздух разрежен
и неслышны призывы гудков.

Но туда мне и визы не нужно.
Я пройду незаметно сквозь строй.
Неопознан, необнаружен,
пока длится отмеренный срок.

Где же ты? Может быть, уже дома?
Где мой дом? Там, где куришь одна.
Может хватит глотка кислорода,
чтоб коснуться небесного дна?

* * *

Сам себя вдруг спросишь: а зачем?
Он ответит — карма, что поделаешь?
То есть я тут вроде ни при чём.
Кофе, на работу, спишь, обедаешь.

Говоришь с пустыми долго о простом.
Но подспудно светит эта невидаль:
даль необозримая да лес вдали густой,
как у Бунина за сёлами и бедами.

Словно Белозёрский монастырь,
память ставит вехи побелённые.
Поезд пролетел, на луг осела пыль,
зазвенели сосны отдалённые.

Так и не ответил на вопрос зачем.
Но пора уже идти, и вот, на выходе
долг отдашь и пропуск, форму, честь,
и шагнёшь в окно, вздохнув, на выдохе.

* * *

Пепельные капли на стекле
Трубка на столе погасла
Где-то ты летаешь на метле
Я скучаю в кресле
Ты пока по времени летишь
Я в пространстве вещи собираю
В том саду где кущи и хвощи
О тебе я песню сочиняю

А на самом деле никогда
Не избыть и мне такого чувства
Когда тихо говорит судьба
И замолкнул барабан искусства

Всюду безобразье и война
Нас с тобой спасёт борьба с идеей
Как прозрачна в воздухе весна
Над пустыней в дальней Иудее.

Александр Хургин

Три рассказа

Путь

Сидел Серый практически лежа. Особенно последние годы. Когда был в бараке паханом. А что лежать ему приходилось на нарах, так это издержки времени и места. Нары у него, кстати, покрывал ортопедический матрас за триста евро. И простыню шныри меняли на чистую раз в неделю. Шнырей в своем бараке Серый называл камердинерами. И если ему что-нибудь от них было нужно, он просто орал из положения лежа. Продвинутые зеки окрестили этот ор гласом вопиющего в постели. В общем, жизнь Серому портила всего одна вещь. Как он удачно шутил, 17 марта 2001 года его должны были выписать. Откидывался он, значит. Естественно, без шнырей — у них свои сроки, — а главное без матраса. Притом, что у Серого была грыжа диска. И без матраса он никак не мог бы жить. Получится ли добыть такой матрас на воле и будут ли для этого у него средства, Серый не знал. Сомневался он, что будут. Воля не зона, там свои законы и свои паханы: молодежь, для которой Серый — хрен с бугра и больше никто. Причем бывший хрен. Это в кино отсидевших гангстеров встречает у ворот зоны шестисотый мерседес, набитый друзьями и девками, со всеми вытекающими последствиями. А в жизни все не совсем так бывает. Да и какой из Серого гангстер. Вор он в свое время был приличный. Пока из безвыходного положения не завалил двоих. А потом, отсидев, еще одного. Спьяну и сдуру. Так что встречать его по большому счету на воле было некому. И матрас, даже если это удастся, взять с собой некуда.

На жен — коих было у него две, причем одновременно — Серый никаких надежд возложить не мог. Первая на третьем году его второй ходки сказала, мол, все, пожили и будет. Тебя сколько ни жди, все равно не дождешься. А вторая и того хуже учудила. Померла. Кто говорил, от несчастной любви, кто — от передоза. Точнее никто не знал. Да точнее и не нужно. Потому что, когда это все было и какая разница — от чего.

Детьми обзавестись Серый тоже не удосужился. По молодости гулял себе и ни о чем не думал. А потом — тридцать семь лет на зоне. В общей сложности.

Александр Хургин родился в 1952 году в Москве. Большую часть жизнь прожил на Украине. С 2003-го живет в Германии. Автор десяти книг прозы, лауреат нескольких литературных премий. Рассказы переводились на немецкий, французский, английский, испанский, венгерский и другие европейские языки. Последняя публикация в «ДН» — «Рассказы разной длины», № 11, 2014.

Больше половины на строгом режиме. Некогда было ему детей делать и воспитывать.

Нет, на воле, конечно, ему тоже жить доводилось. И после первого срока, и после второго, и после третьего. Лет восемь-девять, пожалуй, вольных у него в биографии наберется. А может, и больше. Но как-то не сложилось у Серого с детьми. Не состоялось. А теперь уж и не состоится. По ряду понятных причин. Ортопедический матрас, он для другого предназначен. И доктор их лагерный говорил, что без матраса Серому не жить. А доктор зря говорить не станет. Доктор у них голова. Он все лагерное начальство от болезней лечит. С семьями, друзьями и знакомыми. Благо, срок у него серьезный — на их век хватит.

Доктор этот, к слову, Серого и надоумил.

— С вашей фамилией, — сказал, — Сергей Иосифович, я бы лично уехал. Потому что жить, может, и нужно на родине, но доживать лучше в европах. Там и соцзащита, и медицина, и уход. Там даже сидеть, говорят, гораздо приятнее, чем здесь. И тот же матрас. Ваш, например, немецкого производства. Отличная вещь.

— В смысле? — не понял Серый. — Где сидеть? Куда уехал?

— На Запад, — объяснил доктор. — Проще всего, в Германию.

— И что ж я там буду делать? — спросил Серый.

— Что все в вашем возрасте делают, — сказал доктор. — Заодно мир посмотрите.

«Дался ему этот возраст, — думал Серый. — Семьдесят один год всего. Да если б не грыжа диска...»

Но идея посмотреть мир Серому понравилась и запала в душу. В сущности, что он в жизни видел? Кроме зоны. Ничего он, кроме нее, не видел. Тоже, конечно, немало — немало, да не все. Далеко не все.

А фамилия у Серого была Шлафман. Во всяком случае, по отцу. Которого Серый, наверно, встречал в раннем детстве, но забыл с тех пор совершенно. А всех Шлафманов, как выяснилось, Германия принимала в те годы с распростертыми объятиями, и они могли жить в ней на всем готовом. Зачем они ей сдались, Шлафманы, понять невозможно, но принимала. Это факт известный и сомнению не подлежит. Правда, справку о судимости Германия зачем-то требовала. Об отсутствии или о наличии — неважно. Лишь бы справка. И Серый выстоял две очереди в какую-то ментовскую контору, как последний лох. Сначала, чтобы подать запрос, а через месяц, чтобы упомянутую справку на руки получить.

Когда же Серому прислали приглашение, он подумал: «Наверно, немцы ее не заметили, справку мою. Да точно не заметили. Иначе б...» Причем приглашение пришло Серому всего через полгода. А люди и по пять лет прекрасно ждали.

И все это время, до самого отъезда, кантовался Серый у своей сестры. Полуродной. В смысле, родной, но лишь наполовину — по матери. Отец у сестры был другой, посторонний. Его Серый тоже не знал.

Оттого что Серый у нее поселился, сестра в восторг не пришла. Но выгнать не посмела. Не потому, что брат и какой-никакой родственник, а потому что страшно было его выгонять. Рецидивист же. Хотя и старый совсем. Особенно страшно было почему-то видеть его руки. С татуированными на пальцах перстнями. Да и весь он был страшноватый какой-то — с головы до ног. Хорошо еще, что денег давал — на питание и прочие расходы. Все же преступный мир не бросил его на произвол судьбы по старости и немощи. Платил ему что-то за выслугу лет. Хотел Серый и пенсию себе оформить. От государства. Но не успел. Уехал. А так бы он и пенсию сестре отдавал. Не жалко.

В Германии все сначала пошло у Серого хорошо. Его поселили напротив церкви, в комфортабельном публичном доме, перестроенном под общежитие. В отдельной комнате с душем и удобствами. И вокруг общежития красота такая, как в сказке. О людях, правда, Серый ничего узнать не успел. Близко познакомился он только с социальным работником по фамилии Горвиц. Так как этот Горвиц его по прибытии курировал. Он его и в банк водил, и на рентген, и к врачу. Чего, может, делать и не стоило. Поскольку врач нашел у Серого множество заболеваний, плохо совместимых с нормальной жизнью. Грыжу диска, гипертонию, сердечно-сосудистую недостаточность. И даже гепатит хронический с какой-то еще буквой на конце обнаружил, а также и туберкулез. Что хорошо, форма у его туберкулеза была закрытая. Для других не опасная. Но мир посмотреть со всеми этими находками Серому, похоже, не светило. Не до миру ему с ними стало, совсем не до миру. Тем более, узнав о своих неизлечимых недугах, он как-то сник. И, как по команде, начал дряхлеть.

Его клали в немецкие больницы и в них лечили. Он лежал там, как перст, не понимая ни слова. Спасибо, иногда приходил Горвиц и все ему переводил. И им тоже переводил. Если что.

Полечив, Серого выписывали, и он уезжал на такси в свой публичный дом. Поскольку деньги за такси государство возвращало. Горвиц что-то заполнял, и они приходили на счет. А через время Серому опять становилось плохо, и его опять клали в какую-нибудь больницу. Где ему было хорошо: чисто, сытно и уютно. Все улыбались, хоть больные, хоть здоровые. Даже уборщицы улыбались, чего вообще не бывает, даже врачи...

Жаль, несмотря на их улыбки и высокий профессионализм, спасти Серого так и не удалось. Со всеми его старыми болячками немецкая медицина совладала, а новая оказалась совсем уже ни в какие ворота. От нее Серый и умер. Быстро умер. Не успев, можно сказать, оглянуться. И мир посмотреть — не успев.

На кладбище Горвиц привел десять старых евреев (включая себя), чтобы создать миньян и чтобы можно было за Серого как положено помолиться. Евреи, хотя при жизни Серого в глаза не видели, пришли. И раввин местной синагоги родом из Марокко прочел традиционный кадиш. Правда, по-немецки. Так что Серый бы его не понял.

Работники погребального института «Амброзия» на специальной тележке выкатили гроб из зала для прощаний и повезли по дорожке к могиле. Десять евреев и раввин родом из Марокко потянулись следом. На месте Горвиц вышел из рядов и торжественно произнес: «Сергей Иосифович Шлафман прошел славный жизненный путь от дня рождения до дня смерти»...

Что еще можно сказать о Сером, Горвиц не знал.

Звезда и точка

На доме, где живет старый Натансон, кто-то нарисовал звезду. Большую и шестиконечную. И точку рядом поставил.

Натансон вышел утром в булочную и рисунок увидел. И, конечно, не обрадовался. Как он мог обрадоваться, если и дед его, и бабка, и несколько их родственников эти звезды на себе носили. Правда, желтые, и недолго. Может, с месяц. Десятого октября они все уже лежали в овраге. В районе днепропетровского ботсада. А сам Натансон, можно сказать, от одного-единственного

антисемита сюда сбежал с женой Раей. Был у него такой сосед в Красково Московской области. И совсем не для того сбежал, чтобы ему на доме такие звезды рисовали. С точками.

Что эта звезда должна была означать, Натансон точно не знал. Но он догадывался, что она могла означать. Этого было достаточно. И особенно ему не нравилась точка. Намекавшая на окончательное решение известного вопроса. Нет, возможно, Натансону это только казалось. Что точка намекает. Возможно, босяк-художник просто так ее поставил, чисто автоматически по привычке, без всяких прозрачных намеков. Тем не менее все это очень Натансона расстроило, и он купил не те булочки, какие нужно. Чего даже не заметил. Потому что мысли его были всецело заняты звездой и точкой.

— Что ты принес, несчастье? — сказала Натансону Рая. — Это же рыжие булочки. Мы их не едим.

Натансон вышел из задумчивости вовне, сказал «ну рыжие» и опять глубоко задумался.

— Лучше бы ты смотрел глазами, когда покупки делаешь, вместо думать черт знает о чем.

На это Натансон сказал:

— Пока тебя не устраивают булочки, на доме намалевали шестиконечную звезду. С точкой.

— Какую еще звезду? — не поняла Рая.

— Черную, — сказал Натансон. — Пока черную.

Чай пили молча. После чая Натансон сказал:

— Надо писать наверх.

— Куда? — испугалась Рая.

— Бургомистру. — Рая схватилась за голову. — А копии — в полицию, в газету и Ангеле Меркель.

— Совсем рехнулся, — сказала Рая. На что Натансон отвечать не стал. Не счел нужным.

Он ушел в свою комнату, обложился словарями и учебниками немецкого и стал писать черновик. К обеду текст был готов. Начинался он: «Сим ставлю Вас в известность», а заканчивался, как тут принято: «С дружеским приветом». Оставалось напечатать его на компьютере и отправить по адресам.

— Как думаешь, — спросил Натансон, — отправлять мейлом или per Post?

— Мейлом дешевле, — сказала Рая.

— А per Post надежнее, — сказал Натансон. — Давай конверты.

Он включил свой «Пентиум», привезенный еще с родины в две тысячи первом году, и аккуратно, указательными пальцами, набрал текст письма. Дважды проверил ошибки и распечатал на принтере четыре экземпляра. Надписал конверты, вложил в каждый по письму, заклеил. Еще раз хорошо подумал и отправил текст мейлом тоже. На всякий случай для гарантии. А после обеда сходил на угол и опустил конверты в почтовый ящик. И сразу же стал ждать ответа.

Все четыре адресата Натансону ответили. Официально. Мол, сообщаем, что письмо ваше успешно получено и будет обработано так быстро, как только возможно. С дружеским приветом. Кстати, ответили ему как почтой, так и мейлом. Тоже, видимо, на всякий случай для страховки. Жаль, «быстро» — понятие растяжимое.

И выходил, значит, Натансон каждое утро из своего дома на улицу имени

Барбароссы, выходил и — видел звезду. И точку. Видел, но терпел. Потому что ему же практически обещали принять срочные меры. И он верил, что раз обещали принять, значит, примут и, может быть, прямо сейчас их уже принимают. Хотя «обработать письмо» и «принять меры» — вещи разные. Но Натансону хотелось думать, что это одно и то же. Тем более, местная городская газета напечатала фотографию звезды и под ней философский вопрос: «Что бы это значило?» Чем внушила Натансону дополнительные надежды, а надежды умирают последними. Хотя и они умирают. В общем, кончилось у Натансона терпение быстро. Кончилось, можно сказать, не начавшись. И он решил бороться. Несмотря на свои скромные силы и средства.

В строительном магазине «ТООМ» купил Натансон банку растворителя и малярную кисть. И под покровом ближайшей ночи звезду с фасада удалил. Оставив на ее месте сырое расплывчатое пятно.

— Пятно я потом закрашу, — сказал себе Натансон. — Краску подходящую подберу и закрашу. А пока пусть так.

Спалось в эту ночь Натансону как никогда. Крепко спалось. Он даже не храпел. Отчего Рая всерьез беспокоилась за его жизнь. И утром в булочную шел Натансон с чувством выполненного ночью долга и в приподнятом донельзя настроении. Которое исчезло, стоило ему выйти из подъезда.

Звезда была на месте. И точкапосле нее стояла еще более жирная, чем раньше.

При виде этой точки у Натансона начали подрагивать руки. И губы тоже начали подрагивать. И он вернулся домой без булочек.

— Как же так? — беззвучно шептал Натансон. — И главное — когда? Когда успели?

Рая ничего не сказала Натансону. Сходила за булочками сама. А он завтракать не стал. И обедал как-то невнимательно. Все опрокидывая и роняя. А ночью, естественно, он снова вышел на борьбу со звездой. И снова ее удалил. Но утром все повторилось. То ли звезда была заколдованной и сама проступала сквозь краску, то ли неизвестно.

И Натансон сказал жене Рае:

— Пойду пройдусь. Чего-то мне душно тут, взаперти.

Он вышел и пошел без цели — шаркая и глядя по сторонам. И обнаружил такие же звезды на некоторых других домах. «Может, это они метят места, где мы живем?» — подумал Натансон. Но на телефонном распределителе, и на почтовом ящике, и на афишной тумбе, поверх какого-то знаменитого лица, тоже были нарисованы звезды. И точки везде проставлены.

Натансон потоптался возле тумбы, вгляделся в зачеркнутое лицо гитариста. Судя по фамилии, Бонамасса вряд ли был евреем. «Домой. Надо идти домой».

Дома Натансон схватил растворитель, кисть и тряпку, устранил с пути Раю и убежал. Чтобы бороться со звездами до победы, не на жизнь, а на смерть. И наплевать, что на глазах у всех. В конце концов, дело же хорошее, а не плохое. Поэтому-то никому и в голову не пришло, что Натансон стирает звезды по собственной инициативе. На него просто не обращали внимания. Работает человек — и слава богу. Наводит установленный порядок. Правда, на четвертой или пятой звезде к Натансону подошла старушка:

— Вас, — спросила, — муниципалитет прислал?

— Да, — соврал Натансон от неожиданности.

— Сотрите тогда и с нашего дома.

Старушка отвела Натансона за угол, и он увидел на цоколе размашистое

слово из трех букв. Тоже с точкой. И обрадовался ему, как родному, — все-таки это не звезда. Несмотря на то, что с точкой.

Только радость Натансона продолжалась недолго. Потому что в тот же буквально миг он увидел и звезду. На автомобиле типа «пирожок». Прямо на его будке. Причем «пирожок» не стоял, он ехал. Медленно, как предписывал знак, и все-таки. «На автомобиле-то что это может означать? Автомобиль тут при чем?» Натансон бросил старушку на произвол судьбы и двинулся следом за «пирожком». Потом побежал за ним трусцой. Слава богу, «пирожок» остановился на светофоре. Натансон догнал его и стал стучаться в стекло.

— У вас звезда, — кричал он водителю, жестикулируя, — у вас на будке звезда.

Водитель пугался странных его жестов и ничего не понимал. Немцы вообще не очень хорошо понимали Натансона. А тут еще стекло. Натансон бился в него, как муха, пока светофор не вспыхнул зеленым. «Пирожок» со звездой тихо тронулся. А Натансон остался стоять на проезжей части с банкой в руках, и его бережно, чтобы не задеть, объезжали машины. Как слева, так и справа.

Не среда

Не знаю, как это получилось, но у Петра Сергеича выпал день. Вывалился из череды других дней. Или даже из времени. Но, возможно, это Петр Сергеич из него вывалился. Пока неясно. Ясно только, что вчера у него был вторник, а сегодня — четверг. А куда подевалась среда, он не знает. К тому же, у Петра Сергеича весь день сегодня ноет сердце. Весь четверг то есть. Который в его сознании остался средой. Никогда не ныло. Вчера он на скакалке прыгал, зарядку делая, и водку пил, ужиная. Немного, но пил. И прыгал тоже немного. Чтоб не засиживаться и не залеживаться. А сегодня вот сердце. И руки, как лед. Хотя руки, наверно, от холода. В квартире у Петра Сергеича восемнадцать. А в нем самом все-таки тридцать шесть с копейками.

«Интересно, сегодня точно четверг»? — думал Петр Сергеич навязчиво. Но ответа не находил.

А во вторник он ходил к зубному врачу. И врач делал ему рентген больного места во рту. И потом изучал схему зубов Петра Сергеича, которые когда-либо лечил, вырывал и протезировал. И Петр Сергеич краем глаза тоже ее изучал. И думал, что когда-нибудь, если его решат эксгумировать, по этой печальной схеме можно будет определить, он это или не он. Правда, он никак не мог придумать, зачем бы кому-то могло понадобиться его эксгумировать и что-то определять. Так и не придумал в конце концов. И врач тоже не придумал. Что делать с зубами Петра Сергеича. И к чему крепить мост. Сказал, что должен еще подумать. Наедине с собой. Где Петр Сергеич его и оставил. А потом думал, идя, что ничего путного врач не придумает. Сомневался он в нем. И не только в нем сомневался. Он во всем сомневался беспощадно, все подвергал сомнению. Хотя толку от этого никакого. Подвергай, не подвергай — ничего не меняется. А если меняется, то в худшую сторону.

Вот Анюта со своими знаменитыми глазками сомневалась когда-то — выходить ей замуж за Сергея Петровича или не выходить. Сомневалась, сомневалась, а он взял и умер. Пришлось ей за Петра Сергеича замуж идти скоропостижно. Нет, с Петром Сергеичем она тоже счастлива. Если ей, конечно, верить. Но Сергей Петрович — это совсем другое дело. Сергей Петрович — это

был человек. Венец природы с большой буквы. Если бы он не умер, цены бы ему никакой не было. Может быть, даже в веках. Но человек смертен. Что Сергей Петрович лишний раз и доказал будущей жене Петра Сергеича на своем личном примере и опыте. Беспокоился он, конечно, зря. И без его доказательств с этим все было ясно.

А жена у Петра Сергеича ничего, хорошая. Суп варить умеет. С плавленными сырками, вкусный. Жаль, она Сергею Петровичу не досталась. То есть жаль Сергея Петровича, конечно. Несмотря на уважительную причину. Он же мог быть счастливым в законном браке. Вместо того чтобы демонстративно умирать. Тем более весной. Когда птички уже поют, на снег с дождем вперемешку внимания не обращая. И коты, кстати, орут от любви ночами. Лаская слух спящих в своих постелях граждан.

Значит, во вторник Петр Сергеич был у зубного врача. Что еще? Ждал безнадежно электрика. Каковой, разумеется, не явился. Зато явилась Мотовилова и обвинила его в том, что он совершил прогул. Петр Сергеич говорил «у меня отгул», а она говорила «отгул за прогул» и смеялась, как дура. Видимо, она под предлогом прогула явилась за чем-нибудь другим. За чем, Петр Сергеич так и не понял. Кто ее, Мотовилову эту, поймет. Может, соли хотела занять. Или спичек. Скорее, соли. Потому что у них в доме печки на электрической тяге работают. И без спичек зажигаются. Спровадить Мотовилову было трудно. Как ее спровадишь. Не выгонять же в шею. А намеков она не понимает. Или делает вид, что не понимает. А может, у Петра Сергеича намеки недостаточно прозрачными получаются. Слава богу, пришла Анюта и предложила Мотовиловой соли, сколько душе угодно. Хоть пачку. И спичек предложила немерено. Понятно, что Мотовиловой ничего не осталось, как, поджав губы, ретироваться.

— Как думаешь, она на меня обиделась? — спросила Анюта.

— Зачем я буду об этом думать? — ответил Петр Сергеич.

Потом наступил вечер. Вторника. И Петр Сергеич с Анютой прожили его в любви и согласии — весь, от сытного семейного ужина с рюмкой водки до отхода ко сну включительно. Правда, спал Петр Сергеич плохо. Неспокойно. Всю ночь ему мерещился какой-то изолятор предварительного заключения, в котором жили и умирали люди. Много людей. И всех их в чем-то обвиняли. А они своей вины не признавали и вообще были ни при чем. Между ними металась Мотовилова со спичками. Она то входила в камеру, то пятясь из нее выходила, и засов на дверях двигался влево и вправо. С лязганьем.

Кроме того, Петр Сергеич храпел, в паху у него топталась кошка, в животе урчало. От храпа и урчания он просыпался, потел и лежал с открытыми в потолок глазами. Не думая ни о чем. И ничего не чувствуя. До тех пор, пока ему опять не начинали сниться тюрьма и Мотовилова. От этих снов Петр Сергеич снова просыпался, ходил пить воду и смотреть в окно. На перекрестке мигал светофор. Желтым тревожным светом. Машины теснились у обочин. Деревья стояли голыми. Петр Сергеич опять ложился. И опять проваливался в муть. Где Мотовилова кому-то угрожала, где заключенные люди сидя курили, где Анюта уходила от мужа. К совершенно чужому мужчине, родственнику Мотовиловой. То есть, видимо, уходила от Петра Сергеича.

В довершение ко всему, когда он утром проснулся, выяснилось, что на дворе четверг.

— Разве не среда? — спросил Петр Сергеич у Анюты.

— Нет, — сказала Анюта и сняла с носа очки, — не среда.

Станислав Иванов

Армия Спасения Вселенной

Рассказ

Когда я пытаюсь представить, что такое «человеческое достоинство», то вспоминаю величественную бабушку в очереди за хлебом. Она уже плохо ходила, а в ее руках тряслась мелочь, заранее приготовленная для покупки черного хлеба и подсчитанная точно до копейки. Подойдя к окошку палатки, она протянула продавщице несколько монет и сказала:

— Добрый день! Пожалуйста, половинку «Дарницкого».

Эти простые слова она произнесла в высшей степени отвлеченно от своего нынешнего положения согбенного болезнями и старостью человека с плохо слушающимися ее до сих пор ясный ум руками и ногами.

Она сказала: «Пожалуйста, половинку «Дарницкого» так, будто не пришла на рынок в одежде, которой несколько десятков лет, и словно наше государство, которое она строила, платило ей достойную пенсию, а не выдавало скудные средства для полунищенского существования. Она покупала черный хлеб, точно билет на оперу Монтеверди или на выставку Караваджо.

Возможно, она и не была одинокой, покинутой в старости родными, а просто не хотела быть в тягость детям или внукам, оплетенным соцсетями или развлекающимся на вечеринках, и ходила за хлебом сама из принципа. Если бы эта старушка только намекнула, что ей не хватает на буханку или просто попросила бы меня об одолжении — я отдал бы ей всю сдачу. Но такие женщины никогда ни о чем не просят. Да и вряд ли она в чем-либо нуждалась, кроме машины времени.

Что за глупости, будто мужчины не плачут? Да, я хотел пролить несколько капель, но не о бренности и несчастьях, постигающих людей, а глядя на то, с каким достоинством некоторые их принимают.

Выйдя из ступора, я купил хлеба с пирожными и понес их своей любимой бабушке.

Иванов Станислав Борисович — писатель и путешественник. Родился 11 октября 1979 года в Москве, закончил геофак МПГУ.

Публиковался в журналах «Октябрь», «Урал», «Дискавери», «Всемирный следопыт», «Медведь» и др. Автор двух книг прозы под псевдонимом Зоран Питич. Финалист премии Дебют-2004 и премии Казакова-2006. Книга «Расширенная версия Вселенной» входила в лонг-лист премии «Национальный бестселлер» в 2015 году.

Когда я хочу представить, что такое человеческая доброта, то вспоминаю солнечный июньский день в Таврическом саду. Мы допиваем «Темпранильо» на берегу пруда, встаем с газона и идем по аллее.

— Вам не нужны платки, ребятки? — спрашивает низенькая седая бабуля в изношенном плаще. — Вот, посмотрите!

Бабушка называет какую-то смешную сумму за изящный платок ручной работы, и моя прелестная спутница покупает не очень нужную ей вещь, расплатившись более крупной, чем нужно, купюрой и настаивая, чтобы бабуля не отдавала сдачу.

Она повязывает платок на голову, улыбается мне и становится еще прекрасней; а я, вместо того чтобы купить у бабушки-рукодельницы хотя бы еще один, любуюсь на мою милую Биби, борясь с желанием крепко прижать ее к себе и поцеловать в лобик. Моя нервная система в подобных ситуациях способна лишь на реакции торможения.

Сетуя на свою смертную сущность и страшась безвозвратного ухода в небытие, люди не замечают, что наши белковые тела как способ существования высших форм материи — самый идеальный инструмент для передачи любви друг другу. И ничего совершенней в известной Вселенной пока еще не возникло.

Размышляя о любви, можно дойти до разрешения фундаментальных вопросов и докопаться до глубинной сути явлений. Но этот путь возможно пройти, только если ваше сердце не занято лишь перегонкой крови по сосудам. Иначе ничего не выйдет, поверьте.

Меня абсолютно не волновали логические обоснования любви к конкретным людям, ибо она не нуждается в смысловых подпорках. Любовь — это ракетное топливо... нет, это сама многоступенчатая ракета, позволяющая преодолеть земное притяжение и раздвинуть оптические горизонты, чтобы увидеть наше подлинное предназначение. Или утешить себя этой пафосной иллюзией.

Мы всего лишь сцепление органических молекул, зыбкое сочетание нуклеопротеидов и завихрений квантовых полей. Но чем бы были все эти соединения и одинокие субатомные частицы, не осознающие сами себя и мало чем отличающиеся от абсолютной пустоты, если бы каким-то образом не сорганизовались в тебя и меня. И чем была бы Вселенная, если бы в ней не жили мы с тобой и другие мыслящие создания — такой же пустой и бессмысленной, как и флуктуации космического вакуума, если они не порождают новые одухотворенные миры. Мы соединяем части Мироздания и скрепляем воедино, чтобы оно не распалось и не деградировало через десятки триллионов лет, когда испарятся даже черные дыры, как прогнозируют астрофизические теории. Чем больше разумных существ, тем меньше хаоса в Универсуме. Все мы — люди на Земле и иные существа или разумные машины в неведомых и далеких мирах — поддерживаем вселенский гомеостаз. Вас устроит подобное объяснение?

Я сидел ночью за письменным столом за сутки до вылета в Перу, стараясь разъяснить себе и гипотетическим слушателям, что такое настоящая любовь, а заодно и другие человеческие загадки и качества. Совсем скоро я должен был оказаться в Лиме, потом пересечь боливийскую границу и помчаться на велосипеде по «Дороге смерти». Но в мои планы совершенно не входило на ней

умирать. Скорее, я собирался действовать в духе героев из античных мифов, когда некоторым из них удавалось спуститься в Аид и выйти обратно.

Когда метагалактические и экзистенциальные бездны становились слишком невыносимо глубокими и малоподдающимися для анализа, я поворачивался к стене и смотрел на рисунок, на котором черный жираф шел в сторону гигантских баобабов. Раньше он висел на двери комнаты в питерской квартире на улице Рубинштейна, а теперь украшал стену над моим диваном. Для меня эта выполненная немного по-детски картина была дороже любого шедевра мировой живописи. Просыпаясь в Москве, первое, что я видел каждое утро — это африканский пейзаж, нарисованный Биби, которой я любил рассказывать о Серенгети и Масаи-Мара, куда она мечтала когда-нибудь попасть. Сегодня между нами было семьсот километров, завтра станет двенадцать тысяч. На самом деле — всего лишь ноль целых, пять сотых световой секунды. Смешные цифры, учитывая ускоренное расширение Вселенной, в которой из-за этого когда-нибудь погаснут все звезды и испарятся даже черные дыры, если мы и наши потомки не перестанем играть в обезьяний зверинец и что-нибудь не предпримем.

Кто-то сомневается, что время и пространство не властны над настоящими чувствами? Так оно и есть, я вас уверяю! Пока не начнутся необратимые повреждения структуры мозга и не произойдет полный коллапс электрохимических процессов. А до тех пор я абсолютно спокоен. Тем более, что, если память начнет отказывать, всегда можно открыть папку «Биби» на компьютере — этом искусственном недоинтеллекте, который все никак не может пройти тест Тьюринга. Может, оно и к лучшему, ибо тогда носителями недоинтеллекта станем мы сами.

— Можно у вас кое о чем спросить?

Посередине тротуара на Лиговском проспекте стоял паренек с потертым рюкзаком. Почему-то у меня возникло ощущение, что стоял он там уже давно и не выходил за пределы воображаемого круга.

— У нас нет денег, братишка, — поспешил я упредить его вопрос. — Вернее, мы потратим их на вино.

— И на сигареты, — добавила Биби. — Может у вас найдется прикурить?

— Нет, да я и не курю. Но почему вы сразу так подумали обо мне?

— Возможно потому, что пока я гулял вчера один по Питеру, то раздал всю мелочь симпатичным бродягам, алкашам и обычным прорицателям ядерной войны. Кстати, Биби, ты в курсе, что она начнется в 2020 году 22 июня в 4 утра?

— Какое совпадение! Сколько ты дал ему за эту информацию, Стас?

— За минуту до этого он поведал, что много лет назад обладал огромной властью и проиграл в Лас-Вегасе несколько миллионов долларов. Я посчитал, что такой могущественный человек не нуждается в моих жалких подачках. Не сочти за оскорбление, но в твоем новом городе количество фриков на квадратный километр просто зашкаливает.

— Это он не про вас, молодой человек! — вступилась Биби за всех питерцев, хоть и родилась в краю, где цветут лотосы.

— Ну конечно же не про вас, вы же еще у нас ни о чем не спросили!

Парень поначалу полез было в рюкзак, однако, прослушав наш диалог,

словно бы передумал и не знал, что ему делать дальше. Набравшись мужества, он все-таки выпалил:

— Я хотел вас спросить, знаете ли вы, в чем смысл жизни?

Биби понимающе улыбнулась и ласково посмотрела на него:

— Уж точно не в Кришне. У тебя же там в рюкзаке книги, кришнаитская литература?

— Как вы догадались?

— Ты говоришь с просвещенными гедонистами, — засмеялась она. — Вряд ли твои доводы смогут нас хоть в чем-то убедить.

— Твой Кришна — всего лишь восьмая аватара Вишну, — сказал я, поддерживая градус просвещенности.

— Сколько тебе лет? — спросила Биби. — Семнадцать, восемнадцать?

Паренек немного смутился и решил мужественно накинуть себе пару лет:

— Побольше. Девятнадцать!

— Оставь свои книги, пойдем лучше с нами, погуляем, выпьем вина! — предложила Биби.

— Я не пью вино.

— Или ты не можешь сойти с этого места? Зачем ты следуешь чьим-то указаниям? Ну ладно, бери свои книжки и пошли с нами! Мы расскажем тебе о смысле жизни, только не стоя здесь на тротуаре.

Юноша и впрямь стоял здесь довольно долго, но был непоколебим:

— Вы не можете ничего знать о нем, и что с вами будет, не придя к Кришне, вот это я знаю точно.

О, как раз ничего-то ты и не знаешь, малыш. Когда ты поймешь это, встретив хорошую девочку и гуляя с ней по паркам, мы будем уже далеко. Вспомни потом наши слова и выпей за нас. Надеюсь, к тому времени я еще не буду удобрять собой деревья в других парках.

Но вслух я произнес: «Хари Кришна!», прощаясь с ним и оставляя его в воображаемом круге на проспекте.

— Биби, еще бы чуть-чуть и он уверовал бы в просвещенный гедонизм! Из тебя получилась бы хорошая проповедница!

Я готов был следовать за ней, куда угодно. Хоть в торговые центры, от которых в обычной жизни испытывал одно лишь раздражение.

— Мне кажется, мы почти спасли его! — согласилась она. — Слушай, Стас, а нам обязательно идти в «Асторию» — тебе слишком нужен этот литературный бомонд?

— Мне он вообще не нужен, особенно когда ты рядом со мной. Даже если бы меня вдруг объявили лауреатом «Нацбеста» и любой другой премии, я бы все равно провел этот день так же. И ты знаешь, что это не пустые слова. А разве ты не должна еще встретиться с Аней?

Биби достала телефон и показала разряженную батарейку:

— Давай лучше приготовим вместе плов! Ты ведь будешь помогать мне?

— Конечно! — согласился я. — Однако должен вас предупредить, милая сударыня, что я ни разу в жизни не резал лук, но ради вас готов немного поплакать незамутненными счастливыми слезами! Только сначала я куплю твой любимый «Карменер» и мы залезем на крышу! Хорошо?

— Хорошо!

Кто сказал, что счастье — это лишь его предвкушение или воспоминания о нем?

Мы пили из горла чилийское вино, сидя на петербургской крыше, освещаемые закатными лучами, а ее развевающиеся от ветра волосы щекотали мою щеку. Примерно такие кинематографические грезы посещали меня целый год, который я провел в философско-спортивной аскезе. А теперь я действительно находился в своей осуществленной мечте рядом с чудесной и восхитительной девушкой, вполне отчетливо осознавая, что, когда захочу вспомнить «лучшие моменты жизни», — это будет один из них.

— А знаешь, — говорю я, — прямо сейчас Вселенский квантовый компьютер автоматически вносит изменения в наши личные папки, которые повлияют на всю его работу в целом. И я думаю, от них он станет функционировать лучше!

— Ты считаешь? Но он же не сломается совсем без нашего вмешательства? — улыбнулась Биби, изображая чрезвычайное беспокойство.

— Пока не сломается, однако необходимо смотреть в будущее!

— Нет, подожди с будущим. Подожди, я серьезно... это что же, если сейчас где-то идет война, значит, в другом месте люди не полюбили друг друга?

— Все гораздо сложнее, Биби! Если Вселенная работает как один огромный компьютер — из-за этого может возникнуть короткое замыкание или что там бывает у квантовых компьютеров. Вся система даст катастрофический сбой. От подобных диссонансов где-то вспыхивает Сверхновая или сталкиваются галактики, — я все больше углублялся в недоказанные теории под действием «Карменера».

— О боже!

Моя очаровательная соратница по борьбе с энтропией с недоверием посмотрела на меня, и на ее красивом восточном лице снова заиграла загадочная улыбка:

— И что же нам делать, чтобы не допустить всего этого?

— Мы постоянно должны думать о поддержании космологической гармонии!

Биби повернулась навстречу уже почти зашедшему за крыши домов солнцу, села поудобнее и высказала маленькую просьбу, слегка откинув голову назад и посматривая в мою сторону:

— Почеши мне спинку. Да, вот так хорошо!

Она произнесла это с таким выражением — игриво и в то же время, словно изрекая сакральную мудрость, — что я и сам поверил, будто на моих глазах она спасла часть Вселенной от разрушения.

Евгений Степанов

Счастье какое

Город родной

счастье какое — любовь непродажная
друг непродажный и город родной
счастье какое — Москва трёхэтажная
город исхоженный радостно мной

счастье какое — Покровка Никитская
песни дворовых родных аонид
счастье какое — и пуля бандитская
в час этот утренний мимо летит

Станция Партизанская

ты приглядись: вот они, величавы,
эти берёзы и розы, ирга,
эти целебные дачные травы
и деревенские эти луга.

ты приглядись: вот они, просветлённы,
смотрят гагариным в рузскую высь,
эти осины, и сосны, и клёны,
ты приглядись.

ты приглядись: это вечное чудо
жить в частном доме и печку топить.
ты приглядись — и не сможешь отсюда
шагу ступить.

Степанов Евгений Викторович — литератор, лингвист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил Тамбовский пединститут и аспирантуру МГУ. Кандидат филологических наук. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России и за рубежом. Главный редактор журнала «Дети Ра». Лауреат литературной премии имени А. Дельвига. Живет в Москве.

* * *

уезжай — говорят мемуары
уезжай — вторят войны и свары
уезжай уезжай уезжай
здесь загонят тебя за можай

не оставить очаг домоседу
никуда я отсель не уеду
никуда я не сдвинусь отсель
с этих гиблых — волшебных — земель

Скрипка

погромы погромы погромы
узда вековая и мзда

паромы паромы паромы
подводы арбы поезда

тревожно и зябко и зыбко
на всех не хватает удач

и скрипка и скрипка и скрипка
скрипичный оранжевый плач

* * *

ты научен верить чудесам
ты идёшь проторенным путем
сложность — нещадящая — ты сам
нежность — настоящая — потом

влажность — восхищённая — в глазах
важность — приближённая к нулю
ты идёшь спокойный как монах
и твердишь негромкое — люблю

* * *

то одно то другое то третье
и не скрыться в бетонной норе
лихолетье опять лихолетье
на дворе

это битва идёт это битва
за ресурсы и души и власть
у меня остаётся молитва
я молюсь не желая пропасть

Валерий Бочков

Коронация зверя

Роман

Отец любил повторять: «Каждый день живи так, будто это твой последний день. Однажды ты окажешься прав на все сто».

Для ресторанного саксофониста достаточно скептический взгляд на вещи. Отец был музыкантом средней руки, не звездой, но вполне крепким профессионалом. Именно такие выдувают свои хриплые трели в джаз-оркестрах солидных ресторанов с дубовым паркетом и янтарными плафонами. Или играют на коктейлях и приемах, где кавалеры в смокингах кружат бледных дам с голыми спинами. Или развлекают сонных путешественников в шикарных океанских круизах.

Корабль назывался «Ливадия», он казался мне произведением искусства, неземным, почти волшебным созданием. Пугал размерами. Из воды торчала гигантская якорная цепь, мокрая и черная. Она уходила вверх и исчезала в клюзе, который маячил на жуткой верхотуре — никак не ниже пятого этажа. Над горизонтом плавилось остывающее солнце, ровный круг, похожий на распахнутую дверь в пылающую топку. Было шесть часов вечера.

Под навесом пирса царила нервная суета. От воды тянуло соленой сыростью. Отец курил, энергично прикусив золотой ободок сигареты, в одной руке — перетянутый ремнями рыжий скрипучий чемодан, в другой — концертный фрак в пластиковом мешке. Щурясь от дыма, отец весело оглядывал галдящую толпу поверх голов, словно искал знакомых. Саксофон в черном футляре с почти королевским вензелем «ВК» он доверил мне.

Быстрые чайки с изнанки отсвечивали зеленым, а когда солнце коснулось воды, птицы вдруг стали розовыми. Стемнело почти сразу, закат выдохся, оставив сливовую полоску вдоль горизонта. «Ливадия» выдержала паузу и торжественно зажгла огни.

Проступая смутным, могущественным силуэтом и туманно сияя желтыми иллюминаторами, она, точно сказочный великан, загородила половину фиолетового неба. Корабль казался мне куском города — живым, обитаемым и шумным, по непонятной причине сползшим в море. Где-то рядом, перекрывая гулкое многоголосое эхо, затарахтела корабельная лебедка.

Валерий Бочков — прозаик, художник. Родился в Латвии в семье военного летчика. Вырос в Москве, на Таганке. Окончил художественно-графический факультет МГПИ. С 2000 года живет и работает в Вашингтоне. Член американского ПЕН-Клуба. Лауреат «Русской Премии» 2014 года в категории «Крупная проза» (роман «К югу от Вирджинии»).

Публикации в «ДН» — романы «Медовый рай» (№ 2, 2015) и «Время воды» (№ 12, 2015).

Журнальный вариант.

Пассажиры гуськом ползли вверх по трапу, озабоченно поглядывая вниз и назад. Смотрели туда — на пирс, на сушу, маясь в сумрачном чистилище каждого странника — считая муторные минуты между надоевшим прошлым и тревожным, но наверняка чудесным, будущим. Ведь любое путешествие всегда выбор: еще есть время передумать, еще можно порвать билет, сдуть розово-голубое конфетти обрывков в черноту подтрапья. Еще есть время вернуться. Остаться в знакомом, пусть надоевшем своей обыденностью, но привычном мире. На твердой и надежной земле.

Вздохнув словно спросонья, «Ливадия» подала голос. У корабельной сирены был тоскливый округлый бас, протяжный и тревожный. До-диез — подмигнул мне отец и показал куда-то наверх. Я поднял голову — там на верхней палубе застыл первый помощник капитана, строгий и невозмутимый, в белом кителе с золотыми галунами. За его спиной угольным минаретом высилась корабельная труба. Еще выше сияли звезды: мой глаз безошибочно выхватил три голубых бриллианта на поясе Ориона.

По палубе деловито проталкивались стюарды, юркие и изящные, они напоминали форель, идущую против течения. Медным набатом гудел гонг, от протяжного звона ныли зубы, кто-то простуженным баритоном повторял по радио, что до отправления осталось пятнадцать минут.

Отец остановил стюарда, показал билет.

Нас повели куда-то вниз. Повели узкими покатыми коридорами, тесными крутыми лестницами, через закоулки и лабиринты, мимо дверей с латунными цифрами. Шли целую вечность, мне казалось, что мы спускаемся в самое чрево могучего зверя. Я уже предвкушал увидеть его сердце — машинное отделение с циклопической турбиной, чугунные шестеренки, нет — шестерни высотой с дом, сияющие сталью поршни и шатуны. И там среди железа и жара снующих в багровом мраке механиков и кочегаров. Сильных и ловких, блестящих от пота и черных от копоти, точно бесы в преисподней.

Стюард распахнул дверь, и мы оказались в нашей каюте. Я разочарованно опустил футляр на пол — вместо пиратских гамаков здесь были две вагонные полки. Вообще если бы не иллюминатор, можно было бы решить, что ты в затрапезном купе ночного поезда. Отец оглядел жилище, сунул стюарду мятую купюру, сильной ладонью подтолкнул меня к выходу.

Мы снова были на палубе, теперь можно было спокойно оглядеться. Протиснулись к самому борту. Стало понятно высокомерие помощника капитана: сверху пирс выглядел бестолковым нагромождением построек и механизмов, освещенных белым больничным светом портовых прожекторов. Суетливая толчея провожающих вдруг улеглась, бледные пятна лиц застыли. Матросы отдали швартовы, потянулся наверх скрипучий трап. Якорная цепь тяжко заворчала, из воды показался якорь, словно облитый черным лаком, он неспешно пополз вверх.

«Ливадия» вздрогнула. Я всем телом ощутил эту дрожь, точно внутри великана ожило мощное сердце. Вздрогнули портовые краны, вздрогнула темно-оранжевая башня собора с огромными часами. На освещенном циферблате стрелка воткнулась в десятку, и корабль, долго притворявшийся частью причала, наконец откололся от суши. Поплыли! — от счастья у меня вспотели ладошки.

Лица на пирсе стали отодвигаться, фонари тронулись и тоже поплыли. Поплыли портовые краны, башня собора, острые, как пики, кипарисы на холме, поплыл и сам холм с мохнатым парком и серебряным куполом планетария. Тронулся и поплыл вечерний город. Мне стало жутко и радостно, я перегнулся, вглядываясь в неумолимо распахивающееся ущелье, там мерцала узкая полоска чернильной воды. Она ширилась, ширилась.

Неожиданно быстро отодвинулся пирс: когда я оторвал взгляд от воды, причал уже превратился в мутное пятно на берегу. Город потускнел, растянулся вдоль берега и стал похож на путаницу новогодних гирлянд. Он теперь зримо уходил назад.

Появилось странное чувство — смесь легкой грусти с ощущением свободы. Ощущение свободы росло, были тут и страх, и тихий восторг, и предвкушение чего-то неизвестного, но непременно интересного. Может быть, даже опасного. Я еще раз взглянул на полоску тусклых огней и улыбнулся: все, что осталось там, на берегу, вдруг перестало иметь значение, все стало скучным и совсем не важным.

Притихшие пассажиры рассеянно потянулись по каютам. Стало свободней, рядом с нами оказалась глазастая брюнетка с красным, как мокрый леденец, ртом. Она громко смеялась — это отец что-то азартно рассказывал ей. От нее приторно пахло прелыми розами. У брюнетки была белая шея с голубоватой жилкой, как у грудного ребенка. Мне стало противно, и я снова повернулся к морю. Земля пропала, от города остался едва уловимый отсвет, похожий на снежную пыль, да еще тусклый глаз маяка, уныло моргающий с безнадежным упрямством.

Брюнетку как-то звали — Лола или Нона, что-то созвучное с цветом ее липких губ. Я подглядывал, как отец целовал ее на корме за шлюпками, как она закидывала назад голову и глухо смеялась, словно полоскала горло. А отец мял ее грудь в белой блузке, отвратительно яркой на фоне бархатного неба. И сонная звезда, прочертив дугу, тихо падала в лиловое море.

Отец был однолюбом. Все его девицы с большим или меньшим успехом могли бы сойти за мою мать. Внешне, разумеется. При определенном освещении, под нужным углом, при достаточной удаленности или неважном зрении. Я уверен, что отец любил мать не меньше меня. Мы оба тосковали без нее, просто каждый по-своему. В апреле мне стукнуло двенадцать, отцу еще не исполнилось сорока.

Мне она всегда вспоминается почему-то зимняя — в морозной шубе с холодным звериным духом пушистого меха. Вот она осторожно ступает мелкими шагами по нашим обледенелым мостовым, с изящной осторожностью, грациозная, как циркачка на звонкой проволоке под самым куполом. Живое дыхание искрится мутным паром в желтых фонарях, тихий смех, тонкие пальцы — все это где-то в районе Кудринской. Пахнет елкой, хрустит снег, плитка шоколада тает в моем кармане. Уже нет и Кудринской, нет матери, уже почти нет и меня.

Тогда, на палубе, я больше всего боялся, что отца застукают. Выйдут на корму какие-нибудь пассажиры полюбоваться ночным небом или появится строгий помощник капитана с золотыми галунами. Не знаю, почему меня так тревожило это. Я прятался в полосатой тени шезлонгов, кусал губы. Ледяная рубаха прилипла к спине, я прислушивался к странным корабельным звукам — утробному гулу, низкому, на одной басовой ноте, к мощи гигантского мотора, к плеску воды где-то внизу. К стонам Лолы или Ноны.

Наконец все закончилось. Они сидели у лодки, закрытой брезентом и похожей на спящего носорога. Лола (пусть будет Лола) нашла свой лифчик, сунула его в сумку, звонко щелкнув кнопкой. Отец затянулся, выдул дым сизым столбом вверх, передал сигарету девице. Лоле. Дотянулся до бутылки, запрокинув голову, сделал несколько глотков. Начал говорить. Голос был странный, монотонный, таким бредят или разговаривают во сне. Речь шла обо мне.

— Я будто стесняюсь своей любви к нему. А ведь это самая естественная вещь на земле — любовь отца к сыну. — Он замолчал и добавил: — Ну, не считая любви матери, но в нашем случае...

Мне было стыдно и страшно. Стыдно оттого, что он, мой отец, вот так, влегкую, раскрывает свою душу первой подвернувшейся дуре-девке, этой Лоле-Ноне. Этой безмозглой кукле. Страшно, что я сейчас услышу что-то такое, после чего уже невозможно будет жить по-старому.

— Это единственная страсть, которую я не способен выразить. На выходе из моей души обнаруживается постный бульон. Вроде бесплатного супа... Бесплатный суп, которым я кормлю самого близкого мне человека. Душевная инвалидность какая-то...

Он вынул сигарету из Лолиных пальцев, глубоко затянулся.

— Я вспоминаю своего отца... — он выпустил дым. — Вспоминаю ту же неловкость жестов, казенность слов. Отчего? И почему я прохожу тот же путь? Мучительный и глупый. Почему я не лучше, не умней? Почему я ничему не научился? Ведь я на своей шкуре все это испытал и совсем не хочу того же для своего сына!

Отец щелчком выбросил сигарету. Окурок не перелетел через борт, а ударившись в поручень, рассыпался рыжим фейерверком. Повисла тишина, потом где-то на нижней палубе уронили поднос, полный стекла.

Память собрала странную коллекцию событий, лиц, фраз, необъяснимую своей случайностью, эклектичностью. Я отчетливо помню тот оранжевый фейерверк и тот стеклянный звон. Почему именно это? Полное отсутствие системы, элементарной логики меня, человека вполне рационального, отчасти расстраивает. Почему застрял в памяти стюард в тесном кителе и с острым кадыком, на кадыке рубиновый штрих — порез от бритвы, зачем мне нужен каютный запах — странная смесь прибоя и прачечной, отчего я не могу вытрясти из головы ту толстую тетку, она валялась на палубе, как глупая кукла с голыми грязными пятками, а на нее наступали бегущие ноги пассажиров. Эти пустяковые обрывки, туманные и безобидные, имеют гнусное свойство (обычно ночью, под утро) сплетаться в крепкую петлю, уверенно стягивающую мой мозг, мое сердце, мою волю.

Третий вечер на «Ливадии». Мы неслись на запад, в сторону малинового солнца, большого и страшного, как окно в ад. В круглой дыре жидко пульсировала лимонная лава, пузырилась ртуть. Солнце коснулось горизонта и будто сплющилось, я стоял на носу и до слепоты пялился в страшную дыру в небе. Еще страшней была та спешка, с которой «Ливадия» неслась вперед. От вибрации зудели руки, сжимавшие горячий поручень, щекотало в небе, палуба под подошвами моих теннисных тапок тревожно гудела. Мы шпарили так, словно боялись опоздать.

Ну и конечно опоздали — солнце село без нас.

В тот вечер отец играл Дебюсси. Играл отменно, звук получался летящий, яркий и светлый. Почти божественный. Может, это был какой-то тайный знак оттуда, сверху? То особое состояние, когда каждое дивное глиссадо за тебя выдувал чуткий ангел и мелодия сама сплеталась в идеальный узор, отец называл «экстазом святой Терезы». По его признанию случалось такое не часто.

Отец, подавшись вперед, стоял на самом краю полукруглой эстрады, золотой Буффет-Крампон сиял в его руках, как языческий идол. Будто жрец в трансе, отец чуть покачивался в такт, словно помогал звукам, нежно подталкивая их в зал, к людям. Люди по большей части пили, смеялись и болтали. Не слушали. Я не уверен, что кроме нас двоих кто-то вообще понимал, насколько волшебно играл сегодня отец. Разумеется, за исключением ангела, причастного к процессу, уж тот-то наверняка знал, что тут творится.

Я разглядывал пассажиров, постепенно наливаясь злобой к этим тугоухим обжорам и пьяницам, к их хохочущим подругам, которых я уже почти поголовно классифицировал на рыбообразных и птицеподобных. В исключение угодили две хавроньи — маленькая и покрупней, да еще картонный муляж моей мамы по имени Лола. Было девять часов вечера. Никто, включая меня, не знал, что через четыре с половиной часа «Ливадия» налетит на плавучую мину, начнется пожар, двери между перегородками не выдержат напора воды и корабль затонет через сорок пять минут после взрыва. Экипаж успеет спустить всего четыре шлюпки. Спасутся лишь тридцать два человека.

В момент взрыва я был на палубе. Началась паника. Какой-то матрос — спаси Бог его душу — нацепил на меня спасательный жилет и выкинул за борт. Я видел, как на корабле что-то взорвалось. Столб белого огня полыхнул до самых звезд, осветив пустынную воду от края до края. Тугое эхо укатилось за горизонт, и сразу раздался

железный стон, протяжный и жуткий, словно кто-то решительно смял стальной лист. Корпус корабля сложился пополам, и за несколько минут «Ливадия» ушла на дно. Меня накрыло волной, и я потерял сознание. Очнулся я в шлюпке.

Четыре месяца я провалялся в больнице, сначала лечили пневмонию, потом перевели в психушку. С пневмонией все понятно — вода в конце сентября была ниже двадцати, психушка требует некоторых разъяснений.

Меня уверяли, что отец погиб — утонул. При этом тело его не нашли. Поначалу я жарко спорил, пытался что-то объяснить, рассказать. А мне было что им рассказать. Врачи внимательно слушали мою историю, не возражали, для них мое поведение идеально укладывалось в «типичный патогенез посттравматического стрессового расстройства, вызванного единичной психотравматической ситуацией». Улыбчивая покладистость докторов и благодушная меланхолия от нарастающего числа разноцветных пилюль начали меня пугать, и я решил притвориться, что поверил в смерть отца и что моя навязчивая история была всего лишь галлюцинацией.

Дело в том, что когда я очнулся в шлюпке, там никого не было. Никого, кроме меня и отца. Он сидел на веслах, лицом ко мне. В белой фрачной рубахе с закатанными рукавами и черной бабочкой на шее. Он греб, упруго откидываясь назад всем телом и снова устремляясь вперед. Уже рассвело, и я отчетливо видел в молочной утренней мути его потные руки и белые костяшки крепких кулаков, сжимающих весла.

1

Автобус затормозил, остановился, мотор продолжал тарахтеть. Снаружи зашаркали ноги, кто-то выругался, крикнул:

— Открывай, чего ждешь?

Шофер огрызнулся, сплюнул и заглушил движок. Я услышал, как открылась дверь. Напряг руки, сталь наручников до боли врезалась в запястья, я в который раз, компактно сгруппировав пальцы, попытался вытащить кисть — дохлый номер, Гудини из меня совсем неважный. Мешок на голове, стянутый у подбородка, мешал дышать. Сквозь вонючую тряпку угадывались пятна света, какие-то тени. Кто-то протопал по ступенькам, поднялся в автобус.

— Чего, только двое?

Я инстинктивно вжался в сиденье и зачем-то зажмурил глаза. Чьи-то руки ухватили меня за воротник, потянули. Я послушно встал, сделал шаг, зацепился и грохнулся на пол. Кто-то, лягнув меня в ребра, заржал:

— Гляди, разлегся! Вот сволочь!

Шофер заржал в ответ.

Встать без помощи рук оказалось непросто, чертов мешок лез в рот, от тряпки воняло гнилым луком. Я ударился подбородком, но кое-как поднялся, мелко переступая, пошел по проходу.

— Стой! — это шофер. — Ступеньки там...

Я застыл, плечом уткнулся в штангу у выхода. Начал шарить носком ботинка. Нащупал невидимый край, сделал шаг вниз, еще один. Земля оказалась ближе, чем мне казалось.

— Пошли!

Мы шли по щебенке, вдали бубнило радио, передавали новости.

— Где майор? — спросил мой провожатый с южным, малороссийским говорком.

— А кто ж его знает!

Хлопнула дверь, мы вошли в какое-то помещение, тот же голос предупредил:

— Ступеньки!

Мы прошли гулким вестибюлем, вокруг слышались голоса, шаркали подошвы,

где-то наверху надрывно ругалась женщина. Я снова споткнулся, провожатый, поймав меня за шкирку, выматерился.

— Погоди... — его «г» звучало как «х», — Где майор? — снова спросил он у кого-то.

— Внизу, у себя. А зачем к майору?

— Я думал...

— Меньше думай! Давай его в накопитель, в общий. Там разберутся...

— Разберутся... — буркнул провожатый и стянул с моей головы мешок. — Пошел наверх!

Провожатый, совсем молодой парень в камуфляжном комбинезоне, подтолкнул меня в сторону лестницы. Я огляделся: мы были в школьном вестибюле, справа — гардероб, слева — вход в столовую, посередине дверь с табличкой «медпункт». Я сам когда-то отмотал десять бесконечных лет в точно таком же здании.

Мы прошли по лестнице, поднялись на второй этаж, мимо проскочили санитары с пустыми носилками. Дурная примета — подумал я, тут же вспомнив, что она про ведра. Меня втолкнули в просторную комнату, очевидно, кабинет истории. Над коричневой доской висел цветной портрет Петра Первого, царь был похож на удивленного кота, рядом прикноплен лист ватмана с цитатой, старательно написанной плакатным пером: «Кто не знает историю, обречен повторять ошибки прошлого». Подписи не было.

За учительским столом два типа в штатском листали какие-то бумаги, перед ними лежала кипа разноцветных паспортов, валялись какие-то документы с фиолетовыми печатями. Столы и стулья были сдвинуты в угол класса, в другом углу молча теснились человек пятнадцать, по виду иностранцы. Все явно нервничали. Мой парень пихнул меня к ним, сам подошел к столу. Один из штатских что-то ответил, поднял на меня глаза.

— Подойти! — негромко приказал он.

Я подошел, перед ним лежали два моих паспорта.

— Незлобин? — прочитал он мою фамилию в бордовом паспорте.

Я кивнул.

— Отвечать словами! — неожиданно заорал он. Его глаза за маленькими стеклами круглых очков в черной оправе по-рачьи выпучились.

— Да, — ответил я. — Незлобин.

— Двойное гражданство? — он раскрыл мой синий паспорт.

— Нет. Я американский гражданин.

— Стало быть, это фальшак? — он помахал паспортом с двуглавым орлом и зло шлепнул его на стол. — Липа?

— Вам видней. Мне его выдали в вашем консульстве год назад. В Нью-Йорке.

— А подробней можно? — спросил его напарник, линялый блондин с рыбьим лицом.

— Меня пригласили на конференцию, в Питер. Весной, прошлым апрелем, кажется... Там печати должны быть — въезд, выезд. Я просил поставить визу в мой американский паспорт, сотрудник консульства сказал, что проще будет сделать новый паспорт, российский...

Линялый взял русский паспорт, внимательно начал листать его.

В классе стоял спертый школьный дух, смесь мела, мокрой тряпки и страха. За плотно закрытыми окнами пестрели пыльные тополиные листья, уже было много желтых. Слишком много желтых для конца августа, подумал я, пытаясь вспомнить, какое сегодня число.

— А что за конференция? — спросил линялый, не поднимая головы.

— Вторая мировая война. Международная конференция... Я преподаю в Колумбийском университете.

— Войну преподаете? — не удержался и съязвил линялый.

— Социологию.

Линялый наклонился к напарнику, загородив губы ладонью, что-то сказал ему в ухо. Тот кивнул.

— Коломеец! — гаркнул он. — Этого тоже в обезьянник.

Никаких обезьян: то, что он называл обезьянником, на самом деле оказалось школьным подвалом. Конвойный снял с меня наручники, впихнул в тесную комнату и захлопнул дверь. Вдоль стен стояли лавки, крашенные коричневой краской, такой же краской были покрашены стены и потолок. Из трех лампочек горела одна, да и та еле-еле. В углу сидел миниатюрный мужчина, почти карлик, я сначала подумал, что это мальчишка.

— Шпрехен зи дойч? — настороженно спросил карлик.

Я владел немецким вполне сносно, запросто и без словаря читал «Шпигель», но из-за отсутствия разговорной практики постоянно сбивался на английский. Я сообщил ему об этом.

— У меня та же история с испанским, — тихо признался он. — Стоит забыть слово, тут же выскакивает французский эквивалент. Вы русский?

— Отчасти.

Над лавками к стене были прибиты доски с рядом крючков. И доски, и крючки тоже были выкрашены коричневой краской. Я посмотрел под ноги — маляр-маньяк не забыл и про пол. Я подошел к двери, тоже, разумеется, коричневой: это была толстая железная дверь с двумя запорами, как на корабле. Подвал мог служить убежищем на случай химической атаки — так, по крайней мере, говорили нам в моей школе.

— Это раздевалка... — догадался я. — Физкультурная раздевалка.

— Что? — карлик настороженно улыбнулся. — Что вы имеете в виду?

— Там спортивный зал, — я указал в стену. — А тут — раздевалка, школьная раздевалка. Для девочек.

На двери кто-то выцарапал чем-то острым, наверное ключом (я в свое время для этой цели всегда пользовался английским ключом от нашей квартиры): Алка — сос. Конец второго слова был затерт, скорее всего, самой Алкой.

2

Карлика звали Август, он торговал кухонной мебелью и был страстным рыболовом. Он специализировался на форели: я уже знал, чем отличается ручьевая форель-пеструшка от турецкой плоскоголовой форели и кумжи, что значит ловить внахлест и на мушку, почему на лесном озере предпочтительней вечерняя зорька, а на горной речке — утренняя. Когда он показывал, как правильно подсекать, дверь открылась и его увели.

Я встал, начал ходить из угла в угол — по диагонали получалось шесть шагов туда, шесть обратно. От духоты и вони начала болеть голова. Я снова сел.

Дверь приоткрылась, я встал. В щель протиснулась бритая голова.

— Август Цоллен... — бритый запнулся. — Цоллен...

— Его увели. Полчаса назад.

Дверь захлопнулась. Я снова сел. Вместо мыслей в мозгу бродила какая-то каша — я не мог сам понять, о чем думал. Думалось обо всем сразу и ни о чем конкретно, с настырностью заевшей пластинки в голове крутилась фраза Августа «Ах, как форель-пеструшка идет на муху!»

Я опустился на пол, несколько раз отжался. Хотел отжаться раз пятнадцать, но сдался на восьми. Тяжело дыша поднялся, сел на скамейку, попытался сосредоточиться. Ладони стали липкими, теперь от них тоже воняло масляной краской. Я начал тереть ладони о джинсы, тихо повторяя:

— Ах, как форель-пеструшка идет на муху...

Дверь снова раскрылась, это снова был бритый.

— На выход! — буркнул он. — Руки за голову!

Я поднял руки. Мы пошли по узкой лестнице вверх, прошли мимо распахнутой двери в спортзал — там на полу, на матах, лежали люди, воняло рыбным супом. Явно не форель, явно не пеструшка. Поднялись на третий этаж, я шагал бодро, но конвоир время от времени по неясной причине все равно нетерпеливо подталкивал меня в спину.

Широкий длинный коридор заливал свет, в большие окна лезли макушки тополей, за ними виднелись жилые дома с неопрятными балконами, к перилам одного был привязан оранжевый велосипед.

В коридоре топтались люди, в основном мужчины, похожие на туристов или партизан. Было и оружие, я заметил несколько охотничьих ружей и один десантный «калашников». Мужики стояли группами, курили, нервно плевали на пол. Кто-то громко и со смаком рассказывал что-то похабное, под конец все хором заржали. Небритый брюнет в пиратском платке на голове, вылитый абрек, недобро улыбнулся мне и чиркнул пальцем по своему кадыкастому горлу.

На дверях белели таблички с черными буквами: «Кабинет биологии», «Кабинет литературы». Рядом с кабинетом географии на стене висела репродукция картины Сурикова «Меньшиков в Березове» с треснутым стеклом. Тут же стоял настоящий солдат в полевой униформе.

— К майору, — конвоир протянул мои паспорта солдату. — Пиндос. Западло. Из наших.

Майор оказался женщиной. Невысокой, со злым смуглым лицом. В ней было что-то воронье — не только масть, но и повадки — цепкий взгляд карего глаза, движение острого плеча. Она не глядя бросила мои документы на стол, до предела заваленный бумагами, газетами, папками и прочим хламом. В углу, прямо на полу, стоял допотопный телевизор, там шли новости, но звук был выключен. Я с удивлением узнал дикторшу, это была та же круглолицая хохлушка с первого канала, постаревшая на пятнадцать лет.

— Цель приезда в Российскую Федерацию? — спросила майор, доставая сигарету из мятой пачки.

— Личные дела семейного характера, — ответил я. — Вы можете мне объяснить...

— Подробнее, — перебила меня майор. — Какие дела?

Она закурила, глубоко затянулась. Прикрыв глаза, выпустила дым в потолок. За окном хлопнуло несколько одиночных выстрелов. Я узнал звук «калашникова», сухой и какой-то несерьезный, точно стреляли пистонами из детского ружья. В свое время, после пятого курса, нас нарядили в военную униформу и сослали на три месяца в леса под Ковровом. Лето выдалось дождливое, мы жили в сырых палатках, Хетагурова с воспалением легких отправили в Москву, еще один парень, с двойной, почти дворянской фамилией, кажется, с романо-германского, отравился местным самогоном и угодил в госпиталь. Непохмелившиеся офицеры поднимали нас по тревоге, гнали через ночь, через лес. Мы наощупь рыли окопы в жирной глине, выкладывали брустверы, на дне скапливалась грязная жижа. Кирзовые сапоги промокали сразу и насквозь. По непролазной грязи мы подползали к каким-то заветным высотам, по сигналу бледно-розовой ракеты с истошными криками неслись на несуществующего врага, паля холостыми очередями из грязных тяжелых автоматов. Эти три месяца — июль, август, сентябрь — оказались, пожалуй, самыми бессмысленными месяцами в моей жизни.

— Какие дела? — повторила ворона-майор. — В ваших же интересах...

Ей стало лень заканчивать фразу, она снова затянулась и щелчком стряхнула пепел в сторону. Запиликал телефон, майорша нервно начала разгребать бумаги на

столе, пытаясь его разыскать. Дурацкая мелодия повторялась снова и снова, папки поползли и с шумом грохнулись на пол.

— Да! — она наконец нашла мобильник. — Слушаю!

Она вытянулась, явно звонило какое-то начальство.

— Сколько? — и после тревожной паузы. — Ясно. А Таманская?

Я пытался хоть что-то понять по ее лицу. Она, словно догадавшись, ушла к окну и отвернулась. Сутулясь, она иногда нервно дергала плечом, точно не соглашаясь с собеседником. Говорил в основном он.

Я разглядывал ее бритый мальчишеский затылок и забавные острые уши. Я подумал, что она гораздо моложе меня, что ей от силы лет тридцать. На ней был десантный комбинезон с серо-голубым маскировочным орнаментом и черные берцы. Бросив окурок на пол, она раздавила его толстой рифленой подошвой.

— Так точно. Восемнадцать ноль-ноль.

Я перевел взгляд на карту полушарий, висевшую на доске. Доска была темно-зеленой, а стены кто-то выкрасил в глухой розовый цвет, такой ветчинный и здоровый цвет, совершенно не гармонирующий с географией. На дальней стене висел портрет бородатого интеллигента в легкомысленной дачной шляпе, он был похож на Мичурина, но причем тут Мичурин? Какое отношение Мичурин имел к географии?

Майорша нажала отбой, кинула мобильник на стол. Телефонный разговор ее явно озадачил: она, покусывая губы, уставилась в угол, точно обмозговывая какие-то варианты, ни один из которых особо ее не устраивал.

— Вы знаете, кто это? — спросил я, кивнув на портрет.

— Миклухо-Маклай, — ответила она без запинки, словно ожидала моего вопроса. — А вы думали кто?

— А я думал... — договорить я не успел, потому что на экране немого телевизора показали общим планом Лубянскую площадь.

Меня не очень удивило, что бронзовый Дзержинский вновь стоял на своем месте в центре клумбы на том же самом цилиндрическом пьедестале, похожем на перевернутый вверх дном стакан, — именно такой я обычно и вспоминаю площадь Дзержинского — с железным Феликсом. Я вырос всего в десяти минутах отсюда, моя школа была совсем рядом. Я сбегал с уроков, мчался по Чистопрудным бульварам, потом переулками — Сверчков переулок, Девяткин, Армянский, мчался к Детскому миру. Там, на третьем этаже, в модельной секции, продавали миниатюрные, но невероятно точные копии всевозможных машин. Там был автобус «Икарус» с прозрачными стеклами, за которыми сидели крошечные туристы и шофер в фуражке, была пожарная машина с выдвигающейся лестницей, были маленькие двухмоторные самолеты, у которых крутились пропеллеры, крошечная «Лада» с открывающимся капотом и багажником.

Я подошел к телевизору и опустился на корточки. Оператор перевел камеру на Детский мир. Левой половины здания не было. Из руин торчала арматура и валил черный жирный дым. Перед фасадом стояли четыре пожарные машины, за ними толпились люди, они запрудили почти всю площадь. Камера поехала вбок, в кадр влез парень с микрофоном, он беззвучно раскрывал рот и нервно жестикулировал. Под ним шла бегущая строка, из которой мне удалось выхватить слова «министр иностранных дел» и «чрезвычайное положение».

— Что это за... — я тихо выматерился и растерянно поглядел на майоршу.

Она опустилась на корточки рядом и включила звук.

— ...международного терроризма, — у парня оказался не очень приятный тенор, говорил он взвинченно и был почти на грани истерики. — Обезумевшие фашистские банды при попустительстве так называемых правозащитных организаций и при явной поддержке наиболее реакционных кругов Запада и Соединенных Штатов, спецслужбы которых разработали и осуществили...

Она выключила звук, повернулась ко мне.

— Повторяю вопрос: с какой целью вы приехали в Российскую Федерацию?

3

Двадцать второго августа в четыре ноль пять утра меня разбудил телефонный звонок. Я запомнил время, потому что это было первое, что я увидел — рубиновые цифры на будильнике. Я сшиб стакан с тумбочки, он грохнулся о пол и разлетелся вдребезги. В потемках нашарил телефон, судорожно перебирая в уме всевозможные беды и несчастья, о которых некто спешил оповестить меня в столь ранний час.

Сипло каркнул в трубку:

— Але!

— Я тебя разбудила? — спросил невинный и жутко знакомый голос.

— Нет, — зачем-то соврал я, пытаясь проснуться.

Это была Шурочка Пухова. Моя первая жена, моя первая любовь — русская, московская.

Потом, уже здесь, в Нью-Йорке, я был женат на китаянке, мы жили в Сохо, она была художницей, нежной и тихой, с тонкой талией и разноцветным и невероятно детальным драконом, выколотым на мраморной спине. Она курила опиум и много спала, а когда бодрствовала, писала свои картины — огромные полотна, похожие на аппликации позднего Матисса. Уверен, что она даже не заметила, что мы развелись.

После я женился на американке. Она служила в адвокатской конторе на Мэдисон-Авеню, работала рьяно, с каким-то остервенением, точно пыталась кому-то что-то доказать. В конце концов ее сделали партнером в фирме и кем-то вроде вице-президента. Ее зарплата стала превышать мою в шесть раз. Она уверяла меня, что это не имеет ни малейшего значения, я с ней соглашался, но под Рождество, когда она была в Лондоне (защищала какого-то негодяя из нефтяной компании), я собрал вещи и ушел.

С того Рождества прошло полтора года, я по-прежнему (и по большей части) живу один. Наверное, это к лучшему. Если бы мне взбрело в голову пойти к аналитику, то я скорее всего услышал бы, что детская травма, вызванная смертью матери и гибелью отца, является причиной моей неуверенности в прочности взаимоотношений с представителями противоположного пола и препятствует созданию стабильной семьи.

Пусть так. Вину за все семейные неудачи целиком и полностью беру на себя. Впрочем, справедливости ради добавлю, что мое детство прошло вовсе не в сиротском приюте, среди казенных игрушек и тюремной мебели, меня не истязали садисты-старшеклассники и не мучили воспитатели-маньяки.

Я вырос в семье тетки, отцовской старшей сестры со сказочным именем Виолетта (впрочем, все знакомые звали ее просто Валей), в пятикомнатной квартире на Пречистенке, доставшейся ей после недавно скончавшегося мужа — страшно засекреченного академика-атомщика. В его кабинете, сумрачном, как келья алхимика, среди фолиантов и кожаных кресел еще витал медовый дух трубочного табака, коллекция английских и датских трубок с почти ювелирными штампами «Данхилл», «Нильсен», «Формер» хранилась на столе в резном футляре рядом с массивным письменным прибором с фигурой Наполеона и старинными часами с бронзовой птицей, сжимавшей когтистой лапой умирающую змею неизвестной породы.

Кроме нас с теткой в квартире обитали два черных пуделя, покладистых и добродушных, которых тетка на заре и под вечер степенно выгуливала по бульварам. Тетка когда-то считалась неплохой пианисткой, она закончила московскую консерваторию, концертировала, побеждала на каких-то конкурсах. О тех временах напоминал рулон старых афиш в кладовке да мрачный, как лимузин гробовщика, концертный «Беккер», что сиял черным лаком в углу просторной гостиной.

Шурочка Пухова появилась в нашей школе в начале восьмого класса, к концу второй четверти я уже был по уши влюблен в нее. Ее отца, плечистого здоровяка, похожего на циркового борца, а на самом деле дипломата среднего пошиба и наверняка чекиста, перевели в Москву из Латинской Америки. Из Мексики. В их квартире среди экзотического хлама, выставленного на обозрение, — шитых золотом сомбреро, маракасов, черных в багровых розах веерах — на самом видном месте висела фотография, на которой ее папаша был запечатлен в обнимку с Фиделем Кастро. Даже на черно-белом снимке бросалось в глаза, как здорово они оба загорели.

Любовь моя, хвала Амуру, Психее, Венере и прочим, кто отвечает наверху за наши глупости, оказалась взаимной. Я и сейчас, закрыв глаза, могу воскресить отзвук того безумного чувства: смеси восторженного преклонения с мучительно бесстыдной похотью. Моя любовь напоминала сумасшествие, Шурочкина отличалась рациональностью. Тут мой воображаемый аналитик, следуя учению великого Фрейда, непременно сделал бы заключение, что в этом случае произошла сублимация потерянной матери юной подругой, наделенной авторитарными качествами. Пусть так, аминь!

Шурочка отдалась мне в день моего рождения. Мне исполнилось пятнадцать.

Был декабрь, наши отношения подбирались к первому юбилею. Они пережили несколько страстных ссор, пару недельных разрывов, летние каникулы, которые Шурочка провела со своей коматозной мамашей по имени Римма Павловна в каких-то мидовских пансионатах — июль в Паланге, август где-то под Сухуми.

Мы уже давно изводили друг друга до обморока, до озноба — в полутемных парадных, в душных кинотеатрах, на случайных диванах школьных вечеринок. От поцелуев горели губы, мои потные пальцы путались в загадочном переплетении тесемок и бретелек, коварные молнии тугих джинсов не поддавались, еще хуже дело обстояло с застежками лифчиков (невероятное разнообразие вариаций этих застежек до сих пор удивляет меня), колготки непременно цеплялись и ползли.

Тем декабрьским вечером Шурочка пришла с букетом гвоздик в целлофане и чем-то, укутанным в серую конторскую бумагу. Моя тетка, смекалистая душа, воткнула цветы в вазу и сообщила, что как раз собралась уходить к подруге. Мы остались одни. За окном бесшумно валил снег, мохнатый и ленивый. Шурочка вытащила из свертка бутылку французского коньяка.

Мы молча сидели на диване в темной гостиной, в окно вползал мутный свет уличных фонарей, янтарный, почти волшебный. От коньяка, который мы пили маленькими глотками из фарфоровых чайных чашек, становилось все жарче. Шурочка поставила чашку на ковер. Медленно, одну за другой, расстегнула пуговицы своей кофты. Сняла ее. Потом юбку. Я сидел не двигаясь, точно заколдованный, это было как сон, как бред, точно мне удалось подглядеть какое-то таинственное священнодействие — ничего прекраснее я не видел. Ее тело светилось перламутром, она откинула назад голову, волосы вспыхнули лунным блеском, вспыхнули и погасли. Взяв мою руку, она прижала ее к своей матовой груди, ладонью я ощутил упругую твердость соска. Она медленно развела колени, медленно опустилась на ковер, томным русалочьим жестом увлекла меня за собой. Сухими губами я поцеловал ее в шею, нашел пылающую мочку уха. Я целовал ее в полураскрытый рот, она вздрагивала, точно от боли. Мое сердце колотилось, руки тряслись, запертые в соседней комнате кобели сладострастно поскуливали под дверью.

Прошло несколько миллионов лет, нас разделяла пара галактик, ее голос из телефонной трубки невинно переспросил:

— Я точно тебя не разбудила?

— Ну что ты! У нас уже почти половина пятого, мне давно пора доить коз и выгонять отары на горные пастбища.

— Извини. Я опять перепутала — восемь часов нужно отнимать или прибавлять. Извини. Чем занимаешься?

— Минуту назад пытался немного поспать...

— Извини, сколько можно повторять, — строго сказала Шурочка. — И прекрати острить. У тебя еще каникулы?

— Да, еще полторы недели.

— Ты должен немедленно прилететь в Москву.

Она не просила, не требовала, она просто информировала, что мне предстоит делать.

— И привези деньги, тысяч пять, — добавила она. — Наличными.

— Слушай, Пухова, — стараясь не злиться, начал я. — Последний раз ты мне звонила семь лет назад...

— Тогда была другая...

— Семь лет назад, — неумолимо продолжил я. — Ты требовала забыть твое имя и никогда больше не...

— Была совсем другая ситуация...

— И никогда больше не звонить и не пытаться...

— Я тебе говорю...

— Да мне плевать, что ты мне говоришь! — сдержаться все-таки не удалось. — Неужто ты думаешь, что будешь вот так вертеть мной всю жизнь?

Я вскочил и тут же напоролся пяткой на осколок стакана.

— Мать твою! — прошипел я. — Мы с тобой развелись сто лет назад, мы — чужие люди...

Я нащупал выключатель лампы, из пятки торчал кусок стекла; прижав телефон плечом к уху, я осторожно вытащил осколок. Кровь тут же весело закапала на пол.

— Мать твою... — повторил я, пытаясь сообразить, чем бы замотать рану. Шурочка что-то говорила, я уловил лишь конец фразы.

— Что? — спросил я. — Я не понял...

— Пропал. Три дня назад. Мой... — она запнулась. — Твой... Наш сын пропал.

Я смотрел, как на полу появляется занятный орнамент — красное на белом: по неясной причине весь пол в моей квартире был выложен плиткой, имитирующей белый мрамор.

— Мне удалось отмазать его в весенний набор... — Шурочка замолчала, я слышал как она затянулась и выпустила дым. — А теперь... Да еще тут все эти чертовы...

— Погоди... Я ничего не... А почему ты мне...

— Вот говорю!

— Так это когда я уезжал? — до меня стало постепенно доходить.

— Да. Только не воображай, что я что-то планировала. Все получилось случайно.

Случайно. Как почти все в нашей увлекательной жизни. Тогда я паковал чемоданы, уже получил все бумаги из посольства, ходил отмечаться каждое утро в авиакассы на Фрунзенской. Обзванивал подряд всех друзей и знакомых, прощался. Шурочка появилась рано утром — неожиданно: у нее вообще талант заставать меня врасплох. Накануне мы засиделись с Сильвестром, он уехал далеко за полночь, в квартире еще стоял тяжелый мужичий дух. Шурочка скептически оглядела стол, недопитые рюмки, окурки в тарелке.

— Так... Значит ты все-таки уезжаешь, — констатировала она, потом добавила. — А я выхожу замуж.

— Поздравляю, — хрипло сказал я, запахивая простыню на груди.

— Угу. Спасибо, — она взглянула на запястье, расстегнула часы и положила их на край стола. — Давай быстро в душ. У меня только сорок минут.

4

— Мы вылетели на час позже из Хельсинки, с самолетом какие-то неполадки были, в девять я приземлился в Шереметьеве. А сразу после паспорт-контроля меня ваши молодцы... — я сделал жест рукой, словно поймал в кулак муху.

— Да... — майор невесело усмехнулась, пристально разглядывая меня. — История, однако.

Я простодушно посмотрел ей в глаза. Скрывать мне было нечего, я рассказал ей все — и про ночной звонок, и про сына, и про армию. Единственное, о чем я не упомянул, это про пять тысяч долларов сотенными купюрами, спрятанных в подкладке моей куртки.

Мы сидели, как дети, на корточках. Постепенно до меня дошло, что она тоже растеряна, что она тоже не очень понимает, что творится. Она сосредоточенно курила, механически снова и снова стряхивая пепел указательным пальцем. С улицы доносились ругань и шум, казалось, там грузят мебель.

Новости на экране внезапно оборвались, появилась легкомысленная заставка с кленовыми листьями и излишне радостным восклицанием, написанным прописными буквами с перьевым нажимом: Здравствуй, школа! Очевидно, кленовые листья смутили не только меня, заставка дернулась и исчезла. Несколько секунд экран был просто темным. Майор воткнула окурок в пол и включила звук.

— Мы прерываем наши передачи для экстренного сообщения, — произнес из темноты тревожный мужской баритон. — Повторяю, мы передаем экстренное сообщение!

Появился черно-белый портрет президента. Гладкая голова, похожая на яйцо, мелкие черты простонародного лица, прищур — косметические манипуляции и неумелая ретушь добавили ему что-то почти восточное.

— Вчера... — мрачно начал баритон за кадром. — В результате террористического акта, организованного врагами нашей родины и осуществленного при помощи и участии наиболее реакционных кругов Запада и США, их спецслужб и разведок...

Баритон сделал паузу, я посмотрел на майора, она испуганным птичьим глазом взглянула на меня и снова уставилась в экран. Баритон продолжил, но из-за казенности фраз смысл вытекал из его речи, оставалось нагромождение канцелярских штампов и суконных оборотов, запутавшихся в сложносочиненных и сложноподчиненных конструкциях, оставшихся в родной речи со времен строительства коммунизма. Впрочем, на подсознательном уровне было и так ясно, что случилось что-то непоправимое. Внизу, на улице послышались крики, протрещала длинная автоматная очередь. Мы с майором, как по команде, повернулись к окну.

Черно-белого президента сменила цветная дикторша.

— Внимание! — к лацкану ее жакета уже был прицеплен черный бантик. — Внимание! Служба безопасности и министерство внутренних дел обращаются ко всем гражданам России. Сейчас мы покажем вам фотографию... — на экране появилось лицо — снимок загорелого мужика с крепким подбородком и выгоревшим ежиком. — Преступник пользуется документами на имя Николая Королёва. Повторяю — Николай Королёв. Также может предъявить паспорт США на имя Ника Саммерса. Повторяю — Ник Саммерс. Если вы видели этого человека или вам что-то известно о его местонахождении, немедленно позвоните по телефону горячей линии ФСБ...

Внизу побежали цифры.

— Работники транспорта, водители такси, пассажиры! Граждане, находящиеся на вокзалах и в аэропортах! Проявите бдительность, вглядитесь в это лицо. Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не пытайтесь задержать его самостоятельно, преступник крайне опасен. Немедленно оповестите ближайший пост охраны порядка

и немедленно позвоните по телефону горячей линии. Повторяю! Телефон горячей линии...

Она повторила все цифры, которые непрерывно бежали по низу экрана.

— Что это все значит? — растерянно спросил я.

Майор покачала головой. Она поднялась с корточек и подошла к окну. Щелкнула шпингалетом. Рывком распахнула створку, ловко запрыгнув на подоконник, выглянула вниз. Там снова раздалась автоматная очередь.

— ... создан Чрезвычайный штаб, — запинаясь и заглядывая в бумажку, испуганно произнесла дикторша. — Во главе с министром военно-воздушных сил маршалом авиации Каракозовым Ильей Семеновичем.

Каракозов оказался толстым и суетливым и несмотря на всякие аксельбанты, погоны и золотые звезды не внушал ни малейшего доверия. Он торопливо заговорил про империалистическое окружение, про ястребов из Вашингтона и их европейских лакеев, про их желание ввергнуть мир в пучину термоядерной войны, про усилия внешних и внутренних врагов России поставить родину на колени.

— Не бывать этому! Не бывать! — повторил Каракозов и погрозил кому-то толстым кулачком.

— Кто-нибудь может по-человечески объяснить, что тут происходит?! — неожиданно для себя самого заорал я в телевизор.

Майор вздрогнула, я извинился.

То, что произошло дальше, вообще было похоже на бред. Дикторша объявила о создании надправительственной комиссии с чрезвычайными полномочиями, председателем которой был выбран лидер российско-демократической партии Глеб Сильвестров. На экране появился Глеб Сильвестров, мой институтский друг и собутыльник, чуть обрюзгший, полысевший, но на сто процентов узнаваемый.

— Сильвио... — прошептал я. — Мать твою...

— Вы знаете... — майор ошалело поглядела на меня.

Я кивнул.

Сильвио сделал серьезное лицо, мрачным голосом начал:

— В трудный час обращаюсь я к вам, граждане великой России. Тяжела наша утрата, глубока наша скорбь. Врагам удалось вырвать из наших рядов верного сына отчизны, величайшего лидера, организатора и вдохновителя наших побед. Пока билось мужественное сердце, его помыслы и дела были всецело подчинены интересам построения великой России, возрождению российской государственности.

Сильвио откашлялся в кулак, сдвинул брови.

— Под его мудрым руководством наша отчизна, преодолев тяжелое наследие либеральных экспериментов, сумела не только возродиться и окрепнуть, но и приумножить мощь и могущество. Он заставил врагов России снова бояться ее, как это было во времена Ивана Грозного, Петра Великого и Иосифа Сталина. Под сенью двуглавого орла снова находят защиту и покровительство наши младшие братья — народы Украины, Казахстана, Белоруссии и Прибалтики.

Я засмеялся. Я вспомнил, как Сильвио нес такую же околесицу на семинарах по политэкономии. У него был безусловный дар — такой же дар, как у поэта безошибочно находить верную рифму или у композитора улавливать свежую мелодию, — он умел мастерски сплетать ловкую вязь канцелярских фраз, приправляя ее официально звучащими вербальными финтифлюшками и, искусно модулируя сочным голосом, доносить до аудитории. Торжественно или трагически, иронично или деловито — но всегда артистично, всегда мастерски.

Когда в военных лагерях мы принимали присягу, Сильвио читал текст присяги в микрофон, мы хором повторяли. Многоголосое эхо катилось по мокрым лугам, путалось среди желтеющих берез, терялось в туманной дали. Мы, ряженные в мятую форму болотного цвета, стояли под моросящим дождем, Сильвестр мерно чеканил

слова клятвы, присягал в преданности родине, идеалам мира, свободы и независимости. Клялся отстаивать до последней капли крови завоевания коммунизма. Я видел, как генерал, приглашенный на торжество, плакал, вытирая кулаком слезы.

5

Неожиданно мне стало легко и даже чуть весело — как на поминках не очень знакомого и не очень симпатичного человека. Появилось ощущение, что все происходящее всего лишь розыгрыш, некий колоссальный перформанс, вроде средневековых мистерий или нынешнего маскарада с восхождением на Голгофу, что устраивают для туристов в Иерусалиме: с ряженым Христом в терновом венце, несущим бутафорский крест, с группой статистов в живописных лохмотьях и римскими воинами в латунных шлемах с багровым плюмажем, напоминающим швабру.

Майорша, судя по всему, на что-то решилась, она глубоко выдохнула и повернулась ко мне.

— Знаете что, — она задумчиво пролистала мой русский паспорт. — А давайте я вас отпущу?

— Давайте, — осторожно согласился я, подходя к столу.

— Вы давно... тут не были?

— Год назад на конференции, — охотно ответил я. — Дня три... В Питере.

— Нет. Когда вы уехали? — она достала пачку, вытянула оттуда сигарету.

— Ну-у... Лет восемнадцать, пожалуй.

Майор посмотрела в угол, наверное, прикидывая, сколько ей было восемнадцать лет назад. Двенадцать, тринадцать? Она протянула мне паспорт.

— Если остановят, скажете, что были в командировке. Только прилетели.

Я спрятал паспорт в карман.

— А...? — я кивнул на свой американский паспорт, который лежал поверх кипы бумаг.

Майор сунула сигарету в рот, взяла паспорт, раскрыла, стала листать. Там были разноцветные штампы таможни Флоренции, печать франкфуртского аэропорта, штемпель Коста-Рики, куда я сбежал в феврале на три дня, осатанев от нью-йоркской зимы. Я протянул руку.

— Вы действительно давно тут не были, — майор прикурила сигарету и не гася зажигалки поднесла мой паспорт к огню.

Бумага тут же вспыхнула, листы горели синим пламенем, ярким и веселым. Занялась и обложка, скручиваясь и потрескивая, как кора, картонка выпустила черный язык копоти. Майор вытянула из-под стола мусорное ведро.

— Вот так... — она отряхнула руки, зачем-то понюхала пальцы.

Я рассеянно оглядел класс. Нужно было уходить.

— Где я? Вообще? — я сделал неопределенный жест рукой. — Какой это район?

— Вы же москвич? — спросила майор и снова понюхала пальцы. — Вон там — площадь Гагарина, там метро. Это Ленинский...

— Я думал, его переименовали...

Майор укоризненно посмотрела на меня.

— Умничать не надо. Не советую. Для вашего же блага.

Она протянула мне руку. Ладонь оказалась сухой и крепкой.

— Осторожней там... — она кивнула в сторону телевизора.

На экране мельтешили какие-то люди, лица, очевидно, оператор снимал на бегу. Я увидел шпиль высотки, узнал Краснопресненскую. Садовое кольцо было запружено толпой, какой-то парень залез на фонарный столб и оттуда размахивал российским флагом. Из раскрытых окон тоже свешивались флаги, в одно из окон кто-то выставил большой портрет президента. Толпа двигалась в сторону Арбата. На самодельном транспаранте неровными буквами было написано «Смерть пиндосам»!», на тротуаре

среди зевак было много полицейских, улица Воровского и улица Герцена перегорожены автобусами. Оператор развернул камеру, и я увидел американское посольство. Оно горело. Из окон второго этажа вырывалось рыжее пламя, на стенах чернела сажа. Какие-то люди карабкались по карнизу наверх. Из толпы вылетела бутылка и, ударившись в стену, взорвалась ослепительным огненным шаром.

6

Меня никто на остановил. Я спустился по лестнице, прошел вестибюлем, вышел на улицу. Там царила суета: в два «ЗИЛа» военного образца грузились какие-то люди, шумно и неуклюже лезли через борт, их подгонял молодой пехотный офицер в высоких сапогах, надраенных до зеркального блеска. На его рукаве чернела траурная повязка.

Окно на втором этаже с шумом распахнулось, оттуда зычно крикнули:

— Всех взводных к командиру!

— А куда это? — раздалось снизу, беспомощно и безответно.

На спортивную площадку, огороженную металлической сеткой вроде вольера в зоопарке для неопасных зверей, рыча въезжал пыльный автобус. Шофер подавал задом, высунув в окно локоть и красное злое лицо, он рискованно пытался протиснуться в узкий проход. В дальнем углу площадки рядом с хоккейными воротами теснилась группа людей. Их охранял парень в белой майке и с «калашниковым».

Я дошел до угла школы, остановился, пытаясь сообразить, где Ленинский проспект. Вокруг высились дома хрущевско-брежневской эпохи — серые, будто грязные, бетонные девятиэтажки и унылые кирпичные строения, похожие на большие бараки. Все наземное пространство было забито машинами: запаркованные автомобили стояли на тротуарах, лезли на обочины, теснились в сухой грязи среди хилых тополей, изображавших сквер.

— Эй дядя, потерялся что ли?

Я оглянулся, обращались ко мне. Бритый под ноль парень возился между мусорных баков — куском брезента пытался прикрыть какой-то скарб. Он подмигнул мне, отряхнул руки:

— Куда путь держишь?

— Не могу сообразить, как мне к Ленинскому выйти, — ответил я простодушно.

— Дуй прямиком, — парень указал ладонью направление, куда мне следует дуть. — К «Дому книги» аккурат и выйдешь. К гостинице «Спутник».

— Спасибо!

Парень в ответ кивнул, снова нагнулся к брезенту. Я повернулся и пошел, но что-то заставило меня обернуться. Лучше бы я этого не делал: из-под брезента выглядывали ноги в маленьких, почти детских ботинках рыжей кожи с подошвами карамельного цвета.

Быстро и не оглядываясь я зашагал по асфальтовой дорожке, протиснулся между бамперов «тойоты» и «жигулей», пересек детскую площадку с качелями и горкой, выкрашенными в омерзительно яркие, почти флуоресцентные цвета. В воздухе стоял запах гари, я вспомнил, что в Подмосковье горят торфяные болота. Я снял куртку, мокрая рубашка прилипла к спине. Хотел расстегнуть воротник, но пальцы тряслись и не слушались. Я рванул, пуговица белой точкой упала на землю.

В витрине «Дома книги» уже вывесили президентский портрет в черной раме. Из-за него выглядывали фотографии каких-то современных литераторов с неинтересными лицами и гладкими прическами, как на парикмахерской рекламе. Живая тетка в белой кофте и тесной юбке прилаживала креповый бант к раме. Я зачем-то остановился, она испуганно взглянула на меня через толстое стекло и тут же отвернулась.

Я вышел на Ленинский.

Проспект в обоих направлениях был запружен машинами, они не двигались.

Меня поразила тишина — я помню московские пробки, зимние и летние, в слякоть и снегопад, помню писк клаксонов «лад», «москвичей» и «волг», басовитый рык чумазых «КрАЗов» и «ЗИЛов», ругань шоферни, матерящейся в раскрытые окна, помню драки таксистов. Тут было тихо, казалось, что все машины брошены, что внутри нет ни души.

На углу, у входа в книжный магазин, баба в цветастом платке, из которого выглядывало кирпичного цвета круглое азиатское лицо, продавала яблоки. Яблоки, крепкие и румяные, лежали на мятой газете прямо на тротуаре. Баба сгруппировала их в аккуратные пирамиды — четыре яблока внизу, одно сверху. Ее напарник, таджик с седым ежиком и морщинистой шеей, копался в большой дерматиновой сумке тут же рядом. Там тоже были яблоки. Таджик поднял голову, удивленно что-то воскликнул на своем наречии, тыча пальцем куда-то вверх.

Я тоже оглянулся. По крыше дома на противоположной стороне Ленинского проспекта карабкались три человека. Маленькие фигурки бесстрашно подбирались к самому краю крыши, где на железных прутьях арматуры крепились гигантские рубиновые буквы. Это была рекламы «Кока-Колы». Старик Павлов оказался прав — мне тут же страшно захотелось пить. Я сухо сглотнул, облизнул шершавые губы и покосился на яблоки. Потом на руки торговки — они были цвета копченой камбалы.

Смельчаки добрались до края крыши, один развернул российский флаг с желтым орлом, другой начал долбить ломом по арматуре. Звук долетал с запозданием, я слышал звонкий металлический удар ровно между замахами. Половина рекламы неожиданно дрогнула, накренилась и, качнувшись как маятник, беспомощно повисла. Гигантский красный дефис загородил окно верхнего этажа. Человек с ломом продолжал неистово колотить. Звук летел над проспектом, как тревожный набат. Снизу раздались дружные крики, так болельщики скандируют на спортивных мероприятиях, поддерживая своих — на газоне, отделяющем дорогу от тротуара, меж низкорослых деревьев и кустов я разглядел толпу зевак.

Буквы сорвались и полетели вниз. Как мне показалось, чуть медленнее, чем положено по закону Ньютона — с трагичной неторопливостью, присущей добротному зрелищу. Толпа заорала, перекрывая грохот и звон. Буквы, рухнув на асфальт, разлетелись рубиновым фонтаном осколков.

Меня кто-то ткнул в плечо, я обернулся. Тройка подростков лет по пятнадцать, расталкивая прохожих, пробиралась на ту сторону проспекта. Пацан, толкнувший меня, ощерился и с вызовом глянул мне в лицо. Я хотел что-то сказать, но он, заметив таджиков, забыл обо мне: подскочив к бабе в платке, он пихнул ее ногой в грудь. Она охнула и как куль завалилась на спину. Старый таджик, бросив сумку, испуганно попятился. Яблоки высыпались из сумки на асфальт и покатились в сторону площади Гагарина.

Парень замахнулся, словно собирался отвесить таджику оплеуху, таджик присел, но увернуться не успел. Он замер, схватился за лицо руками и вдруг заорал сиплым высоким голосом. Сквозь пальцы брызнула кровь, яркая, алая, она стекала по шее, по рукам, лилась, именно лилась, на асфальт. Таджик выл, страшно, по-звериному.

Я повернулся к парню. Щенку не было и пятнадцати.

— Что ж ты... — я сжал кулаки и пошел на него. — Ты что...

Он попятился, выставил руку с бритвой.

— Стоять, падла! — звонким фальцетом крикнул он мне. — Порежу!

Я не испугался, меня остановила внезапная и жуткая мысль — а вдруг это сын? Мысль застала врасплох, я растерянно остановился, вглядываясь в его лицо. Мою растерянность он принял за страх.

— Вот так! И не рыпайся, — он сплюнул мне под ноги, — кончилось ваше время.

Он повернулся, напоследок победно бросил злой взгляд через плечо и, ловко протискиваясь между машинами, кинулся догонять своих.

7

Метро изменилось мало, стало погрязней, провинциальней. Повсюду пестрела скверная реклама, скучная или пошлая; броские, но удивительно корявые слоганы, казалось, придумывали копирайтеры, для которых русский был вторым языком, не родным.

Народ был одет понарядней, чем двадцать лет назад, но глядел так же хмуро и неприветливо. В лицах и жестах была мрачная целеустремленность, скупая и выверенная, точно каждый пассажир спешил с секретным пакетом в ставку верховного главнокомандующего. В нью-йоркской подземке тоже спешат, тоже толкаются, но делают это гораздо приветливей, с оптимизмам на лицах.

На платформе я встретился глазами с тщедушной старушкой — такие обычно обитают в крошечной квартирке с кошками, по дурацкой американской привычке улыбнулся, карга, прищурившись, злобно зыркнула на меня и отвернулась.

С грохотом подлетел поезд, выкрашенный той же самой голубой краской. Я втиснулся в вагон.

— Осторожно, двери закрываются, — сказал кто-то голосом доброго волшебника, голосом, знакомым с детства и почти родным. — Следующая станция — «Шаболовская».

Первым делом я пробрался к схеме. Шурочка жила на Котельнической, примерно посередине между «Таганской» и «Площадью Ногина», помню, как на спор мы мерили шагами расстояние от ее двери до станций метро. Как обычно, Шурочка выиграла и этот спор — «Таганка» оказалась ближе на сто двадцать два шага. Я тогда ставил на «Ногина». Сейчас от него не осталось даже имени — станция называлась «Китай-город».

Впрочем, не повезло не только малоизвестному Ногину, вполне знаменитые Калинин и Свердлов тоже пострадали. Среди возрожденных старомосковских названий «Охотный ряд», «Мясницкая», «Сущевская» появились и новые: «Рижская» теперь называлась «Герои Балтики», а «Киевская» — «Донецкая». К «Таганской» через дефис прилепили неказистое «Таврическая», придав (с почти мольеровским сарказмом) блатной хулиганистой Таганке привкус чванливого самозванства.

В вагоне было тесно, душно. От ядреной девки, что вдавила меня крепким крупом в железную штангу, разило смесью пота и сладкой пудры. Лица я не видел, от волос странно желтого цвета пахло борщом и подгоревшим салом.

Пассажиры читали, слушали музыку, тупо глазели в свои отражения на фоне стремительной черноты туннеля. Я не заметил ни одной газеты, газет вообще не читал никто. Метро жило своей привычной подземной жизнью. Меня поразила обыденность, скучная тривиальность, точно все, что случилось с момента моего прилета, было сном, кошмаром, какой-то невероятной галлюцинацией.

Сделав пересадку, я по кольцу доехал до «Таганки». Поезд унесся в черную дыру туннеля, я пошел вдоль платформы. Мне с детства нравилась эта станция, светлая и лаконичная, украшенная барельефами в стиле флорентийской майолики — белая глазурь, ультрамарин, золотые акценты, с мужественными профилями танкистов, пограничников, пилотов и орнаментами из танков, пулеметов и прочей военной атрибутики. Сейчас я понял, что советские мастера, сами того не подозревая, создали великолепное произведение поп-арта, оставляющее Энди Уорхолла с его банками томатного супа, мыльными упаковками и прочей дребеденью далеко позади. Сочетание хрупкого фарфора и нежной росписи — по форме с военно-патриотическим содержанием производило почти сюрреалистический эффект. Нечто подобное я

испытал, увидев в витрине оружейного магазина где-то в техасской провинции автоматический карабин «Бушмастер», выкрашенный в невинно-розовый цвет.

В центре станции, рядом с переходом, толпились люди. Я подошел — центральное панно на стене оказалось новым. Я не мог вспомнить, кто тут был раньше, кажется, моряки. Нынешние скульпторы не совсем успешно имитировали стиль старых мастеров советской школы. Бросалось в глаза плохое знание анатомии. Военные корабли, составляющие орнамент, тоже грешили отсутствием деталей и общей условностью. В центральный круг, окаймленный дубовыми листьями с желудями (желуди получились просто отлично, особенно рядом со схематичными, почти детскими, фигурками моряков с сигнальными флажками и угловатыми карабинами), был вделан скульптурный профиль человека в шапке с козырьком. Подойдя ближе, я понял — по кокарде с золотым якорем, — что это морская фуражка. Но это был не Нахимов, я точно помнил, что адмирал носил усы. Опознать личность удалось по цитате: «Рига была, есть и будет неотъемлемой частью земли русской».

На кафельном полу лежали вялые гвоздики и астры. Кто-то смекалистый оставил букет кроваво-алых гладиолусов в молочной бутылке с водой, прислонив цветы, похожие на колчан со стрелами, к гипсовому бордюру. Дама культурной наружности в белом берете, похожая на педагога по сольфеджио, шустро пробралась к панно и, привстав на цыпочки, приложилась к стене губами, как к иконе. Две тетки попроще, что стояли рядом со мной, хором вздохнули. Одна, в тугом черном платке, перекрестилась, за ней перекрестилась и другая.

Два мужика пролетарского вида, стоявшие передо мной на эскалаторе, вполголоса обсуждали события минувшей ночи. Плечистый здоровяк в клетчатой ковбойке уверял мелкого ханурика с золотой фиксой, что виной всему Киев.

— А я тебе натурально говорю — пиндосы это, — не соглашался мелкий. — У хохла кишка тонка.

— Кишка, Серега, это не аргумент.

— Хохол, бля? Коляныч, ты серьезно? Завалить президента? Ну ты в натуре прикинь, Коль, ну как хохол может? У него ж кишка тонка. У хохла.

Я вышел на Таганскую площадь. Здесь тоже воняло гарью, воздух был сиз, а небо серо. Здание театра поразило неожиданной низкорослостью: среди полустертой коллекции моих воспоминаний на особо почетном месте была премьера любимовского «Мастера» со зловеще обаятельным (а каким еще должно быть абсолютное зло?) Смеховым в роли Воланда, летающим занавесом, гениально трансформирующимся то в иерусалимскую грозу, то в московские сумерки, и совершенно голой Маргаритой в сцене бала. Билеты в пятом ряду достались нам случайно, Шурочкина мамаша закапризничала, и в театр вместо родителей пошли мы. За одно за это я должен был быть, ну если и не добрей, то хотя бы снисходительней к моей рыжеволосой, взбалмошной и совершенно безмозглой экс-теще.

Я вышел к началу Радищевской, тут на углу когда-то были шашлычная и овощной магазин. Овощной уцелел, в шашлычной обосновался салон красоты «Шарм». У беленой стены церкви стоял сарайчик с вывеской «Обмен валюты». Он был закрыт. Один угол сарая обгорел и был покрыт сажей, на железной двери с амбарным замком кто-то черной аэрозолью нарисовал огромную свастику. Последний обменный курс, выставленный в решетчатом окне, меня удивил: тут за доллар давали сто двадцать семь рублей. Вчера в аэропорту Кеннеди я менял по шестьдесят пять. Но это было вчера. Или сто лет назад, или в другой жизни. Или в одной из тех параллельных галактик, куда время от времени проваливаются незадачливые путешественники по затейливым лабиринтам памяти.

8

Я шел по Радищевской, и это было похоже на сон: я бродил тут сотни раз, знал эту тихую улочку наизусть — каждый поворот ее неспешного течения. Знакомые липы маленького парка стали еще выше, за парком виднелся дворянский особняк — почти из толстовского романа — с белыми колоннами, лестницей и каменными львами. В особняке в мои времена сначала обитал «Дом атеизма» (наш класс как-то водили сюда, и строгая грымза в два счета объяснила нам, третьеклашкам, почему бога нет: из всех аргументов я запомнил один — Гагарин его не видел). В вегетарианские времена горбачевского правления дом переименовали в толерантный «Комитет по делам религий». Сегодня тут обосновался Нефть-банк Цесаревич. За старинной кованой решеткой, похожей на частокол из римских пик, сияла лаком пара черных лимузинов. Рядом, среди желтеющих лип, скучал здоровенный битюг в солнечных очках.

Как в добротном сновидении с элементами кошмара, я подмечал знакомые детали — трещину на стене, похожую на профиль разбойника, железные ворота, выкрашенные той же гнусной охрой, матерное слово, которое так до конца и не смогли стереть с асфальта — помню, слово это относилось к Брежневу конца афганской войны, его фамилию удалось вывести еще тогда, на мат, похоже, не хватило прыти.

И тут же — как во сне — посреди знакомого наизусть окружения вдруг начинали вылезать сюрпризы, словно кто-то, зло потешаясь, играл с моими усталыми мозгами: из-за угла выставила дугу какая-то восточная арка, за аркой маячила здоровенная башня — не то минарет, не то маяк. Или купеческий домик — он внезапно подрос на четыре этажа тонированного стекла и стальных конструкций скандинавского дизайна. Вот еще: на пустыре, где мы среди лопухов сражались на деревянных мечах, а потом выгуливали тещиного фокса, теперь громоздился жилой комплекс, похожий на «Титаник», ненароком выброшенный на сушу.

За деревьями возник шпиль высотки, возник и снова скрылся в листве. Сердце заколотилось, я сбавил шаг. Я не сентиментален, выяснилось, что я просто боюсь: до меня вдруг дошло, что весь путь от метро я надеялся, что ее дом никогда не появится, что я буду шагать вечно и мне волшебным образом удастся избежать встречи с Шурочкой. Повторяю, я не сентиментален — меня не тревожило прошлое, я боялся будущего.

Пуховы жили в правом крыле, выходящем прямо на набережную Москвы-реки. Под ними располагался гастроном с царскими витринами, мраморными колоннами, почти итальянскими фресками на стенах, хрустальными люстрами в три обхвата под сводчатым потолком и аквариумом, в зеленоватой воде которого лениво плавали меднобокие карпы. Дальше шла ликеро-водочная лавка, тесная и грязная, местные алкаши распивали портвейн тут же за углом — в гулкой арке между мусорных баков.

Пухова не комплексовала, что в высотке их квартира была на третьем этаже.

— Вон, певица Зыкина, в корпусе «А», — смеялась Шурочка. — Народная артистка СССР! И тоже на третьем. И ничего.

В соседнем подъезде, и тоже на третьем, жил актер Ширвиндт — помню, как-то после школы мы с Шурочкой вышли на балкон. Артист стоял на соседнем балконе, задумчиво курил трубку, наблюдая незатейливое судоходство на Москве-реке. Заметив нас, он галантно склонил породистую голову, Шурочка, засияв, сделала светский книксен. Я стоял как пень. Шурочка хвасталась, что когда Ширвиндт устраивал вечеринки, то на балкон покурить поочередно выходило полтруппы театра Сатиры.

Подъезд был распахнут настежь. Кодовый замок кто-то вырвал вместе с куском двери, из пробоины безнадежно торчали оголенные провода. Та же тусклая лампочка под потолком, старый лифт в железной клетке. Между первым и вторым этажами тот же широкий мраморный подоконник и пыльное окно, выходящее во двор, на те же

грязные гаражи. На этом подоконнике мы с Пуховой учились целоваться, учились курить, пили из бутылки липкую гадость с саркастической этикеткой «Пунш гусарский». Я провел пальцами по холодному камню, выглянул в окно — там вообще ничего не изменилось.

Мне стало жутко: моя американская жизнь, тамошние экс-жены, друзья-приятели, моя профессорская карьера — все, что случилось со мной за два десятка лет, вдруг показалось мне полной фикцией. Точно ничего и не было — дым, сон, туман. Из подсознания поползли давно умершие (какой наив!) страхи. Невыученный плюсквамперфект по немецкой грамматике, надвигающаяся контрольная по алгебре, запись гневными чернилами красного цвета в дневнике с восклицательным знаком на конце, а главное, тревожная настороженность — вечный спутник советского школьника, минера и подпольщика, действующего в тылу у врага.

Даже запах в подъезде был тот же самый. Смесь пыли, паркетной мастики, кухни и кошек — патриархальный подъездный дух Москвы центральных районов, расположенных внутри Садового кольца.

Я остановился перед дверью, облизнул сухие губы и нажал кнопку звонка. В дебрях квартиры мелкими ангелами запели колокольчики, трогательно и мелодично, чистое Рождество! Послышался скрип паркета, я быстрым жестом пригладил волосы. Дверь раскрылась.

Следующий миг, еще до того как она произнесла первое слово, вместил в себя бездну времени.

Длинная голая шея, волосы нового русого оттенка по-взрослому забраны назад. Лицо как будто заострилось — скулы, подбородок, в нем появилось что-то восточное, впрочем, нет — это кошачьи очки в бирюзовой оправе; голые плечи, гладкие руки с рыжеватым загаром (все верно — конец лета, дача в Болшево), а вот на кистях голубым проступили вены, запястья похудели, на пальце кольцо с синим камнем. Господи, это кольцо меня добило — я сам выбирал его в ювелирном на Сретенке.

Момент истины — дурной штамп из скверных книжек, но иногда в банальности фразы заключается правда жизни (вот вам еще один штамп): за эти три секунды я понял, даже не понял — понимание требует времени, а осознал, что так никогда и не смог освободиться от того почти детского наваждения, того восторга, чудесного ощущения абсолютной беззащитности и наготы, самопожертвования, доведенного до экстаза. Когда смертельный яд и противоядие заключены в один сосуд и почти не различимы на вкус — вкус божественный! Я говорю про первую любовь, и вот вам штамп номер три.

— Все-таки прилетел, — произнесла Шурочка почти разочарованно. — А где багаж?

9

Квартира показалась мне гораздо меньше, будто усохла. Ощущение это подчеркивалось мелкими трещинами на потолке, желтоватой побелкой, линялыми обоями, выгоревшими по солнечной стороне стен. Маракасы и веера, те же сомбреро — два черных, одно малиновое, все три с золотым шитьем — больше не казались интеллигентской экзотикой, теперь эти дурацкие шляпы, веера и погремушки выглядели безвкусной декорацией, пыльной и стыдной. На том же почетном месте по-прежнему висела фотография Пухова-старшего и Фиделя, дымящих сигарами.

— Как батя? — я кивнул на фото.

Шурочка молча поджала губы и отрицательно покачала головой.

— Четыре года назад. В декабре... инсульт.

Я вздохнул, от неожиданности не зная что сказать. Мозг кольнула мысль — вот так и обо мне кто-нибудь скажет. В трех словах.

— А..? — начал я, не зная как обозвать экс-тещу.

— Ничего, на даче она, — Шурочка догадалась. — Давление, а так ничего. Болота еще эти чертовы горят...

— Да, — согласился я, подходя к окну. — Дымно тут у вас.

Стекло было пыльным, я провел пальцем по подоконнику. Набережная забита машинами, пробка стояла и на Устьинском мосту, там в ряд один за другим застряло пять троллейбусов. Уродливую белую гостиницу, куда мы часто ходили в кино, наконец снесли, стали видны кирпичная стена Кремля и угловая башня с выпавшим из памяти названием. На той стороне реки, за Каменным мостом что-то горело, ленивый дым поднимался вертикально вверх словно серая лента.

— Чай будешь? — ее вопрос прозвучал так обыденно, что мне показалось, я сошел с ума.

— Пухова! — я резко повернулся. — Какой к чертовой матери чай?! У вас тут...

— Не ори! — строго оборвала она. — Не хочешь, так и скажи.

— Да хочу я! Хочу! Но я не понимаю...

Она, не дослушав, пошла на кухню. Я остался стоять с открытым ртом и патетично вознесенной рукой.

— Ты деньги привез? — крикнула она из кухни, там загремела вода.

— Потрясающе... — прошипел я, хлопнув себя по бедру, и поплелся через коридор на кухню.

Кухня, и раньше тесноватая, показалась мне не больше кладовки. Я уселся за стол, втиснулся на свое место в углу, колени привычно уперлись в столешницу. С удивлением узнавались предметы, о которых я не вспоминал сто лет: красный пластиковый абажур, купленный в магазине «Балатон», расписной электросамовар в жостовских лопухах, которым никогда не пользовались, чайный сервиз — белый в красный горох, трещина в мраморном подоконнике, которую я обещал заделать в какой-то другой жизни. По подоконнику разбежалась знакомая гжельская мелочь — солонки-перечницы и прочая дребедень. На все том же финском двухкамерном холодильнике стоял маленький черно-белый телевизор с мертвым сальным экраном и рогатой антенной.

— Ты все своим... — Шурочка налила мне заварки, придерживая крышку фарфорового чайника указательным пальцем, — своей структурной социологией занимаешься?

— Массовым сознанием, — я скромно отхлебнул горький чай. — Девиантным поведением больших групп, когда отход от нормы становится нормой общества. Ну это обобщенно... В прошлом декабре опубликовал статью в «Обзоре современной социологии»... — я сделал еще глоток. — И мне заказали книгу.

На Шурочку это не произвело ни малейшего впечатления.

— Ясно... — она рассеянно вытащила сигарету из мятой пачки, уронила пачку на пол.

Нагнулась, я невольным взглядом застрял в вырезе ее летнего платья на круглой незагорелой груди.

— Меня арестовали в аэропорту, — сказал я мрачно. — Завязали глаза. В наручниках отвезли в какую-то школу. Я видел трупы. Немца... австрийца, с которым я сидел в подвале. Его убили. Меня допрашивали, и лишь по чистой случайности мне удалось вырваться. Я хочу понять, что у вас происходит!

Она курила, молча стряхивая пепел в блюдце.

— Почему ты делаешь вид, что ничего не случилось? Ты можешь хотя бы включить телевизор?! — Я двинул кулаком по столу. Чашка подскочила, расплескав остатки чая, упала на кафельный пол и со звоном разбилась вдребезги. Я неуклюже выбрался, собрал осколки, выкинул в мусор. Мусорное ведро было там же, где и четверть века назад, — под мойкой.

Шурочка затянулась, выпустила дым в сторону. Она молча наблюдала за мной, потом со сдержанной злостью тихо произнесла:

— У меня пропал сын. Наш сын. Твой и мой. Мы должны его найти. Но для этого из нас двоих кто-то один должен вести себя, как мужик.

Она с силой воткнула окурок в блюдце, встала и включила телевизор. Сначала появился звук.

... — крупнейший политический и государственный деятель современности, — с мрачным торжеством сказал телевизор. — Вся многогранная деятельность Тихона Егоровича Пилепина, его личная судьба неотделимы от важнейших этапов в развитии страны.

На сальном экране появилась черно-белая фотография президента. Я вспомнил, что телевизор не цветной. Шурочка поставила свою чашку в раковину и вышла из кухни. Голос за кадром продолжал:

— ...неизменная преданность делу мира. Не подготовка к войне, обрекающая народы на бессмысленную растрату своих материальных и духовных богатств, а упрочение мира — вот путеводная нить в завтрашний день. Эта благородная идея пронизывает российскую мирную инициативу, выдвинутую в ООН, всю внешнеполитическую деятельность нашей страны.

Голос за кадром, трагичный и умный баритон, продолжал:

— Мы видим всю сложность международной обстановки, попытки агрессивных кругов Запада подорвать мирное сосуществование, столкнуть народы на путь вражды и военной конфронтации. Но это не может поколебать нашу решимость отстоять мир. Мы будем делать все, чтобы любители военных авантюр не застали нашу родину врасплох. Потенциальный агрессор должен знать: наш ответный удар будет сокрушительным.

Я слушал как зачарованный — я совершенно забыл о магии этих заклинаний. Словесная белиберда напоминала мантру: гипнотизировало само звучание. Это было похоже на поэзию, на песнь шамана. Не изменились ни пафос, ни словарь: я все ждал, когда будет сказано о руководящей и направляющей роли партии. Шурочка вернулась на кухню. Ни слова не говоря, положила передо мной фото в рамке, семейные офисные работники обычно ставят такие на письменный стол. Я взял фотографию, повернул к свету. На снимке, в полуденном турецком зное с пальмами и синими пляжными зонтами в качестве декораций, фотограф запечатлел веселую Шурочку в цветастой блузке и пацана лет пятнадцати в простой белой футболке. Этим пацаном запросто мог быть я сам — лет тридцать назад: сходство было убийственным.

10

Я поставил фотографию на стол, долго вглядывался. Потом закрыл лицо ладонями. Шурочка пальцами тронула мое плечо, я замотал головой. Я не плакал. Я просто не знал, не мог понять, что со мной происходит.

Рассудок — это часть сознания, способная логически осмыслить действительность, составляя суждение о явлениях и превращая познание в опыт путем объединения их в категории. Я был согласен с Кантом теоретически, но на практике — в отдельно взятой московской кухне — что-то не очень складывалось: мой мозг заклинило, в горле стоял ком, я подумал, что, наверное, именно так людей хватает кондрашка.

— Незлобин, — испуганно позвала Шурочка. — Тебе плохо?

Не поднимая головы, я отрицательно помотал головой.

— Димка, — она наклонилась ко мне, — может, коньяку?

Не отнимая рук от лица, я кивнул.

Коньяка не оказалось. Я выпил теплой водки, налил еще и снова выпил.

— Ты что ли настаиваешь? — сдавленным чужим голосом спросил я — на дне бутылки бледными кольцами скручивалась лимонная кожура.

— Я? — Шурочка заботливо налила мне третью рюмку. — Не-е. Папа еще...

Пухов-старший, подмигнув, помахал мне загорелой рукой с того света. Я кивнул ему и выпил третью. Шурочка по-птичьи осторожно, точно микстуру, отпила из своей рюмки. Химическая реакция наступила на удивление быстро (что бы там ни говорили про русских, а водку они делать умеют), мне стало жарко, голову отпустило, я улыбнулся.

Я улыбнулся, погладил Шурочкину руку. Сто грамм разведенного этилового спирта, настоянного на лимонных корках, волшебным образом навели порядок в мироздании.

Широким жестом снял куртку, один рукав застрял, я освободился, резко вывернув его наизнанку. Порвал подкладку, вытащил деньги — пятьдесят новеньких купюр с портретом президента Франклина, туго перетянутых аптекарской резинкой. С почти эротическим удовольствием шмякнул увесистую пачку на кухонный стол. Безусловно существует магическая связь, подсознательная, на грани патологии, между человеком и этими кусочками цветной бумаги. Они волшебным образом, не будучи наркотиком, вызывают состояние эйфории. Эффект значительно усиливается, если тебе удалось провезти их контрабандой через границу.

Шурочка сняла очки, некоторое время она молча смотрела на меня, пытливо и внимательно, точно стараясь что-то разглядеть в моем лице. Ее умные глаза серо-голубого цвета пытались сквозь морщины, годы, ссоры и скандалы, сквозь незатянувшиеся шрамы развода, сквозь боль обидных и несправедливых слов добраться до того, что она разглядела тогда, много лет назад, когда нам еще не было и пятнадцати. Не знаю, может, мне это только почудилось, поскольку нечто подобное творилось сейчас со мной.

— Спасибо, — тихо сказала Шурочка, она взяла деньги, зачем-то понюхала. — Новые совсем.

Встала, поднявшись на цыпочки, сунула пачку между жестяных банок «Соль» и «Мука» на верхней полке. Отошла к окну. Телевизор показывал фотографию Спасской башни с часами, застывшими на семи двадцати. Из хилого динамика, чуть похрипывая на басах, текли «Страсти по Матфею». Тревожная музыкальная фраза повторялась, потом пошла наверх. Иисус нес крест на Голгофу. Вступил хор, в тоскливую мелодию органа вплелись голоса второго хора — первый хор оплакивал Христа, второй вопрошал: Кто? Куда? За что?

Шурочка, чуть сутулясь, стояла ко мне спиной. За ней, в заоконном мареве, проступило тусклое солнце. Оно, мученически краснея пунцовым нарывом в серо-коричневой дымке московского неба, закатывалось где-то там, за неразличимым из-за гари университетом, где-то в районе Воробьевых гор.

Кухня вдруг наполнилась рыжим светом, теплым и почти осязаемым. Легионеры распяли Иисуса, подняли на веревках крест, укрепили кольями и булыжниками. К двум хорам присоединился еще один — детский: О, невинный агнец Божий, Ты на кресте убиенный. Такими голосами, наверное, поют ангелы, когда им грустно.

Шурочка всхлипнула. Не поворачиваясь, зябко обхватила себя за плечи.

Какой же я все-таки идиот! Поистине безнадежный и неисправимый. Я, стукнувшись коленом, неуклюже выбрался из-за стола. Она вяло отталкивала меня локтем, пряча лицо. Я прижал ее к себе, она тут же обмякла, по ее телу прошла та самая дрожь, от которой у меня мутился разум еще в школе. Примерно то же самое произошло со мной и сейчас — мозг мой отключился. Резко, почти грубо развернув ее, я нашел ее губы. Прижал. Я елозил лицом по соленым щекам, по горячим мокрым губам, целовал ее лоб, брови, подбородок. Она тихо всхлипнула, уткнулась мне в шею, точно прячась от кого-то. Я механическим жестом гладил и гладил ее по голове.

Москва-река за окном отразила небо, грязное и красное. Тень под мостом казалась черней сажи. Парапет и дома на той стороне сразу потемнели, стали плоскими, как фанерные декорации. Пробка на Устьинском мосту так и не сдвинулась, фиолетовые контуры троллейбусов напоминали караван гигантских кузнечиков, угодивших в западню. На середине моста собралась толпа, люди размахивали какими-то флагами, кто-то сорвал спасательный круг и кинул вниз. Круг беззвучно шлепнулся в маслянистую воду и медленно поплыл в сторону Нагатино. Люди жестикулировали, потом растянули на решетке ограждения длинный транспарант. На белой тряпке корявыми буквами было написано: «Смерть пиндосам!» Я заметил, что несколько человек пытались перекинуть какой-то мешок через поручень. Им это удалось. Мешок полетел вниз. Не долетев до воды метров трех, он дернулся и повис. Это был человек. Он неспешно покачивался, как маятник, потом замер. Я, не в силах оторвать от него взгляда, все гладил и гладил Шурочкин затылок.

11

По темному потолку бродили тусклые огни ночных машин, неслышно ползущих по набережной. Шурочка задумчиво курила, приткнувшись к моему плечу, мне вспомнился ее неброский талант быть чрезвычайно уютной. Я следил за кружевами сизого дыма, лениво утекающего в черный проем распахнутой двери. Там был коридор, но мне почти удалось убедить себя, что за порогом раскрывается бескрайняя бездна, вроде космической, в которую можно незаметно ускользнуть и там раствориться. Я бы с удовольствием отдал душу за возможность продлить пребывание в этой кровати до конца жизни, но калибр моей личности явно не интересовал силы зла, и никто не предлагал мне остановить это мгновенье. Впрочем, у Гете та история была гораздо запутанней.

— Почему ты ничего не рассказываешь про... — я запнулся, — про сына?

— Ты не спрашиваешь.

— Вот сейчас спрашиваю. Я даже не знаю, как его зовут...

Шурочка затянулась, беззвучно выпустила дым и назвала имя. К такому повороту я не был готов.

— Ты действительно... ты назвала... — у меня перехватило горло, я замолчал, чтобы не всхлипнуть.

— Да, — она снова пустила дым в потолок. — Надеялась, что вместе с именем он унаследует некоторые качества, которые мне были симпатичны в тебе. Когда-то...

Где-то вдалеке завыла «скорая помощь». Я лежал в каком-то оцепенении, лежал и молчал, словно моя неподвижность могла оправдать мое идиотское молчание. Шурочка, точно почуяв, прохладно спросила:

— Ты хоть что-нибудь скажешь? Или женщины каждый день в честь тебя детей называют?

— Господи, Шурочка... — я начал поспешно и очень искренне, не имея ни малейшего представления, что буду говорить дальше.

В этот момент с улицы раздался крик, звериный истошный вопль. Я даже не разобрал, кто кричит, женщина или мужчина. Шурочка вцепилась мне в плечо. Крик захлебнулся, словно жертве заткнули рот. Я кинулся к окну.

— Что там? — испуганно прошептала Шурочка. — Это тут, на набережной?

— Нет, — быстро ответил я. — Тут нет никого.

В желтом круге уличного фонаря рядом с автобусной остановкой на тротуаре лежал человек, двое других шарили по его карманам. Мимо проезжали редкие машины. Потом эти двое подтащили лежащего к парапету, теперь было видно, что это мужчина, его рубашка задралась, обнажив худой торс. Один ухватил его за ремень, другой подмышки, они подняли и перекинули его через парапет. На асфальте остался лежать

ботинок. Один из двоих нагнулся, подобрал ботинок и, сильно размахнувшись, закинул его в реку. Второй засмеялся, что-то крикнул ему, потом они быстро пошли в сторону Таганки.

Мои пальцы мерзко дрожали. Я стиснул кулаки, прижал лоб к стеклу: над притихшей Москвой висела ночь, грузная и слепая. Хворо светились уличные фонари, их отражения плыли в тягучей, как смола, воде. Против воли я повернулся к мосту, к первому повешенному добавился еще один, этот свисал, касаясь ногами воды. По безлюдному мосту проехал пустой трамвай, салон внутри был освещен теплым янтарным светом.

— Иди сюда, — позвала Шурочка. — Что ты там стоишь...

Мы снова лежали, я снова глазел в потолок, Шурочка курила. Она что-то рассказывала, я кивал. Меня посетила странная мысль — мне вдруг показалось, что я больше не смогу заснуть никогда, сама идея сна представилась мне как нелепое и бездарное времяпрепровождение.

— ...не так уж плохо, — продолжала говорить Шурочка. — Поначалу, по крайней мере.

Я кивнул.

— Папа зачем-то устроил его к Лужкову, тогда контакты еще... — она грустно вздохнула. — Мидовские и... другие.

Я снова кивнул.

— Ну тут Любецкий и решил, что сам черт ему не брат...

Любецкий был ее вторым мужем. После меня. Колченогий остряк в ондатровой шапке. Я хотел сказать, что человек по имени Артур, а тем более брюнет, запрограммирован на мерзость и подлости, и ожидать от него иных поступков было, по меньшей мере, наивно.

— ...его дочь. Ты, наверное, не помнишь, он тогда мелкой сошкой служил где-то в Питере. Ну а когда питерские поперли в Москву... — Шурочка затянулась, — Лобачев оттяпал жуткое количество недвижимости в Центральном округе...

Ее голос, тихий и монотонный, все-таки убаюкал меня: из ватной темноты выплыл приблизительный пейзаж Санкт-Петербурга с безошибочным шпилем Петропавловки, по воде Невы брели какие-то темные люди, похожие на католических монахов. Впереди шел некто с лицом Гитлера, но я точно знал, что это Любецкий. Как они идут по воде? — мелькнула мысль. И тут же процессия начала погружаться, тонуть. Меня наполнило тихое злорадство, монахи беззвучно уходили под воду, как в немом кино, гримасничая и заламывая руки. Я вздрогнул и проснулся.

— Ты спишь? — спросила Шурочка.

— Нет, — бодро соврал я.

Тут же мне показалось, что это уже было — и вопрос ее, и мой ответ. Что мы провалились на какую-то спираль жизни, которую мы уже один раз отыграли. Во рту пересохло, но вставать и тащиться на кухню за водой было лень.

12

Утром выяснилось, что отключен интернет. Шурочка сидела на телефоне, обзванивая знакомых сына. По телевизору крутили мрачную музыку, в основном фортепьянные пьесы Шопена. Под мостом появился третий повешенный.

Точно вор, я прокрался в комнату сына, притворил за собой дверь. Сквозь толстые гардины сочился пыльный свет, тусклыми лужами растекался по дубовому паркету, по письменному столу. Я провел пальцем по краю стола, точно хотел убедиться в его материальности, за этим столом я писал курсовые, свои первые рефераты. Курсовые, рефераты? — я тихо рассмеялся.

Комната удивила аскетизмом: никаких плакатов по стенам, никакого подросткового хлама по углам. Полки, книги, кровать. Даже не кровать — койка. Туго заправленная шерстяным одеялом в темную шотландскую клетку, она напоминала койку какого-нибудь английского лейтенанта времен великой империи. Не хватало томика Киплинга и трубки с кисетом на тумбочке. Не отдавая себе отчета, что роюсь в чужих вещах, я привычным жестом выдвинул ящик стола. Там тоже был полный порядок: ручки, остро заточенные карандаши и прочая канцелярская мелочь строго лежали на своих местах. Наготове, как в пенале отличника.

Из глубин стола я выудил картонную папку. Там, внутри, были сложены рисунки. У меня отлегло на душе — мой сын был обычным парнем, нормальным подростком. На рисунках, лихих и на удивление профессиональных, были изображены какие-то супермены, вампиры, крылатые воительницы в рогатых шлемах, хищные инопланетные чудища, острые мечи и копья — короче, вся белиберда, которой мальчишки испокон века изрисовывали свои тетради, учебники, парты, стены. Я аккуратно убрал рисунки в папку, погладил ее ладонью. Потом сунул папку в стол и тихо задвинул ящик. Ужас, необъяснимый страх, что я испытывал перед своим сыном, начал постепенно таять...

— Колумбийского не достать... — Шурочка твердой рукой разлила кофе по чашкам. — Поблагодари своего президента от меня.

— Непременно, — говорить о политике с утра не было ни малейшего желания, но я не удержался. — Вашего, очевидно, уже кто-то поблагодарил.

Шурочка бросила на меня презрительный взгляд.

— Что-нибудь узнала? — спросил я.

Шурочка отрицательно помотала головой.

— Ну у него ж есть друзья... — я запнулся. — Подруги. Тебе же он наверняка что-то говорил?

Шурочка ощетинилась моментально:

— А ты своим родителям много рассказывал? — Тут же осеклась, буркнула: — Извини...

Я великодушно кивнул. Она продолжила на три тона ниже:

— Школу они закончили, все классные приятельства сошли на нет — ты ж сам помнишь... Димка дружил с девочкой из «А»...

— Дружил? — Я поднес чашку, вдохнул, сделал глоток. — Надеюсь, я понимаю тебя правильно?

— Ну откуда я знаю? Я ее видела несколько раз — хорошая девочка из приличной семьи. Хочет стать врачом... Зина...

— Зина?! — Я засмеялся. — Зина? Ты шутишь? Зина...

— А что — имя как имя.

— Конечно, конечно! — согласился я не без сарказма. — Хорошо, что не Марфа или Дуся. Или вот еще отличное имя...

Я не успел сострить — кто-то заколотил в дверь, требовательно и нетерпеливо. В Шурочкиных глазах мелькнул испуг. Она пошла открывать, я остался сидеть на кухне в майке и трусах с дурацким рождественским узором из красных бантов с золотыми бубенцами по темно-зеленому фону.

Клацнул замок. Голос, низкий и угрюмый, забубнил что-то с вопросительной интонацией. Лестничная клетка отзывалась эхом, казалось, говорят из колодца. Я привстал, вытянул шею — угол стены с бутафорской, якобы кастильской, гитарой черного лака загораживал входную дверь: я видел лишь Шурочкину ногу в розовом тапке, с какой-то школьной беззащитностью отставленную назад на носок. Поза отличницы, попавшей впросак.

Их оказалось двое. Они вошли в коридор, протопали на кухню. Парень в серой ментовской форме и пехотный старлей. Обоим было не больше двадцати пяти. Мент,

плотный и рыжеватый, с нелепыми рыжими усиками, напоминал сытого кота. Пехотинец, бледный и голубоглазый, был в полевой форме с портупеей и кобурой. Из-за гостей растерянно выглядывала Шурочка.

— Доброе утро, — я привстал, приветливо улыбаясь, успешно выдрессированный американскими нормами общественного поведения. — Не хотите кофе? Хозяйка только сварила.

Оба посмотрели на меня так, словно я показал им карточный фокус.

— Это кто? — грубовато обратился мент к Шурочке.

— Муж, — без запинки ответила она. — Отец Димы.

Они подозрительно разглядывали меня, неодетого, но чисто выбритого, загорелого и поджарого, с намеком на атлетическую фигуру: в соседнем корпусе моего университета бассейн на семь дорожек. Я, продолжая улыбаться, вдруг заметил за милицейской фуражкой, совершенно маскарадной, с невероятно высокой тульей и украшенной золотым орлом, толстенную пачку моих долларов, втиснутых меж двух жестяных банок. Пачка выглядывала с полки почти на сантиметр. Я понял, что сейчас у меня попросят документы, что последует за этим — рисовалось смутно, но почти все варианты развития событий выглядели не очень привлекательно.

— А что, звонок не работает? — непринужденно спросил я. — Вы стучали...

— Ток отключили, — буркнул мент. — В восемь пятнадцать...

— А когда включат? — вежливо перебил его я. — У вас есть какая-нибудь информация?

Мент недовольно хмыкнул и осторожно погладил усики, словно проверяя их наличие. Пехотинец заскрипел кожей портупеи, откашлялся.

— Вот... — он неловко расстегнул планшет, я помнил такие по военной кафедре. — Вот. Надо расписаться...

Он достал несколько повесток. Эту гадость я тоже помнил.

— Как его? — перебирая бумажки, спросил он у рыжего.

— Пухов, Дмитрий Пухов, — внимание рыжего тут же переключилось с меня на Шурочку. Кот, ну вылитый кот.

— Если вам, гражданка Пухова, все-таки удастся, — рыжий ухмыльнулся, — все-таки удастся каким-то невероятным образом связаться со своим сыном, передайте ему, что если он не появится в военкомате до четверга...

— Пусть распишется... вон там... — лейтенант нашел повестку и сунул открытку Шурочке.

— Кто? — спросила она.

— Пусть она распишется, — повторил старлей, обращаясь к рыжему.

— Вашему сыну грозит срок за уклонение от воинской обязанности. А в нынешней ситуации... — кот насупил рыжие брови, — военный трибунал.

— Военный трибунал, — строго повторил лейтенант.

Они ушли, оставив на кухне запах солдатской ваксы и мужичьего пота. На столе лежала открытка с фиолетовой печатью, заполненная от руки красивым, почти каллиграфическим почерком. У заглавных букв Д и П были кокетливо закручены петельки. Я грохнул кулаком по столу.

— Господи! — заорал я. — Ну почему, почему в этой проклятой стране ничего не меняется? Почему?

Шурочка хмуро смотрела на повестку.

— Вот эта гнусность, — я схватил повестку, потряс ей над головой. — Ведь она происходила и двадцать лет назад! И пятьдесят! И сто! И будет происходить тут вечно!

Я смял повестку и швырнул в угол.

— Как вы можете жить в этом дерьме? Как? Ты ж интеллигентный человек! Искусствовед! Ну как ты можешь жить тут?

Мой вопрос повис в воздухе, эхо плоско откликнулось в какой-то кастрюле. Шурочка подняла глаза, невесело посмотрела на меня.

— Ты знаешь, Незлобин, — сказала она мрачно, — эти новогодние трусы здорово снижают градус твоего пафоса.

Неожиданно включился свет в коридоре, а из телевизора донесся гробовой голос:

— ...похоронной комиссии, маршал авиации и исполняющий обязанности главнокомандующего России, председатель Чрезвычайного штаба Илья Семенович Каракозов.

Мы с Шурочкой повернулись к экрану. Из темноты выплыл маршал, мне показалось, что за ночь он прибавил килограммов пять и постарел лет на десять.

— Россияне! — с плохо скрытой истерической нотой проговорил военачальник. — Сограждане! Братья и сестры...

Я подумал, что судя по беспомощному плагиату этот толстяк безнадежно бездарен и долго наверху не задержится.

— Кто этот клоун? — спросил я.

Шурочка пожала плечами.

Каракозов, пуча глаза, поведал о тяжелой године и о кольце врагов. Об их коварстве и ненависти к стране России. О кровожадном блоке НАТО, о недобитых фашистах и националистах. О горячо любимом вожде, которого мы потеряли. О великом человеке, мудром и прозорливом, гении, равно гениальном во всех областях жизни — превосходном спортсмене, талантливом музыканте, поэте и лингвисте (покойный, оказывается, говорил на пяти языках, включая фарси). Великом политическом деятеле. Стойком борце за дело мира.

— Два года подряд Нобелевский комитет присуждал ему... — маршал быстро вытер мокрые губы рукой. — Присуждал ему международную премию мира.

Я демонически расхохотался.

— Вы ж всех подкупаете! — смеясь, крикнул я ей в лицо. — И этих чертовых шведов, и Олимпийский комитет, и футбольных мафиози. Всех! Вы погрязли в коррупции. Коррупция — это ваш модус операнди, вы по-другому не можете существовать... Вы и ваше проклятое общество! Как вообще вы смеете именоваться Россией.

— Не смей! — вдруг горячо воскликнула Шурочка. — Не смей! Это Россия! И мы — русские! А вот ты, ты сделал свой выбор. Ты уехал...

— Ну и что? Я от этого не меньше русский, чем...

— Нет! — перебила она. — Ты не русский, никакой ты не русский. Ты...

Она запнулась, пытаясь придумать, как побольней оскорбить меня.

— Ну? — подзадорил ее я. — Ну, давай! Кто я?

— Ты — пиндос!

Я оторопел, глядя на нее. Ее лицо побелело. Она отвернулась, закрыла лицо руками. Маршал с экрана вещал:

— ...будет открыт доступ к телу президента. В церемонии прощания примут участие главы иностранных государств, представители международных организаций...

Шурочка всхлипнула и зарыдала в голос. Я неуклюже обнял ее, прижал к себе.

— Боже мой, боже мой... — причитала она, шмыгая носом и всхлипывая. — Что с нами приключилось, боже мой, Незлобин, что с нами... что с нами такое приключилось?

Я снова гладил ее по голове, и снова в меня вползало чувство, что все это уже происходило — и со мной, и с Шурочкой, и с этим проклятым миром.

В прихожей жалобно заблеял телефон.

Шурочка говорила недолго, вернее, даже не говорила, а слушала, изредка кивая головой, словно собеседник мог видеть эти кивки. В конце сказала «да» и нажала отбой.

— Через час на Маяковке, — лицо у нее стало совсем бледным. — У памятника.

— Это он? — неуверенно спросил я, кивая на телефон.

— Зина...

— А что с ним? Где он? Она хоть что-то сказала?

— По телефону? — Шурочка спросила так, точно мне было лет девять. — Ну ты даешь...

13

Она, как всегда, оказалась права — нужно было идти в сторону Таганки. Я настаивал, что по набережной получится быстрей.

Мы вышли на Котельническую и тут же угодили в людской поток — плотная толпа двигалась в сторону Кремля. Машин не было. Люди шагали по мостовой, по тротуарам. Продирались сквозь чахлый сквер, топча жухлую траву. Деловито перелезали через лавки. Люди двигались с мрачной целеустремленностью, точно лед по реке, шли молча, и в этом безмолвном упорстве было что-то жуткое, неодушевленное, казалось, что запущен какой-то гигантский механизм, превративший людейв угрюмое стадо. Я сжал Шурочкину ладонь и, выставив плечо, потянул ее за собой.

— Все нормально. До академии дойдем, — сказал я уверенно. — Там свернем — и к метро.

Со стороны Яузы, с набережной и от Садового кольца шли люди, много людей. Они вливались в нашу толпу. На Астаховом мосту стояли танк и два полицейских автобуса.

— Куда они все идут? — я приблизил губы к Шурочкиному уху. — В Кремль на елку?

Я вспомнил, как на первом курсе нас гоняли на первомайскую демонстрацию, как Сильвестр протащил за пазухой бутыль портвейна, как мы прикладывались к ней, по очереди загораживаясь фанерой с фотографией какого-то члена Политбюро. Как потом, уже на подходе к Красной площади, Сильвестр очень похоже изображал Брежнева, потешно двигая бровями и шепелявя про легендарные «сиськи-масиськи». Все это казалось нам очень забавным.

Нынешняя толпа была другой, серьезной. За моей спиной женский простонародный голос тихо спросил:

— А зачем «Детский мир»-то? Магазин-то зачем?

— Зачем? — мужской низкий голос зло переспросил. — Фашисты! Гады!

— Точно, гады! — согласилась женщина.

Я оглянулся, она оказалась гораздо моложе, чем ее голос. К зеленой кофте английской булавкой был приколота открытка с портретом покойного президента. На фотографии Пилепин был румян и гладок, почти красив, но совершенно не похож на себя.

Шурочка споткнулась, мне едва удалось ее удержать.

— Эти туфли... — она виновато взглянула на меня. — Надо было...

Да, конечно, надо было... Меня прошиб пот от мысли, что могло случиться, упади она на асфальт. Толпа уплотнилась, это уже напоминала давку, какие бывают в час пик в метро или на вокзале. К толпе присоединялись новые люди, они вливались справа, с улиц, выходящих на набережную. С левой стороны был гранитный парапет, а за ним река.

Мы прошли под Устьинским мостом и уже двигались мимо академии Фрунзе.

— Пора, — я подмигнул Шурочке. — Держись как следует.

Она сжала мою ладонь и кисло улыбнулась. Я стал протискиваться, таща ее за собой. Я ввинчивался между тел, на меня кидали злые взгляды, тихо ругались. Духота стояла страшная, к дымному воздуху примешивался запах потных тел, вонь парфюмерии, перегара. Главный корпус академии с остроконечной башней под зеленой

крышей, остался позади, я уже видел конец решетчатой ограды. Там была улица, ведущая к метро.

Донеслась музыка. Едва слышно, точно из-под земли, заухал барабан. Стучал мерно и тяжко, как огромное больное сердце. Потом, будто всхлип, возникли трубы. Возникли и пропали, как эхо. Потом появились снова, уже громче, слаженней, выводя с надрывом какой-то кладбищенский минор. Шурочкина ладонь стала горячей и потной, я чувствовал, как она дрожит.

— Незлобин, мне страшно, — прошептала она.

Прошептала спокойным голосом, и от этого спокойствия мне самому стало жутко — я понял, насколько она напугана. Еще я понял, что нам не удастся выбраться из толпы. Военная академия осталась позади, мы подходили к Зарядью.

За пустырем, где некогда стояла гостиница «Россия», выглядывал отремонтированный Гостиный двор. Слева пестрели кокетливые маковки Василя Блаженного. Я в жизни не видел Зарядья без гостиницы: в моей памяти навсегда отпечаталось это гигантское, на редкость уродливое здание, своим бетонным боком, точно меловой утес, загораживающее Васильевский спуск. В самом факте отсутствия белого монстра был сюрреалистический элемент, что-то сродни ночному кошмару. Подобное чувство я испытал в Нью-Йорке тем зловещим сентябрем, когда, вернувшись из Чикаго, застал в городском ландшафте на серверной оконечности Манхэттена километровую дыру на месте двух стоэтажных башен.

Музыка стала громче, она текла с Красной площади зыбкими волнами, то затихая, то выплывая снова, словно кто-то дурачился с ручкой громкости. Играли Вагнера, марш Зигфрида из «Гибели богов», играли на редкость скверно. Медь мерзко дребезжала, барабан ухал невпопад, а басовое эхо, катящееся по реке с того берега, отставало на полтакта, создавая полную какофонию. Справа захрипел мегафон, голос с милицейской категоричностью требовал проходить и не задерживаться. С таким же успехом хозяин мегафона мог бы руководить ледоходом на Енисее.

Большой Каменный мост тоже был забит людьми, они несли флаги, какие-то транспаранты, которых было не разглядеть. За мостом река делала изгиб, стало видно, что Кремлевская набережная тоже запружена народом. И по мосту, и по набережной все они двигались в сторону Красной площади.

— С моего отъезда население столицы заметно выросло, — прошептал я в ухо Шурочки.

Шутки не получилось, мой голос прозвучал сипло и испуганно. В голове возникли невольные ассоциации — Ходынка, похороны Сталина: бесспорно, что проведение массовых мероприятий в Москве не всегда отличалось порядком и организованностью. И это — исторический факт.

Я вспомнил, как классе в третьем Мишка Слуцкер, будущий диссидент, а впоследствии и раввин, поведал мне, что во время похорон Сталина в центре Москвы передавили кучу народа. В нашем детстве о генералиссимусе старались не вспоминать, и он стал почти мифической фигурой, вроде второразрядного пророка из Ветхого Завета, появляясь лишь в военных фильмах в виде хмурого усача с трубкой и грузинским акцентом.

— Передавили? — я тут же представил кухонный пресс, в котором давят крыжовник. — Кто?

— Кто? — передразнил Мишка. — Энкаведешники, ясное дело.

— Как? — не унимался я.

Очевидно, почерпнув информацию из родительского разговора, Мишка тоже не очень представлял себе процесс давки людей. Но будучи сметливым малым и не желая терять марку, он продолжил:

— У них, у энкаведешников, такие специальные машины были, вроде бульдозера... ну такие, с этим, как его?

И он, выставив ладони, двинулся ко мне.

— Как снег... — догадался я.

— Да. Как снег. Только людей.

Холодея, я вообразил эту чудовищную картину. Потом она пару раз являлась мне в виде ночного кошмара. Лет восемь назад Мишка приезжал в Нью-Йорк на какой-то свой еврейский слет, и мы с ним распили бутылку кошерной водки у меня на кухне. Похмелье было зверским.

Все началось у Васильевского спуска. Тут две толпы, двигавшиеся по набережной навстречу друг другу, столкнулись, тут возник людской водоворот. Раздались крики. Я видел, как какой-то парень, взобравшись по головам, начал карабкаться на кремлевскую стену. Его пытались стащить, но он ловко, точно белка, карабкался вверх, потом сорвался. Кто-то истошно визжал, протяжно, на одной невыносимо высокой ноте. Полицейский автобус с мегафоном на крыше продолжал вещать свою мантру — проходите, не задерживайтесь.

— Там кто-то внизу! — испуганно закричала мне в лицо Шурочка. — Под ногами!

Я тоже наступил на что-то мягкое, тут же схватил Пухову за пояс и изо всех сил притянул к себе.

— Не останавливайся! — заорал я, стараясь перекричать шум. — Главное, не останавливайся!

Спуск с моста был перегорожен грузовиками. В кузовах на мешках с песком стояли солдаты в полевой униформе. Они сапогами отбивались от людей, карабкавшихся на борта. Толпа напирала, странный звук, похожий на писк каких-то адских тварей, перекрывал гром музыки и вой раздавленных. До меня дошло — это скрипела резина колес, под напором толпы грузовики ползли юзом по брусчатке.

Нам повезло, нас вынесло на Васильевский спуск. Я оглянулся — чудом мы вырвались из омута, вся набережная была запружена людской массой, подвижной, точно текущая лава. Народ все прибывал, никем не сдерживаемый, никем не контролируемый. Те, кто вырвался вместе с нами, с мрачной целеустремленностью двинулись вверх, на площадь. Люди шагали упорно, упрямо, зло, казалось, что их теперь ничто другое не интересует: главное — шагать вперед. Я никогда не видел такого грозного и зловещего шествия.

У Василия Блаженного стоял конный кордон. Конная полиция сдерживала народ, пробравшийся к площади переулками. Всадники, в блестящих черных шлемах, с лицами за тонированными забралами, походили на роботов или инопланетян. Толпа со стороны Гостиного двора напирала, одна лошадь заржала, встала на дыбы. Ее смяли, в брешь в оцеплении хлынули люди. Они бежали, падали, давили друг друга. Какая-то тетка споткнулась, истерично завизжав, грохнулась на брусчатку прямо под ноги бегущим.

Вдоль кремлевской стены и у Спасской башни стояли танки. Это были «Черные орлы». Выкрашенные мышиной краской, приземистые, точно хищники, готовые к атаке, они стояли вплотную друг к другу. От храма и до Лобного места площадь перегораживала колонна бронетранспортеров. Толпа втискивалась в этот железный коридор и выдавливалась на Красную площадь.

На площади оказалось почти просторно. Люди шли плотной массой, но без давки. На фасаде ГУМа висели знамена с креповыми лентами. Из динамиков с хрипом и скрежетом вырывался Бетховен.

— Смотри! — перекрикивая рев, Шурочка мотнула головой в сторону Мавзолея.

Я решил, что у меня галлюцинация: там, над трибуной, мерцая точно мираж, висела голограмма — пятиметровый человек в гробу. В зыбком голубом мороке я отлично мог разглядеть лицо, узел галстука, руки, мирно сложенные на груди. И много цветов — целая клумба, покойник, будто античный бог, лежал в окружении ядреных роз и отборных астр, мордатых хризантем и надменных лилий. Голограмма была

трехмерной, по мере нашего продвижения в сторону Манежа строгий профиль покойного, перешел в три четверти, а после анфас.

На трибуне Мавзолея теснились какие-то люди, никак не меньше дюжины. По большей части это были военные в фуражках и с блестящей мишурой аксельбантов и орденов на мундирах. В центре стоял маршал Каракозов.

Рядом со мной кто-то зарыдал в голос. Тут же шагавшая справа учительского вида стриженая брюнетка заголосила с деревенским надрывом. Завыла, крестясь и размазывая тушь по щекам, ее соседка, плотная блондинка с лицом торговки. Бандитской наружности мужик, державший ее под руку, скривился и тоже заплакал. Он по-детски тер глаза, на его кулаке был выколот синий череп, пробитый кинжалом. Началась истерика, все вокруг меня рыдали. Я с изумлением увидел, что Шурочка тоже ревет.

— Ты что? — крикнул я ей в ухо. — Это же картинка! Мультик!

Голограмма висела в воздухе, чуть подрагивая. Голубоватый великан, холодный и сияющий, украшенный цветами и лентами, казался вырезанным из ледяной глыбы. Иногда мелкая рябь пробегала по изображению, и тогда лепестки цветов оживали, а лицо покойника начинало морщиться.

Сверху донесся рев. Над нами, почти касаясь золотых орлов кремлевских башен, пронеслось звено штурмовиков. Толпа задрала головы. Каракозов поднял круглое лицо и лениво приложил ладонь к фуражке, отдавая честь. Нестройно повторили его жест и другие военные. Я посмотрел на часы — таинственная Зина уже семь минут как ждала нас на недосягаемой площади Маяковского.

Оставив мавзолей позади, мы уже подходили к Историческому музею. Внезапно толпа заколыхалась, двинулась быстрей и вдруг, точно пьяный, потерявший равновесие и старающийся нагнать убегающую твердь, стала заваливаться влево. Брусчатка под ногами пошла вниз — тут начинался крутой спуск на Манежную площадь. Меня кто-то боднул в бок, я выпустил Шурочкину руку. Она закричала, я увидел ее круглые от ужаса глаза. Толпа, словно море в шторм, подхватила ее, потащила, ее русая голова еще раз мелькнула метрах в пяти. Она успела крикнуть:

— Скорей иди... — конец фразы утонул в шуме.

Меня вынесло к кованой решетке Александровского сада. Отпихнув какого-то нетрезвого бугая, орущего мне в лицо «Пропала Россия! К едреной матери пропала!», я стал пробиваться в сторону Тверской.

14

На Маяковке тоже было людно. Перед глазами плыли белые круги, я задыхался. От гонки по Тверской меня шатало, из последних сил я доплелся до каменного поэта, опустился на ступени. Вытер пот локтем, обреченно огляделся: я опоздал на сорок минут и понятия не имел, как мне распознать Зину. Да, конечно — разумеется: возраст и пол.

— Извините, — обратился я к девице, сидящей справа от меня. — Вы не Зина?

Девица лениво цедила пиво из бутылки. Взглянув на меня янтарно-карими глазами, она томно облизнула мокрые губы.

— Зависит от ситуации, — с порочной хрипотцей проговорила она и высосала остатки пены из бутылки.

— Спасибо, — зачем-то поблагодарил я ее и поднялся.

Она насмешливо проводила меня взглядом. Я стал прохаживаться меж людьми, воровато косясь на одиноких девиц. А может, она не одна? А может, не дождавшись, ушла? А может...

Я отмел неопрятную толстуху в мешковатом платье, очкастую дылду с толстой книгой, плотоядная блондинка с пунцовыми губами тоже вряд ли была Зиной. Хотя... Протискиваясь меж людей, я постоянно вскидывал руку с часами — с назначенного

часа прошло уже пятьдесят минут. Гранитный Маяковский, злой и лобастый, с гигантскими кулаками, мрачно нависал надо мной. Намекал — ждешь впустую. Впрочем, мне и самому уже стало ясно, что ждать дальше бессмысленно. Почему Шурочка до сих пор не появилась, я старался не думать.

— Эй! — меня кто-то дернул за рукав, я обернулся. — А где тетя Шура?

Передо мной стояла девчонка с короткой стрижкой, волосы напоминали колючую траву медного цвета, затылок и виски были выбриты под ноль. Она протянула мне детскую руку. Я замешкался, но пожал. Кожаная куртка, размера на два больше, черная, с молниями и стальными пряжками, узкие джинсы и тупомордые ботинки делали ее похожей на отпетого хулигана-восьмиклассника.

— Зина? — недоверчиво спросил я.

— А где тетя Шура? — повторила она.

— А тетя Шура...

— Это ничего, — перебила она. — Даже хорошо.

Она улыбнулась, улыбнулась хорошей улыбкой, показав белые, чуть крупноватые зубы. У нее были живые темные глаза и узкая лисья мордочка с высокими острыми скулами.

— Слушай, а как ты меня...

— Так ведь одно лицо! Только ваше старое, — просто сказала она. — Можно, я вас тоже на «ты» буду?

Я кивнул. Зина начинала мне нравится.

С севера, стремительно нарастая, донесся рев самолетов. Все как по команде задрали головы: тут же, разрывая бурое небо, как мокрый шелк, над нами в сторону Красной площади промчались два «двадцать седьмых». Штурмовики прошли так низко, что мне удалось разглядеть шасси, черные звезды и пятна серого камуфляжа. Под крыльями висели ракеты. Толпа восторженно заорала, кто-то начал скандировать «Россия», крик подхватили, захлопали в ладоши.

— Погнали! — Зина мотнула головой в сторону Белорусского. — Пока борщи кольцо не заткнули.

— Борщи?

— Мусора.

— Борщи, ясно... А как же Шурочка... тетя Шу..?

— Отзвонимся. Потом.

Она явно не собиралась обсуждать наши планы, она просто сообщала мне, что нужно делать. Годы преподавания в университете научили меня общению с этой возрастной категорией, особенно с женской ее половиной: больше всего их «выбешивает», если вы пытаетесь изобразить из себя авторитетного человека, обладающего неким преимуществом, связанным с вашим возрастом и положением в академической иерархии. Зина юрко скользила между людей, я старался не отставать. Народ продолжал скандировать и аплодировать в такт неказисто разрубленному по слогам слову «Россия». Мы пробежали через арку. Там несколько забулдыг разливали какую-то дрянь по картонным стаканам, рядом жались две дворняги рыже-грязной масти. Один из пьяниц что-то заорал, похоже, подбадривая меня, остальные заржали. Зина, не сбавляя темпа, свернула в переулок. Удивительно, но тут не было ни души. Мы бежали по мостовой, оба тротуара были впритык забиты припаркованными автомобилями. Зина прошмыгнула в подворотню, там, в тесном колодце, прятался чахлый скверик с двумя скамейками и детскими качелями. К ржавой штанге качелей был прикован мотоцикл спортивного типа, приземистый и хищный. Зина сняла цепь с мотоцикла, обмотав вокруг пояса, щелкнула замком.

— Сильный аппарат, — похвалил я мотоцикл, стараясь подлизаться к хозяйке: на самом деле мне хотелось спросить, есть ли у нее права.

— Норм. Япоша, — она согласно кивнула. — Прыгай!

Сама ловко вскочила в седло, выкрутила газ — мотоцикл взрычал, я кое-как устроился сзади.

— Пригнись и держись как следует! — крикнула она через плечо.

Я согнулся, послушно уткнулся ей в спину. От нее пахло, как от солдата, — грубой кожей, сигаретами и хвойным одеколоном. Мотоцикл, рыкнув по-звериному, норовисто рванул вперед. Вывернув руль, Зина выскочила в переулок и, отпустив тормоза, дала полный газ. Она оказалась права — держаться действительно нужно было как следует. Я подумал одновременно о трех вещах: об отсутствии шлемов, о том, что до этого я никогда не ездил на мотоцикле, и о том, что будет нелепо разбиться именно сейчас, после... Впрочем, смерть, равно как и простуда, всегда бывает очень некстати.

Зина явно знала дорогу. Бешеным болидом мы неслись по пустым переулкам; почти не тормозя, она влетала в крутые повороты, на виражах я жмурился, сердце ухало в бездну, ожидая столкновения — страшного удара, неминуемо смертельного и вполне логичного. Жаль, я не знал ни одной молитвы — момент, похоже, был самым подходящим.

Промелькнула Васильевская улица, через секунду Грузинская. Я помнил — между ними минут пять пешком.

Мои ноги клещами сжимали гладкое тело мотоцикла, стиснутые кулаки онемели, я, скорчившись, вдавливал себя в сиденье, в ее спину, пытаясь слиться с этой чокнутой чертовкой, с ее ревущим монстром. Я весь состоял из панического ужаса и до боли сжатых рук. Мне казалось, что с начала гонки я не сделал ни одного вдоха. Во рту появился медный привкус, кровь — я все-таки прокусил губу.

Зина, повернув голову, что-то прокричала, разобрать было немыслимо. Я хотел попросить ее не отвлекаться от дороги, но гортань свело, и я выдал сиплый писк, вроде простуженного тенор-саксофона.

Я не трус. Впрочем, храбрецом себя тоже не считаю. Дело в том, что люди часто путают храбрость с глупостью. Помню, лет в десять мы с отцом отдыхали в рыбацкой деревне под Феодосией. Местные пацаны, коричневые как дикари, сигали с утеса в море. Эта скала торчала, как драконий зуб, из лазоревых волн метрах в пятидесяти от берега. Когда я вскарабкался на самую верхотуру, мне показалось, я могу разглядеть минареты на турецком берегу. Внизу колыхалось море, неожиданно потемневшее, точно малахит. Отец, закинув руки за голову и скрестив ноги, покачивался на волнах, отсюда он был не больше мизинца. Он был мудрым мужиком, мой отец: он невозмутимо наблюдал за мной, не махал руками, не подбадривал, не понукал. Решение, прыгать или нет, лежало полностью на мне. И от этого было еще трудней решиться.

Когда я вынырнул, он подплыл, загорелой ладонью хлопнул меня по макушке:

— Молоток! — и добавил. — Храбрец!

У меня в голове гудело, в носу и горле щипало от горькой воды, пятки звенели от удара.

— Какой храбрец? — отплевываясь и часто дыша, возмутился я. — Я там от страха чуть не помер. Храбрец...

Отец засмеялся.

— Храбрец, храбрец. Если бы тебе не было страшно, то ты был бы не храбрецом, а просто дураком.

Из переулков мы выскочили на Тверскую заставу. До меня дошло, что кричала мне Зина: тут из города одна дорога — по Ленинградке. Мы пронеслись по мосту над рельсами Белорусской железной дороги, справа сверкнула золотистым куполом беленая церковь, слева пролетело здание вокзала. Проспект раскрылся, стал шире и вытянулся в прямую. Зина запетляла между машинами.

От этого слалома меня мотало из стороны в сторону, я старался попадать в такт

ее виражам, но, похоже, не очень успешно. Не доезжая до «Динамо», нас чуть было не протаранил белый «ауди», кретин жарил прямо по осевой в сторону центра.

Впрочем, настоящие неприятности были впереди, они начались в районе Петровского парка. На тротуаре, у кованых ворот дворцовой ограды стояла патрульная машина. Из нее кубарем вывалился гаишник и сломя голову понесся нам наперерез. Меня всегда поражала бесшабашность московской милиции — этот несся прямо под колеса мотоцикла. Мент свистел и размахивал жезлом, точно полосатая палка обладала волшебной силой, способной защитить его от неминуемой смерти. Мы пронеслись в полуметре от постового. Зина прибавила газу.

Своей испуганной спиной я уже видел жирную милицейскую руку, выхватывающую из кобуры табельное оружие — безотказный «макаров». Восемь пуль девятого калибра, одна за другой, уже неслись нам вслед, уже впивались смертельными шмелями в мое белое тело, уже буравили мои легкие, сердце и печень. Триста пятьдесят метров — ненужная информация, застрявшая в мозгу со времен военной кафедры, неожиданно выскочила и оказалась жизненно важной: триста пятьдесят метров — убойная сила пистолета «макаров».

Разумеется, мент стрелять не стал. Но наверняка передал ориентировку вперед по трассе. Зина, умная девочка, тут же ушла в правый ряд и резко свернула в первую попавшуюся арку. Мы снова запетляли по подворотням, распугивая голубей и туманных старух, помчались мимо мусорных баков, детских песочниц, уродливых гаражей, мимо хворых тополей с серой листвой, мимо фонарных столбов и трансформаторных будок. Все это где-то в районе «Аэропорта».

— Уйдем по Волоколамке... — крикнула мне Зина.

Конец фразы я не расслышал, но все равно кивнул головой в знак согласия.

15

Вырваться из города оказалось проще, чем я ожидал: ни шлагбаумов, ни постов, ни милицейских кордонов со снайперами. Впрочем, людям свойственно преувеличивать собственную значимость — похоже, подмосковную полицию мы просто не интересовали. Мы летели по загородному шоссе (от бешеной гонки название напрочь выскочило из головы, а прочитать указатель я не успел), летели в сторону Истры. Не доезжая водохранилища, съехали на проселок, грунтовую, но добротно спрофилированную дорогу. Зина сбросила скорость, шестьдесят в час показались мне черепашьим шагом.

Проехали березовой рощей, потом по опушке вдоль желтого поля. Над полем голосили стрижи. Внизу, у петлистой речки показались крыши игрушечной деревни, на пригорок взобралась кокетливая церквушка — красный кирпич с белой глазурью — чистый пряник. Дальше раскрывались поля с прожилками тропинок, за ними темнела полоска синего леса.

На развилке стоял указатель: п-т «Хорошее». Мы свернули.

— Что такое пэтэ? — крикнул я ей в ухо.

— Панс! — ответила Зина. — Думский панс.

Впереди показался бетонный забор с железными воротами и будкой охраны. Пансионат больше напоминал военный объект, чем место для отдыха и игр на свежем воздухе. Не доезжая ворот, мы свернули на тропу. Она тянулась вдоль бетонной ограды. По ту сторону гордо высились корабельные сосны, с нашей рос чахлый орешник с кривыми осинами. Минут через десять мы остановились перед металлической дверью, выкрашенной зеленой краской. На двери по трафарету было набито: «Вход категорически воспрещен. Объект охраняется собаками».

— Приехали! — Зина заглушила мотор.

Потянуло болотом, где-то интимно урчали лягушки. Я по-крабьи сполз с

сиденья. Спину немилосердно ломило, руки затекли, пальцев я просто не чувствовал. Зина ловко соскочила с мотоцикла, держа за руль, подкатила его к двери. Вынула из кармана связку ключей, выбрав длинный, похожий на отмычку, вставила в замочную скважину и повернула. Замок щелкнул, Зина толкнула дверь.

Я открыл рот, хотел спросить, насколько легально наше проникновение на территорию пансионата «Хорошее»: в Америке за подобную самодеятельность можно запросто угодить в тюрьму месяца на два. Зина цыкнула и приложила палец к губам. Я осекся и кивнул — других вопросов у меня пока не было. Если не считать вопроса о собаках.

Мы очутились на задворках какого-то хозблока, то ли бойлерной, то ли столовой. Прокрались вдоль вонючих мусорных контейнеров, обогнули ряд оранжевых цистерн с лаконичной надписью «Взрывоопасно!» Людей видно не было, собак тоже.

В просвет между деревьями выглянуло идеально выбритое поле для гольфа, круглое озеро с ивой, сосновый бор и стайка альпийских домиков под рыжей черепицей. Пейзаж больше походил на добротный мираж, чем на подмосковную реальность.

— Почему никого нет? — шепотом спросил я. — Где народ?

— В Моське, — Зина сплюнула, вытерла пальцами губы. — Думским лобстерам петля, писюрыгу прикоптили, у них там разгон по полной.

Я понимающе кивнул.

Не углубляясь на территорию пансионата, мы шли задами. Зина катила мотоцикл, я, пригибаясь, следовал за ней. Путаясь в высокой траве, мы снова пробирались вдоль бетонного забора. Теперь с внутренней стороны. За елками показались финские домики. Чистенькие деревянные избушки из светлых бревен, они прятались в тени соснового бора. Мы дошли до дальнего, стоящего на отшибе, остановились. Зина загнала мотоцикл в кусты, поднялась на крыльцо. Я огляделся — до соседнего коттеджа было метров пятьсот, наш домик узорными ставнями и резным петушком на коньке крыши напоминал теремок из декораций к балету Стравинского.

— Эй! — шепотом крикнула мне Зина. — Не маячь там! Иди сюда!

Через темную прихожую я попал в гостиную — смелую смесь русского фольклора с буржуазной претенциозностью. Из отлакированных до леденцового блеска бревенчатых стен торчали хрустальные светильники — бра (слово вдвойне странное, поскольку в американском английском этим сокращением обозначается женский лифчик), на полу краснел персидскими узорами толстый ковер. В углу стоял небольшой холодильник. Два кожаных кресла и диван теснились вокруг овального столика на гнутых ножках. Другой стол, письменный, в паре с унылым конторским креслом, уткнулся в дальний угол. На столе стоял старый «мак».

— А что там? — я спросил, кивнув на дверь из некрашеной березы.

— Парилка, — не поворачиваясь, ответила Зина. — Сауна.

Она сидела перед монитором. Компьютер, грянув победным аккордом, зажег молочным светом экран. Я приоткрыл дверь, там действительно была баня. Потянуло березовым листом, я сделал глубокий вдох.

— Полный космос! — восторженно воскликнула Зина. — Гля, жмур мультяшный!

Я подошел, она прокручивала новостной блок «Нью-Йорк таймс». На фото была кремлевская стена, мавзолей, над мавзолеем висела голограмма. Я там был всего пару часов назад, сейчас мне казалось, что прошла целая вечность.

— Погоди, — попросил я, Зина уже хотела перескочить куда-то. — Дай почитать.

— Что пишут?

— Пишут... пишут, что на траурной церемонии погибло неустановленное количество людей... — я наклонился к монитору. — Что власти... э-э... не смогли обеспечить контроль прибытия людей на Красную площадь... спонтанные толпы, направлявшиеся...

— Гопота, — Зина прокрутила страницу. — Все ясно.

— Ничего не ясно, — я отодвинул ее ладонь и завладел мышью. Вернулся назад к новостям.

— Ну читай, читай... — снисходительно хмыкнув, она вылезла из-за стола.

Стянула куртку, бросила ее на пол. Зашла в уборную, не закрывая двери, села на унитаз.

— Ну что там? — крикнула мне под негромкое журчание. — Что еще?

— Дверь бы закрыла, — буркнул я. — Не три годика поди...

— Не будь ханжой! Что-нибудь интересное есть?

Интересного было хоть отбавляй. Час назад министр иностранных дел России заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Министр обвинил Белый дом в попытке государственного переворота в Российской Федерации и подготовке покушения на президента. Прямо сейчас проходило экстренное заседание Совета Безопасности ООН. В Москве было совершено нападение на посольство США, во время беспорядков погибло семнадцать сотрудников посольства, включая военного атташе. Исполняющий обязанности главы России маршал авиации Каракозов не исключил нанесения превентивного ядерного удара по Вашингтону и другим объектам на территории США.

— Мать твою... — пробормотал я, медленно опускаясь в кресло. — Твою мать...

Пентагон объявил готовность номер один на межконтинентальных ракетных базах и атомных подводных лодках в акватории Северного ледовитого океана.

Я начал читать вслух:

— Со времен Карибского кризиса мир не подходил так близко к роковой черте. Сегодняшняя ситуация осложняется отсутствием легитимного руководства в России: вопреки конституции власть в стране перешла не к премьер-министру, а была узурпирована группой генералов и олигархов. Есть все основания предполагать, что и устранение президента было спланировано и осуществлено именно этой группой, в которую...

— Ясен пень, — перебила меня Зина, спуская воду в унитазе. — На кой писюрыга пиндосам?

— Эй! — я зло обернулся. — Ты можешь по-человечески разговаривать? Мир на пороге ядерной войны: хоть из уважения к историческому моменту перейди на русский язык! Пожалуйста!

Зина фыркнула, зашла в ванну, от души грохнула дверью. Я тихо выругался. Страшно хотелось пить, я подошел к холодильнику. Внутри были лишь водка и томатный сок — дюжина бутылок «Столичной» в картонной коробке и литровая бутыль сока. На полке над холодильником я нашел стакан сомнительной чистоты, дунул внутрь, налил сока. Подумав, долил до краев водкой. Отпив залпом половину, вернулся к компьютеру. Из ванной послышалось немузыкальное пение, потом загремел душ.

Войска Северо-Атлантического блока приведены в состояние боевой готовности и выдвигаются к границе с Россией. Великобритания накануне эвакуировала свое посольство из Москвы. Здание консульства на Софийской набережной полностью сожжено. По городу вторые сутки проходят стихийные погромы западных представительств и фирм. Точной информации о количестве жертв нет, разговор идет о десятках, а может и сотнях убитых.

Я допил остатки сока с водкой.

16

Стреляли где-то совсем рядом. Я скатился с дивана и метнулся к окну, осторожно раздвинул занавеску. За стеклом чернела ночь, вдали желтел безобидный конус тусклого фонаря. Сердце гулко колотилось в ребра. Я, раскрыв рот, несколько раз глубоко вдохнул.

— Что? — шепотом прокричала Зина с дивана. — Что там?

Я, не оборачиваясь, махнул рукой — мол, не мешай. Тут же снова затрещал автомат, сухо и громко, точно за углом. Я присел, пялясь в чернильную тьму. Где-то зафырчал мотор, призрачный свет невидимых фар, раскрываясь веером, разложил по траве длинные тени сосен, черные стволы уныло побрели куда-то.

Фары вынырнули справа, неожиданно близко. Свет уперся в крыльцо соседней избушки, черные ломаные тени быстро взбежали по ступеням. Кто-то заколотил в дверь. Зажглось окно, дверь открылась, в янтарном проеме появился мужской силуэт. Я разглядел бритую голову, мужчина провел рукой по макушке, точно приглаживая волосы. Тут же началась возня, бритого скрутили, стащили с крыльца. Бросили на траву. К нему подошел какой-то человек, наклонился, словно разглядывая лицо, потом вытянул руку. Один за другим хлопнули два выстрела.

Все случилось быстро и очень обыденно.

— Зина... — у меня мелко тряслась нижняя губа. — Зина...

— Я тут... — она сидела на корточках рядом.

— Зина, — повторил я, стараясь отделаться от мерзкой дрожи. — Надо отсюда выбираться...

— Погоди, — пригнувшись, она добралась до стола.

Я оглянулся, но крикнуть не успел — сизый свет от компьютерного экрана растекся по потолку.

— Ты что?! — Я беспомощно задернул занавеску — дырявый тюль был прозрачен, как папиросная бумага.

— Извини, извини, — она, судорожно колотя по клавише, пригасила экран. — Извини...

— Извини... — проворчал я. — Ну что там?

Зина, уткнувшись в экран, невнятно буркнула что-то.

Я отодвинул занавеску. В соседнем доме зажглись все окна, там торопливо сновали люди, на убитого никто не обращал внимания. В дверном проеме, на крыльце появился некто с автоматом, крикнул в сторону машины:

— Тут все чисто.

За моей спиной Зина изумленно выругалась матом.

— Что? — нетерпеливо спросил я.

— Полный... — повторила она почти с восторгом и начала зачитывать куски из новостей. — Маршал Каракозов арестован... так... так... генпрокурор предоставил неопровержимые доказательства его участия в мятеже и организации покушения... В заговоре принимали участие министры и чиновники из ближайшего окружения... Вот! Заговором руководила Анна Гринёва, одна из наиболее богатых и влиятельных... так, так... Сколотила капитал в период приватизации... банк «Бета», поставки никеля... Финансировала подготовку операции по устранению президента... тренировочная база на личном острове в Адриатике — во, тут даже фотографии! — Отряд боевиков готовил Ник Саммерс, он же Николай Королёв, офицер элитного спецподразделения морской пехоты США...

— Саммерс... — повторил я, имя мне показалось знакомым. — Ник Саммерс...

— Вот еще! Лидер росдемов, депутат Глеб Сильвестров объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства, на экстренном заседании госдумы ему были предоставлены чрезвычайные полномочия.

— Потрясающе... — пробормотал я.

— Первым указом Сильвестров ввел чрезвычайное положение, приостановил действие конституции и распустил государственную думу. Указ вступает в силу...

— Тихо! — зашипел я. — Глуши комп!

Два черных силуэта направились в сторону нашей избы. У одного, который был повыше, на плече болтался автомат.

Экран погас. Я отодвинулся от окна, сквозь тюль занавески мне было видно, как второй, что поменьше ростом, на ходу вытянул из кармана сигарету, остановился и закурил. Потом подошвы забухали по ступеням, по доскам крыльца.

— Есть кто живой? — раздался глухой, точно простуженный, голос.

Кто-то саданул ботинком в дверь.

Я зачем-то зажмурился. Я попытался вспомнить, какой там замок, какая дверь, легко ли ее выбить. Снаружи, похоже, подумали о том же: кто-то, крякнув, ухнул в дверь плечом. Дверь скрипнула, но устояла.

— Да пусто тут, Гога, раз тачки нет, значит, пусто. Пошли! — сказал другой, высокий мальчишеский голос.

Настырный Гога еще раз двинул плечом, выругался. Шаги загремели по ступеням, захрустели по гравию. Я не решался открыть глаза, боялся, что эти двое тут же вернутся и накроют нас.

— Ушли? — шепотом спросила Зина из-под стола.

— Кажется... — тихо ответил я.

Она беззвучно прошмыгнула ко мне.

— Что это? — она кивнула в сторону окна.

— Это? — я хотел сказать: «Это Ночь Длинных Ножей, детка, вот что это». Но умничать не было сил, и я просто спросил:

— Что ты знаешь про Сильвио... про Сильвестрова?

Она хмыкнула, пожала плечом, пожала по-детски трогательно. В полутьме я видел ее глазищи, теперь испуганные и тоже по-детски трогательные.

— Он из сиваков, кажется...

— Сиваков?

— Ну, патриотов. Которые в каждой фразе про Россию трындят...

— Это понятно из названия его партии, вообще-то, — съязвил я.

— Да они все из одной коробки, — вспылила Зина. — Клоуны. Мне они абсолютно перпендикулярны, эти политики. Вот найдешь своего Димона, будешь с ним про политику тереть, он это обожает.

Последнее слово она произнесла, словно развернула веер. В первый момент я не понял, кто такой Димон, когда дошло, у меня отчего-то перехватило горло.

— С этим, — я тихо откашлялся, — с этим... сиваком я учился в университете, мы с ним, с Сильвио, были лучшие друзья.

— С Сильвестровым? — она спросила с брезгливым недоверием, точно я признался в тайном и нехорошем пороке.

Я кивнул.

— Жесть... — выдохнула она.

17

Нас взяли почти сразу. Мне даже показалось, что они нас ждали. Впрочем, вся территория пансионата кишела ими, шансов просочиться незаметно у нас просто не было. В административном корпусе нас допрашивал небритый мужик в черном комбинезоне, вроде танкистского. Те, кто нас арестовал, были в таких же комбинезонах.

— Какое отношение вы имеете к Яковлеву? — небритый танкист повертел в руках мой паспорт и без особой симпатии уставился на меня.

Я понятия не имел, о ком идет речь. Мне почему-то ни к месту пришел в голову актер Яковлев, кажется, Юрий, когда-то игравший князя Мышкина — «Инок Пафнутий руку приложил». Танкист явно спрашивал не про артиста.

— Его сын мой знакомый, — неожиданно звонко сказала Зина. — Сын Яковлева мой знакомый. Он дал мне ключ.

Танкист удивленно повернулся к ней. Потом посмотрел на меня. Мы с ним были примерно одного возраста, по его лицу — смесь гадливости с завистью — стало ясно, что он думает на мой счет. Я попытался улыбнуться.

Цена человеческой жизни в этой стране мне известна. Особенно в моменты катаклизмов, из череды которых, собственно, и состоит история страны. Когда в кураже режут глотки, рвут плоть зубами, когда хлещет бессмысленная кровь, когда, мешаясь с землей, она превращается в грязь. И цена этой крови есть цена грязи.

Девчонку они, скорее всего, отпустят. Мне очень хотелось, чтоб ее отпустили... отпустят — ну не звери же. Мои собственные шансы выглядели гораздо сомнительней: или же прямо во дворе поставят к стенке или отправят в какую-нибудь тюрьму, сборный пункт, лагерь. Впрочем, судя по суматохе, никаких сборных пунктов они не подготовили. Мне стало страшно не от мысли о смерти, а от того, с каким спокойствием, почти безразличием, я рассуждал об этом.

Нас допрашивали в бухгалтерии, дверь была нараспашку, и я прочел табличку на двери. Четыре стола, дерматиновые кресла, на стене календарь, застрявший на июле: вылинявшая в голубое Пизанская башня, тосканское небо со вздорными, почти бутафорскими, облаками. Двадцать второе, четверг, было обведено красным фломастером. Я попытался вспомнить, что происходило со мной двадцать второго в четверг и не смог — тот июль покоился где-то на самом дне моей памяти, та жизнь казалась чистым вымыслом, не слишком правдоподобным из-за своей беспечной легкости.

— Эй, — танкист высунулся в коридор. — Глухов! Ко мне!

Появился Глухов, тоже небритый, но с «калашниковым».

— Этого... — танкист кивнул не глядя в мою сторону. — Этого уведи!

Ну вот и все — с непонятным злорадством подумал я, — сейчас этот неопрятный Глухов выведет меня во двор... Дорисовать картину расстрела я не успел.

— Кто тут главный? — Зина подскочила к танкисту. — Кто? Кто тут командует? Вы?

— Ну, я... — танкист растеряно отступил, эта пигалица его ничуть не боялась. — В чем, собственно...

— Ни в чем! — она грубо оборвала его. — Он человек Сильвестрова! Если с ним что-то случится, Сильвестров вам тут всем яйца оторвет. Понятно объясняю?

Я подумал, что теперь шансы Зины сравнялись с моими. Я видел, как на лбу у танкиста вздулась серая жила.

— Курить есть? — грубо спросила она, не давая танкисту опомниться. — Сигареты есть, говорю?

Я был уверен, что он ее сейчас прихлопнет, как муху. Вопреки моим ожиданиям, танкист опасливо поглядел на меня, потом на нее, глупо ответил:

— Извините, бросил. Глухов, курево есть?

Глухов протянул Зине мятую пачку, вежливо поднес зажигалку.

— Свяжитесь немедленно с Сильвестровым! — Зина затянулась и выпустила неимоверное количество дыма в грудь танкисту. — Как фамилия?

— Капитан Одноразов... — танкист, морщась, ответил из дымного облака. — У меня нет прямой связи с господином Сильвестровым... мы докладываем Шестопалу, его заместителю...

— Капитан... — Зина хмыкнула, зло сплюнула табачную крошку. — ...Одноразов. На хера нам ваш Шестопал? Нам нужен Сильвестров!

Эта девчонка нравилась мне все больше и больше. С такими детьми, может, и вправду рано ставить крест на России? Если, конечно, моя ласковая родина в очередной раз не прополет и это поколение, укротив одних, посадив других и выдавив третьих в эмиграцию. Ну хоть надежда есть.

Капитан с забавной фамилией мучительно пытался выбраться из дурацкой ситуации. Просто шлепнуть меня момент был упущен — тут эта вздорная девчонка, да еще и Глухов, не говоря о том, что я и вправду могу оказаться «человеком Сильвестрова». Хотя, если честно, я не был даже уверен, что Сильвио вспомнит меня. Судя по всему, у него за последние семнадцать лет здорово расширился круг общения.

— Глухов! — капитан очевидно что-то решил. — Когда следующий транспорт в город?

— Только ушел, — Глухов сверился с часами. — Пять минут назад отправили.

— Погляди, может, не ушел, — капитан махнул рукой. — Быстро! Быстро!

18

Капитан оказался прав — транспорт отправить не успели. Это был военный «зил» с крытым верхом и ироничной надписью «люди» на борту. Глухов, легко приподняв, подсадил Зину в кузов, я забрался сам — пыхтя и без особой грации. В темноте я разглядел лавки, на них каких-то людей. Воняло солдатской кирзой и тухлыми бананами. Глухов ловко запрыгнул за нами, кто-то захлопнул борт, клацнул засовами.

— Готово! — крикнул Глухов шоферу. — Ехай!

«Зил» рыкнул мотором, и мы поехали.

— Ты действительно этого пепса знаешь? — прошептала мне в ухо Зина. — Ну этого, Сильвестрова?

Я неуверенно пожал плечами.

— Ну ты даешь... — разочарованно протянула она. — Тогда рвем при первой возможности.

Я кивнул головой в сторону Глухова, его контур с торчащим стволом автомата воинственно чернел на фоне линяющей ночи. Второй охранник сидел напротив.

— Все будет вудиален, — бодро прошептала Зина, локтем ткнула мне в ребра и томно обратилась к Глухову:

— Господин полковник, не угостите даму сигареткой?

На дальнем конце моей лавки, в сумрачном углу, шептались две тени. Я вытянул ноги, прислонил затылок к брезенту, прислушался.

— ... самим надо было, самим, — частил нервный тенорок, почти бабий. — Самим мочить урода! Ядом там или снайпера нанять, ну я не знаю... Ну ведь ясно было, куда, бляха-муха, катимся...

— Борисыч, не гоношись, а? — мрачно перебил его бас. — И без тебя тошно.

— Все эти закидоны его — потомок Романовых, мать его! Тишка Пилепин — царь всея Руси! Шапку Мономаха ему... Шавка безродная! Потрох сучий!

— Негоже так о покойнике...

— Да пошел ты на хер! Негоже! Ты ж сам выступал — православная церковь, мол, поддержит: на Руси без царя никак нельзя! Нашли царя, етить вашу мать! Обмылок склизский!

Тенор зло сплюнул на пол.

— Сильвестр живо порядок наведет, — злорадно прошипел он. — Живо! Вон, гляди, как жарит — думу на хер, правительство на хер... Будем на соседних столбах качаться, ваше преосвященство!

Он захихикал, а бас серьезно возразил:

— Это ты на столбе будешь качаться, Борисыч. Я же, — он сделал паузу, — лицо духовное, в сане. К мирской суете вашей касательства не имею. А ты б не ярился попусту, а об душе лучше подумал...

— В жопу иди со своей душой! — взвизгнул тенор. — Понял?

— Эй! — лениво крикнул Глухов. — Кончай базар, бакланы!

Мой старый друг Сильвио... прошу прощения, господин Сильвестров — самый амбициозный сукин сын из всех мне лично известных. Что я знал о нем? Что я знал о лучшем друге своей юности? Да почти все! Он родился на советской базе под Дрезденом в семье военного летчика и учительницы. Из-за постоянных переездов Сильвио сменил дюжину школ, десятый класс он заканчивал в Питере, где отцу дали генерал-майора и какую-то штабную должность.

На первом курсе Сильвио выбрали старостой группы, половина девиц курса тут же влюбилась в него. Он был чертовски обаятелен, даже красив. Красив той шершаво-грубой красотой, которая особенно пленяет зрелых женщин. Впрочем, не только их. Лично мне он напоминал раскаявшегося разбойника, который постригся в монахи. Он был балагур, запросто мог подраться, как-то на спор прошел по карнизу девятого этажа (потом мне признался, что под карнизом был балкон, так что риск был минимальный). Он никогда не хвастался, никогда не выпячивал свое «я» — от этого эффект только усиливался.

Почему я хотел быть его другом, думаю, объяснять не надо. Почему Сильвио решил дружить именно со мной — на этот вопрос я не отвечу и сегодня. Впрочем, дружба, на мой взгляд, самое странное чувство: в отличие от любви, где непременно присутствует элемент эгоизма, настоящая дружба абсолютно бескорыстна. В ней нет никаких выгод ни для кого. Полный альтруизм с обеих сторон.

После диплома я угодил по распределению в психушку в Мытищах — врачом, к счастью, Сильвио чудесным образом укатил в Португалию, получив некую полумифическую должность в советском посольстве. Родина продолжала строить коммунизм, границы по-прежнему были на замке, и любая загранкомандировка считалась сказочной удачей.

Во время апрельского наводнения в Лиссабоне Сильвио спас двух милых школьниц лет десяти. Благодарные португальцы растрогались, наградили его каким-то красивым орденом на алой ленте, газеты начали брать интервью, телевизионщики наперебой стали приглашать на утренние программы между спортом и кулинарными советами. Сильвио стал местной знаменитостью. Тогдашний посол Антон Замолотчиков позвонил в Москву, через день в Лиссабон прилетела группа из Останкино, а еще через неделю пятиминутный репортаж о простом русском парне из португальского посольства прошел во «Времени».

Телевизионное начальство оценило фактуру скромного героя: Сильвио пригласили на первый канал вести новую аналитическую программу «Факты». Времена наступали невнятные, надвигались неизбежные перемены, никто не знал, что делать, но все понимали, что что-то делать надо. Сильвио, чуть мятый, с хрипловатым баритоном, идеально вписался в эпоху советского Апокалипсиса.

В девяностом году за серию репортажей о советской экономической блокаде Литвы он с треском был уволен с первого канала. Сильвио сам объявил об этом в прямом эфире — встал и покинул студию, оставив перед камерой пустой стул. Вся страна видела этот пустой стул, вся страна запомнила имя храбреца.

Через несколько месяцев он появился на новорожденном Российском канале уже в статусе звезды. Он стал синонимом успеха, синонимом скандала, эдаким русским Хемингуэем времен испанской войны, впрочем, без особого писательского дара: до шедевров типа «Продаются детские ботиночки. Неношеные» Сильвио явно не дотягивал. Что не мешало мужикам ему зверски завидовать, а домохозяйкам включать телевизор ровно в восемь и глядеть влажным взором на брутальное, усталое, но

бесконечно честное лицо. Обычно за его плечами пылал Грозный, дымилось Приднестровье, строились баррикады у Белого дома. Его даже где-то ранили, то ли в Грузии, то ли в Осетии, впрочем, не серьезно, кажется, в бедро. Сам Ельцин повесил ему на грудь медаль с бестолковым названием — «Защитнику свободной России».

Политические взгляды тогдашнего Сильвио были весьма туманны. По крайней мере, он их не афишировал, сделав лейтмотивом своей жизни борьбу за правду и справедливость. Понятия крайне расплывчатые, но неизменно популярные в русском обществе из века в век.

Наша дружба после института не испарилась, я бы сказал, что дружба перешла из острой формы в хроническую. Виделись мы редко — один, два раза в год, причем звонил всегда Сильвио. Звонил и приезжал, шумный, с водкой, с историями. Он по-прежнему не хвастал, всегда рассказывал в третьем лице, точно прочел о случившемся в газете. Единственный раз, когда я сам позвонил ему, был перед моим отъездом. Мы пили всю ночь, вспоминали институт, военные лагеря. Оказалось, что у нас была потрясающая молодость. Он уехал под утро, а еще через несколько часов на пороге моей квартиры появилась Шурочка. Она тоже заехала попрощаться.

19

Начало светать. Мы давно въехали в город, грузовик, не сбавляя скорости, гнал по Ленинградке. Зина уткнулась в мое плечо и, кажется, действительно заснула. Бежать (или «рвануть», как выразилась Зина) нам не удалось. Грузовик, сделав широкий круг, остановился у служебного входа в Манеж. Здание было оцеплено военными и ребятами в черных комбинезонах. У театральных касс стояли бронетранспортеры. Проход в Александровский сад перегораживал танк.

Глухов спрыгнул на асфальт, с грохотом распахнул борт. В кузов, щурясь, заглянул капитан в полевой униформе и с каким-то орденом на груди.

— Из «Хорошего»! — доложил Глухов.

— Да я уж вижу, что не из плохого, — с неприятной улыбкой сострил капитан. — Давай, всех в загон!

— Эй, послушайте! — крикнула Гаганова противным голосом. — Я министр и депутат, я председатель комиссии...

— Тут все министры! И все депутаты! — перебил ее капитан, повернулся к Глухову. — Всех в загон!

Загоном оказался центральный зал, отгороженный от остальной части Манежа колючей проволокой. Внутри были люди, некоторые сидели на полу, кто-то громко ругался по телефону. Было душно, воняло, как в плацкартном вагоне поезда дальнего следования — носками, потом и сортиром.

Зина сжала мою руку, ее ладонь была горячей. Сухой и очень горячей.

— Все будет о'кей, — прошептал я, наклонившись к ней.

— Я знаю, — тихо ответила она.

Нас втолкнули за колючую проволоку. Жирный мужик в нательной майке, бледный и дряблый, как сырое тесто, взглянул на Зину, зло пробормотал:

— Оборзел совсем, детей хватает, сука...

— Не посмеет, гад, — отозвался его сосед, мрачный, похожий на монаха, старик. — Не посмеет...

Некоторые лица мне казались знакомыми. Я признал крикливого депутата от какой-то патриотической партии — этот, я помню, призывал вернуть в состав России Финляндию, выдвинув ей ультиматум ядерного удара. Узнал я и некогда знаменитого (и вполне приличного) режиссера, трансформировавшегося в политика, тоже знаменитого, но, увы, совсем неприличного. Рядом с ним стоял телевизионный начальник

с вертевшейся на языке немецкой фамилией, то ли Шульц, то ли Фальк. Этот вконец обрюзг и напоминал спившегося купидона.

Неожиданно по толпе прокатился встревоженный говорок — что-кто-где — словно ветер зашуршал по камышам. Я покрутил головой и увидел, как на подиум в конце зала поднялся какой-то человек в черном военном комбинезоне. Он провел ладонью по седому ежику, медленно поднял руку. Тут же наступила тишина.

— Господа сенаторы! Господа министры, господа депутаты... — он сделал паузу. — И прочая сволочь!

— Сильвио... — пробормотал я. — Мать твою, Сильвио...

— Это он? — спросила Зина.

Я кивнул.

— Судя по вони в этом зале, — он приложил руку к носу, — рыба действительно гниет с головы. Я неоднократно...

— Кто вам дал право? — сердито прокричал кто-то из толпы. — Кто вы такой?

Сильвио подошел к краю подиума.

— Кто спрашивает? — крикнул он. — Рамазанов? Это ты?

Сильвио что-то приказал охране, солдаты вытащили из толпы плотного мужика, похожего на отставного циркового борца. Сильвио ловко соскочил с подиума на пол, быстро подошел к мужику и резким ударом в челюсть сбил его с ног. В толпе кто-то вскрикнул. Сильвио, не глядя на поверженного Рамазанова, запрыгнул обратно на подиум, потер костяшки кулака, выпрямился. Явно мой старый приятель был в отличной спортивной форме.

— У меня нет времени, поэтому буду краток. Попрошу не перебивать, это в ваших же интересах.

Он сделал знак охране, два молодца подхватили Рамазанова и куда-то поволокли. Сильвио выпятил грудь, вдохнул — он был похож на птицу, готовую взлететь. Стало тихо.

— Вы — мразь! — он ткнул пальцем поверх голов. — Все! Вы — преступники! Государственные преступники...

Он прошелся взад и вперед, в ватной тишине было слышно, как скрипят его сапоги.

— Гринева и Каракозов признались. Их ждет смертная казнь. Они дают показания. В заговоре участвовали люди из ближайшего окружения президента, из кабинета министров. Генералы войск и госбезопасности. Сенаторы и депутаты. Сотни человек... — Сильвио усмехнулся. — Называю их людьми лишь с точки зрения биологии. Система государственного управления России поражена смертельным недугом. Это — рак! И он неоперабильный! Метастазы! Метастазы, метастазы...

Он зло сжал кулаки.

— Тут меня спросили — кто дал мне право? — он обвел глазами толпу. — Отвечаю — право не дают, право берут! Хватают! Вам — зажравшаяся сволочь — этого не понять. Вы и при покойном Тихоне жили, как свиньи в хлеву — главное, чтоб от кормушки не отлучили. Ведь видели... — Сильвио погрозил кулаком. — Все видели, куда этот маразматик страну тащит! Все! И министры, и парламент, и партия власти — лизоблюды поганые! И попы — продажная дрянь, чекистские выблядки! Все! Все знали, что на краю пропасти танцуем! Знали, но молчали! А то ведь от кормушки поганой метлой погонят... А как же вы без кормушки, а?

Он недобро засмеялся, погладил кулак.

— И ведь вам один черт — что Пилепин, что Каракозов, что Гринева, вам ведь главное — чтоб воровать не мешали! Бюджет дербанить да взятки брать. Ведь так?

— А ты-то, Сильвестров, чем лучше? — голосок осекся.

Толпа заволновалась, подалась и отступила, в пустом круге, как прокаженный, стоял невысокий мужчина, загорелый и похожий на цыгана.

— А-а, Барышников... — Сильвио сунул руки в карманы. — Ты спрашиваешь, чем Сильвестров лучше вас?

Он подошел к краю подиума.

— А Сильвестров, он не лучше, — тихо сказал Сильвио. — Он сильнее.

Толпа молчала, Сильвио обвел взглядом лица.

— И смелее.

Пауза затянулась, снаружи завыла сирена. Низкий унылый звук прерывался на секунду, потом возникал снова.

Сильвио словно забыл о толпе. Он смотрел поверх их голов, смотрел куда-то вдаль — там ничего не было, пустая белая стена. Вдруг, точно вспомнив, он быстро сказал:

— В столице и регионах работают полевые трибуналы. Участники заговора будут казнены. Я подписал декрет о люстрации — никто из функционеров и чиновников прошлого режима не будет занимать постов в структуре государственного управления, госбезопасности и правоохранительных органах. Всех и каждого допросят...

— Это инквизиция! — крикнул кто-то.

Сильвио засмеялся.

— Это хуже. Мы не отпускаем грехов! Отправляем мерзавцев прямиком в ад.

Он спустился с подиума, энергично направился к выходу. Толпа недовольно зароптала.

— Ну! — Зина дернула меня за рукав. — Он же уходит!

— Сильвио! — неуверенно позвал я.

Голос мой утонул в людском гомоне. Зина недовольно махнула рукой, поднялась на цыпочки и звонко крикнула:

— Эй! Сильвио!

Наверное, так его не звал никто с университетских времен. Он оглянулся, я поднял руку над головой. Сильвио пошел к нам. На ходу узнавая меня, он удивленно заулыбался, потом рассмеялся. Пошел быстрей. Я приблизился к колючей проволоке.

20

От него пахло тем же одеколоном — хвойные иголки с лимонной коркой, горький и пряный дух. Я еще раз убедился, что запахи имеют волшебное свойство воскрешать память до болезненной пронзительности.

— Ну, Незлобин... — он снова обнял меня, хлопнул ладонью по спине. — Ну сукин сын...

Я сам чуть не прослезился: внезапно эта почти забытая дружба, наивная и полудетская, повернулась ко мне новым боком — мне вдруг стало кристально ясно, что Сильвио тогда в меру сил залатал в душе прореху моей безотцовщины.

— Это твоя? — он кивнул на Зину. — Похожа, похожа... Ты ж в Америке, нет? Пошли, по дороге расскажешь. Тут такие дела, брат! Делища!

Сильвио потянул нас за собой к выходу. За нами засеменила свита, здоровенный бородач, похожий на людоеда из сказки про кота в сапогах, протиснулся, что-то шепнул Сильвио на ухо. Сильвио отмахнулся.

— Патриарх, твою мать! — весело крикнул он бородачу. — Вздернем вместе со всеми! — Повернулся ко мне. — Сколько лет, сколько лет! Погоди, когда мы последний раз виделись? Это когда... Это ж семнадцать, нет, восемнадцать лет... Восемнадцать лет... Ну ты молодцом выглядишь, не то что я. Диета, спортзал поди? Ты как, женат?

Перед входом, у самых ступенек, стояли три здоровенных джипа с тонированными стеклами.

— Науку не бросил? Небось, уже академик, тайком на Нобелевку зуб точишь? — Сильвио засмеялся, пихнул меня в плечо. — Ведь точишь, сукин сын, точишь?

Он подтолкнул нас с Зиной к средней машине, охрана распахнула двери. Кресла

в салоне стояли не в ряд, а лицом друг к другу, как в старом лондонском такси. Сильвио что-то коротко приказал бородачу-людоеду, тот кивнул и побежал к головной машине. Мы сели, охранник захлопнул дверь, машина мягко тронулась.

Сильвио здорово изменился. Не постарел, а именно изменился. Тогда он напоминал портрет работы Перуджино — воздушный румянец полутени, изящный ракурс, живой блик в сером глазу. Теперь это был почти Роден, полновесный и внушительный, никаких нюансов — тяжелый подбородок, крупный, почти крестьянский, нос, массивные надбровные дуги. Глаза посветлели, точно полиняли в молочную синеву, от волос, некогда густых и темных, остался серебристый ежик. На лбу появился косой шрам, белая полоска вроде полумесяца. Этот шрам делал его похожим на римского легата, ветерана славных походов времен какого-нибудь Гая Юлия Цезаря или Марка Антония Каракаллы.

— Мы сейчас в «Гнездо»...

— Куда? — не понял я.

— В Кремль, — Сильвио, смеясь, прищурился. — Тут, брат, везде жаргон, сленг и ненормативная лексика. За двадцать лет царства Тихона, гори он в аду, — Сильвио мелко перекрестился и сплюнул через плечо, — в бардак страну превратили. В зону! Тихон — пахан, остальные братки шестерят по понятиям. Я сам как каторжный ботаю, по фене. Перед девчонками стыдно.

Я не понял, он хлопнул меня по колену.

— У меня ж две дочки! Ты ж не знал, близняшки Жанна и Анна...

— Ты что, женат? — удивился я.

— Да нет, — он фыркнул и махнул рукой, точно я спросил его, продолжает ли он коллекционировать марки. — Ты ж меня знаешь...

Я засмеялся — Сильвио был единственный человек, которого я действительно знал. Не считая Шурочки, которая, впрочем, всегда была полна сюрпризов.

— Господи, Сильвио... — я, глупо улыбаясь, вытер глаза.

— Ну-ну, — он ткнул меня в плечо.

— До сих пор не могу поверить... — я потряс головой, точно спросонья. — Весь этот бред... Похороны, голограмма, повешенные — знаешь, они там вешали людей на мосту, на Устьинском?

Он кивнул. Взглянул на Зину, та тихо сидела в углу, улыбнулась в ответ, смиренно, по-монашески. Я давно заметил, женщины, в отличие от мужиков, интуитивно выбирают безошибочную линию поведения в любой жизненной ситуации.

— Я тут кое-что понял, — неожиданно серьезным тоном начал Сильвио. — Сорок лет водить народ по пустыне — не такая уж глупая идея. Помнишь, мы с тобой рассуждали, что сменятся два поколения и весь дух совдеповский из народа выветрится. С новыми людьми можно будет строить новую страну. Помнишь?

Я кивнул.

— Да мы сами себя считали уже новыми людьми, — продолжил Сильвио. — Нам была очевидна дикость идеи «научного коммунизма», абсурдность их мантр — «Учение коммунизма всесильно ибо оно верно» — помнишь? Как мы потешались над их наукообразными концепциями и терминами: диктатура пролетариата, интернациональное единство, борьба классов, социалистическая революция... А помнишь этот перл — в конце двадцатого века коммунистическая партия с гордостью объявила о появлении нового «социалистического человека»? Это позаористей старика Ницше будет! Коммунизм построить не получилось, а вот вывести нового человека — будьте любезны, пара пустяков. Прошу любить и жаловать — гомункулус совьетикус!

За тонированными до чернильной черноты стеклами призрачно, как во сне, проплывала Лубянская площадь.

— А что с «Детским миром»? — я ткнул в сторону забора, наскоро сколоченного вокруг горы мусора и битого кирпича. — Кому понадобилось бомбить магазин?

— То асы Каракозова... — усмехнулся Сильвио. — Промазали. В чека метили...

— А этот, — я показал на памятник. — Давно вернулся?

— Феликс? Года четыре. Тихон после Прибалтики вконец чокнулся, на Поклонной горе Сталина поставил — не видел? Повыше вашей статуи Свободы будет. Колосс! Тогда, после тех войн, Тихон начал полномасштабную реставрацию советского строя. Как это в рекламе пишут — вкус, знакомый с детства.

— Дичь полная, — буркнул я.

— Именно. Тогда, в совдепии, была идеология. При полной бредовости цели идеологическая база была вполне логичной и что главное, — неимоверно привлекательной. Свобода, равенство, братство, как тебе? Хитрый Энгельс долго голову не ломал, весь его манифест — это ж сплошной плагиат. Иисус Христос, пункт за пунктом.

— Вкус, знакомый с детства, — повторил я невесело. — Улучшенный и в новой упаковке.

— Да-а. Не мы одни попались, полмира экспериментировало...

— Ну да, только у нас эксперимент чуть затянулся.

— Затянулся? Тебе ж, Незлобин, как профессионалу лучше всех должно быть ясно, что проблема тут не в порочной идее. И не в скверном лидере. Или глупом царе. Ты помнишь, что Бисмарк сказал про социализм? — идея, говорит, очень заманчивая, но слишком рискованная, хорошо бы попробовать на народе, которого не жалко.

— Я как раз пишу работу одну, мне заказали книгу. На примере истории Третьего Рейха...

— Да погоди ты с Третьим Рейхом! Давай уж мы с Россией закончим! — Сильвио сердито махнул рукой. — В чем суть России? Ну, быстро! Одним словом!

Я растерялся. Я забыл, как Сильвио умеет спорить, — это почти бокс, испанская драка на ножах.

— Суть России? Православие? — не очень уверенно предположил я. — Христианство?

— Христианство? Православие? — он демонически захохотал. — Правда? Никто и никогда за последние две тысячи лет не покушался на христианство. Даже Гитлер не осмелился, а у него дико свербило прихлопнуть церковь. Но он так и не решился. Струсил. А вот Ленин не струсил! Большевики не струсили. Объявили попов врагами народа, религию — опиумом. И что наш русский православный люд? Восстал? Поднял смуту? Бунт? Бессмысленный и беспощадный? Выкинул богохульников из Кремля, поднял на вилы чекистов и комиссаров?

Сильвио выдержал паузу. Мы как раз катили по брусчатке Красной площади.

— Нет, — ласково выдохнул он. — Наш народ с радостью начал громить храмы, жечь иконы, переплавлять колокола. Как же так? Ведь нам говорили про русского мужика, богобоязненного, смиренного, — разве нет? А если так, то что для русского есть Бог? Кто он, этот русский Бог?

Машина чуть притормозила, мы въезжали в ворота Спасской башни. К своему разочарованию, я не почувствовал ничего, с таким же успехом я мог въехать в любые другие ворота.

— А я тебе отвечу! Русский Бог — это хозяин с плеткой. А религия наша — это узда. Чтоб сдерживать стадо! Потому так по сердцу и пришлись нам большевики. Ребята, все дозволено! Все? Все! А боженька не накажет? А боженьки нету! Нету! Поэтому — режь и жги, грабь, убивай! Пущай кровянку во имя мировой революции и пролетарского интернационала.

— Ну это уже достоевщина! Прямо — «право на бесчестие»...

— Вот именно! Вот именно, Митя! — он снова хлопнул меня по колену, а от этого «Мити» у меня в горле застрял ком — так меня звал только Сильвио, и было это последний раз лет сто тому назад.

— Я всегда говорил: чтобы полюбить Россию — читай Толстого, чтоб понять — Достоевского! — Сильвио хохотнул и ткнул указательным пальцем в потолок машины. — Именно «отрицание чести»! Легче всего русского человека увлечь можно именно правом на бесчестие. Все за нами побегут, никого там не останется! — вот золотые слова! Достоевский за пятьдесят лет до большевистского переворота все предугадал, все предвидел — и мошенничество революционных мерзавцев, и дурь русского народа, и подлость правителей, и глупость аристократии. Все! А главное — отрицание чести, отрицание морали.

Машина мягко притормозила и остановилась. Охранник распахнул дверь, приглашая выходить.

— Закрой дверь! — рявкнул Сильвио.

Дверь закрылась.

— Помнишь, я тебя спрашивал, — продолжил Сильвио, — спрашивал про суть России? Про ее сущность?

Я кивнул, я тогда сказал — православие. Сильвио выдержал паузу и тихо произнес:

— Рабство. Вот суть России. Ее квинтэссенция и стержень, — он внимательно посмотрел мне в глаза. — Ты думаешь, раб — это человек, лишенный свободы?

Я молчал, вопрос был явно риторический.

— Нет, мой дорогой Митя. Раб — это человек, лишенный достоинства. Это человек без самоуважения. Вот кто такой раб. И вот что такое Россия. Чехов говорил: «Выдавливай из себя раба», все знают фразу, но никто не понимает ее истинного смысла. А речь идет именно о достоинстве, о человеческом достоинстве.

— Ну, ты знаешь, с нашей историей... — я усмехнулся. — Двести лет татарского ига — не фунт изюма. Когда твой князь на брюхе ползает перед косоглазым дикарем...

— Да что вы с этим игом, честное слово! — перебил Сильвио. — Давай теперь все на Мамая спишем! На него и Чингиз-хана! Да, еще на Гитлера! На Адольфа всех собак можно вешать... У нас вечно какой-то дядя в наших бедах виноват! То татары, то немцы, то хохлы, то пиндосы! Кто еще? Поляки и латыши. Англичане, как же без них! Француз тоже подлянку из века в век точит. Про китайцев я уж и не говорю... впрочем, японцы не лучше.

Сильвио покраснел. Он шумно выдохнул и зло добавил:

— А мы, русские, — румяные ангелочки с пушистыми крылышками.

— Беленькими... — неожиданно подала голос Зина. Мы с Сильвио забыли о ее существовании.

— Извините... — Зина подняла ладошку, как в школе. — Можно я выйду? Очень писать хочется...

21

— Людей не хватает катастрофически! — Сильвио зло рубанул рукой воздух. — Катастрофически! К власти липнет всякая шушера. Дрянь... Лезет, льнет... А нормального человека днем с огнем не сыщешь.

Он подмигнул мне.

— Так что тебя, Незлобин, мне сам... — он усмехнулся, подняв глаза к потолку. — Сам знаешь, кто прислал.

— Послал, — поправил его я.

Лично я не очень был уверен, что меня прислал именно Тот, кого имел в виду Сильвио, но на всякий случай вежливо улыбнулся. Последняя неделя чуть поколебала мою уверенность в том, что у Него там, наверху, действительно все находится под контролем.

— Ты ветчину попробуй, что ты все салат, как кролик, честное слово... Ветчину

давай, вон, с хреном, — Сильвио ткнул вилкой в блюдо с аппетитными ломтями розовой ветчины. — Такой в твоей Америке нет.

Ветчина действительно оказалась отменной, такой в моей Америке я точно не ел. Мы сидели в гулком зале, пустом и без окон, похожем на роскошную столовую для членов политбюро. Пару раз появилась ядреная официантка, смахивающая на учительницу иностранного языка, принесла две бутылки «Боржоми», унесла что-то на подносе. Я непроизвольно проводил взглядом ее упругий круп, затянутый в тугую черную юбку.

— Славная у тебя дочурка, — Сильвио уронил салфетку на пол, нагнулся. — Взрослая совсем...

Я скромно кивнул, вдаваться в подробности не совсем родственных отношений с «дочуркой» не хотелось.

Зина уехала час назад.

Она нацарапала номер телефона на клочке бумаги, я спрятал его в бумажник. Наклонился к ней, тронул за плечо. Она подняла глаза, черные, как вишни.

— Вот что... — неопределенно начал я. — Ты меня прости... я себя как дурак вел...

— Ну не всегда, — великодушно улыбнулась она. — Полный норм, папа. Не буксуй.

— Ты думаешь, что с моим... с Дмитрием все о'кей? — мне по-прежнему не удавалось произнести имя сына без странных заиканий.

Она кивнула, серьезно посмотрела мне в глаза. Я неуклюже обнял ее, прижал. Зачем-то похлопал по спине.

— Осторожней там... — тихо сказал ей в ухо. — Сама видела, что в городе творится.

— Угу.

— И пропуск не потеряй.

— Угу.

Зине выдали карточку, запаянную в пластик, что-то вроде водительских прав, с двуглавым орлом, фиолетовой печатью и таинственной надписью «допуск Б».

— Кстати... — Зина запнулась. — Ты насчет Димки особо тут не распространяйся. Со своим этим другом.

— Почему?

— Не надо...

— Ты можешь...

— Потом.

22

Как всякий русский, латентно суеверный и ищущий логики в любом иррациональном проявлении жизни, я не верил в случайности подобного рода. Судьба не могла разыграть столь замысловатую комбинацию без конкретной цели. Просто не могла.

Мы шли коридором без окон, Сильвио напористо шагал, как сквозь ветер, изредка прихватывая и подталкивая мой локоть. Свита из семи-восьми человек, все мужчины, поспевала следом. Давешний здоровяк-людоед отрывистым шепотом говорил сразу по двум телефонам. Остановились у лифта. Разъехалась дверь, лифт был огромный, в кабину запросто мог войти средних размеров слон. Сильвио развернулся, коротко бросил своим:

— Я один. Все вопросы к Шестопалу.

Он кивнул на людоеда, тот выпятил диковатую бороду, властно зыркнул из-под бровей.

— Глеб Глебыч, а как же с... — ласково начал некто с бабьим лицом.

— К Шестопалу, я сказал! — рявкнул Сильвио, подтолкнув меня в лифт.

Дверь закрылась, кабина пошла вниз. Мы вместе, как по команде, посмотрели в тускло светящийся потолок, похожий на сырой лед.

— Есть страны, которыми лучше не управлять... — сказал Сильвио, глядя вверх. — Которые, как камень с горы... толкнул, камень и покатился. И покатился, и покатился...

Дверь открылась, нас ждали четыре охранника в одинаковых серых костюмах и один коротышка, тоже в штатском, но по повадке явно военный. Он вытянулся, выставил подбородок, мне показалось, что он сейчас начнет что-то звонко рапортовать.

— Как она? — спросил Сильвио.

— Молчит, — неожиданно низким голосом ответил коротышка. — Зато Каракозова не остановить, поет. Жаворонком.

— Пусть поет,— мрачно сказал Сильвио. — Пошли к ней.

Я ожидал увидеть камеру — склизские стены, выкрашенные тюремной краской, железную койку. Желтую лампочку под потолком в ржавой решетке. Комната оказалась почти уютной, с толстым ковром в орнаменте из персидских лопухов осенних расцветок и мягкой мебелью. Мне даже почудилось, что тут пахнет теплой карамелью. Точно рядом на кухне пекли печенье. Коротышка впустил нас, отрывисто кивнул и, чуть не прищелкнув каблуками, удалился.

В дальнем углу в разлапистом кресле, затянутом в белый музейный чехол, сидела женщина в изумрудно зеленых сапогах. Увидев Сильвио, женщина непроизвольно выпрямила спину.

— Госпожа Гринева, — Сильвио дошел до середины, и словно в нерешительности остановился. — Здравствуйте, Анна Кирилловна. Здравствуйте...

Произнес красивым баритоном и замолчал. Она зло вскинула голову.

— Только давайте без драмтеатра, Сильвестров. Что нужно?

— Мне? — удивился он. — Мне ничего. Давайте лучше поговорим о вас.

Она не ответила. Закинув ногу на ногу, она закурила; ноги у нее были непомерно длинные и ломкие, как у цапли. Она нервно качала хищным носком сапога. Я огляделся, стоять в дверях было глупо, и я тихо присел на край дивана. Диван тоже был затянут белым чехлом, как саваном. Гринева перестала качать ногой, застыла, будто у нее внутри кончился завод. Повисла бесконечная пауза.

— Странно... — рассеянно произнесла она. — Как все странно...

Проговорила растерянным тоном, как говорят спросонья, пытаясь припомнить ускользающий сон. На подлокотнике кресла стояла пепельница. Гринева с хрустом воткнула в нее сигарету, докуренную до половины. Она курила эти тонкие пижонские сигарки, коричневые и ароматные, это от них в комнате пахло карамелью.

— Никто не придет. Никто не включит свет. Никто не обнимет, не скажет, что все это просто приснилось. Никто...

Она произнесла это тихо и отчетливо, впрочем, не обращаясь ни к кому. Повернула голову, точно позировала для портрета, острый подбородок, хищный нос, бритый затылок — свет уронил на лицо случайные тени, и на мгновенье ее профиль напомнил мне Цезаря, вернее, его близнеца, хрупкого и нервного императора выдуманной империи. «Лучше умереть сразу, чем жить ожиданием смерти» — так, кажется, сказал пожизненный диктатор Римской республики. Я вдруг ни к месту вспомнил, что Цезарь отчаянно стеснялся своей лысины — зачесывал на нее волосы, прятал под лавровым венком. Великий Цезарь, покоритель Европы, и вдруг такая нелепость!

— Меня казнят? — Гринева повернулась к Сильвио.

Сильвио помедлил, сунул кулаки в карманы. Гринева устало кивнула, точно соглашаясь с кем-то.

— Зачем вы пришли? — спросила она тусклым голосом.

— Хотел посмотреть...

— Ну и? Посмотрели?

Сильвио не ответил, сделал шаг к ней, опустился на корточки.

— Я арестовал их всех, всю эту сволочь. Собрал в Манеже. Я дразнил их, как дразнят собак. Хотел увидеть злость, хотел увидеть ярость, поглядеть, на что они способны...

Он замолчал.

— Ну и? — спросила Гринева без интереса.

— Ничего, — Сильвио резко встал, почти крикнул. — Ничего! Ни злобы, ни ярости, ни даже страха! Ничего! Покорность, холуйская покорность. Ничего больше! Я хотел увидеть врагов, на меня смотрели рабы.

Он зло замотал головой.

— И это ведь лучшие! Самые пронырливые, самые энергичные. Те, которые по головам, по трупам пролезли в Думу, в сенат да в министерства. Элита! Сливки общества. Что ж тогда про народ, про массы, — он усмехнулся, — про движущую силу истории говорить? Про великий русский народ?

Гринева вдруг ожила, улыбнулась, будто расцвела.

— А-а, вот оно что...

Она медленно откинулась в кресле, мерно закачался маятник хищного сапога.

— Милый мальчик, — сахарным тоном произнесла она. — Раньше надо было думать. Раньше. Ты, я вижу, растерялся, бедненький. Сдуру захватил власть, а что с ней делать...

Она развела руками.

— А что с ней делать и не знаешь... — она усмехнулась. — Думаешь, мамочка подскажет. Выручит, да? Думаешь, у меня чертежи построения государства российского в лифчике спрятаны? Карты-схемы за голенищем сапога?

Я видел, как Сильвио сжал кулак. Гринева рывком поднялась из кресла, на своих высоченных каблуках она была одного роста с Сильвио.

— Ты думаешь, мне власть нужна? — с пугающим спокойствием спросила она. — Быть мартышкой на троне, как Тихий был? Мразь! Гори он в аду, сучье семя!

Она сплюнула на ковер. Очевидно, ей тоже не очень нравился покойный.

— Ты спрашиваешь, где герои? — она подалась вперед, Сильвио от неожиданности отпрянул. — Где люди, способные на поступок? Где настоящие мужики? С настоящими яйцами?

Она гадко засмеялась, ухватив себя за мошну рукой.

— Нету! Вывелись! Тихий всех и вывел...

Она звонко хлопнула в ладоши.

— Впрочем, никто особо и не сопротивлялся. Каждый урвал себе кусок пожирней, да с ним и в нору — буду тихо сидеть, авось не тронут. Бог не выдаст, свинья не съест! Страх и глупость — даже не знаю, что гнусней. Трусость, наверное... Он так всех по одному и передушил, кого здесь, кого там: Гошу Высоковского, Зураба, Макса Гусева, Мишку Лифшица... Господи, господи, сколько же трупов... Вся жизнь, как сказка Гофмана.

Она замолчала, потом продолжила тихим, мрачным голосом:

— Я тоже поначалу думала — не тронет. За что меня? Какой смысл, какая логика? А потом поняла — не в логике дело. Это процесс, как в сказках: в конкретный день, на конкретную гору приводили одного жителя деревни, прилетал дракон, пожирал жертву и улетал. До следующего раза по расписанию. Все по расписанию: запланированные заклания олигархов, запланированные судилища над врагами Отчизны, запланированные войны-войнушки — все для поддержания патриотического духа.

Я слушал и рассматривал ковер, неожиданно орнаментальные лопухи сложились в хищно оскаленную морду.

— Так что я гадину эту раздавила, считай, из трусости, — она устало опустилась в кресло. — А что касается страны и, прости меня Господи, народа... — она уныло

покачала головой. — Народа... Да и нет никакого народа... Так, людишки разные. Не может существовать государства, идеология которого основана на ненависти. Не может! И не должно.

— Так, значит, не было плана... — не то спросил, не то подтвердил Сильвио. — Не-бы-ло.

— А что, бунтуют уже? — устало проговорила Гринева, чуть язвительно. — Чернь восстала? Ужель грядет бессмысленный и беспощадный?

— Помилуйте, Анна Кирилловна! Да у вас мания величия! Я вас, безусловно уважаю, но неужто вы думаете, что из-за вас народ выйдет на улицы? Бунтовать? — Сильвио развел руками. — Увы! И потом, вы меня извините, но в вопросах о тонкостях русской души я все-таки отдаю предпочтение Федору Михайловичу. При всей моей любви к Александру Сергеевичу. Как там...

Сильвио потер подбородок, пытаясь вспомнить.

— Ну как там? — он повернулся ко мне, прищелкнул пальцами. — Во всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе... Как там дальше, ты ж помнишь, Незлобин.

Разумеется, я помнил. Я использовал эту цитату в качестве эпиграфа к своему реферату «Анатомия русской смуты: социологический портрет».

— ... эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и не только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собою беспокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, почти всегда подпадает под команду той малой кучки «передовых», которые действуют с определенною целью, и та направляет весь этот сор куда ей угодно, если только сама не состоит из совершенных идиотов, что впрочем тоже случается.

Я замолчал, Сильвио умильно посмотрел на меня, точно это он собственноручно слепил меня из глины и вдохнул жизнь. Гринева первый раз за все время нашего пребывания в комнате взглянула на меня.

— Если только не состоит из совершенных идиотов, — повторила она с расстановкой. — Именно!

Затренькал телефон, Сильвио вытащил из кармана мобильник.

— Я же сказал! — заорал он в трубку и тут же осекся.

Такого раньше я не видел — за секунду его лицо стало не просто бледным, оно стало белым, как мел. Он нажал отбой и медленно спрятал телефон.

— Моя дочь...— он точно поперхнулся. — Мою дочь украли... Жанну украли...

23

Шаблонность трагедии и голливудская затасканность сюжета делали происходящее еще страшнее, поскольку ты видел, читал и слышал подобное так много раз, что, даже сам не желая того, мог предвидеть все последующие события шаг за шагом: звонок похитителей, фото жертвы с сегодняшней газетой в руках, еще звонок, угрозы, отрезанный мизинец в конверте, передача денег на каком-нибудь мосту или на вокзале в час пик.

Все произошло в школе: был третий урок, география, Жанна подняла руку, попросилась выйти. Охранник по этажу видел, как она зашла в уборную. Через десять минут прогремел звонок, началась перемена. Девочки в уборной не оказалось. Одно из окон было распахнуто настежь, рядом с окном к стене крепилась пожарная лестница. Похититель наверняка был отменным атлетом или цирковым гимнастом, он преодолел почти полтора метра по узкому карнизу, дотянулся до лестницы и спустился с третьего этажа. И все это он проделал с заложницей под мышкой.

Через час появилась надежда: удалось запеленговать сигнал ее маяка — у обеих сестер на запястье были браслеты с микрочипом.

— Садовое кольцо. Район планетария, — генерал-майор МВД толстым пальцем елозил по экрану монитора. — Цель движется в сторону...

— Какая на хер цель! — перебил его Сильвио. — Это моя дочь!

— Простите, Глеб Глебыч, — генерал испуганно вытянулся. — Э-э... движется в сторону площади Восстания.

— Кто руководит операцией? Где Григорян? — Сильвио нервно стукнул кулаком в стол. — Где Григорян?

— Вы же сами его... — нерешительно сказал генерал.

— Черт!

— В районе четыре группы, на подходе вертолет с пятой группой...

— Никаких вертолетов! Вы еще танки пошлите! Действовать тихо, на цыпочках!

— Есть на цыпочках, есть никаких вертолетов! — генерал повернулся, крикнул кому-то. — Отменить «вертушку»!

Сильвио приблизил лицо к экрану, не отрывая взгляда от пульсирующей зеленой точки, что ползла по крупномасштабной карте. Судя по скорости, это был автомобиль. Точка задержалась на углу у сквера перед высоткой на Восстания, неожиданно стремительным рывком пересекла площадь по диагонали.

— Что за черт... — пробормотал генерал, схватил микрофон, щелкнул выключателем. — Все мониторы наружки! Квадрат пятьдесят семь, пятьдесят девять! Всем! Повторяю пятьдесят семь, пятьдесят девять!

Из генеральского кабинета мы бегом спустились этажом ниже. Тут в просторном помещении, похожем на спортзал, в четыре ряда стояли столы с мониторами, за каждым сидел оператор в наушниках, я думаю людей было не меньше сотни. От треска клавиш стоял гул, точно кто-то неутомимо пересыпал речную гальку. На дальней стене висел огромный экран, разделенный на квадраты. На центральном мониторе была карта с изумрудным огоньком. Он теперь двигался в сторону Смоленской. Комната, оборудование, операторы — все это напоминало космический центр управления.

— Вывести наружку на центральный! — приказал генерал в микрофон.

По бокам главного монитора включились экраны поменьше, я узнал площадь Восстания, Садовое кольцо, машины ползли неспешным плотным потоком. Вспыхнул красный свет, машины остановились. На других экранах появился угол какого-то роскошного магазина, стоянка такси с дюжиной скучающих легковушек.

— Вон! — крикнул кто-то. — Белый микроавтобус!

Я увидел его в потоке машин, он дополз до края экрана и пропал.

— Вести! Вести его! — заорал генерал. — Где следующая камера?

Включился другой монитор. Там появился белый микроавтобус, обычный, ничего примечательного, у нас на таких ездят сантехники или развозят по магазинам булки из пекарни.

— Перекрыть движение! Включить «красный» на Смоленке! — отрывисто приказал генерал.

— Где ваши люди? — сипло спросил Сильвио. — Дайте мне командира!

— С Карцевым соедините! Немедленно! — генерал поправил дужку микрофона. — Карцев! Ты где? Карцев?

Сильвио выругался, бесцеремонно стянул наушники с головы генерала.

— Карцев! Это Сильвестров! — он запнулся, быстро вытер лицо ладонью, продолжил глухим голосом. — Слушай, брат, там моя девчонка, моя дочь... Постарайся, а? Я тебя очень прошу. Очень.

Он снял наушники, протянул генералу.

— Транспорт принадлежит сети «Маркет-гигант», — подскочил к нам паренек в больших очках. — Сеть супермаркетов. Мы пробили по треку, шофер Халаилов... Вроде, чистый.

— Что значит, вроде? — вспылил генерал. — Вроде, ешкин кот! Набрали очкариков, не полиция, а фейсбук какой-то!

— В информационной базе нашего ведомства на Халаилова ничего нет, — спокойно ответил тот, очкарик явно не очень испугался генеральского гнева.

Дальнейшее напоминало обычный фильм про спецназ. Неважное качество картинки на мониторе делало происходящее еще более заурядным. Среди застывших в пробке машин заскользили люди, похожие на киношных ниндзя. Они окружили белый фургон, одновременно и совершенно беззвучно ринулись к нему. Беззвучно распахнулись двери, шофера выдернули и припечатали к капоту соседнего авто. Задние двери фургона раскрылись настежь, два человека нырнули внутрь. Я услышал, как Сильвио тихо застонал, как от боли. Генерал прижал руками наушники, приказал в микрофон:

— Повтори!

Сильвио, страшный и бледный, повернулся к генералу.

— Никого, — генерал снял наушники. — Пусто.

Сильвио беспомощно раскрывал рот, он пытался выдавить из себя какое-то слово, я испугался, что его сейчас хватит кондрашка. По залу вдруг прокатился удивленный гомон.

— Что... — пробормотал генерал, повернувшись к большому монитору. — Что за ешкин кот?..

На большом экране зеленая точка неожиданно дернулась и с нарастающей скоростью понеслась по диагонали через тротуары, сквозь дома и скверы в сторону Москвы-реки.

24

Браслет с маяком был приклеен липким «скотчем» к лапе голубя, обычного московского сизаря. Птицу в конце концов снайперам удалось подстрелить где-то в районе Донского вокзала (я сообразил — бывший Киевский). Ни отпечатков, ни ДНК на браслете обнаружить не смогли.

Мы возвращались в Кремль.

Вечерний город бескорыстно раскрывал пыльную панораму сквозь бронированное стекло, там и сям вспыхивали закатные маковки случайных церковок, звонко раскиданных по той стороне реки где-то в дальнем хаосе Замоскворечья. Тусклое солнце наощупь продиралось к шпилю университета, тоже скорей угадываемому, чем видимому сквозь пелену смога и дыма. Мы летели, едва касаясь асфальта пустых мостовых. Перед нами неслись мотоциклисты — два по флангам, один на острие, вой их сирен едва пробивался в салон. За пятнадцать минут дороги Сильвио не произнес ни слова, казалось, что в нем, там внутри, сломался какой-то важный винт.

Раздался звонок, Сильвио точно ждал — тут же нажал громкую связь.

— Что?

— Глеб Глебыч! — я узнал голос Шестопала. — Пожар в государственной...

— Я тебе что — ноль-один?

— Может, это как-то связано с похищением...

— Как?

— Сразу на семи бензоколонках, все внутри Садового. Явно спланированная акция, все поджоги произошли в интервале пятнадцати минут. И тут же — пожар в Думе.

— Теракт? Жгут улики? Кто?

— Не знаю. Все бригады Центрального округа были на этих бензозаправках. Пока приехали в Думу...

— Черт с ней, — перебил Сильвио. — Что-нибудь еще есть?

— Пока нет. Я дал команду центру мониторинга следить. Весь штат подключил. Вдруг что мелькнет...

— Хорошо, — Сильвио нажал отбой.

— Что за центр мониторинга? — быстро спросил я, мне было страшно снова погружаться в гнетущую тишину.

— Сетевая перлюстрация. Десять тысяч бездельников вскрывают почту, копаются в серверах, просматривают фотографии, слушают скайп. У Тихона на этот счет пунктик был. Насчет сети.

Я хотел спросить еще что-то, но Сильвио меня опередил:

— Думаешь, совпадение? Или эти поджоги связаны с...

— Ты знаешь третий закон теории случайности?

— Третий?

— Да. Комплекс случайных событий предсказуем, даже если отдельные события — нет.

— Не понял, какое отношение это...

— Самое прямое. В физике законы термодинамики основаны на предсказуемости большого количества случайностей, эти законы непоколебимы именно потому, что случайность абсолютна и неизбежна.

— Это что, закон больших чисел?

— Да, типа того. Сумма большого количества случайных величин дает результат, близкий к норме. События, в данный момент кажущиеся нам хаотичными, лишенными следственно-причинных связей, нуждаются в долгосрочной перспективе.

— Ты меня запутал вконец, — Сильвио почти улыбнулся.

— Ничуть. Это вроде тех гигантских картинок, которые видны лишь с высоты птичьего полета. Помнишь? Которые пришельцы нам оставили? Паук, мужик с дубиной?

Он кивнул:

— Ну и что тебе, Митя, оттуда видно? С высоты птичьего полета?

Я посмотрел на свои руки, точно мне только что сделали маникюр. Потом спросил:

— Тебе научно или по-простому?

— Давай по-простому.

Наш кортеж выскочил на набережную. Мы сразу увидели дым: жирный черный столб поднимался где-то в районе Павелецкой, поднимался почти перпендикулярно, точно кто-то воткнул в землю корявый черный посох. Чуть дальше клубились еще два пожара.

25

Видео появилось рано утром. В восемь пятнадцать видео загрузили на Ютюб с мобильного устройства, некто воспользовался бесплатным вай-фай забегаловки «Дзэн-кофе» в Камергерском. Личность установить не удалось.

Видео длилось меньше минуты. Жанна Сильвестрова выглядела старше своих лет, она смотрела в камеру, изредка моргая. Один раз поправила рукой волосы — быстрым жестом заправила светлую прядь за ухо. Потом она подняла глаза и что-то сказала. Потом кивнула головой. На пятьдесят пятой секунде видео обрывалось. Звук в видео был отключен.

— Чего они хотят? — Сильвио включил ролик сначала. — Кто они?

Сначала мне показалось, что сходства с отцом у Жанны нет вовсе, зато я отчетливо представил ее мать — спокойную и породистую, чуть рыжеватой масти, обитающую в плавной вселенной, где жизнь ленива, где лень непроизвольно переходит в грацию, а звук — в мелодию. Но постепенно, точно невидимый гример ловкими

штрихами расставил на лице едва уловимые акценты, сквозь полудетские черты проступила намеком жесткость подбородка, знакомая пристальность взгляда. Причем черты эти были не сегодняшнего Сильвио, а того, которого я знал полжизни назад.

Тут же начались звонки. Непрерывно звонили какие-то аналитики и специалисты: через двадцать минут мы знали, что Жанна на сорок второй секунде спросила: Мне нужно что-нибудь сказать? Нам сообщили, что видео было выложено на канале, зарегистрированном вчера, что канал был зарегистрирован под именем «Регинлейв» и связан с пустым адресом электронной почты сервера «джи-мейл». Что вместо аватара пользователя стоит некий знак, символ — две скрещенные стрелы в виде «Х», в верхней четверти изображена звезда, а в нижней — молния.

Тут же на нас хлынул поток информации с толкованием скрещенных стрел, молний и звезд.

— Ты что думаешь? — спросил меня Сильвио.

— Про знак? Субстанциальное равенство идеи и вещи.

— Что?

— Символ работает лишь внутри контекста. Визуальная и смысловая составляющие неразделимы, но они не тождественны...

— По делу можешь? — вспылил Сильвио.

— А если по делу, то нужно искать, был ли использован этот знак где-то еще, раньше. В сети. Может, как граффити. Или на каких-нибудь лозунгах, на маршах протеста.

— У нас нет маршей протеста, — угрюмо вставил Шестопал, сидевший за моей спиной.

— А Регинлейв? — Сильвио не обратил внимания на замечание своего адъютанта. — Какие мысли?

— Что-то скандинавское, — буркнул Шестопал. — Неужто шведы?

— Из германо-скандинавской мифологии, — сказал я. — Это, кажется, имя одной из валькирий. Их там около дюжины.

— Дает профессор стране угля! — мрачно восхитился Шестопал, он уже залез в Википедию на своем ноутбуке. — Мифические девы-воительницы, реющие над полем битвы на крылатых конях и подбирающие павших героев. Воины отправляются в Валгаллу, где в небесных чертогах идет вечный пир. По поверью, северное сияние на небе является отблеском доспехов валькирий... Ага, вот тут весь список этих девушек...

Он, спотыкаясь, начал читать:

— Гей...р...скегуль, Гейрахед, Ранд...грид, Регинлейв. Точно, Регинлейв. В переводе — «Всадница бури». Валькирия, значит.

— Что значит?! — Сильвио хряснул кулаком по клавиатуре.

Клавиши и осколки пластмассы зацокали по полу. Сильвио схватил клавиатуру и швырнул ее в стену. На дисплее компьютера видео запустилось сначала. Мы молча досмотрели ролик до конца.

— Что значит? — тихо повторил Сильвио.

— Они не будут требовать выкуп, — так же тихо сказал я. — Ты знаешь про операцию «Валькирия»?

— Это кино, — Сильвио потер кулак, неслышно выматерился. — С этим, как его, — Том Круз? Он там одноглазого фашиста играет, который хотел Гитлера убить, ты про это?

— Я был в Берлине прошлой осенью, на Бендлерштрассе, в штабе резервных войск. Там теперь музей Сопротивления, — я продолжал говорить, хотя сказал уже все; я просто боялся, что Сильвио снова уставится в монитор, снова запустит это жуткое видео. Снова навалятся боль и ярость, а главное — чудовищная беспомощность.

— Ты проходишь через арку и оказываешься во дворе, глухом, с четырех сторон

беленые стены, узкие окна. Казарма, обычная казарма. На одной из стен стальной венок и мраморная доска. Там расстреляли Штауффенберга.

Сильвио, с серым постаревшим лицом — он явно не спал этой ночью, в каком-то оцепенении смотрел на меня, но смотрел не в глаза, а на губы. Точно слова мои по мере их произнесения обретали видимость и он завороженно следил за их материализацией.

— Когда сработала бомба, Штауффенберг уже выехал из ставки. Он видел взрыв из машины. Добравшись до Растенбурга, он тут же вылетел в Берлин. Связался с участниками заговора, объявил, что Гитлер мертв и операция «Валькирия» вступает во вторую фазу — фазу захвата власти на местах...

Я не договорил, в этот момент экран компьютера моргнул, и там появилось новое видео.

26

На этот раз звук был. Жанна держала в руках листок бумаги, она читала, изредка поглядывая в камеру. Меня поразило даже не ее спокойствие, а какая-то обыденность ее поведения; было ощущение, что милая и не очень способная актриса без особой надежды на успех пробуется на эпизодическую роль в кино.

— Немедленно прекратите все попытки найти нас, — произнесла она с ровной интонацией. — При малейшей угрозе обнаружения мы примем меры. Фатальные и необратимые. Меры, которых бы хотелось избежать и нам, и, тем более, вам.

Она подняла глаза, облизнула губы. Она безусловно понимала, о чем идет речь, но страха в лице я не увидел.

— Мы следим за каждым шагом. Наши люди среди вас, они гораздо ближе, чем вы можете себе вообразить.

— Блеф, чистый блеф... — зло проворчал Шестопал.

— Немедленно остановите казни и репрессии. Верните солдат в казармы, уберите танки из города, — Жанна снова посмотрела в камеру. Сильвио, застонав, подался к экрану.

После паузы она опустила глаза и прочла:

— Не делайте глупостей, — потом, посмотрев в верхний угол экрана, спросила. — Все?

Видео кончилось. Мы с Сильвио, застыв, смотрели в монитор. Шестопал, уткнувшись в угол, бубнил в телефон.

— Видео загружено с мобильного устройства через вай-фай в ГУМе, — Шестопал выматерился вполголоса и добавил. — Обнаглели, сволочи... Прямо под носом... Я приказал прослушать аудио, фоновые шумы, может, там что-то надыбают.

Он замолчал. Сильвио тихо, словно в раздумье, произнес:

— А вдруг не блеф? Вдруг кто-то из своих?

— Я не очень представляю, кого в такой ситуации можно считать своим? — осторожно спросил я.

— ...И в школе так чисто сработали, — Сильвио устало закрыл глаза. — Так чисто.

— Нужно понять, чего они хотят, — проворчал Шестопал. — Тогда будет ясно...

Его телефон загундел, как сердитый шмель, он приложил аппарат к уху, мрачно буркнул:

— Ну!

— Чего они хотят? — тем же полусонным голосом произнес Сильвио. — Чего хотят?

— Глеб Глебыч, сообщает Харитонов! — Шестопал стал говорить быстро, нервно. — Из провинции прибывают поезда с какими-то рабочими, какие-то шахтеры,

похоже на организованную акцию, похоже, и железнодорожники заодно. С Трех вокзалов огромная толпа выдвигается на кольцо. Движение парализовано.

— Огромная? — Сильвио спросил тихо и снизу посмотрел на Шестопала. — Это сколько? Тридцать человек? Или триста? Или три тысячи?

Шестопал отступил, в это время зажужжал другой телефон, но он не решился ответить. Сильвио вскочил.

— Или триста тысяч? — заорал он. — Или, может, миллион?

Его шея побагровела, серая жила вздулась под кожей.

— Расстрелять триста человек, — тяжело дыша выплюнул он слова, — можно. Можно и тысячу. Можно остановить три тысячи. Можно пять. Но больше... больше... Просто физически невозможно. Физически, понимаешь? Если такая толпа двинет на Кремль...

Он замолчал, потом строгим спокойным голосом приказал:

— Кабинет министров освободить. Немедленно. Всех собрать. Заседание через час.

— Глеб Глебыч, как освободить? Они же... — Шестопал растерянно держал в каждой руке по зудящему телефону. — Они ж нас схарчат... После того, что мы с ними...

— Знаю, знаю! — раздраженно махнул рукой Сильвио. — Нам время главное, время выиграть нужно!

Он застыл, точно припоминая что-то, потом повернулся к Шестопалу.

— Схарчат, говоришь? — он усмехнулся и покачал головой. — Не успеют.

Шестопал, грузный, как бизон, стремительно затопал к двери.

— Эй! — крикнул ему в спину Сильвио. — С Харитоновым свяжись! Чтоб дров не наломал! Не стрелять ни в коем случае! Ни в коем!

Сильвио наклонился, ткнул в селектор.

— Юра, всю информацию по Жанне немедленно ко мне! Как только — так сразу!

— Так точно, Глеб Глебыч!

— И все, связанное с этим... С этим тайным союзом «Звезды и молнии», мать его...

Он произнес эти слова, я оторопел — меня вдруг захлестнула волна ужаса, словно ангел открыл мне какую-то чудовищную тайну.

— Звезды и молнии... — пробормотал я. — Сильвио...

— Что?

— Мне нужно... — я задохнулся, сердце подпрыгнуло к горлу, я махнул рукой куда-то в сторону. — Мне нужно... Туда, в город. Срочно.

27

Слухи о тайном кремлевском метро, которые я слышал еще в школе, оказались абсолютной правдой. Стандартный вагон доставил меня на станцию, двери раскрылись, я вышел на пустую платформу. Рельсы были проложены только с одной стороны, с другой белела глухая стена из сизого мрамора, похожего на дешевое мыло. Ко мне подошел офицер, я показал мой новенький пропуск, полученный от Шестопала. Ксива была на порядок выше той, что выдали Зине; мое фото, вделанное в голограмму, казалось трехмерным, а в углу был впаян микрочип, как в кредитных картах пятого поколения. Офицер проводил меня до эскалатора, повернул тумблер, и лестница беззвучно поехала вверх. Эскалатор тоже был всего один. Наверху меня ждал некто в гражданском, я и ему показал пропуск. Он кивнул, жестом руки позвал за собой. Мы молча шли по узкому коридору, похожему на переход в нью-йоркском сабвее, только чище. Остановились у внушительной стальной двери с кодовым замком. Мой провожатый (или, как написали бы в старом романе, «мой таинственный проводник») набрал комбинацию, зашипел гидропривод, лязгнул засов, и массивная

дверь плавно раскрылась. Два молодца в спортивных костюмах с десантными «калашниковыми» проводили меня до следующей двери.

— Открыто? — спросил я.

Парень кивнул и указал тупорылым автоматом на дверь.

— Спасибо, — я повернул ручку, толкнул дверь и очутился в вестибюле нормального московского метро. Рядом с дверью на дрянном алюминиевом стуле сидел мент. Он поднял на меня сонный взгляд.

— А как назад? — спросил я. — К вам?

— Пропуск есть? — вяло спросил он.

Я показал.

— Все тип-топ. Ко мне.

— Что за станция?

— Китай-город.

Народу было много, начинался час пик, откуда-то разило чебуреками. Я прошел мимо касс, оглянулся — мент снова задремал, сложив под животом уютные ладони. В длинном переходе под площадью пестрели те же ларьки, что и двадцать лет назад: торговали разноцветным мусором журналов, женскими колготками и очками, у аптечного ларька с рекламой, гарантирующей излечить мой гастрит, две толстые тетки провинциального пошиба в ярких платках (рыжем и отчаянно розовом) аппетитно закусывали чем-то жирным, капающим из промасленной бумаги на замусоренный пол.

Меня постоянно толкали, я отошел к стене, достал мобильник — мой кремлевский подарок. Включил дисплей, нашел в памяти номер Зины. Очень хотелось позвонить прямо сейчас, но я решил не рисковать. Выключил телефон и сунул обратно в карман.

После цветочной витрины, тесно забитой до потолка целлофановыми свертками с розами, хризантемами и тигровыми лилиями, шла лавка электронного хлама. Я подошел, стукнул пальцем в стекло. Молодая торговка подняла голову от планшета, без симпатии посмотрела на меня.

— Что? — ее лицо было сильно накрашено, точно она собиралась выступать в кабаре.

— Телефон, мобильный, — меня вдруг заклинило, я не мог сообразить, как перевести на русский простую американскую формулу «фон-ту-го». — Телефон... с предоплатой, готовый к употреблению... есть?

— Не русский что-ль? — она презрительно выпятила залакированную малиновым губу. — «Сонико», три тыщи семьсот.

Она выставила в окно коробку, похожую на упаковку детских карандашей. Цена меня чуть напугала — я понятия не имел, сколько это в долларах, цвет аппарата тоже слегка озадачил.

— Он же розовый.

— Ну и? — торговка нагло уставилась на меня. — Да, розовый.

Я с христианской покорностью отсчитал купюры, забрал покупку. Девица напоследок взглянула — жалость пополам с ненавистью — и снова уткнулась в свой планшет. Я огляделся, нашел указатель «Выход к Славянской площади». На ходу растерзав упаковку, бросил картонку и целлофан в урну.

Телефон оказался не только розовым, он вдобавок был разукрашен сияющими стразами. Вроде фальшивых алмазов. Но главное, батарею нужно было заряжать от сети минимум два часа. Я выругался, сунул розового уродца в карман и вышел на улицу.

На площади, перед памятником изобретателям русских букв Кириллу и Мефодию, толпился народ. Это были казаки. Ряженые в овечьи папахи и бурнусы, перетянутые кожаными портупеями, с саблями и аксельбантами, казаки выглядели весьма живописно и напоминали цирковых зазывал. Один, в ультрамариновых галифе

с алыми лампасами, вскарабкался на пьедестал и пытался прицепить к Мефодию (или Кириллу, не уверен, кто из них кто) какой-то транспарант. Тряпка развернулась, и я прочел: «За веру, царя и отечество».

Ни на лозунг, ни на самих казаков прохожие не обращали внимания. Москвичи спешили домой после работы, уже было около шести. Я пошел по Солянке. Тут ничего не изменилось, дома подкрасили, на углу появилась булочная с веселой вывеской «Пышка». Я свернул, знакомый городской пейзаж с почти родным островерхим силуэтом высотки чуть не вышиб у меня слезу. Я перешел на другую сторону, перешел автоматически — я так делал всегда в те годы.

Шурочка открыла сразу, молча впустила меня в прихожую.

Поджатые губы, чужой взгляд — она, видимо, только вернулась, на ней был строгий костюм, отвратительно коричневый костюм с золотыми пуговицами. Я уловил настроение и понял, что надо действовать решительно. Во-первых — зарядить телефон. Я быстро прошел на кухню, воткнул телефон в розетку.

— Я не хочу тебя видеть, — Шурочка остановилась в дверях, точно находиться в одном пространстве со мной ей было неприятно. — Уходи.

Привычным жестом я вытащил из-под стола табуретку. Шурочка брезгливо поджала губы. Я сел, внимательно посмотрел ей в лицо. Господи, что я там увидел! Я рывком расстегнул воротник рубашки, мне не хватало воздуха. Это напоминало сердечный приступ: кухня накренилась, серый линолеум кухни стал медленно уползать из под моих ног.

Нет, даже не слова! Не их смысл или тон, которым они были произнесены, имели значение. Нет, тут дело было в чем-то другом. Мы собачились и до этого и каких только слов друг другу не наговорили за эти годы! Но ведь любая добрая ссора — это страсть, пламя, это тот же огонь неравнодушия, от которого вспыхивает не только ярость. Сейчас меня поразило безразличие, ледяное и бесповоротное равнодушие. Смертельная индифферентность.

В ее глазах не было ничего, что имело хоть отдаленное отношение ко мне. Чужая! — самое верное слово. Затасканное, оно вдруг наполнилось полновесным смыслом: мучительная обида, отчаяние, обморочная жалость к себе. К нашей разбитой вдребезги вселенной. Так нежнейший фарфор упавшей вазы, разлетаясь на тысячи осколков, моментально переходит из ранга ценности в разряд мусора.

Она заплакала. Беззвучно, с теми же поджатыми губами. Без эмоций, точно кукла. В глазах блеснула влага, потом из правого сползла капля, оставив на щеке серый след. Она (странно, ее имя стало чужим, даже мысленно я не мог произнести его) смотрела прямо на меня, но я знал, чувствовал, что слезы эти не имеют лично ко мне никакого отношения. Да и я сам, и весь гербарий моих пестрых чувств к ней, перешел в тот самый разряд мусора. И это случилось именно здесь и именно сейчас.

Она плакала о себе. Она плакала о своей любви. Любви сугубо личной, необъяснимо ловким хирургическим приемом отсеченной от этого неплохо сохранившегося, в меру обаятельного, интеллигентного и порой даже остроумного мужика, возникшего и назойливо обосновавшегося у нее на кухне.

Надо мной распахнулась пустота — черные крылья безмолвной птицы. Подо мной раскрылась бездна в тысячу дантовых адов глубиной. Время застыло и потеряло смысл. Все потеряло смысл, без любви смысла нет — точка. Моя бедная душа сжалась в булавочную головку — вся она теперь состояла из мучительной обиды и жалости, да, жалости. Жалости к себе. Где-то за стеной орал соседский младенец, орал надрывно, будто назло. Я замер в нерешительности: с одинаковым успехом я бы мог сползти на пол, забиться в угол и рыдать там до изнеможения или кинуться на хозяйку, зубами и когтями изорвать ее в клочья, после чего мощным и изящным броском выбить раму и вместе с брызгами оконного стекла рухнуть на пыльную мостовую набережной. Жизнь утратила смысл.

Балансируя на грани безумия — краткий миг, впитавший в себя целую жизнь: прозрачную тень румянца на ее щеке, упругий жар в моей восторженной ладони, точно я сжимал волшебный ключ от райских врат, долгий поцелуй, переходящий в тихий смех — она всегда смеялась после этого, горячий запах ее влажной кожи — кленовый лист с миндальной горчинкой, когда даже на груди выступали мурашки, а сосок твердел как пуля в моих пальцах, — я внезапно понял, что и моя коллекция воспоминаний абсолютно отстранена от этой неинтересной женщины в жутком костюме коричневого цвета. И даже сама мысль о каких-то притязаниях с ее стороны на причастность показалась мне возмутительно оскорбительной.

На какой-то момент — секунду-час-век — я утратил связь с реальным миром, вернувшись, не обнаружил, впрочем, особых изменений — лишь небо за окном перекрасилось из тухло-желтого в пыльно-фиолетовый, да дверной проем стал пуст. У меня в груди появилась тяжесть, точно меня заставили проглотить гирю, я проглотил, но она, зараза, застряла где-то на полпути. Я поднялся, пару раз глухо стукнул кулаком в грудную клетку, вышел в коридор. Из гостиной доносился бубнеж телевизора, в приоткрытую дверь я увидел бок кресла и ногу в войлочном тапке, освещенную сизым светом экрана. Стараясь не скрипеть паркетом, я пошел дальше, тихо толкнул соседнюю дверь. Сквозь глухую штору едва пробивался свет, я скорее угадал, чем увидел письменный стол в углу. Ощупав настольную лампу, нашел выключатель.

Рисунки аккуратной стопкой лежали на столе. На верхнем был изображен какой-то мускулистый боец с невероятно длинными когтями и головой тигра. Было что-то мерзкое в том, что я делал, я вытер потную ладонь о джинсы и осторожно, точно опасаясь оставить отпечатки пальцев, начал перекладывать листы бумаги. Рисунок, что я искал, нашелся. Сложив его пополам, потом еще раз, я спрятал бумагу в карман.

Выключив лампу, вышел в коридор. По неясной причине, наверное по той же, по которой злодей напоследок хочет взглянуть на труп, я зашел в гостиную. Телевизор продолжал бубнить, в трех метрах от экрана в кособоком кресле сидела женщина. Женщина даже не посмотрела на меня. Ее волосы, стянутые в тугой пучок на затылке, придавали лицу что-то египетское, оно лоснилось от какой-то белой мази. Халат, застиранный и ветхий, разошелся, я отвел глаза от вялой, мучнистого цвета груди. В комнате стоял душный и сладковатый старческий дух. Только сейчас я почувствовал, насколько устал.

Выйдя на улицу, я быстро, почти бегом, направился к арке. Не знаю почему, мне нестерпимо хотелось оказаться как можно дальше от этого подъезда, от этого дома. В арке я чуть на налетел на смутно знакомого старика с рыжей таксой, такса тоже показалась почти знакомой, хотя нет — это вряд ли, таксы так долго не живут. Дед испуганно посторонился, натягивая поводок, я что-то пробормотал, он странно посмотрел на меня. Я еще раз извинился, тут до меня дошло, что, помимо всего прочего, в руке я сжимал розовый телефон со стразами.

Выскочив из арки, я рванулся в сторону «Иллюзиона», но, добежав до угловой булочной, вдруг передумал. У Астахова моста пересек дорогу. Может чуть рискованно — взвыли тормоза, какой-то идиот нервно вдавил сигнал. Я остановился, тяжело дыша, облокотился на парапет. В висках упруго стучали тугие колотушки, пульс зашкаливал под двести, никак я не ожидал, что часы, убитые в спортзале, оказались в пользу бедных. Внизу темнела Яуза, вода казалась пыльной. Она никуда не текла. Я зачем-то плюнул вниз. Плевок получился неважный, во рту была страшная сушь. Я несколько раз мучительно вдохнул, поднес телефон к глазам и набрал номер. После пяти гудков включился автоответчик.

— Зина, это... это я, — запнувшись, начал я. — Пожалуйста, перезвони мне. Немедленно. Это очень, очень важно.

Второе слово «очень» я произнес со страстным нажимом. Страсть была, явно не хватало аргументов.

— Я один, звоню с улицы. Да! Телефон этот чистый, я его купил в переходе.

От последнего довода я с досады топнул ногой — ну кретин! — купил в переходе! — надо было срочно закругляться, пока не наговорил еще какой-нибудь дичи.

— Все! — выдохнул я. — Жду!

Нажал отбой и стал ждать.

Вдруг вспомнил: старик с таксой — это ж знаменитый актер, кажется, из Ленкома, он и при мне жил в центральном подъезде; фамилия выпала напрочь, но лицо, то, молодое лицо, вспомнилось ясно. Он обычно играл рефлексирующих комиссаров с честным взглядом, приносящих себя в жертву.

Колокольчиками забренчал Моцарт — я не сразу понял, что это мой телефон. Голос у Зины был серьезный, она сразу согласилась встретиться. Неожиданно она обращалась ко мне на «вы».

— Неважно где, — торопил я. — Главное — немедленно!

— Хорошо, хорошо. Только в людном месте, в центре где-нибудь.

— В центре ГУМа, — брякнул я, — у фонтана.

— Хорошо, там. Сорок минут — успеете?

Я там был через полчаса. Магазин почти не изменился, затейливые завитушки псевдорусского интерьера были свежеокрашены в пастельные цвета, каменные шишечки и резные оконца кокетливо отражались в череде бесконечных зеркал. Там же, в зеркалах, выныривало и мое мятое лицо как случайный и ненужный элемент, нарушающий сказочную гармонию почти Дягилевского размаха. Вывески «Тиффани», «Картье» и «Роллекс» тоже вносили эклектичный диссонанс, впрочем, добавляя легкий привкус постмодернистского декаданса.

Вокруг фонтана стояли хлипкие столики с венскими стульями, над ними бумажным цветом цвела фальшивая сакура. В соседнем нефе сиял белый рояль, за которым некто во фраке негромко упражнялся в Шопене. Ко мне подкралась мелкая официантка, чернявая, парижского пошиба. Интимно пригласила присесть. Я взглянул на часы и присел. Заказал коньяк.

Время шло, Зины не было, она опаздывала уже минут на десять. Мимо бродили провинциальные зеваки, фотографировались на фоне оскорбительно роскошных витрин. Я допил остатки коньяка и попросил счет. Тут из моего внутреннего кармана запиликал «Турецкий марш», и я быстро вынул розового урода.

— Ну и где ты? — строго спросил я.

То, что это была Зина, я не сомневался, она была единственным человеком во вселенной, кто знал этот номер. Даже я его не знал.

— Снаружи. Выходите, я сама вас найду.

28

Вечер плавно перетекал в ночь, душную, сентябрьскую, пропахшую бензином и теплой пылью. Небо еще не погасло, на западе умирало пунцовое зарево, на котором с театральной условностью чернел силуэт угловой башни Кремля (кажется, Водонапорной) и зубчатой стены. Какая-то веселая суета кипела на лобном месте: в больничном свете ртутных ламп сновали рабочие, звенел металл, стучали молотки — там что-то сооружали, похожее на сцену. Вокруг толпились зеваки, непрерывно мигали вспышки камер. Какая-то девица истерично хохотала, точно ее пытались защекотать до смерти.

— Привет! — кто-то тронул меня за локоть.

Я повернулся. На Зине был тугой темный платок, из которого выглядывало почти монашеское лицо.

— Тебя не узнать, — сказал я. — Куда ты меня тянешь?

Мы влезли в самую толпу. Я не очень понимал зачем, но вопросов решил не задавать.

— Телефон? — она притянула меня, негромко спросила. — Что вы сказали про телефон?

— Мне там, — я кивнул на Спасскую башню, — дали мобильник. Думаю, он прослушивается. Или в нем маяк... Поэтому я купил в переходе...

— Дайте мне тот. Их.

Я вынул из кармана телефон, протянул Зине. Она взяла мобильник, неожиданно ткнула стоящего перед ней мужика с рюкзаком, тот повернулся, оказался парнем лет двадцати.

— Не знаешь, что там мастерят? — спросила она.

— Концерт, говорят, будет.

— Супер! Сам откуда?

— С-под Питера.

— Супер! — повторила Зина и задорно оскалилась. — Добро пожаловать в столицу!

— Спасибо... — растерянно ответил парень и отвернулся.

Зина приоткрыла карман его рюкзака и аккуратно опустила туда мой мобильник.

— Пошли.

Она торопливо шагала мимо витрин, иногда быстро озираясь. Я едва поспевал за ней. Свернули на Пятницкую, тут тоже было людно.

— Погоди... — я попытался остановить ее. — Надо поговорить.

— Говорите, — не сбавляя шага и не глядя на меня, коротко бросила она.

— Я все знаю! — грозно объявил я, Зина даже не обернулась.

— Что — все? — спросила она на ходу.

— Все! Я знаю, что мой сын связан с этими... — я запнулся, мой голос вдруг стал по-учительски гнусным. — Вы не представляете себе, в какую мерзкую, в какую опасную историю вы вляпались! Вы думаете — это прятки, казаки-разбойники? Игра в индейцев — стрелы и молнии! Не знаю, какой подлец втянул вас, детей, в эту преступную затею...

На ходу я стал вытаскивать из кармана рисунок, расправлять бумагу. Зина остановилась, я с разгона налетел на нее. Она мельком посмотрела на рисунок. Сбоку открылась дверь, оттуда пахнуло жаркой свежей сдобой. Зина закусила губу, она что-то быстро обдумывала, глядя мне в подбородок.

— Что им известно?

— Не знаю, — я пожал плечами. — С утра многое могло измениться. Ты себе не представляешь какие силы брошены на...

— Конкретно! Что им конкретно, — она зло посмотрела мне в глаза, — известно?

— Пока ничего. Но повторяю...

— Что они собираются делать?

— Делать? Что делать? — я взмахнул руками. — Он — отец! Это его дочь! Он сделает все, чтобы спасти ее! Господи! Что они собираются делать!? Вас сотрут в порошок и развеют по ветру — вот что они собираются делать!

Проходящая пара, пожилая, московского интеллигентского пошиба, одинаково укоризненно поглядела на меня. Они синхронно покачали головами. Я давно обратил внимание, что муж с женой к концу жизни становятся неумолимо похожи друг на друга, причем не только повадками, но и внешне. Некоторые вообще напоминают близнецов. Зина ледяным тоном спросила:

— А что вам нужно? Лично вам?

— Мне?! — я задохнулся, потом заорал. — Что нужно мне?

Пара приостановилась. Жена, явно бывшая вузовская профессорша, проникновенно обратилась к Зине:

— Будьте осторожны, милочка. Таким, — она презрительно скользнула по мне взглядом, — таким только одно нужно.

Поджав губы, профессорша потянула своего мужа дальше в сторону Красной площади. Мне жутко хотелось что-то крикнуть старой стерве, но не я нашелся и набросился на Зину:

— Что мне нужно?! И это ты спрашиваешь меня? Ты в своем уме? Что происходит с вашим чертовым поколением? Я думал, думал — это только в Америке, из-за этих ублюдочных компьютеров молодежь превратилась в стадо бесчувственных идиотов. Душевных импотентов! Айпады-айфоны! Чмоки-чмоки, смайлики, бубочки!

— Конкретней можно? — перебила меня Зина, у нее появилось выражение лица, которое возникает у женщин прямо перед тем, как они собираются влепить тебе пощечину.

— Конкретней? — заорал я. — Можно! Не уверен только, что ты поймешь.

— А ты попробуй!

Кажется мы снова перешли на ты, но я не стал язвить, а постарался говорить спокойно и вразумительно.

— Я узнал, что у меня есть сын всего неделю назад. Мой отец погиб, когда мне не было и четырнадцати, матери я вообще не помню. Я рос один, я знаю, что такое одиночество. Прекрати ухмыляться! Что ты знаешь об этом? Что ты знаешь о боли? Когда... когда тебе так скверно, так больно тут, — я кулаком стукнул себя в грудь, — что хочется просто сдохнуть. Сдохнуть! Для тебя это сладкие слюни, щенячьи нежности — пусть, пусть... да и не дай тебе Бог узнать этой боли! Не дай Бог...

Я запнулся, со стороны Лубянки донесся истошный вопль, какой-то звериный и оттого еще более жуткий, что было ясно: это кричит человек. Вопль оборвался, и тут же вслед за ним раздался рев толпы — так в тысячу глоток орут болельщики на стадионе после забитого гола. Вместе с ревом долетел бой барабанов. «Така-така-така-так» — дробно гремели барабаны. Звук нарастал, ширился. Мимо нас в сторону Красной площади побежали люди с испуганными лицами.

— Что там? — крикнул я, пытаясь остановить хоть кого-то. — Что?

Люди бежали, какая-то женщина хотела что-то сказать, но махнула рукой и кособоко побежала дальше. На одной туфле у нее был сломан каблук. Барабаны гремели все ближе и ближе. Я ухватился за водосточную трубу, подтянулся, встал на раму витрины.

— Ну? Что там? — Зина дернула меня за штанину.

Вся Лубянская площадь была забита народом, плотная толпа, точно густая лава, втекала на Пятницкую и неспешно ползла к Кремлю. Неспешно и неукротимо. Я вспомнил слова Сильвио — неужели он прикажет стрелять?

— Толпа! — я спрыгнул на асфальт. — Прет толпа.

— Надо бежать! — Зина схватила меня за рукав. — Что ты стоишь, как...

Она не нашла сравнения, а я подумал о пулеметах на кремлевской стене.

— Туда нельзя, — я распахнул дверь в булочную. — Давай сюда! Наверняка есть выход во двор.

29

Мы вылезли в окно. Пробирались дворами, потом через какую-то стройку, кажется, в Гостином дворе. Неожиданно вышли к пустырю, обнесенному забором.

— Зарядье... — задыхаясь, я вытер лицо рукавом. — Там метро.

На станции было людно и шумно, в испуганном гуле голосов то и дело повторялось одно слово — «шахтеры». Подошел поезд, мы втиснулись в вагон. Какая-то тетка (лица я не видел, лишь всклокоченный затылок) громко пересказывала

события. Вспыхнула неизбежная русская склока, страстная и абсолютно бессмысленная.

— А вам говорю — мильон! А может и больше!

— Вы, гражданка, представляете себе миллион человек? — язвительно вопрошал высокий мужской голос.

— Вас там не было! — парировала тетка.

— А я вам говорю, что на всей Лубянской площади может от силы тысяч пять поместиться. Ну семь. Ну уж никак не миллион!

Мы вошли в здание Савеловского вокзала ровно в полночь, на больших часах минутная стрелка дернулась и, слившись с короткой, уткнулась в двенадцать. Я ни о чем не спрашивал.

— Черт, только ушел, — она недовольно разглядывала табло пригородных поездов. — Следующий в двенадцать двадцать. У тебя деньги есть?

С билетами до четвертой зоны мы вышли на перрон, нашли нашу электричку. Она шла до станции Калязин-Пост. Я совершенно не знал Савеловского направления, понятия не имел, где этот Пост, очень расплывчато представлял, куда вообще с этого вокзала можно доехать.

Мы шагали вдоль состава, шагали мимо пыльных окон, за которыми редкие пассажиры читали или дремали, нахохлившись, как хворые куры. Зашли то ли в четвертый, то ли в пятый вагон, прошли в середину. Сели у окна напротив друг друга. Зина закрыла глаза и сложила ладони, точно собиралась молиться.

Я прислонился к жесткой спинке, повернулся к окну. Глядя сквозь муть своего отражения на пустой перрон, на фонарь с конусом размытой желтизны, тускло освещавшим массивную урну, похожую на античную вазу, я не мог поверить, что все, случившееся сегодня, могло уместиться в один день. Могло влезть в каких-то десять часов обычного земного времени.

В вагон вошел мужчина в пролетарской кепке, небритый и, похоже, нетрезвый. Он без симпатии взглянул на меня, шумно уселся в конце вагона. Я снова уставился в окно. По перрону пробежал военный, он на ходу отчаянно с кем-то собачился по телефону, очевидно, с подругой, называя ее то «курвой», то «шмарой» и обещая отодрать как сидорову козу.

Двери внезапно зашипели и с грохотом закрылись. Непонятно зачем я взглянул на часы — все точно, двенадцать двадцать, Зина не шелохнулась, даже не приоткрыла глаз. Состав дернуло, надрывно, с тяжелым лязгом. Перрон, фонарь, урна поплыли назад, перрон побежал, побежал и как-то вдруг и быстро оборвался, окно заполнила скучная чернота. Я наклонился к Зине, тронул пальцем ее руку.

— Расскажи мне про моего сына.

Она приоткрыла глаза. Она не удивилась, начала рассказывать про Новый год, как они ездили в Питер, как там все время шел дождь, но все равно было весело и хорошо. Что Русский музей почему-то был закрыт, зато по Эрмитажу они бродили весь день.

— Эй! Ты спишь?

Я вздрогнул и проснулся. Наш поезд, гася скорость, подходил к какой-то станции.

— Где мы? — рассеянно спросил я.

— Катуар, — насмешливо ответила Зина. — Опять не спал?

Появился контролер, мрачный, как кладбищенский сторож, он без слов пробил наши билеты стальными клещами, потопал дальше. Пока я путешествовал во Флоренцию, пролетарий, сидевший в углу, исчез, и мы остались одни в вагоне. Поезд плавно тронулся, таинственный Катуар сонно поплыл за окном пустой платформой, забором, призрачной вывеской продмага и желтым мигающим светофором на безлюдном перекрестке.

Я хотел спросить — долго ли еще, но не успел: в тамбуре кто-то завопил, визгливо,

по-бабьи, потом со звоном жахнули бутылкой о металл, со звоном стекла донесся гогот. Я оглянулся — в наш вагон ввалились двое парней и одна девчонка. На вид им не было и двадцати. Зина взглянула на них и быстро отвела глаза. Я пересел на ее лавку, положил руку ей на плечо.

Девчонка (моя тетя таких называла «лахудрами») продолжала смеяться, истерично закидывая голову, на шее у нее была какая-то татуировка, издали похожая на кляксу. Один из парней, бритый под ноль битюг, старался поднять ее, обхватив за бедра. Лахудра визжала и отбивалась, впрочем, скорее для виду. Третий, вертлявый и черный, как цыган, пил из литровой пластиковой бутыли какую-то гадость. Наверное, пиво. Я почувствовал, как Зина напряглась и выпрямила спину.

Цыган, приметив нас, крикнул приятелям:

— Гля, лохозавр с манеркой! — он сделал большой глоток, пойло полилось по подбородку на спортивную фуфайку.

Он встал в проходе, скаля мелкие, какие-то рыбьи, зубы.

— Обаце! — бритый битюг, уставившись на меня, продолжал мять лахудру.

Лахудра сипло хихикала, дурашливо похрюкивая. Ее майка задралась, белый, как тесто, живот вывалился, татуировка на шее оказалась ласточкой с красным сердечком в клюве.

Все складывалось очень скверно. Я прикинул, что мог бы отправить цыгана в нокаут, справиться с битюгом было бы сложнее, плюс со мной была Зина — я не мог просто ударить и убежать.

— Послушайте, ребята... — начал я непринужденно, точно беседовать с хулиганами мне приходилось каждый день.

— Ребята! — Лахудра завизжала, будто ничего смешней в жизни не слыхала. — Ой, не могу...

Цыган тоже зашелся, битюг залез лахудре под майку, ухватил за грудь.

— Ой, не могу! — повторяла она в изнеможении, не обращая внимания на ласки поклонника. Цыган приблизился и загородил проход.

— Послушайте... — я сказал строже, приподнимаясь со скамьи. — К вам по-человечески...

— Тебе, что, терпило, зубы жмут? — подавшись ко мне, вспылил цыган. — Ща, мухой поправлю.

Зина потянула меня за рукав, я снова сел. Дальнейшие события раскручивались с мучительной предсказуемостью ночного кошмара, когда все твои худшие опасения тут же реализуются одно за другим. Цыган поставил на лавку бутыль, быстрым движением достал из заднего кармана бритву, ловко выкинул узкое лезвие.

— Лопату покажь, — он отвел руку, точно собирался полоснуть меня по лицу. — Пыро!

Я достал бумажник, цыган вырвал его из моих рук, хотел передать битюгу. Лахудра цепко перехватила.

—ептыть! — заорала она. — Бабла вагон! Зелень, без бэ в натуре!

Она загоготала и вытащила пачку долларов. Битюг сгробастал валюту своей клешней, отнял у нее бумажник, стал рыться, выворачивая бумажник наизнанку.

— Мобилу давай! — весело приказал цыган. — И бикса тоже! Еще какая ботва есть?

Я достал свой розовый телефон, протянул ему.

— Ну, Вася, ты жжешь! — он схватил мобильник, показал битюгу. — Гля, Слоня, какой педрильник, ну не могу!

Битюг тоже заржал. Захохотала и лахудра. Зина громко прошептала мне в ухо:

— Сиди смирно!

Дальше началось кино. Реальность распалась на фрагменты, похожие на стоп-кадры из рекламного ролика, где брызги неожиданно застывают в воздухе, время

становится тягучим, как смола, а луч света раскладывается на свои хрустальные составляющие, радужные, как на обложке альбома «Пинк Флойд».

Я не видел, как Зина поднялась с лавки — я смотрел на цыгана, на его лице появилось странное выражение, что-то вроде прелюдии к удивлению. И почти одновременно Зина ударила его ногой в пах — это я увидел точно. Цыган беззвучно разинул рот, пытаясь то ли крикнуть, то ли вдохнуть. В тот же момент Зина пружинисто подскочив на месте влепила пяткой ему в подбородок. На ней были мотоциклетные башмаки на толстой подметке, высокие, на шнуровке, — башмаки я заметил раньше, в них она дюйма на три выше. Цыган, раскинув руки, отлетел к противоположному окну, гулко стукнувшись затылком в стекло. Где-то звякнула упавшая бритва.

Все это заняло секунды две. Думаю, его спутники просто не поняли, что произошло: лахудра еще продолжала хихикать, а битюг — потрошить мой бумажник. Цыган выглядел неважно, он был без сознания, челюсть выбита, из носа на тренировочную фуфайку текла темная кровь. Меня удивило обилие крови.

Зина скользнула в проход, упруго приняла стойку, выставив вперед левую руку.

— Быдло-гоп-спортивные-штаны, — сказала она, медленно наступая на битюга с подругой. — Рамсы попутал, братюня.

Лахудра завизжала, до нее наконец дошло. Битюг — смесь недоверия с изумлением — как завороженный смотрел на неподвижного приятеля.

— Быстро бабки в лопатник! — коротко приказала Зина. — Эй ты, жоханый олень, кому говорю! Бабки в лопатник!

Битюг неуклюже пытался впихнуть купюры обратно в бумажник.

— Справился? Положи на скамейку!

Тот не справился, но тут же положил бумажник на лавку.

— А теперь... — Зина сделала к ним шаг. — На цырлах отсюда — бегом марш!

И они действительно побежали. В проходе валялся мой розовый телефон, я поднял. Поглядел на неподвижного цыгана.

— Пошли отсюда, — Зина быстро протянула мне бумажник, я увидел, как у нее тряслись руки. Просто ходили ходуном.

30

Мы выскочили на следующей станции с унылым названием «Трудовая». Квадратные часы на столбе показывали несуразные без пяти девять, на платформе было пусто. Спустились по железной лестнице, внизу Зина неожиданно рванулась к кустам, я услышал, как ее вырвало. Бумажник во внутреннем кармане топорщился, но достать его и сложить деньги как следует у меня не хватило духу — после рук битюга дотрагиваться до него было противно.

Пересекли куцую площадь, пустую и темную, в чахлом пристанционном скверике притаился на постаменте гипсовый Ленин, мелкий, не крупней ребенка. Тут пахло пылью и жасмином, за кустами угадывались какие-то невзрачные дома, на высоком столбе сиял бесполезный фонарь, освещавший кусок бурого неба.

Наощупь выбрались на кривую улицу, из-за поворота церковь выпячивала оштукатуренный бок, слишком белый даже в ночи. На паперти в неудобной позе спал нищий и пара собак.

— А когда жасмин цветет? — неожиданно спросила Зина.

Она шагала чуть впереди и спросила не останавливаясь.

— Весной, — нерешительно ответил я. — Наверное. А что?

Улица пошла круто вверх, асфальт кончился, под каблуками захрустел гравий — у меня на секунду появилось чувство, что там, за холмом, должно быть море. Моря не оказалось, с холма открывались какие-то сумрачные поля, тускло сияла река, на

юге грязным заревом тлела Москва. Этот отсвет дополз до середины неба, окрашивая все вокруг густой сепией. Было жутковатое ощущение, что мы стояли на дне какого-то гигантского озера, заполненного темной болотной водой. Воняло влажной сажей, очевидно, болота продолжали гореть.

— Что за река? — спросил я, хоть мне было совершенно плевать на это.

— Водохранилище. Пошли.

Мы топали уже не меньше часа по проселку, иногда попадались фонарные столбы, дорожные указатели каких-то деревень. Мы не встретили ни одного человека, мимо не проехала ни одна машина. Прошли через деревню со странным названием Явь, деревня кончилась, не успев начаться. Из-за кривого забора нас облаял пес, на краю деревни в брезгливом отдалении от лачуг за кирпичной оградой громоздилась недостроенная вилла с почти рыцарской башенкой и флюгером в виде птицы.

Потом бесконечно потянулись чахлые огороды. За березовой рощей свернули, каким-то образом я почувствовал, что мы почти пришли.

— Рядом? — спросил я.

— Да.

Мы пошли по тропе, ее узкая полоса белела впереди, точно отсвет луны. Никакой луны не было, над нами темнели неподвижные деревья. Пахло осенью. Пахло сухим дубовым листом и дымом. Я шагал за Зиной, тихий стук наших башмаков о битую глину тропы сплетался в деревянный ритм, казалось, вот-вот и вступит какая-нибудь грустная флейта, выведет нежную мелодию о бренности этого мира. Корни деревьев в руку толщиной пересекали тропу, они были похожи на спящих удавов. Я знал, что это корни, но все равно старался на них не наступать. В просвете между деревьев показалась стена, за ней какая-то башня вроде заводской трубы.

— Что там? — почему-то шепотом спросил я.

— Монастырь.

— Женский, надеюсь?

Зина не ответила.

Монастырь напоминал крепость, коренастую, с высокой стеной и сторожевыми башнями по углам. Заводская труба оказалась звонницей с луковкой и крестом. Мы подошли к массивным, обитым ржавым железом воротам. Зина достала из кармана мобильник, позвонила. Долго никто не подходил, мне казалось, нудные гудки разносились на всю округу. Наконец ответили, Зина тихо сказала:

— Я тут.

Ждали минут пять. Зина села на корточки, прислонилась к стене. Я начал ходить взад и вперед, пару раз начинал что-то говорить, но сам себя обрывал и умолкал. Наконец с той стороны послышались шаги и негромкий шум — кто-то возился с засовом. В ворота была вделана узкая дверь, она приоткрылась, некто направил луч фонарика мне в лицо, потом осветил Зину.

— Пошли, — Зина подтолкнула меня, я наклонился и шагнул внутрь.

Не знаю почему я решил, что ворота откроет мой сын, что именно он будет первым, кого я тут встречу — не знаю. Но это точно был не он, это был старик.

Мы шли за ним через большой внутренний двор к двухэтажному особняку скучного московского фасона, такими купеческими халабудами были застроены Покровка и Сретенка моего детства. Чуть дальше виднелась неказистая церковь, двуглавая и приземистая, не очень удачное подражание Баженовской псевдоготике, типичный нарышкинский «восьмерик на четверике». К церкви сбоку прислонилась колокольня.

Дошли до подъезда, старик что-то негромко сказала Зине, та быстро поймала мою руку, пожала пальцы.

— Тебе туда, — она кивнула в сторону церкви.

Я ответил — спасибо, сам не знаю почему, Зина закрыла за собой дверь. Я

поплелся за дедом. Прошли мимо каких-то грядок, пахнуло прелыми розами, я вспомнил, что сад при храме символизирует райские кущи. От этого кладбищенского духа мне вдруг стало пронзительно тоскливо, а главное, меня осенила страшная догадка: его отпевают! Он там в гробу! Поэтому он не вышел, не встретил! Крик этот из темного закоулка моего мозга был хил, но пронзителен до визга — у меня вспотели ладони, я даже остановился.

31

Вошел я один, слышал, как старик затворил за мной дверь. Разумеется, никакого гроба не было. Я наощупь прошел через темный притвор, центральный неф был освещен зыбким светом — четыре толстые свечи в массивных подсвечниках горели у входа в алтарь, по стенам тлели рубиновые огоньки лампад.

От чадящего качающегося света все вокруг казалось неустойчивым: каменные плиты пола, черные тени по углам, да и я сам ступал точно пьяный. Страшно хотелось сесть, прямо тут, прямо на плиты — клянусь, я в жизни так не уставал.

Добрел до алтаря. Там на оштукатуренной стене висел распятый Христос, деревянный, в натуральную величину, он был покрашен розовой, какой-то по-младенчески звонкой, краской. Я подошел ближе и увидел, что бог прибит к кресту настоящими коваными гвоздями в палец толщиной. Для пущего эффекта художник пририсовал струйки ярко-красной крови, вытекающие из ран и заканчивающиеся круглыми каплями, похожими на сочные ягоды.

У меня появилось странное ощущение какой-то неловкости — точно кто-то наблюдал за мной. Я небрежно откашлялся, сунул руки в карманы, притворяясь, что разглядываю ноги приколоченного Христа.

— Доброй ночи, — раздалось негромко, я повернулся на голос.

Понятия не имею, каким образом она (да, это была женщина) очутилась в трех метрах от меня, без единого звука, точно в цирковом трюке. В любом случае я постарался скрыть удивление.

— Здравствуйте, — ответил я и по дурацкой американской привычке протянул руку.

Она, похоже, не удивилась и пожала.

— Устали? — спросила она, спросила с душевной простотой, как спросила бы сестра или хорошая жена.

Я пожал плечами — вроде, так, не очень.

— Сын на вас похож, — она улыбнулась. — Очень.

Я улыбнулся в ответ, наверное, глупой улыбкой — от ее слов стало приятно, точно меня ангел по шевелюре погладил. Мне тоже захотелось сказать ей что-нибудь ласковое, но из коллекции стандартно милых фраз ни одна не подошла к ситуации — поэтому я продолжал улыбаться.

— Сюжет знаком? — спросила.

Я подошел ближе. От лампады на икону падал свет, неяркий и красноватый от рубинового стекла плафона. Доска была квадратной и гораздо больше обычной иконы. Чем внимательней я ее рассматривал, тем меньше она мне нравилась. В иконописи такая композиция, кажется, называется «праздники»: вокруг центрального сюжета располагаются виньетки с сюжетами второстепенными, в результате получается что-то вроде комикса.

— Ну и гадость... — невольно пробормотал я.

— Кто имеет ухо, да услышит! — с мрачной торжественностью произнесла она. — И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря Зверя с семью головами и десятью рогами. И дал ему Дракон силу свою, и престол свой, и великую власть.

— Апокалипсис, — догадался я. — Откровение от Иоанна.

— И дано было Зверю вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем.

— Но под Зверем подразумевается дьявол? — спросил я.

— Нет. Дьявол — это Дракон. Вот он, — она указала пальцем на нижнюю часть иконы.

32

Я не претендую на звание эксперта в изобразительном искусстве, кстати, не уверен, является иконопись живописью или относится к станковой графике, но эта картина определенно была шедевром. Редко бывает, чтоб от доски, раскрашенной темперной краской, по спине ползли мурашки. От этой — ползли.

Внизу была изображена мускулистая тварь, помесь жилистого борца со спрутом. Дракон. Дьявол. Он был красен, как кровь, и сиял, точно с него живьем содрали кожу. При всей условности изображения художнику удалось добиться невероятного реализма ювелирной проработкой деталей. На каждом мускуле, на каждом изгибе трех змеиных хвостов, на каждом щупальце сверкали хрустальные блики. В поднятой руке дьявол сжимал корону, он протягивал ее Зверю.

Зверь был центром композиции. Развернув перепончатые крылья, он походил на гигантскую летучую мышь, на двухголового монстра, гордого и жуткого, застигнутого в момент взлета. Казалось, еще миг — и чудище взмоет ввысь.

Приблизив лицо почти вплотную, я разглядел, что тело Зверя, точно мозаика, было составлено из людских лиц. Орущие рты, выпученные глаза, гримасы гнева и злобы — сорвавшаяся с цепи свора безумцев.

— Но кто же тогда Зверь? Если он не дьявол...

— Зверь, — тихо, почти шепотом, ответила она. — Он больше, чем дьявол. Это вся сатанинская рать антихриста, все силы зла.

— Но ведь это люди?

— Люди? Да, люди.

Картина меня будто загипнотизировала, я не мог оторвать глаз от мастерски выписанных лиц и рук, позы казались вычурными, точно танец Нижинского. Теперь я разглядывал круглые медальоны, расположенные по периметру композиции: вот четыре всадника Апокалипсиса, вот Вавилонская блудница, вот Семь знамений.

— Удивительно похоже на Босха, — пробормотал я. — Тот же...

— А это и есть Босх, — сказала наставница.

Я поперхнулся. Молча повернулся к ней. Она явно не шутила.

— Вы представляете... — начал я.

— Не представляю, а знаю точную сумму, — перебила она. — Сестра...

— Господи! — вскрикнул я. — Да кто ж она такая, ваша сестра? Билл Гейтс? Клеопатра? Царица Савская?

— Анна Гринева, — ответила наставница.

Я застыл.

В моей голове точно включили свет, точно какой-то электрик наконец распутал провода, правильно соединил контакты и изящным жестом повернул рубильник. Кусочки мозаики соединились, головоломка сложилась тютелька в тютельку, путаница штрихов и пятен превратилась в морской пейзаж с чайками и белым парусом на горизонте.

Я закрыл лицо ладонями. Медленно опустился на корточки. Я дико устал за сегодня, сегодня выдался на редкость насыщенный день. Больше всего на свете мне хотелось остановить время, лечь на пол и забыть обо всем.

— Дмитрий, — тихо позвала она.

Я с трудом выпрямился, посмотрел на нее. Да, теперь я вспомнил лицо ее

сестры — та же породистая уверенность черт, высокий лоб, крепкий, почти мужской, подбородок.

— Как вас зовут? — устало спросил я.

— Ольга.

— Ну да, — усмехнулся, — как же еще. Княгиня...

У меня начала болеть голова, зверски и сразу — тягучая боль заполнила жаром мой череп, точно туда влили кипящий кисель. Господи, как же все отвратительно складывалось!

— Ольга, вы понимаете, — с трудом начал я. — Так нельзя. Нельзя так — они ж дети, и Зина, и дочь Сильвестрова, и мой сын. Как можно... как можно пытаться сделать добро, даже спасти человека, людей, таким образом? Даже самое, самое благородное на свете нельзя такой ценой... Нельзя.

Говорить было трудно, каждое слово отдавалось тугой болью в затылке. Ольга, чуть склонив голову, мрачно слушала меня.

— Чем вы лучше? — я вдавил пальцы в виски, прикрыл глаза. — Чем вы лучше тех продажных попов? Или того же Сильвестрова? Какое это христианство к чертовой матери? Украсть ребенка! Я был там, я видел — он чуть с ума не сошел. Ну как же можно так? Это ж такая боль, как можно такую боль человеку...

Я махнул рукой. Зачем я все это говорил? Почему? Наверное, от бессилия.

— Хорошо, я — атеист, агностик, пропащая душа! Но вы! — я сделал шаг к ней. — У вас, вон — церковь своя! Иконы, свечи, лампады! Христос в натуральную величину! Гвоздями железными прибит... Как вы могли? Что бы он сказал? — я ткнул пальцем в сторону алтаря. — Иисус!

Я почти орал, эхо ухало в непроглядной темени где-то наверху.

— Ведь он говорил не о любви к ближнему — каждый дурак может ближнего возлюбить, Христос призывал полюбить врага. Врага! Полюбить Сильвестрова! Да, тирана, да, диктатора! Полюбить и простить, не око за око, не зуб за зуб, а простить! Другую щеку подставить. А не бензоколонки взрывать.

Я выдохся, мокрая рубаха прилипла к спине. Мне казалось, что именно сейчас моя бедная голова взорвется и разлетится на мелкие кусочки по всей ее церкви.

— Вы правы, — она произнесла тихо, посмотрела на деревянного Иисуса. — Все так. Но у меня нет другого выхода. Я должна ее спасти. Я должна остановить его, остановить террор. Остановить казни. Они эшафоты строят перед Кремлем. Эшафоты на Красной площади — понимаете? Сильвестров идет навстречу пожеланиям трудящихся, выполняет волю народа великой России. А народ жаждет крови предателей родины.

Она замолчала, точно обиделась. Я почувствовал себя виноватым.

— Эшафоты... Вы уверены? Что за средневековье... Откуда у вас вообще такая...

— У нас осведомители в ближайшем окружении Сильвестрова, — перебила она мое блеянье. — Казни начнутся послезавтра... Верней, уже завтра.

Конец фразы повис в воздухе, я не знал, что ей возразить, возражать было нечего. Я поднял руку, посмотрел на часы. Три часа ночи.

— Да, поздно... — устало проговорила она. — Пошли. Дмитрий вас ждет.

33

Сын, мой сын. Встречу с ним я воображал себе сотни раз за последние дни, событие это рисовалось мне то аскетичным до карикатурной брутальности — строгий взгляд глаза-в-глаза, угловатое мужественное рукопожатие: здравствуй, сын! — рад тебя видеть, отец; то сентиментальным, как мутное кино с участием черно-белой Марлен Дитрих — драматичные жесты, порывистые объятья, мужские слезы, скупые, разумеется. Одно оставалось неизменным — сын всегда оставался тем мальчишкой с

курортной фотографии, моим нежным и невинным двойником, наивным и беззащитным подростком.

Мы с Ольгой вышли из церкви. Ночь сгустилась, звезд не было, удушливо пахло прелыми розами. Прошли через сад, вошли в особняк. В конце коридора Ольга остановилась перед дверью.

— Ну вот, — тихо сказала она. — Дальше вы сами.

Я рассеянно кивнул, что-то пробормотал. Она ушла, я остался перед дверью. Негромко постучал.

Сразу меня поразило, что это был мужчина. Не было никакого пацана с выгоревшими бровями, был вполне взрослый человек, даже слово «парень» как-то не очень к нему подходило. Он встал из-за стола и оказался на полголовы выше меня. Поразило наше сходство — не просто очевидное, но и чуть обидное для меня. Он был улучшенной версией меня, вроде новой модели машины или холодильника. Эдакий Дмитрий Незлобин 2.0 — исправленный и улучшенный, с учетом всех недостатков и просчетов предыдущей модели.

Мы внимательно глядели друг на друга. Меня охватила легкая паника, я понятия не имел, как с ним разговаривать. Роль мудрого отца, патриарха, опытного наставника и доброго советчика разлетелась вдребезги. И дело тут было на только в росте и проклюнувшейся утренней щетине на подбородке, от него исходила спокойная уверенность, та неспешная грация, которой всю жизнь не хватало мне. Что-то вроде зависти кольнуло меня. Думаю, примерно так выглядел бы актер, если бы в Голливуде кому-то пришла мысль снимать про меня кино.

Что-то нужно сказать, что-то сделать — метнулась испуганная мысль. Я выставил деревянную ладонь. Он крепко пожал ее. Тут же, улыбаясь, наклонился и обнял меня за плечи. Я растерялся, с неуклюжей осторожностью обхватил его спину. Из черной бездны памяти выплыли слова моего отца, которые он сказал за несколько часов до смерти, сказал обо мне: «Бесплатный суп, которым я кормлю самого близкого мне человека. Душевная инвалидность какая-то...». Господи, неужели и у меня острая форма дистрофии души, неужели и я такой же душевный калека, как и мой отец?

— Мама мне все рассказала месяц назад, — он отступил назад, глядя мне в глаза. — Потрясающе...

— Потрясающе, — согласился я, хотя точно не знал, что он имел в виду. Практически все происходящее могло соответствовать этому определению на все сто процентов.

— Она всю жизнь прятала от меня фотографии, — он улыбнулся. — Старые, когда вы с ней были женаты.

Я не понял, называет он меня на «вы» или говорит о нас с Шурочкой.

— Да, мощная генетика по мужской линии, — попытался сострить я. — Я тоже был очень похож на отца. Она... мама тебе что-нибудь рассказывала о нем?

— Что он погиб, когда тебе было лет десять. А мать умерла от менингита еще раньше... Что тебя воспитывала тетка.

Уже легче — это «ты» он произнес совершенно естественно.

— Да. Мы с отцом плыли на корабле, знаешь, такие круизные громадины? Он там в оркестре играл, на саксофоне.

— Серьезно? На саксе?

— Угу. Отличный был музыкант.

С отчетливостью вчерашнего дня в моей памяти раскрылся тот вечер, тот последний вечер на корабле, когда он играл Дебюсси. Воскресли запахи, звон столового серебра, мутные лица, жующие рты, багровый затылок наголо бритого господина за соседним столиком. Отец стоял на самом краю полукруглый эстрады, подавшись вперед, как бесстрашная и гордая птица над бездной. Саксофон жертвенно

сиял золотом, отец выдувал божественные трели, точно пытался донести какую-то сокровенную истину этим скучным людям, чванливым и безразлично ленивым.

Мне страшно хотелось рассказать сыну об этом вечере, мне почему-то казалось очень важным объяснить, что испытывал я тогда. Точно от этого зависело что-то главное в наших с ним отношениях, хрупких, только пробивающихся сквозь асфальт, отношениях между мной и моим сыном. Что я испытывал тем вечером? Любовь, восхищение, что еще? — слова легковесны, особенно если ими пытаешься объяснить чудо.

Он, мой отец, был для меня богом. Всемогущим и добрым великаном. Как мне объяснить это тебе? Иногда он задевал макушкой облака, наверняка мог бы раздвинуть море, если бы в этом возникла острая потребность. Он запанибрата общался с ангелами, иногда мне удавалось даже расслышать трепетный шелест их крыльев, уловить краем глаза отблеск радужного сияния их хитонов на фоне стены, увитой диким виноградом. Память сохранила несколько картин, не так много, но это все, чем я могу с тобой поделиться. Загорелая рука, крепкие пальцы сжимают сигарету с золотым ободком, чашка черного кофе на забытой газете. Отец щурится от дыма, мне кажется, что он сейчас рассмеется. Он откидывается в плетеном кресле, проводит рукой по жестким волосам и подмигивает мне.

Не сохранилось ни одной звукозаписи, но это даже к лучшему, его музыка осталась на свободе. Она растворилась в тягучем закате, в мутном тумане, в медленно кружащем снеге. В сиротском скрипе ржавых качелей во дворе, мне удается расслышать его неповторимое фруллато в песне тоскливого ветра. Иногда в бурю, среди молний и ливня я улавливаю его уверенное глиссандо. Я поделюсь этими мелодиями с тобой, уверен, они и тебе придутся по душе. Что он имел в виду, когда говорил: «Каждый день живи так, будто это твой последний день»? Я не знаю, я пытаюсь понять это всю свою жизнь. Изо дня в день. Иногда мне кажется, что в этом и есть смысл — в самом процессе. В стремлении жить без оглядки, жить на всю катушку. Так, будто это и есть твой последний день на земле. Ведь однажды ты окажешься прав на все сто.

34

Негромко запиликал телефон. Сын мне кивнул, извиняясь, вынул из кармана телефон. Я замолчал.

— Что? — переспросил он. — И Томск?

Он дослушал, нажал отбой.

— Китайцы заняли Красноярск, Новосибирск и Томск.

— Как это — заняли?

— Объявили своей территорией.

— Как? Там кусок размером в три Франции! — возмутился я. — Мы ж не в пятом веке живем!

Сын открыл ноутбук. На сайте Би-Би-Си эта новость была главной: правительство КНР заявляло, что аннексия является мерой чрезвычайной и вынужденной, вызванной коллапсом центральной власти в России, и ставит своей целью обеспечение порядка и безопасности китайского населения, проживающего на территории Алтая и Барабинской низменности.

— Какое к черту китайское население? — не унимался я. — В Томске?!

— Ты, похоже, не очень следил за политикой, — сын перешел на сайт Си-Эн-Эн. — Наш мудрый президент подписал кучу договоров с Китаем. О дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Под Новосибирском китайцы построили самый крупный автозавод в мире, клепают там патентованные «форды». В регионе китайцев в два раза больше, чем русских и всех других вместе взятых.

— Вот видишь, — он ткнул пальцем в экран. — Оказывается были еще и секретные соглашения.

Я прочитал: «Китай опубликовал секретный меморандум, подписанный президентом Пилепиным три года назад». Из него следовало, что в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств китайская сторона вправе использовать ограниченный военный контингент на вышеуказанной территории.

— Это ж филькина грамота! — пробормотал я. — Это бред, и этот бред противоречит конституции России.

Из коридора раздался грохот, захлопали двери, затопали башмаки. Дверь распахнулась, в комнату влетел парень, рыжий и голый по пояс.

— Димыч! — заорал он. — «Железная гвардия» в... в Москве!

Он здорово заикался.

— Как же мы проморгали?

— Вот так! Д... десант! Резня по всему городу!

— Что за гвардия? — я повернулся к рыжему, но он уже выскочил в коридор.

— Южная, — ответил сын. — Батальон смерти султана Кантемирова. Если их Сильвестр вызвал, то он просто с ума...

Зазвонил телефон.

— Да! — ответил сын. — Сейчас буду.

— Извини, — он нажал отбой, сунул телефон в задний карман. — Подожди здесь, хорошо? Я быстро.

Он выскочил в коридор. Я посмотрел на часы, было почти четыре утра. Я понятия не имел, какой сегодня день, какое число. Я сел за стол, открыл ноутбук. На сайте «Ройтер» под невразумительным заголовком «События в Москве» были выложены фотографии и короткое видео — в кромешной тьме мигали трассирующие очереди, вспыхивали разрывы, рыжие и лимонные, вспыхивали с каким-то карнавальным треском, где-то рядом нудно долбил пулемет.

Я перешел на сайт «Нью-Йорк Таймс», там фотографий не было, но был экстренный выпуск. Тоже невнятный, сплошные догадки и предположения. Главный вопрос — это интервенция или Сильвестров сам обратился к Кантемирову за помощью — оставался без ответа. Никаких официальных заявлений не было. Впрочем, были факты. Верней, один факт. Войска суверенного султаната вели боевые действия в столице Российской Федерации.

Далее автор приводил выдержку из соглашения трехлетней давности, по которому бывший субъект Федерации выходил из состава России и становился независимым государством. По мнению автора, меморандум к этому соглашению о военном сотрудничестве и взаимопомощи мог стать легитимной основой для введения войск в Москву.

Я засмеялся — какие к чертовой матери легитимные основы! Кого они здесь вообще интересуют! Америка и Евросоюз с тупым упрямством продолжают подходить к России со своими правовыми мерками, придуманными для какой-нибудь постной Голландии или на худой конец острова Кипр. Святая простота! Тут горожане, вроде как столичные жители, жгут посольства и иностранцев линчуют. Да с каким куражом, с каким азартом! Я вспомнил орущую толпу, тех страшных повешенных под мостом, сизый дым, ползущий по Москве-реке. Вспомнил людскую лавину, прущую по Кремлевской набережной. Ругань, крики, вой раздавленных. Орда, дикая орда. А вы мне про легитимные основы, мать вашу...

На экране обновилась страница, под шапкой «молния» появилась свежая информация. В обращении к нации Сильвестров объявлял военное положение в России. Объявлял на основании конституции и в соответствии со статьей первой из конституционного закона о военном положении. О головорезах Кантемирова Сильвио не сказал ни слова.

В коридоре затопали шаги, я повернулся, в двери появился тот же рыжий парень. Заика. Такой же всклокоченный, но уже в белой майке с надписью «Бруклин, Нью-Йорк».

— Ольга Кирилловна просит вас п...п... — он застрял, я пришел на помощь.

— Пожаловать? Прийти?

Он смущенно кивнул.

По коридору мы шли молча и быстро, почти бегом. Свернули направо, прыгая через две ступени сбежали вниз по узкой лестнице, похожей на черный ход. Снова выскочили в коридор. Перед обитой железом дверью Рыжий затормозил, распахнул, пропуская меня вперед. Комната напоминала подвал, пустой и холодный, с глухими голыми стенами без окон. Пахло сырой побелкой. В центре стоял прямоугольный струганый стол, за ним сидели люди.

— Заходите, — Ольга указала на пустой стул. — Садитесь, Дмитрий.

Я сел. Кроме Ольги и моего сына за столом было еще двое — бритый наголо, болезненного вида парень и хмурая девица в толстых учительских очках. Я хотел сострить насчет «Молодой гвардии», но, поглядев на лица, передумал. Им тут явно было не до шуток.

— Слушаю вас, — обратился я к Ольге и положил ладони на стол. Дерево было старым и холодным на ощупь. Этому столу было лет сто пятьдесят, если не все двести.

— Вы лично знаете Сильвестрова, — Ольга решила обойтись без реверансов. — Как психолог...

— Социолог, — поправил я.

Она не обратила внимания на замечание и продолжила:

— ...вы можете объяснить его мотивацию, предугадать действия. Как он принимает решения? Чем руководствуется? В большей степени спонтанен или...

— Вам нужна модель психологического типа Сильвестрова? — перебил я. — Извольте. По типологии Платона он относится к тимократическому типу с ярко выраженным честолюбием и страстью к лидерству. С явными элементами тиранического типа. По теории Выготского он относится к концептуальному активному типу. Синтетичен, воспринимает явления как интегрированное целое...

— Извините, — мрачно оборвала меня очкастая девица. — У нас нет времени...

— Ангелина! — одернула ее Ольга.

Девица замолчала, зло зыркнула на меня из-под очков.

Ольга кивнула мне, я продолжил.

— Впрочем, горячая Ангелина, пожалуй, права, — я сладко улыбнулся ей, девчонка беззвучно фыркнула. — Времени у нас действительно нет. Чем конкретно я могу помочь?

Мой вопрос повис, в подвале наступила тишина.

— Мы хотим чтобы вы от нашего, — Ольга оглядела сидящих за столом. — От нашего имени вступили в переговоры с Сильвестровым.

— Что? — я опешил. — Вы серьезно?

— Вполне, — Ольга спокойно посмотрела мне в глаза.

— А вам не кажется, что это по меньшей мере аморально? Украсть ребенка, потом шантажировать отца... Не кажется?

— У нас есть цель и мы...

— Какие бы замечательные цели вы тут ни ставили, методы ваши — полная дрянь. Дрянь и преступление!

— Послушайте, — Ольга терпеливо продолжила спокойным тоном. — Все гораздо сложней...

— Конечно! — я сжал кулаки. — Конечно сложней! Кто бы сомневался! Ситуация всегда становится гораздо сложней, как только нужно провернуть какую-то мерзость.

— Дмитрий, — Ольга тоже повысила голос. — Послушайте...

— Нет! Это вы послушайте! — я стукнул кулаками по столу. — Вы понимаете, что существуют моральные границы, которые нельзя переступать? Какие бы там у вас благородные цели ни были! Какое бы распрекрасное будущее вы ни строили! Нельзя, нельзя воровать детей!

— Ее никто не воровал, — проворчала Ангелина, глядя сквозь меня. — Она сама согласилась. Сама.

Я поперхнулся.

— Говорю вам, — сказала Ольга с нотой злорадства. — Все не так просто.

— А как же... — промямлил я. — Как же школа? Пожарная лестница? Циркач-гимнаст?

— Гимнаст, — Ольга улыбнулась. — Жанна зашла в туалет, раскрыла окно, бросила свой браслет — наши уже ждали внизу с голубем. Сама спряталась в кладовке, там где ведра, швабры всякие, а ночью мы ее забрали...

35

Резня в Москве закончилась только под утро.

Небо на востоке посветлело и стало лилово-серым, в узкую щель между горизонтом и дымной пеленой, накрывающий город, на миг выглянуло солнце. Слепящим белым светом вспыхнули маковки церквей, острые шпили высоток, золотые орлы на башнях Кремля. Резко, как вскрик, брызнули жидким серебром зайчики окон. Темно-фиолетовые тени, острые и ломкие, сделали город дотошно трехмерным, точно кропотливый макет какой-то сказочной декорации. Свет из белого перетек в розовый, после в золотой. Потом начал слабеть и через мгновенье умер. Все вокруг снова стало плоским, скучным и серым. Так наступило утро четвертого сентября.

Гвардейцы Руслана Кантемирова, пьяные от крови и смерти, рыскали по переулкам и добивали шахтеров. Красная площадь, Васильевский спуск были завалены трупами мятежников. Ни пешеходов, ни машин на улицах не было. Не было ни полиции, ни армии, бронетехника и армейские грузовики исчезли с площадей и перекрестков. Лишь в пепельном небе кружили два военных вертолета.

Прибалтика бурлила: из Риги ночью бежал генерал-губернатор Сальников со всем кабинетом, в Талине жгли российские флаги, тысячная толпа вышла на улицу и окружила ратушу. По информации «Ройтер» полиция перешла на сторону демонстрантов.

И только из Москвы не было ничего конкретного. Там шли переговоры между Кантемировым и Сильвестровым, и шли они за закрытыми дверями.

Меня отвели к Жанне Сильвестровой, я потребовал встречи с ней. Она выглядела старше, чем тогда на экране, взрослей. Дело тут было не только во внешности. В ней не была и намека на детскую наивность, это была личность с вполне сложившимся характером. И еще каким!

Почти сразу я пожалел, что пришел, мне чертовски стало жаль Сильвио: знаете, что она мне ответила, когда я рассказал ей, как он чуть с ума не сошел, узнав о похищении?

— Раньше надо было с ума сходить, — улыбаясь мне в лицо, ответила эта маргаритка. — Ушел поезд, ту-ту!

И она весело изобразила паровозный гудок.

С каждой секундой мне становилось все более тошно, на язык просились злые, желчные слова. Мне очень хотелось сделать ей больно. Она внимательно следила за мной, совсем как хитрый маленький зверек, потом вдруг влажно облизнула губы и приоткрыла рот в похотливом ожидании.

Москва медленно приходила в себя. Медленно и с трудом пыталась очухаться после ночного кошмара. На серых улицах появились осторожные прохожие, покатили редкие автомобили. В воздухе стоял сладковатый кладбищенский дух, из центра на юг потянулись крытые брезентом армейские грузовики. Они ползли по набережной, через Замоскворечье, по Каширскому шоссе в сторону Домодедово.

Гвардейцы Кантемирова шлялись по городу группами, они явно чувствовали себя победителями. Горожане обходили их, но все равно то тут, то там вспыхивали драки, в которые полиция не вмешивалась. Кантемиров приказал расквартировать «Железную гвардию» в гостинице «Москва», сам султан занял мраморный президент-люкс с бассейном на крыше и видом на Кремль. В полдень было объявлено, что сегодня в двадцать один ноль-ноль по всем каналам будет транслироваться чрезвычайное обращение к народу России. Кто будет обращаться к народу и по какому поводу, не разъяснялось. Имени Сильвестрова вообще не упоминали.

36

— У нас нет никакой информации, — Ольга нервно поправила платок, точно он душил ее. — Мы не можем действовать наобум! Не можем!

— Мы не можем сидеть сложа руки! — крикнула Ангелина.

— Надо что-то делать, я согласен, — поддержал ее бритый болезненный парень. Его звали Виктор.

Мой сын поглядел на меня, потом на Ольгу.

— Какая вам еще нужна информация? — он хмуро потер переносицу. — Сторонники султаната заняли Москву. Сильвестров, даже если он еще жив, ситуацию не контролирует. Я предлагаю активизировать региональные группы, в конце концов на Москве свет клином не сошелся...

— Дима, — мягко остановила его Ольга. — Мы толкуем о разных вещах.

Сын хотел что-то возразить, удивленно вскинул брови, но до него вдруг дошло, что Ольга имела в виду судьбу своей сестры.

— Простите, Ольга Кирилловна, — он виновато опустил плечи. — Конечно, конечно. А от «Шершня» есть что-нибудь?

— «Шершень» молчит, вторые сутки молчит.

У меня мелькнула догадка — неужели Шестопал? Этот референт-людоед, телефонный Шива, верный пес и правая рука диктатора Сильвестрова? Бедный, бедный Сильвио — сначала Жанна на лебеде, теперь людоед. К этой мысли добавилась еще одна, — так, мыслишка, недодуманная, но очевидно неприятная, я попытался отмахнуться, но мыслишка уже разворачивалась ко мне своим гнусным фасадом. Противный голос в районе затылка вкрадчиво спросил: — А ты? Ты ведь сам его предал? Разве нет?

Моя совесть (или что там у меня вместо нее) тут же вскипела — нет, нет! Мной движут благородные порывы, я пытаюсь спасти сына, вытащить его из беды! Как можно сравнивать?!

Вкрадчивый усмехнулся: — Расскажи своему другу Сильвио о прекрасных порывах своей благородной души. Он точно оценит. Предатель.

— У меня не было выбора! — беспомощно пискнула моя совесть. — Я должен спасти сына!

Вкрадчивый засмеялся: — Классика! У меня не было выбора! Это просто классика жанра, дорогой Брут!

Я вздрогнул — кто-то тронул меня за руку, это был сын.

— Все нормально? — он озабоченно взглянул мне в глаза.

— Да, да... Так, мысли всякие...

Они смотрели на меня с тревожным любопытством, очевидно, меня о чем-то спросили, пока я был погружен в свою душевную медитацию.

— Так что он предпримет? — повторила Ольга. — Вы его знаете и можете спрогнозировать...

Речь шла о Сильвио.

— Нам не известна расстановка сил, — начал я вяло, пытаясь привести мысли в порядок. — Думаю, в девять часов из обращения мы поймем...

— Мы не можем ждать до девяти часов! — Ангелина исподлобья зыркнула на меня сквозь толстые стекла очков.

Тихо, тихо, милая, так-то уж не горячись, — подумал я и спокойным тоном продолжил:

— Однако мы можем кое-что предположить, исходя из доступной нам информации. Судя по всему Сильвио... Сильвестров... если использовать шахматный сленг, угодил в «капкан». В ситуацию, приводящую к потере ферзя. Под ферзем я подразумеваю власть. Реальную власть. Не обязательно его свергать или рубить голову на Красной площади. Тем более, зная неприязнь славян к южанам, оставить Сильвестрова в Кремле будет наиболее разумно, но оставить лишь в виде куклы. Тут ничего изобретать не надо, в истории тысяча примеров на данную тему. Кантемиров блестяще разыграл комбинацию, у него позиционное преимущество...

— Еще бы, «Железная гвардия» в Москве! — фыркнула Ангелина.

— Что будет делать Сильвестров? — спросил болезненный Виктор.

Я глубоко вдохнул, молча оглядел их.

— Сильвестров умный человек. Очень умный. Он амбициозен, но не тщеславен, его не интересует мишура, внешняя сторона, видимость — понимаете? Он отличный стратег...

— Ага, стратег! — встряла желчная Ангелина, — угодил в такой цугцванг.

Я с уважением поглядел на нее.

— Да, пожалуй, цугцванг. У Сильвестрова нет ходов, любой ход ведет к ухудшению позиции. Поэтому он не будет действовать сломя голову... Будет выжидать...

Повисла пауза. Они ждали, что я скажу.

— Сильвестров непредсказуем. Он ненавидит шаблоны. Если у проблемы есть два очевидных решения, а хитрец сможет найти третье, то Сильвестров непременно найдет четвертое. И именно так поступит.

— А если решения нет? — тихо спросила Ольга. — Что тогда?

— Решение есть всегда. Просто, когда оно нам не нравится, мы заявляем, что решения нет.

37

Меня разбудил дождь. Он только начался: первые тяжелые капли редко застучали по железу подоконника, по листьям, потом, ускоряя дробный ритм, зашуршали по траве. Шум нервно нарастал, ширился, вдруг наверху, совсем рядом, точно на чердаке, раскатисто бухнул гром. И тут же, как по сигналу, обрушился ливень. Я открыл глаза.

В дверь вкрадчиво постучали.

— Войдите, — я сел, опустив босые ноги на пол. — Да, войдите.

Я ожидал увидеть сына, но это оказалась Зина.

— Можно? — она тихо вошла, прикрыла дверь. — Ну и дождище!

Спросонья голова была ватной, я взглянул на запястье, часов не было. Они лежали на столе.

— Четыре, без пяти четыре, — Зина села рядом. — Можно?

Она сначала делала, потом спрашивала — я хотел ей сказать об этом, но передумал, потому что она придвинулась и поцеловала меня в щеку. Даже не в щеку, а куда-то в скулу.

— Я уезжаю. Прямо сейчас, — сказала она, без перехода спросила. — Я вам нравлюсь? Хоть немного?

От нее пахло ее кожаной курткой и еще чем-то сладким, почти детским, так пахнет свежее печенье.

— Зина... — я издал странный звук, сипло крякнув, как простуженный гусь. — Да, но...

— Опять но? — Зина с досадой замотала головой. — Молчи, а то все испортишь.

— А когда... — начал я, но не договорил — она быстро приблизила лицо и, раскрыв рот, стала целовать меня в губы. Снова саданул гром, громко и нагло, с хулиганским оттягом, точно за стеной кто-то пальнул из дальнобойной гаубицы. Зина вздрогнула и, кусая мои губы, вцепилась мне в спину. Я одновременно подумал о трех вещах: что я должен остановить ее немедленно, что дверь не заперта и что это моя первая гроза после возвращения в Россию.

Человек, безусловно, слаб. Особенно мужчина и особенно в такой ситуации. Ситуации почти безвыходной, да что там — почти, просто безвыходной. И не надо мне напоминать мои же слова, сказанные по этому поводу несколько часов назад. Не надо. Ситуация ситуации рознь.

Гроза продолжала громыхать, потоки ливня колотили по листьям, бурлили под окном. Потолок вспыхивала белым электрическим светом, и почти сразу отзывался могучий гром. Зина, запрокинув голову, часто дышала, от молний ее лицо становилось бледным, почти фарфоровым. Из-под опущенных век страшновато виднелись белки ее глаз, казалось, она впала в транс, вроде тех колдуний вуду с острова Гаити.

От этих глаз и от грохота бури, от потного жара ее маленького сильного тела меня охватила радостная жуть, какое-то забытое чувство, как тогда в детстве, когда я наконец решился и сиганул с высоченного обрыва в море: там, подо мной, в звонкой россыпи солнечных зайчиков бродили бирюзовые волны, белыми стрелами проносились суетливые чайки, по дымчатой дуге горизонта полз слюдяной лайнер. А я летел, парил, что твой ангел, и не было уже такой силы, которая могла бы остановить мой полет. Господи! Какое же это прекрасное чувство! И что оно значит, господи?

Это жизнь, ответил кто-то в моей голове, это просто жизнь. Это значит, что ты еще жив.

Ливень выдохся, и теперь лениво сыпал мелкий дождь. Гром ворчал где-то вдали, Зина лежала на мне, уткнувшись лицом в шею. От ее коротких чернильно-черных волос почему-то пахло лесным костром.

— Мне дрянной сон приснился, — тихо пробормотала она мне в ключицу. — Мы с тобой в каком-то доме... не доме... вроде дворца. Но заброшенном, там паутины, лестницы, залы, и везде темно...Темно...

Она замолчала, после продолжила.

— Ты особенный, я сразу почувствовала...

— Это во сне? — спросил я.

— Дурак... — лениво отозвалась она. — Вот ведь какой дурак...

Лица я не видел, но почувствовал, что она улыбается. Меня накрыла волна тихого, беспомощного счастья, пронзительного, на грани надрыва. Действительно дурак — ведь это твой последний шанс! Хватай ее в охапку, крепче хватай, через кордоны, через границы, тащи ее из этой безумной страны! Пусть тебе детишек нарожает, будешь с ними в Центральном парке гулять, на велике научишь кататься. А летом — на океан, в Хэмптон, босиком по песку в полосе прибоя бегать, ракушки и камушки белые собирать. Хватай ее, беги! Ты сможешь, ты ведь умный! Прочь отсюда! Ведь она девчонка, соплячка, она еще не знает, что ничего хорошего тут никогда не будет! Но ты-то в курсе! Ты-то знаешь, как у них тут заведено: плаха, топор,

кровь людская, что водица, косточки белые под сапогом хрустят, что снежок утренний. И никогда иначе не бывало. Ни при царях, ни при комиссарах, ни при президентах.

Она шнуровала свои солдатские ботинки, старательно, будто собиралась покорять Монблан. Встала, выпрямилась, подошла ко мне.

— Ты... — я взял ее ладони в свои.

— Что за привычка, — перебила она меня, у нее мелко дрожала нижняя губа. — Постоянно все комментировать. Молчи! Молчи и все!

Тут, пожалуй, она была права. Я прижал Зину и услышал своей грудью, как тукало ее маленькое и нервное сердце: тук-тук, тук-тук. Два чутких удара и пауза. Дождь кончился, за окном посветлело, какая-то птаха назойливо, точно заводная, повторяла снова и снова одну и ту же мелодию из трех нот.

38

По телевизору передавали Рахманинова, второй концерт для фортепиано с оркестром, записанный в Московской консерватории имени Чайковского. По этой надписи внизу экрана ползла другая — красным: экстренное сообщение — экстренное сообщение. Я завороженно следил за строкой, как тот кролик. Неожиданно концерт обрубили и безо всякого перехода включили студию с пустым стулом и микрофоном. Микрофон загудел, кто-то торопливо выкрутил звук.

— Да... — пробормотал мой сын. — Вот значит как выглядит крах империи на первом канале центрального телевидения.

Я тоже подумал, что людям в Кремле, похоже, уже не до условностей, вроде холеных комментаторов в галстуках пастельных цветов и красивых заставок с крымскими пейзажами на фоне заката. В кадр неуклюже вполз некто в белой рубахе и пиджаке. Когда этот некто сел, я узнал Сильвио, узнал с трудом. Он был черен лицом — прежде эта фраза из старых романов казалась мне чрезмерной экзальтацией, сейчас она была самым точным описанием его физиономии. Сильвио откашлялся, взялся за стойку и приподнял микрофон, его рука заметно дрожала.

— По крайней мере мы теперь знаем, что он жив, — тихо сказала Ангелина.

— Жив? — с сарказмом спросил мой сын. — Я бы не стал утверждать...

Сильвио хмуро взглянул в камеру, отвел глаза, достал из внутреннего кармана сложенный пополам лист бумаги. Расправив, положил перед собой и начал читать. Он читал, не поднимая глаз, читал глухим чужим голосом.

— Может, это двойник? — Ангелина тронула меня за рукав. — Вы ж его лично...

Я отрицательно покачал головой, это был Сильвио. Несомненно, это был он, но таким я его никогда не видел. Мелькнула идиотская мысль — больше всего он напоминал персонаж из тех дурацких фильмов про оживших мертвецов. Никаких эмоций, лишь мрачная целеустремленность заводного механизма. Ведь не зря болтают о каких-то препаратах, зомбирующих сознание. Сильвио поднял глаза от бумаги:

— ...нашим султанитским братьям и их мужественному вождю султану Руслану Кантемирову. Русский народ никогда не забудет этой помощи. В знак особого уважения и благодарности приглашаю Руслана Кантемирова провести парад «Железной гвардии» на Красной площади. Парад состоится завтра и будет транслироваться по всем каналам телевидения. Начало парада — десять ноль-ноль по московскому времени.

— Он спятил! — Ангелина хлопнула в ладоши. — Чокнулся! Он просто сошел с ума!

Она громко засмеялась. Телевизор, поперхнувшись, вернулся к Рахманинову.

— Какой стыд... — проговорила Ольга. — Парад бандитов... Похоже на полную капитуляцию...

— Похоже на начало нового ига, — сказал мой сын. — А ты что думаешь?

Он обратился ко мне. Остальные тоже посмотрели в мою сторону. Рассеянно пожав плечами, я начал:

— Не знаю даже... Такого Сильвио я не видел. Раньше не видел. Может, он действительно... — я запнулся, подыскивая слово.

— Чокнулся? — вставила Ангелина.

Я покачал головой.

— Сломался. Ведь существует предел. Предел всему.

Они смотрели на меня, продолжая верить, что я обладаю неким таинственным знанием, какой-то сакральной истиной, которая поможет ответить на их вопросы. Уловил я и смену настроения — для них Сильвио перешел в разряд поверженных тиранов, за страх, который он внушал прежде, они платили теперь брезгливым презрением. Его унижение вызвало у них злорадство, мне же стало больно, точно я получил известие о смерти близкого. Отчасти так оно и было. Еще во мне начала подниматься, вроде изжоги, какая-то неприязнь — не только к ехидной Ангелине и несимпатичному бледному Виктору, а к Ольге и даже к моему сыну.

39

Кремлевские куранты с неспешной торжественностью отбили десять, с десятым ударом лениво распахнулись ворота Спасской башни. Три тысячи бойцов «Железной гвардии» клацнули каблуками и вытянулись по стойке «смирно». Знаменосцы, печатая шаг, вынесли вперед полковые флаги. На личном штандарте эмира, черном бархатном поле с серебряными арабесками, была вышита волчья голова с оскаленной пастью.

Над Красной площадью повисла тишина. Утро точно оцепенело. Ветра не было, тянуло сырой гарью. В сизом низком небе тусклым золотом сияли орлы кремлевских башен, красный кирпич стен казался мокрым, темным, на пустых трибунах торчали две одинокие телевизионные камеры. На Васильевском спуске стояли грузовики, крытые камуфляжным брезентом, Пятницкая тоже была перегорожена военной техникой. Ни солдат, ни зевак видно не было.

Дробно зацокали подковы. Испуганные голуби взмыли в небо и закружили над пестрыми маковками Василия Блаженного. Из ворот Спасской башни нервным галопом выскочил белый жеребец в золоченой мавританской сбруе. Руслан Кантемиров, плотный и загорелый, в малиновом парадном кителе с золотыми эполетами и аксельбантами, уверенно откинувшись в седле и вскинув руку в белой кавалерийской перчатке, пустил жеребца вдоль строя.

— Аллах велик! — гортанно прокричал эмир.

— Слава аллаху! — в тысячу глоток отозвались гвардейцы.

Эхо заметалось над площадью. Кантемиров поднял жеребца на дыбы, прогарцевал у мавзолея. Привстал в стременах, крикнул:

— Воины пророка! К вам, бесстрашные, к вам, неистовые, обращаюсь я. Вы — разящий клинок ярости пророка, стальное жало его мести! Огненный ураган, сметающий скверну с лица земли! Вы несете слово пророка, вы несете его имя! Вы непобедимы! Слава «Железной гвардии!»

— Слава эмиру! — ревом откликнулись гвардейцы.

Кантемиров улыбался. Осаживая танцующего жеребца, эмир нагнулся к знаменосцу, подхватил за древко свой штандарт и поднял его над головой.

— Эй, Москва! — засмеялся Кантемиров. — Гляди, Россия! Волки Султана на Красной площади! Мы пришли!

— Слава эмиру!

— Не карать мы пришли! Не мести ради, но справедливости! — Кантемиров снова поднял жеребца на дыбы. — Кровь и слезы султанитов взывают к справедливости! К справедливости во имя аллаха и во славу аллаха!

Гвардейцы взревели. Страшный звериный рык прокатился по площади.

— Гляди, гордая Москва! Гляди и слушай — пришло время отдавать долги. За годы унижения и рабства, за надругательство над святынями наших предков, за войны, за сожженные города и аулы. Пришло время платить. Смири гордыню, Россия! Нет больше империи, кончилась твоя злая власть. Не орлица ты, а дохлый ворон, — и гордый молодой волк терзает тебя, а ты истекаешь кровью и нет в тебе силы расправить крылья. Нет в тебе воли! Смирись! Во имя аллаха и во славу аллаха!

Кантемиров выхватил из кобуры свой знаменитый золотой «магнум», ткнул длинный ствол в небо.

— Аллах велик! — прокричал он, нажимая курок еще и еще раз.

— Слава аллаху! Слава аллаху! Слава аллаху!

Гвардейцы тоже начали палить в воздух. Треск выстрелов слился в плотную стену грохота, над площадью туманом поплыл сизый пороховой дым. Кантемиров сунул револьвер в кобуру, повернувшись в седле, сжал кулак в белой перчатке и, смеясь, погрозил орлу на макушке Спасской башни.

Позолоченный орел да еще башенные часы, которые показывали десять двадцать семь, были последним, что увидел эмир в своей жизни. Пуля снайпера попала точно в висок, Кантемиров дернулся и, выпустив из рук штандарт, удивленно начал заваливаться назад. Знаменосец, стоявший у стремени, испуганно попытался поддержать сползающее тело. Он что-то гортанно прокричал, стараясь перекрыть грохот пальбы.

В этот момент начали работать пулеметы. Двенадцать огневых точек били из чердачных окон крыши ГУМа, двенадцать пулеметов системы «Ремингтон» со скорострельностью пятьсот пуль в минуту. Бойня закончилась ровно в половину одиннадцатого. Триумфальный взлет и трагический крах эмира Руслана Кантемирова заняли всего полчаса.

40

На экране появилась заставка «Первый канал, телевидение России», потом погасла и она. Мы, как зачарованные, продолжали пялиться в пустой серый экран.

— Господи... — глухо пробормотала Ангелина. — Что это было?

Ей никто не ответил. Ольга, плавно, точно в трансе, опустилась на стул и закрыла лицо ладонями. Мой сын, бледный и сосредоточенный, кусал костяшки кулака, — моя давняя привычка. В подвале стало душно, рубаха прилипла к спине, откуда-то потянуло жареным луком.

— Кухня что ли... — я с грохотом выдвинул стул и сел.

— Обед... — сквозь ладони произнесла Ольга. — Подберезовики в сметане... с жареной картошкой.

— Подберезовики, — с непонятной злобой повторил я. — С картошкой.

Ольга опустила ладони, посмотрела на меня мокрыми красными глазами. Она хотела что-то сказать, но в этот момент ожил телевизор — на экране возник трехцветный государственный флаг с желтым орлом посередине. Плотный закадровый баритон, расставляя зловещие паузы, медленно произнес:

— Внимание... внимание! Передаем чрезвычайное обращение... Чрезвычайное обращение ко всем гражданам России... Внимание!

Появился Сильвестров. Хмурый и строгий, в черном пиджаке и бордовом галстуке, он напоминал директора похоронной конторы с хорошей репутацией. Его гладиаторский ежик за ночь совсем поседел и стал благородно серебристым, лицо было припудрено, скулы убедительно тронуты румянцем. Меня поразило, что у них, там, в Кремле, кто-то еще думал о макияже ровно через пять минут после расстрела

трех тысяч человек на Красной площади. Камера приблизилась, Сильвестров поднял недобрые холодные глаза.

— Россия, — низким, чуть осипшим голосом произнес он. — Наступил момент истины.

Сильвио был безупречен, его самообладание в который раз потрясло меня. Он выдержал паузу и продолжил.

— Я пришел вернуть вам гордость. Да, гордость и силу. Но сначала я должен сказать вам правду и я знаю — эта правда вам не понравится. Но другого пути у нас нет.

Сильвио нахмурился. За его спиной высились своды какого-то кремлевского зала, щедро украшенного малахитом и позолоченной лепниной, все это смахивало на декорацию ко второму акту «Золушки».

— Почти сто лет коммунисты вбивали в русский народ идею интернационализма, затем пришло время европейской толерантности. Годы воровской тирании окончательно развратили Россию. И вот результат — сегодня орда дикарей устраивает языческую вакханалию в сердце столицы, на Красной площади.

Сильвестров замолчал, потом тихо спросил:

— Может ли русский человек пасть ниже?

После гнетущий паузы продолжил, но уже громче:

— Где наша честь? Где наша гордость? Что мы сделали с нашей славой? Втоптали в грязь? Распродали за грош на европейских базарах, разменяли за алтын на турецких курортах? А ведь слава-то эта нам даже и не принадлежит, нам ее вручили, чтоб детям да внукам передать. Слава и гордость...

Сильвестров запнулся, точно у него перехватило горло.

— Ведь она, слава эта, нам напрямую из рук Петра Великого да Александра Невского досталась... Из рук Кутузова и Суворова, Пушкина и Толстого, Менделеева и Лобачевского. Сохраните славу, не замарайте и детям своим передайте. Славу государства российского, славу земли русской... И в позоре этом мы все виноваты, мы все и каждый из нас. Каждый, кто называет себя русским. Русским не по крови, а русским по духу...

Он задумался. Замолчал, вперившись взглядом в камеру.

— А ты? Где был ты? Что ты делал, когда пилепинская банда разворовывала страну? Когда его лихая братва гнала нефть и газ за бугор? Когда бывшая чекистская сволочь набивала мошну казенным золотом? Когда их выблядки по Монте-Карло и Монако наши с тобой деньги прожигали... Где был ты? Да, ты!

Сильвио поднял руку и ткнул указательным пальцем прямо в меня. Я поежился — это уже напоминало сеанс какого-то телевизионного гипноза.

— Ты скажешь — я человек маленький, что от меня зависит? Что я мог сделать? Я винтик большой машины. Винтик... — Сильвестров брезгливо скривил рот. — Врешь, не винтик ты, а человек. Русский человек! Никогда русский человек не был винтиком! Да, пыталась красная сволочь сделать из нас рабов, превратить русский народ в холуйское стадо. Миллионы лучших людей стерли в пыль, по лагерям, расстрельным камерам, по ссылкам и эмиграциям. Но не кончился русский человек. И не кончится никогда! Не дождетесь!

Он погрозил крепким кулаком в камеру.

— И из пепла возродится русский человек, расправит плечи и, как богатырь былинный, как Илья Муромец, восстанет, поднимется выше гор, выше неба. Ибо нет силы, способной сломить русского человека, нет врага, могущего одолеть его. Да, мы, русские, долго терпим. Но терпение наше не безгранично. Говорят, что мы, русские, долго запрягаем — и это верно. Но уж как запряжем — держись! Держись! Мы так полетим, так поскачем, что чертям в аду тошно станет!

Сильвестров недобро усмехнулся.

— Сегодня на Красной площади банда абреков пыталась унизить Россию. Они

плюнули нам в лицо — мне, тебе, твоей матери. Они, эти дикари, наивно полагали, что русские утрутся. Ведь так было не раз — утирались. Утирались, да еще и прощения просили...

Он сочувственно покачал головой, потом посуровел и рубанул ладонью воздух:

— Хватит! — Сильвестров заговорил, весомо чеканя каждое слово. — Уничтожив бандитов на Красной площади, я одновременно приказал нанести ядерный удар по столице так называемого султаната, а по сути по гнезду исламского терроризма.

Ощущение нереальности, какого-то муторного кошмара накрыло меня. Я помотал головой, взъерошил волосы руками.

— Россия — ядерная держава. Хочу напомнить всем, кто забыл. Наша экономика, может, слаба и меньше экономики какого-нибудь Бенилюкса, но зато мы можем стереть этот Бенилюкс с лица планеты за двадцать минут. Ядерная политика двадцатого века была политикой сдерживания. Политикой угроз и политикой устрашения. Двадцатый век кончился. Сегодня от угроз Россия переходит к действию. Мы в одностороннем порядке выходим из всех подписанных ранее соглашений по ядерному регулированию. Ядерная доктрина сегодняшней России — безусловное применение оружия массового поражения в любой ситуации, требующей его применения. Речь идет обо всем спектре оружия, тактическом и межконтинентальном. Россия оставляет за собой право в единоличном порядке выбирать цель, способ и время их уничтожения.

— Это же терроризм... — проговорил мой сын, не отрываясь от экрана. — Государственный терроризм.

— Америке и Европе вряд ли понравится новая доктрина России, — Сильвестров усмехнулся. — Но мне плевать, что думают на этот счет в Вашингтоне или Женеве. Меня волнует моя родина. Моя Россия! И я не остановлюсь ни перед чем, не пожалею ни крови, ни самой жизни для возрождения чести и славы моей страны. Россия, я клянусь — я верну твою славу, я верну твою гордость!

41

Я не мог дольше находиться в подвале, я задыхался. Грохнув дверью, выскочил в монастырский двор, белесое, какое-то мертвенно ртутное небо на миг ослепило меня. Сквозь пелену светился расплавленный диск мутного солнца. Я через голову стянул мокрую рубаху, скомкав, бросил ее в траву. Опустился на корточки, обхватив голову руками. Издалека долетел стрекот какого-то мотора, где-то рядом домовито кудахтали куры, по-деревенски пахло теплой соломой. Боже мой, что это было, там, в подвале — бред, сон? Сеанс массового гипноза? Ведь этого же просто не может быть!

— Эй?

Кто-то осторожно тронул меня за плечо. Дмитрий, мой сын. Он присел рядом на корточки.

— Ты как? — спросил он. — Я просто испугался, что тебе плохо... что у тебя там сердце или...

Я помотал головой, попытался улыбнуться, говорить я не мог, в горле стоял ком. Неуклюже обняв сына за плечи, я прижал его к себе. Господи, — он испугался, мой сын испугался за меня! Когда последний раз кто-то беспокоился обо мне? Когда и кто? Я закусил губу, до боли зажмурился, но чертовы слезы все-таки потекли из глаз.

— Митя... — я проглотил соленую горечь. — Милый мой Митя... Все у нас будет хорошо... Все у нас будет...

Будто сирые скитальцы, точно выбившиеся из сил паломники, обнявшись, мы стояли на коленях в жухлой траве монастырского двора, я, уткнувшись лицом в его макушку, вдыхал запах его волос, такой знакомый, почти мой собственный. Где-то продолжал трещать мотор, дальняя электричка — не громче кузнечика — уносила за собой нежный перестук колес, рядом гуляли пестрые куры, в сухой траве лежала

ржавая подкова, как бы намекая на возможность если и не счастливого, то хотя бы благополучного исхода.

— Все будет хорошо, — повторил я, с безнадежным упорством гладя ладонью его затылок.

Не знаю, — душный ли сентябрьский полдень с запахом деревенской пыли, или слепящая ртуть белесого неба, или ржавая подкова в выгоревшей траве, а может, все это вместе — только я вдруг с невыносимой остротой ощутил приступ щемящего счастья, огромного, гораздо больше моей грудной клетки. Счастья, по-детски радостного взахлеб и одновременно горького в своей мимолетности. В один миг — в него вместилась целая Вселенная: мой развеселый отец с золотым саксофоном, тень матери, тихий снег за ночным окном, Шурочка в школьной форме, осенний бульвар и Чистые пруды, закат над Гудзоном, — в этот миг моя бестолковая жизнь внезапно приобрела смысл, каждый поворот запутанной судьбы наполнился значением и логикой, а как же? — ведь каждый поворот неумолимо вел меня сюда, к моему сыну, на этот монастырский двор. Вел к этому бесценному мгновенью — только сейчас до меня по-настоящему дошла мудрость гётевского Фауста.

Время исчезло, — кого интересует время, если тебе только что шепнули про бессмертие? — не знаю, как долго мы стояли в пыли двора, но только какой-то настырный шум, вроде треска утреннего будильника, что вползает в дрему, начал вторгаться в нашу почти идеальную Вселенную. И как во сне твое подсознание пытается втиснуть назойливый звон в логику твоей утренний дремы, так и мне на декорациях моего подсознания уже привиделись какие-то сельские мотоциклисты, беспечной колонной путешествующие по окрестным лугам. Шум нарастал и постепенно превратился в грохот.

— Вертолеты! — крикнул Митя.

С запада прямым курсом к монастырю приближались два вертолета. Я их ясно увидел над макушками желтеющих лип — это было звено «Аллигаторов». Они шли на бреющем полете, хищно наклонив острые морды, шли прямо на нас. Во двор, задрав голову, выскочила Ангелина, еще какие-то люди. Ольга, бледная, точно обессилев, стояла прислонясь к стене. Гром мощных движков накрыл нас, я уже мог разглядеть бортовые номера и серый узор камуфляжа. Вертолеты зависли над монастырем. Сверху, точно божий глас, перекрывая шум моторов, раздался громовой голос:

— Монастырь окружен! Повторяю — монастырь окружен! Приказываю всем выйти во двор! У вас нет ни малейшего шанса. Всем выйти во двор!

К нам подбежала Ангелина, вцепившись в Митю, она истерично заорала:

— Как они нас нашли? Эти свиньи! Как они нас нашли?

Митя оттолкнул ее, бросился к Ольге.

— Надо что-то делать! — закричал он. — Ольга Кирилловна, у нас же его дочь! Надо какие-то выдвинуть требования! Переговоры! Угрозы... Ну как это бывает... Нельзя же вот так!

Ольга не двинулась, она покачала головой, бледными губами беззвучно проговорила — нет.

42

Последующие события в моей памяти переплелись с воображением — виной тому, скорее всего, газ, которым вертолетчики на всякий случай решили притравить нас. Из жестянок, похожих на консервные банки — три или четыре штуки деловито и точно метнули с вертолета — повалил лимонно-желтый дым, ядовитый даже на вид. В этом театральном тумане по двору заметались прозрачные, как призраки, люди.

Задыхаясь, захлебываясь лимонной гадостью, я упал на колени. Меня вырвало. Тут же, вместе с приступом удушья, в моей голове тронулся и покатился чугунный

шар, чудовищный, он катился все быстрее, быстрее, увлекая за собой мечущихся людей, падающую колокольню, желтое небо за ней. Невинный подмосковный ландшафт превратился в босховскую вакханалию, бесовски меланхоличную и затейливо эклектичную. Мир встал на попа, пейзаж раскололся. Из лимонных небес к нам уже спускались, картинно кружась, иссиня-черные серафимы. Злая рать приземлилась и рассыпалась по монастырскому двору, с деловитостью мясников они занялись отловом. Один безликий ангел мимоходом долбанул меня прикладом в лоб.

Через неопределенное время чернота начала рассеиваться, я с облегчением ощутил блаженную невесомость. Вместе с телом исчезла боль, осталась пьянящая плавность, точно меня опустили в густой сироп. Наверное, так парит душа, лениво и чуть рассеянно, покинув ненужное тело. По неясной причине я был уверен, что нахожусь на баркасе душ — мне виделись маслянистые воды Стикса, вымазанное сажей подвальное небо, мускулистая, точно вылитая из черной резины, широкая спина Харона. Он мерно работал тяжелым веслом, этот адский гондольер.

Возможно, я что тут придумал, что-то приукрасил, но в целом все было именно так.

— Тебе кто-нибудь там знаком?

Оказывается, я был не единственным пассажиром. Ко мне обратился некто, сидящий рядом, сумрачный, со взглядом василиска.

— Там? — переспросил я, кивнув в сторону приближающегося горизонта. — Вы знаете, что там?

— Догадываюсь, — огрызнулся василиск, недобро сверкнув сапфировыми глазами. — Потому и спрашиваю.

Его лицо было точно набросок, словно рисовальщику стало лень заканчивать портрет, — штрих, тень, блик, — банальный анфас, скучный череп, совсем не Нерон и уж подавно не Цезарь. Но я узнал его.

— Ведь вы..?

— Да! — грубо перебил он меня. — Да, я. Я!

Моим соседом оказался покойный президент Тихон Пилепин. Сутулый и злой горбун, он кусал серые губы, скорчившись на баркасной лавке, как нищий бродяга, как сирый переселенец, в богом забытой шаланде. Его физиономия выражала полную растерянность.

— Есть у меня там знакомец... — начал я. — Немец, точней, австриец...

— Prima! — оживился покойный сатрап. — Всегда предпочитал немцев. Geklappt und ubrich! Практичный народ, руководствуются здравым смыслом и личной выгодой. Уверен, найдем общие интересы с вашим товарищем. Цузаммен, как говорится, гезаммен, — унд айн бисхен шнапс. Йа-а!

Он хохотнул фальцетом, шпанисто цвиркнул слюной за борт. Потер ладони, оскалился, снова сплюнул в густые, как смолистый вар, волны Стикса. Повернулся ко мне.

— Как, говоришь, немца твоего зовут?

43

Умереть оказалось не так просто, гораздо сложней, чем это мне представлялось. Я очнулся в каком-то подвале на ледяных плитах, вонючих и склизких, как озерные камни. Желтоватый свет пробивался откуда-то сверху, грудную клетку саднило, казалось, все ребра до одного были переломаны. Каждый вдох отзывался резкой замысловатой болью по всему телу, дышать приходилось мелко и осторожно. Где-то рядом, за одной из стен, пролегал долгий коридор, там гулким эхом шаркали шаги, иногда кто-то бежал, слышалась ругань, один раз раздался кровавый крик, от которого у меня похолодело нутро.

Последствия отравления напоминали зверское похмелье. Меня знобило, неми-

лосердный колотун мелко тряс все внутренности, кое-как я дополз до стены, забился в угол и попытался согреться, обхватив колени руками. Мыслей не было, страха тоже. Я вспомнил о сыне, вспомнил отрешенно, как о давней радости, столь давней, что она уже напоминала то ли мечту, то ли сон. Не было у меня уверенности и в собственной реальности. Я поднес ладони к лицу, растопырил пальцы, — да, вроде что-то проглядывалось. Руки. Я их поднял, раскрыл веером, как два крыла. Получилась сумрачная птица. Кто знает, может, еще не все потеряно.

Два раза меня таскали на допрос. В тесной конуре за привинченным к полу оцинкованным столом сидел вкрадчивый человек с узким севрюжьим лицом. Он задавал вопросы, ему явно нравился его голос, он спрашивал с расстановкой, красиво модулируя своим тенорком. Определенно севрюжий гордился и своим талантом формулировать вопрос, доводя простую фразу до блестящего совершенства канцелярского кретинизма, который ему казался чуть ли не аристократическим шиком — «каким образом вы могли бы объяснить очевидный факт вашего пребывания на момент задержания...» ну и так далее. Он помогал своей речи плавными жестами мелких бабьих рук с ухоженными ногтями. К середине первого допроса мне все осточертело, и я перестал отвечать. Он продолжал спрашивать, оставляя для моих ответов вежливые паузы, которые я презрительно игнорировал.

Один раз принесли еду, сальную оловянную миску с неопределенным месивом, от которого воняло хлоркой. Разглядеть в потемках еду не удалось, но думаю, даже умирающий от голода вряд ли смог бы заставить себя проглотить это.

Время исчезло, оно сменилось безвольным оцепенением. Гробовые сумерки камеры, бесконечные и вязкие, казалось, втекли и в меня, наполнив нутро тяжелой болотной жижей. Бытие и сознание — хиреющее тело между крыльев, еще осталась воля на взмах, но сил для полета больше нет. Впрочем, и воля на исходе.

Кто-то немилосердный показывал мне обрывки моей прошлой жизни — они плыли на периферии сознания, смутные, как линялые афиши на улице мертвого города. Картины эти, поначалу беспокоившие меня, постепенно стали фоном, бессмысленным и нудным, как капли в пустое ведро.

Иногда камера погружалась в абсолютную тьму. Тогда казалось, что стены становятся ближе, что они придвигаются под напором внешней силы, что на них давит что-то наподобие лавины камней и грязи, сломанных деревьев и трупов животных, в основном оленей. Потолок сползал, прессуя душный воздух в осязаемую ватность. Войлочную, с запахом сырой шерсти. Потолок натягивался, как барабан, я слышал стон его кожи, которая могла лопнуть, треснуть, прорваться в любой момент. Иногда я всей душой жаждал этого.

Суета началась внезапно, вдруг. Я услышал торопливую поступь коридорных шагов, свет в камере зажегся с небывалой яркостью — я с омерзением разглядел все то, что до этого лишь брезгливо осязал и обонял. Особенно расстроили меня унитаз и рукомойник. Крякнул засов, и в камеру ворвался порывистый хлыщ, холеный как доберман-пинчер.

— Гражданин Незлобин, — спросил доберман утвердительно. — Прошу вас, следуйте за мной.

Как будто у меня был выбор.

44

— Ты херово выглядишь, Митя, — Сильвестров озабоченно покачал головой.

Он сам выглядел не ахти, но я не стал ему об этом говорить. Мы сидели в огромной пустой комнате непонятно где, поскольку доберман вез меня в крытом фургоне. Мы могли быть в Кремле или на какой-нибудь даче. Или на том свете — если так, то больше всего это напоминало чистилище. Они передвигались печально, толпы

младенцев, мужей и жен, и облик их был ни весел, ни суров. Души заблудшие — горсть песка в мистрале, скворцы, изорванные вьюгой... Скажи мне друг Горацио, где наше милосердие?

— Я одного не понимаю, — укоризненно скривился Сильвио. — Отчего ты мне сразу все не рассказал? Ну на кой ляд нужна была вся это твоя шерлок-холмщина?

Он заботливо подлил коньяку мне в бокал.

— Я не был уверен, — сипло прокаркал я и залпом выпил коньяк. — А потом...

— Да, — Сильвио сделал глоток и поморщился. — Да!

Он закурил, с отвращением затянулся, выдул клуб дыма в потолок. Решительно помотал головой, точно спорил с кем-то, кого я не видел.

— Нет! Это уж, пожалуйста, к чертям собачьим!

Я продолжал исподтишка разглядывать Сильвио, он действительно стал совершенно седым.

— И ведь ты подумай, — он весело повернулся ко мне. — Ты только вообрази, эти сестрички, монашка и Жанна д'Арк, эти две стервочки, действительно, то есть на самом деле, рассчитывали придушить меня, как пьяного банщика, своими подвязками! Какие лапочки! Придушить и прибрать к рукам все. Все!

Он раскинул руки крестом и засмеялся. От этого лающего смеха мне стало не по себе, мне показалось, что Сильвио тронулся.

— Решительности нам не хватает! Решительности!

Он встал, бросил недокуренную сигарету на ковер, раздавил ее. Завоняло паленой шерстью.

— Они два века мудохались со своей соборностью, с Третьим Римом и особой миссией. Все эти бердяевы-соловьевы, импотенты хреновы! Особый путь! Вот он — особый путь!

Ковер тлел, Сильвио подошел, нагнулся, разглядывая белый дымок, брезгливо выплеснул туда остатки коньяка.

— Вот она — особая миссия! Сила и воля! Главное, перестать врать, скинуть маску лицемерия, послать на хер политкорректность! Пусть они в своих демократиях с этой политкорректностью коноебятся!

Сильвио сел и ласково взглянул мне в глаза.

— Знаешь, Митя, что я сегодня сделал? В качестве жеста доброй воли и моего личного подарка международному сообществу?

Он ждал ответа, и я послушно буркнул:

— Нет, не знаю.

Сильвио заулыбался.

— Я отправил эскадрилью стратегических бомбардировщиков в Ирак. Ровно через... — он театральным жестом вскинул руку с часами. — Ровно через два часа и двадцать минут мои соколы нанесут ядерный удар по Багдаду, столице самопровозглашенной Исламской Республики. Удары будут нанесены по Феллудже и Басре. Таким образом проблема мусульманского терроризма будет решена.

Я уже был изрядно пьян, сказать что-то членораздельное у меня не получилось.

— Знаю-знаю, — с доброй докторской усмешкой остановил меня Сильвио. — Знаю! Мирное население, города, коммуникации и инфраструктура, да? Больницы, школы, роддома, да? Да! Да, да, да! Ведь именно поэтому вся эта бородатая сволочь и считала себя неуязвимой, пользуясь тактикой внедрения в города, использование мирных жителей в качестве — извини за штамп — в качестве живого щита. Пока по Женевам и Нью-Йоркам в международных организациях кисейные барышни охали и ахали, не зная как же быть с бандитами, провозгласившими себя государством, болезнь разрослась, окрепла и действительно подмяла под себя целую страну. Исламская Республика стала магнитом для подонков и мрази со всех континентов, там почти пятнадцать тысяч из России. Кстати, бегут к ним и из твоей Америки.

— Сильвио, — выдавил я. — Ты что, охренел?

— Вовсе нет, — он даже не обиделся. — Америка заплыла жиром, Европа — дохлая медуза, одна Германия чего-то стоит, да только у немцев после Адольфа на такие мероприятия встает очень вяло. Я ж говорю тебе — импотенция! Ну а ведь если по-честному...

Он подался ко мне, точно собирался сообщить секрет.

— Если по правде, то и Америка, и Германия были бы совсем не против, если бы кто-то... — он подмигнул. — Сковырнул эту исламскую болячку. Это ведь те же ребята, что поджарили Хиросиму и построили Освенцим. Ты что ж, думаешь, милый друг, за сто лет там сильно мораль изменилась? Новый гомо сапиенс вывелся? Прекрасный ликом и душой?

— Ты — волк... — я дотянулся до бутылки, плеснул себе. — Понятно...

— Что? — Сильвио глупо улыбнулся. — В каком смысле?

— Помнишь, по зоологии... В школе... Санитар леса.

Сильвио опешил, потом захохотал. Он смеялся от души, захлебываясь своими руладами, краснея лицом и хлопая себя по ляжкам. Он хохотал и хохотал. На багровой шее вздулись серые вены, я испугался, что его сейчас хватит удар.

45

Наверное уже наступил вечер, а может, и ночь. Голова налилась свинцом и болела немилосердно. Впрочем, конец разговора отпечатался в моем мозгу четко, как на фотобумаге. Каждая фраза и каждое слово.

— На этом, дорогой Митя, мы поставим точку.

Лицо Сильвио расплывалось и виделось мне бурым яйцом с серебристым венчиком.

— Отсюда тебя отвезут в аэропорт, — продолжило бурое яйцо. — Утром ты будешь в своем Нью-Йорке. Точка.

— А мой сын?

— Точка, — хмуро повторило яйцо.

— Я без... — начал я с тихим упрямством.

— Точка! — внезапно заорал Сильвио. — Точка!! Я сказал! Чего тебе неясно в этом слове, твою мать? Точка!

Его лицо как-то само вошло в фокус, Сильвестров был красен, как вареный рак, и зол, как черт. Он был в бешенстве. Меня удивила яркость его глаз, из мутно серых они стали почти голубыми.

— Не искушай меня, Незлобин, — Сильвио дыхнул коньяком мне в лицо. — Христом богом прошу — не искушай! Всю эту гоп-компанию надо бы, по-хорошему, прогнать через пыточную камеру — так, для юмору, а после живьем закопать.

Где-то я недавно уже слышал про это, я попытался вспомнить и не смог.

— Террористы будут казнены, — он грохнул ладонью в стол. — А ты полетишь в Нью-Йорк. И отпускаю я тебя не из сентиментальных юношеских соплей, а поскольку знаю — ты ни при чем.

— Ты уверен? — язвительно спросил я.

Он замолчал, посмотрел на меня и улыбнулся, грустно, как улыбаются больным детям.

— Незлобин, друг ты мой ситный. Ты знаешь, я иногда даже завидую тебе — твоей наивности, твоей... как бы это сказать, — невинности. Девственности. Ты так и не вырос... Ты ж и сейчас, как пастушка на лугу, вереск до пупка, а в глазах васильки. На курсе тебя считали блаженным, чокнутым. Чуть ли не кретином... А мне как раз именно это простодушие твое и нравилась — с тобой поговоришь, точно по берегу

моря прогулялся. Свежо, романтично и пеной пахнет. После всякого дерьма, знаешь, как приятно...

Я сглотнул и стиснул ладони под столом.

— Так приятно... — мечтательно повторил Сильвио. — Изящный юноша, к тому же интеллектуал — Данте по памяти шпарит... Помнишь, как ты этим клушам что-то из «Божественной комедии» залепил... Умора! Они так и сели. Клуши. А ты — обаятельный, с манерами, как юный лорд, потерпевший кораблекрушение. Точно злая буря занесла тебя к нам в королевство бескрайних помоек. У тебя шпага на боку и роза в петлице, а у нас тут щами воняет и все под банкой с утра пораньше.

Сильвио усмехнулся. Я сиплым голосом проговорил:

— А я думал — мы с тобой...

Он вопросительно поглядел на меня.

— Думал... мы друзья... — наконец выдавил я.

Сильвио заржал, вдруг остановился и раздраженно гаркнул:

— Дружба? Какая на хер дружба?! Тебе что — тринадцать лет?

Он смотрел на меня своими голубыми глазами, смотрел с равнодушной брезгливостью, как смотрят на калек у церкви. Белая комната качнулась, я впился ногтями в подлокотник кресла, у меня перехватило горло. Напрягая каждый нерв, я сжал зубы. Казалось, что крен усиливается и кресло вот-вот начнет сползать по ковру.

— Ну ты и гад... — сквозь зубы просипел я.

Он пожал плечом, потом, точно вспомнив, сказал:

— Кстати, спасибо за помощь. Ты нас прямиком на этих подонков вывел, мои ребята за твоим маячком...

— Маячком? Каким маячком? Не было маячка, выбросил я телефон твой! Выбросил!

Сильвио заулыбался, довольно откинулся в кресле.

— Пропуск! Пластиковая карточка, дружище! В ней чип был, в ней, родимой.

— Врешь ты! — бессильно заорал я, бросаясь на него. — Врешь!

46

Подлец не врал насчет пыточных камер: они были и там действительно пытали. Боли я почти не чувствовал, рот наполнялся горячей кровью, густой и соленой, и мешался с привкусом крови Сильвио — его кровь была тошнотворно горькой, — впрочем, какой еще на вкус должна быть кровь тирана?

Прежде чем охране удалось оторвать меня от него, я почти откусил Сильвио ухо. Он, весь заляпанный кровью, сидел на ковре и обеими руками прижимал ухо к черепу, точно пытаясь приклеить его обратно. Охранники ломали мне руки, я рычал и плевался, Сильвио растерянно скулил.

— Сволочь... Ну что ты натворил? Вот ведь сволочь...

Я пытался схватить руку, бившую меня по лицу, — безуспешно, потом упал ничком на ковер. Меня скрутили и поволокли из комнаты, Сильвио гаркнул мне вдогонку:

— Юродивый! Ну и подыхай со своим выблядком! Я ведь хотел спасти тебя!

— Пилат хренов! — удалось прохрипеть мне. — Мелок ты, Сильвестров, для Пилата!

Охранник, с удовольствием гакнув, крепко саданул мне в солнечное сплетение.

— Да и ты не Иисус Христос!

Последнюю фразу Сильвио я услышал уже из коридора.

В пыточной камере я почти сразу потерял сознание, сразу после первых ударов. Свет вспыхнул и медленно погас, меня накрыла вязкая тьма. Я бесконечно опускался в эту тьму, падал и падал, как падает утопленник в океанскую толщу, в пустоту Марианской впадины, безо всякой надежды когда-нибудь достигнуть дна. По чернильному бархату скользили какие-то тени, — то ли чудовищные рыбы, то ли отражения

комет. В их сонных хвостах, как в венецианских шлейфах мелкой россыпью вспыхивали блестки сапфиров, тускло мерцали кровавые рубины, таинственно сияли изумруды. Томные спирали этих лент завораживали — я подумал, что если это и есть смерть, то наши земные страхи явно преувеличены. Я подумал о ней и она появилась. Без хищной ржавой косы и черного капюшона, в тени которого мерещится щербатый оскал. Но и без балаганной бутафории я сразу узнал ее.

Смерть выплыла из гробового мрака, торжественная, как языческая царица, она направлялась прямо ко мне в окружении свиты фонарщиков. Глаза ее, нет, не глаза — темные очи смотрели с ласковым спокойствием. Это спокойствие передалось и мне. Она плавно подняла руку, фонарщики вытянулись на цыпочках, готовясь задуть свои лампы.

— Погодите... — остановил их я. — А как же мой сын?

Смерть задержала взмах, подумала, потом согласно кивнула. Прикрыла глаза. Фонарщики опустили лампы, разочарованно выдохнули в сторону. И тут же магическая процессия начала растворяться, таять, тьма вздрогнула и стала мутнеть, точно небо в предрассветный час. Растаяли ленты и спирали, погасли сапфиры, все вокруг залила тягучая сизая муть. Откуда-то донесся звон бубенцов, звук становился резче и назойливей, он рос до тех пор, пока мой мозг не наполнился отчаянным звоном, а тело свирепой болью. Казалось, я весь состою из этой боли.

Чьи-то руки отодрали меня от липкого цементного пола и куда-то поволокли. Чавкнула дверь, грохнул железом замок. Затопали кованные подошвы. Эхо тугой болью отдалось в голове.

— Этого куда?

— В сорок седьмую.

— Так там уже один есть.

— Тащи, урод!

— Тащи, тащи... — недовольно пробормотал урод. — Начальников, бля, развелось... Чего таскать, один хер по утрянке всех к стенке поставят.

47

Меня пинком втолкнули в камеру, грохнула дверь, лязгнул засов. В углу, привалясь спиной к стене, сидел мой сын. Безвольно раскинув руки с обращенными к потолку ладонями и вытянув босые ноги, он, казалось, дремал. Его меловые ступни были самым светлым пятном в камере.

Мне удалось встать на карачки, мне было очень худо. Шатаясь, как раненый зверь, я дополз до него, осторожно тронул за ногу. Он устало поднял голову.

— А-а, отец... — приоткрыл он запекшийся рот.

Передние зубы были выбиты.

— Митя... — я нашел его ладонь, сжал, у меня хватило сил, чтобы не завыть в голос.

Не выпуская его руки, я сел рядом. С силой вдавив затылок в холодную побелку стены, закрыл глаза. Мне вдруг стало по-настоящему страшно. Ледяная жуть вползла в мое нутро, переполнила душу, — господи, что я могу?! Бессилие, беспомощность... Плевать на меня, черт со мной, но как же он? Мальчишка ведь, как же так, господи? Зловещее величие, да, конечно, очень впечатляет, но где же милосердие твое?

— Отец...

— Да, — не открывая глаз, отозвался я.

— Прости. Ты из-за меня...

— Ну ты... — сдерживая дрожащие губы, пробормотал я. — Ты брось...

— Знаешь... — он запнулся. — Завтра утром...

— Чушь, — я стиснул его ладонь. — Все это чушь, мой милый мальчик, поверь мне. Собачья чушь... Поверь.

Сонная лампа в потолке моргнула и погасла. Чернота скрыла грязные беленые стены и кованую дверь. Темнота казалась абсолютной. Время остановилось.

— Ты тут? — непринужденным шепотом спросил я.

Он тихо засмеялся, потом закашлялся.

— Хочешь, я расскажу тебе про твоего деда? — негромко предложил я. — Про моего отца... Я тебе не рассказывал, как он спас меня? Давно, миллион лет тому назад...

Мне показалось, нет, я был уверен, что он улыбается в темноте.

— Корабль назывался «Ливадия», его черные трубы были выше маяка, выше портовых кранов. Корабль был огромен, как город. Рестораны и казино, кинотеатры, — даже настоящая аллея с живыми розами и фонтаном, в котором плавали золотые китайские рыбки... Представляешь?

Я почувствовал, как сын кивнул.

— Отец был музыкантом, играл на саксофоне, играл, как бог. Правда-правда... Особенно в тот вечер. Он называл это «экстазом святой Терезы», знаешь, то состояние, когда ангел ведет тебя...

Сквозь тьму камеры проступил тот вечер: блеск люстр, янтарные отражения в сияющем паркете, — все ясно и четко, будто было это вчера. В мельчайших деталях, вплоть до ванильного запаха свечей и тихого перезвона хрустальных бокалов, — как же такое возможно, ведь столько лет прошло? Отец с золотым саксофоном на краю сцены, чуткий, как струна, гордый, точно готовая взлететь птица. Фрачные танцоры, похожие на пингвинов, бледные спины их партнерш, плавные официанты в белоснежных перчатках с алыми бутонами в петлицах.

— А дальше? — сын тронул мою руку.

— А дальше было вот что...

Я продолжил рассказ — картины прошлого оживали и торжественно вставали перед моими глазами: тающая полоска берега с уплывающим вечерним городом, прощальный бой башенных часов, светящиеся буи — красные и зеленые, зачаленные вдоль пирса, жутковатый глаз маяка. Я уже сам не знал, описываю я эти картины или творю своим рассказом. Вспомнился мне первый помощник капитана в роскошном кителе и наш шустрый стюарт с бритвенным шрамом на шее, и тот матрос, что нацепил на меня спасательный жилет. Или то был ангел, просто мне не удалось разглядеть крыльев?

— Меня отнесло от «Ливадии», там уже вовсю пылал пожар... Потом на корабле что-то рвануло, столб пламени взлетел до звезд, и стало светло, как днем. Я потерял сознание, очнулся в лодке. На веслах сидел мой отец. В белой фрачной рубахе с закатанными рукавами, с черной лентой развязанной бабочки, в лаковых концертных штиблетах. Кроме нас в лодке никого не было. Отец налегал на весла, греб умело и с удовольствием. Он подмигнул мне, я улыбнулся в ответ. Хорошо видел, как на его сильных руках вздулись вены, как побелели костяшки кулаков, крепко сжимавших весла.

— Он жив? — шепотом спросил сын.

— Конечно, — тоже шепотом ответил я. — Я тебя с ним познакомлю.

Сын грустно хмыкнул.

— Он ждет нас, — прошептал я. — Тебя и меня. Ждет там, где мы с ним расстались.

Я услышал всхлип, нашел в потемках ладонь сына, сжал.

— Ты что — не веришь? Мне — своему отцу? Неужели ты думаешь, мы так и будем тут сидеть, черт побери, как ягнята? Вот ведь чушь! Думаешь — их дурацкие замки-решетки-стены смогут удержать нас? Бред собачий!

Его ладонь вздрагивала, он плакал.

— Ну-ну, Митя... — я привстал на колени, взял его за плечи. — Слушай меня, слушай!

— Да, папа... я слушаю.

Глубоко вдохнув, я начал.

48

— Мы направимся в сторону моря. Мы пойдем медленно, мы не станем торопиться. Такая ночь не терпит суеты. Пойдем дюнами, на шум прибоя, на запах морской травы. Будем неспешно шагать босиком по ночному песку, еще сохранившему тепло заката. Позади останутся сосны, кряжистые и торжественные, как спящие великаны. Над дюнами будут кружить светляки — крошечные искры будут вспыхивать и таять, и вспыхивать снова. Хвойный дух сменится горьковато-свежим дыханием моря. Дюны кончатся, песок станет твердым и холодным. Мы ясно услышим ворчанье прибоя. И тут же перед нами раскроется море. Оно распахнется бескрайней равниной — плотное, как черный бархат, тускло мерцающее, как стальная чешуя дракона. Наши глаза привыкнут к темноте, прибой будет лениво пениться и откатываться назад с усталым выдохом. «Смотри! — я укажу на темный силуэт лодки у самого берега. — Я же тебе говорил — вот он, он ждет нас». Лодка будет сонно покачиваться в такт прибою, отец привстанет и помашет нам рукой с рыжим огоньком сигареты. «Ну, ребята, я уж решил, что вы передумали, — смеясь, скажет он. — Димка, ты давай на весла, а ты, Митя, прыгай на корму. Я, как старший, буду за капитана». Отец выглядит гораздо моложе меня, да так оно и есть на самом деле, но я не стану спорить, просто сяду на весла и начну грести. Уключины будут маслянисто поскрипывать, лодка плавно скользить, серебристая полоска прибоя удаляться. Берег вытянется в лиловую ленту, помутнеет и вскоре растает вовсе. Ты, сидя на корме, запрокинешь голову, ты будешь улыбаться. От свежего морского духа, ладных весел, от ультрамариновых бликов на покатых волнах, от твоей улыбки и ванильного запаха отцовского табака мне станет легко и особенно хорошо. Наверное, так ощущается счастье. «А звезд-то, звезд сколько!» — отец щедрым жестом, точно делясь с нами своими сокровищами, обведет небосвод. Он прав, такого звездного неба ты еще не видел. Между ковшом Большой и Малой Медведиц вытянет когтистые лапы Дракон, Орион, опоясанный трехзвездным поясом, неспешно взмахнет своей суковатой дубинкой, в лазоревых всполохах туманная Андромеда будет расчесывать мерцающие волосы хрустальным гребнем. Перечеркивая Млечный Путь длинным сияющим шлейфом, торжественно проплывет комета, за ней другая. «Еще одна!» — восторженно крикнешь ты, указывая рукой в звездную бездну. «Тут так каждую ночь — звезды с неба просто сыпятся. Желаний не хватит загадывать», — вкусно затягиваясь, скажет отец вальяжным тоном. Он любит из себя строить барина, наш папаша. Закинув ногу на ногу, он будет покачивать лакированным штиблетом, в котором бескорыстно отразятся несколько галактик сразу. «А куда мы плывем?» — спросишь ты его. «Как куда? — удивится отец. — Туда, за горизонт. Жить! Разве ты не знал, что именно там и начинается настоящая жизнь?»

В далекой Москве наступал час рассвета. Погода снова не задалась, грязное небо из коричневого стало бурым, с большой неохотой впуская утренний свет невидимого солнца. Солнцу пробиться так и не удалось, а дальше дела пошли еще хуже — низкие облака посерели, грузно осели на город, из них начал сыпать мелкий нудный дождь. Такая осенняя гадость явно зарядила на весь день, дождь шел монотонно, с тихим упорством поливал Арбат и Замоскворечье, Крымскую набережную, Манеж и Таганку, лил на пустые мосты, с тоскливым однообразием стучал по крышам, по мостовым и тротуарам.

В кремлевском лазарете на потных простынях метался в жарком бреду Глеб Сильвестров; ухо удалось спасти, его пришили, наложив семнадцать швов, но потом началось загноение, температура подскочила до сорока, и местный доктор с оперной

фамилией Хрустальных прописал фортотеррациклин — внутримышечно, по пять миллиграмм, который, с ласковым спокойствием, колола в бледные ягодицы больного красавица-медсестра Карина, крутобедрая, с мускулистыми ляжками, больше похожая на цирковую наездницу, чем на сестру милосердия.

На жесткой койке одиночной камеры смертников спала Анна Гринева, главный организатор покушения на президента Пилепина. Ей снился Николай Королев по кличке Харон — ее последний мужчина, профессиональный солдат и профессиональный убийца, но в целом очень симпатичный человек. В темное окно, забранное решеткой, мерно стучал дождь, Анна тихо улыбалась во сне. Жить ей оставалось меньше часа.

На Лубянке, в глухом колодце двора внутренней тюрьмы, солдаты расстрельного взвода курили под жестяным навесом, тихо матеря погоду и какого-то лейтенанта Козырева. Солдаты кашляли, щурились, потирали озябшие красные руки, уныло переводя взгляд с грязных луж на мокрую кирпичную стену, у которой по слухам расстреляли самого Бухарина. От дождя кирпич стал ярким, почти морковного цвета.

В подвале внутренней тюрьмы по душным и смрадным коридорам, тяжело топая сапогами, пошли тюремщики. За ними следовала охрана, вооруженная тупорылыми автоматами. Злые с недосыпу, сипло ругаясь, тюремщики с грохотом отпирали двери, камеру за камерой, дверь за дверью. Они что-то орали в темные камеры, кому-то грозили, будто сидящих там можно было еще чем-то испугать. Будто в этом аду у кого-то еще остался страх. Гремели засовы, стучали двери. Открыли и нашу дверь, что, впрочем, уже не имело ни малейшего значения — к этому моменту наша лодка пересекла линию горизонта, и мы вплыли в леденцово-лимонное сияние, за которым, как уверял мой отец, и начинается настоящая жизнь.

Осторожно: будущее наступает!

Жанр предупреждения в литературе и кино

Вячеслав Рыбаков

Мечты об улице Вязов

В это трудно теперь поверить, но каких-то полтора века назад цивилизованное человечество было убеждено, что технический прогресс непременно будет сопровождаться прогрессом социальным, а тот, в свою очередь, автоматически потянет за собой прогресс нравственный.

Вся, например, фантастика Жюля Верна пронизана этой верой. Даже описывая современную ему реальность, где действуют персонажи, персонифицирующие научный прогресс, — инженеры, ученые, энтузиасты науки и техники — основоположник научной фантастики фактически преподносил их как лучших людей, людей новой формации, увлеченных не жестоким самоутверждением и не погоней за золотыми миражами, но поисками истины, преображением природы, конструктивным воздействием на окружающий мир, которое имеет исключительно позитивный характер.

Столетие спустя в нашей стране дань той же благородной грезе сполна отдали в своих ранних, самых лучезарных произведениях братья Стругацкие. Описывая светлое коммунистическое завтра и населяя его самыми славными и самыми симпатичными типажами, прототипами которых нередко являлись их же коллеги, великие фантасты и гуманисты сами верили и нас открытым текстом уверяли в том, что уже сейчас, в шестидесятых годах прошлого века, в советских обсерваториях и лабораториях есть множество людей, готовых для коммунизма. И оказались настолько убедительны и художественно достоверны, что и до сих пор несколько поколений их читателей, давно уже кто повзрослев, а кто и одряхлев, и по большей части вполне став плоть от плоти неприглядной реальности, в душах своих не могут расстаться со светлячком, что именуется Миром Полудня, и украдкой греют об него свои старые кости.

Впрочем, мне рассказывали работники некоторых питерских библиотек, что после многих лет забвения в последнее время молодежь снова начала читать

Рыбаков Вячеслав Михайлович (р. 1954) — ученый-востоковед, доктор исторических наук, прозаик (автор более двух десятков книг) и сценарист (в том числе автор сценария фильма «Письма мертвого человека»). Живет в Санкт-Петербурге.

утопии ранних Стругацких. Порой, как во времена моей юности, из рук друг у друга рвут. Обрыдла чернуха, и сохранившие вменяемость люди совершенно неизбежно начинают искать посюстороннюю духоподъемную альтернативу. Потребность в эмоционально привлекательной перспективе совершенно естественна для человека и обусловлена базовой его потребностью и способностью к сознательному целеполаганию; собственно, только она и отличает человека от животного. А современная литература этот запрос удовлетворить не способна в принципе.

Но сейчас не об этом.

Уже через считанные десятилетия после Жюля Верна и задолго до Стругацких другой великий фантаст и гуманист, Герберт Уэллс, может, и не впервые задумался, но впервые с поразительной художественной силой поделился плодами своих размышлений о том, что технический прогресс совсем не обязательно чреват добром и счастьем.

Разорванное прогрессом на элоев и морлоков человечество, безупречно рациональная жестокость доктора Моро и ледяное бездушие далеко обогнавших нас в техническом отношении марсиан не смогли никого спасти и уберечь от концлагерей в Трансваале, газовой атаки под Ипром, пролетарской справедливости, попыток окончательно решить еврейский вопрос или атомной вспышки над Хиросимой, однако сделали то, больше чего и сам Христос в мире сем не мог: «Кто имеет уши слышать, да слышит! И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им?».

Так буквально на плечах технической и социальной утопии в мир ворвалась техническая и социальная антиутопия.

Впрочем, они всегда шли бок о бок, и порой нелегко отличить одну от другой.

Скажем, «Город Солнца» Кампанеллы считается утопией. Но когда читаешь что-нибудь вроде «Хромые несут сторожевую службу, так как обладают зрением; слепые чешут руками шерсть, щиплют пух для тюфяков и подушек; те, кто лишен и глаз и рук, служат государству своим слухом, голосом и т.д. Наконец, ежели кто-нибудь владеет всего одним каким-либо членом, то он работает с помощью его хотя бы в деревне, получает хорошее содержание и служит соглядатаем, донося государству обо всем, что услышит», — то понимаешь, что ни одна поздняя антиутопия не сравнится по омерзительности с ренессансными представлениями об идеальном обществе.

«Освобожденный мир» Уэллса тоже явная утопия. Однако и там есть свои странности. В описании борьбы мирового правительства с глобальным послевоенным голодомором читаем: «...В азиатской части России хранились колоссальные запасы продовольствия... его необходимо было как можно быстрее доставить туда, где свирепствовал голод...» Хорошо, но кто-то из россиян участвовал в принятии этого человеколюбивого решения? Грубо говоря, производителей продовольствия спросили? Среди упоминаемых Уэллсом членов всемирного совета есть англичане, французы, итальянцы, японцы, даже индийцы. Есть среди них американский президент и несколько продвинутых молодых монархов Европы. Но ни одной русской персоны не обнаруживается. А ведь если спуститься с небес на землю, для изъятия продовольствия из Сибири обязательно понадобились бы хорошо знакомые нам по нашей кровавой реальной истории продотряды. Только изымали бы они хлебушек даже не для злых кремлевских большевиков, то есть не для умирающих с голодухи российских же индустриальных центров, а в действительно гуманных целях: для всего человечества.

Что одному утопия — другому антиутопия. Увы. Сложно все в этой жизни.

В западной фантастике для изображения светлого будущего, как правило, достаточно было простого количественного увеличения уже существующих благ и удобств. Там своя сказка: нет таких неприятностей и бед, что не победил бы простой славный американский парень. Поднапрягшись как следует, даже, возможно, получив пару раз по сопатке и — жутко подумать о подобных лишениях! — как-то утром не сумев обеспечить любимой девушке горячего душа и мытья головы правильным шампунем, он обязательно ликвидирует спровоцированное пришельцами, безумными учеными, религиозными фанатиками и пр., нужное подчеркнуть, локальное ухудшение мира, который в целом-то ни в каких принципиальных улучшениях не нуждается. Только если мир изменен качественно, простой славный парень ничего не может поделать. Качественные изменения существующего мира всегда к худу.

В СССР же улучшение мира мыслилось только качественным; о количественном улучшении уже существующего не думалось. Это было прежде всего, неинтересно. Блекло. И не в традиции культуры. Количественные улучшения подразумевались как неважные, естественные, автоматически происходящие следствия кардинального качественного улучшения.

В то же время с антиутопией у советской литературы отношения складывались сложно. Поскольку знаменитые антиутопии «Мы», «1984» или «Прекрасный новый мир» были заподозрены в том, что являются критикой советского строя (вот уж воистину на воре шапка горит!), отечественным фантастам этот важнейший жанр (вид, тип) литературы был заказан.

Но ничего не поделать со стремлением всякого порядочного человека мечтать не только о прекрасном. Не только представлять себе во плоти желаемое, но и предупреждать о нежелаемом.

Ничего не поделать с мечтой о том, чтобы нежелаемого не стало, чтобы оно не сбылось.

Куда деть простое и естественное «Не спи — замерзнешь!» или «Не пили сук, на котором сидишь!»? Куда деть непреодолимую потребность показывать воочию неприглядные черты вероятного будущего, которые многим еще не видны, а писателю с его воображением и талантом, с его высочайшим чувством сострадания и не менее высоким чувством ответственности — уже видны?..

В судьбоносные шестидесятые годы замечательные исследователи и критики научной фантастики Евгений Брандис и Владимир Дмитревский сформулировали концепцию, согласно которой антиутопия — это одно, а роман-предупреждение или повесть-предупреждение — это совершенно иное. Безусловно, у их теории была прикладная задача: «отмазать» тех наших фантастов, что уже не могли писать о безальтернативно благостном грядущем и начинали бить в набат. Но имелся у нее и вполне реальный эвристический потенциал. Роман-предупреждение описывает, к каким негативным последствиям могут в будущем привести тенденции, уже возникшие и набирающие силу в настоящем, если вовремя их не разглядеть и им не противодействовать. Положительный персонаж здесь — тот, кто стремится к изменениям. Антиутопия же, наоборот, описывает, в какой кошмар может превратиться наш мир, если он кого-то не устраивает. Следовательно, предупреждение мотивирует на действие, на коррекцию курса, на осуществление перемен. Антиутопия мотивирует на пассивное поддержание статус-кво, на борьбу со всякими попытками изменить жизнь. Пример для подражания в ней — тот, кто борется с изменениями. Грубо говоря, в предупреждении ругают не туда пошедшее свое, а в антиутопии — сунувшееся

к нам чужое. Ну, и для вящего удовлетворения тогдашних партийных идеологов объявлялось, что предупреждение отражает открытость будущему, а антиутопия — страх перед будущим. Стало быть, антиутопии пишут в капиталистическом обществе, чтобы сделать господство буржуазии вечным, а предупреждения — в социалистическом, чтобы тем увереннее двигаться в светлое завтра, и это правильно, это по-нашенски, в этом нет ничего антисоветского.

Собственно, западные фантасты полагали примерно так же, только глядели со своей колокольни. Рэй Брэдбери: «Фантасты не предсказывают будущее, они его предотвращают». Айзек Азимов: «Может, американская система и не безупречна, тем не менее наши писатели-фантасты серьезно сомневаются в том, что какое-либо новое общество будет лучше».

В семидесятых-восьмидесятых я тоже был уверен, что предупреждения играют сугубо положительную роль. Да по большому счету и теперь так думаю. Впервые мне пришлось публично отвечать на вопрос о целесообразности художественных предупреждений в далеком 1987 году, когда участникам собравшегося в Москве VII конгресса «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» был показан фильм «Письма мертвого человека», а потом создатели фильма отвечали на вопросы из зала. Помнится, я говорил о том, что читать или слышать о неблагоприятном будущем избегают именно те, кто не хочет прикладывать усилий для построения будущего благоприятного, а сосредоточился на высасывании соков из благоприятного для себя настоящего. В предупреждениях человечество или отдельные народы либо страны нащупывают недопустимые варианты развития, опробовать которые в реальности не могут себе позволить, ибо пробы чреваты тем, что уже некому окажется мотать полученный опыт на ус. А художественная достоверность предупреждений играет важнейшую роль потому, что чем больше переживаний возникает по ходу просмотра или чтения, тем полноценнее они заменяют грядущий реальный ожог, тем более мощный эмоциональный блок ставят, тем сильнее мотивируют избежать данного варианта развития любой ценой.

Всем этим возвышенным умствованиям пришел конец, когда храм искусства оккупировали менялы.

Антиутопия оказалась коммерчески куда более выгодным жанром, нежели многие иные. И в результате превратилась в разновидность ужастика. От чего может предостеречь Фредди Крюгер? Кто всерьез может мечтать о том, чтобы он не пришел? Всем и так понятно, что он не придет. Придет безработица, придет климатический хаос, придет помойка размером с Тихий океан, нескончаемо варящаяся в горячих струях Эль-Ниньо, придет медикаментозное разрушение иммунной системы, придет террорист с грязной бомбой, придет тотальное взаимное неуважение, так что каждый окажется сам по себе, тет-а-тет со своей истиной, которая для всех остальных либо смешная фигня, либо вовсе пугало... Фредди Крюгер не придет наверняка. Так что вот на нем-то мы и сосредоточимся. Ведь так сладко побеждать несуществующие опасности, лежа на диване после полного унижений, состязаний в хамстве и компромиссов с совестью трудового дня.

А закон ужастика таков: чтобы быть продаваемым вновь и вновь, надо всякий раз придумывать еще более жуткого и еще более отвратительного Фредди Крюгера. Повторился — разорился. Художественный поиск и прогностическое нащупывание превращаются в соревнование потрошителей. Отравителей. Очернителей. Выжигателей и опошлителей, апостолов фанатичной веры в неверие. Чем большую мерзость придумал про будущее — тем уверенней жируешь в

настоящем. Совершенно неважно, имеет ли придуманное хоть какое-то отношение к реальным опасностям и невзгодам. Важно, чтобы читателя/зрителя при мысли о будущем тошнило все шибче и волосы поднимались дыбом все бодрей.

Постепенно этот вал начинает играть роль, прямо противоположную роли предупреждений. Он не избегать нежелательного мотивирует, а наоборот, приучает к нему, обеспечивает привыкание, снижение болевого порога. Отупляет и развращает. Если насилуют во всех книгах, то и в жизни это, наверное, норма? А чего ж я-то, дурень, до сих пор не попробовал?

Есть у такого рода ужастиков и еще одна неприятная черта. Особенно ярко и выпукло она, как и многое другое, проявляется в нашей стране, в нашей культуре.

Дело в том, что классическая антиутопия, и в равной с нею мере — классическое предупреждение, непременно переносили в мир, где уменьшены степени свободы.

Свобода и мечта о ее неуклонном возрастании — один из краеугольных камней современной культуры. Этот пункт программы едва ли не сакрален. И не зря антиутопии столь действенно пугали тем, что в принципиально измененном мире человек окажется менее свободен, чем в реальности. И не зря предупреждения столь же эффективно пугали тем, что если все будет идти, как идет, человек, сам того не замечая, будет становиться все несвободнее. С перспективой утраты уже достигнутого уровня свободы и мечты об освобождении куда-то все дальше и дальше люди не способны примириться. Ощущение того, что вчера это было еще нельзя, а сегодня это же самое уже можно, стало тождественно ощущению социального прогресса. И поэтому ужастики о будущем едва ли не в первую очередь пугают именно ограничением свободы.

Но за последние десятилетия стараниями властителей дум свобода стала ассоциироваться исключительно со свободой предательства. А вот свобода верности оказалась ошельмована как неумение жить своим умом и добровольное рабство. Свободно выбрать измену — почет, признак масштаба личности. Свободно выбрать преданность — позор, клеймо недоумка и труса. Власов — благородная мятущаяся душа, наделавшая ошибок лишь потому, что наш мир не создан для идеалистов. А Жуков — тупой кровавый мясник и прихвостень преступного режима.

И потому наши ужастики на все лады стращают усыханием свободы предавать и повышением престижа свободы сохранять верность.

Как будто не хватает нам реальных страшных угроз.

Поэтому к нынешним антиутопиям ли, предупреждениям ли я отношусь с огромным недоверием. Их суммарное воздействие вообще парализует способность к целеполаганию и индуцирует одно-единственное переживание: все — дерьмо, и только я один весь в белом. Так что пока современный создатель мрачных моделей конечным смыслом своего текста или вообще жизненной позицией своей не докажет обратного, я подозреваю в нем ушлого и бессовестного торгаша, которому на самом-то деле на все, здесь происходящее, глубоко плевать.

Роман Арбитман

Не только Третья мировая

Судя по фильмам-предупреждениям, к Апокалипсису ведут десятки дорог

Кинематограф появился в самом конце девятнадцатого века, а сменивший его двадцатый стал веком масштабнейших катаклизмов — моральных, политических, военных, экологических. Предсказанные Александром Блоком «неслыханные перемены, невиданные мятежи» происходили так стремительно, что поначалу кинематограф едва успевал их просто запечатлевать на пленке, без художественных обобщений и уж тем более без экстраполяций. Очень популярный жанр предупреждения в фантастике-прозе за несколько первых десятилетий существования кино почти не попадал на экраны — «Метрополис» Фрица Ланга (1926) и «Облик грядущего» Уильяма Кэмерона Мензиса (1936) были, скорее, исключением из правил.

После Второй мировой войны ситуация существенно изменилась: человек с киноаппаратом окончательно перестал быть только ошеломленным хроникером вчерашних ужасов, а превратился в сочинителя киноисторий о глобальных катастрофах завтрашнего дня. Атомные кошмары Хиросимы и Нагасаки в эпоху противостояния Востока и Запада надолго стали напоминанием о том, что будущее всего человечества отныне под вопросом. Мир теперь был хрупок, крайне уязвим и балансировал на грани Апокалипсиса. О ракетных шахтах и красных кнопках в чемоданчиках лидеров сверхдержав знали даже школьники. Заснув вечером в своей квартире, утром любой житель Земли рисковал проснуться в атомном аду.

Кинофантастика возвела жанр предупреждения на новый уровень, помогла сделаться еще нагляднее. Своеобразными вехами стали фильмы «На берегу» Стэнли Крамера (1959) и «На следующий день» Николаса Майера (1983) — оба о будущей ядерной войне и ее последствиях. Первый, полный мрачных метафор, оказался камертоном кинокатастрофизма на четверть века вперед. Второй, снятый без художественных изысков, зато со спецэффектами, запечатлел конец света с бесстрастностью учебного фильма по гражданской обороне. Любопытно, что картина Майера через четыре года после выхода на телеэкраны США была показана и по советскому ТВ. В это время уже шла горбачевская перестройка, которая свела опасность третьей мировой войны к минимуму. После 1991 года, когда Россия попрощалась с коммунистической химерой, «атомная» тема перестала быть актуальной: жуткие кинопрогнозы превратились в умозрительные страшилки, казалось бы, навсегда.

К сожалению, нынешний всплеск политического конфликта России и Запада заставляет задуматься: не вернется ли на экраны забытая тема? Когда

Арбитман Роман Эмильевич (р. 1962) — литературный и кинокритик, писатель (один из псевдонимов — Лев Гурский). Автор более двух десятков книг. Живет в Саратове.

теведущий государственного канала обещает превратить Америку в «радиоактивный пепел», а четверть опрошенных россиян высказывается за применение атомного оружия в случае «внешнего вторжения в Крым», западные сценаристы смахивают пыль с кино- и телесюжетов минувших времен. И уже в новом сезоне американского сериала «Государственный секретарь» на первый план выдвигается тема российско-американского противостояния, чреватого атомной войной. А весной этого года на BBC проходит премьера английского фильма «Третья мировая война: в командном пункте». Картина снята в квазидокументальном жанре и рассказывает о гипотетическом военном столкновении России и Латвии, ставшем детонатором глобальной войны с применением тактического ядерного оружия...

Стоп, не будем больше о третьей мировой. Хочется верить, что люди вовремя одумаются: пальцы не надавят на красные кнопки, ракеты останутся в шахтах, бомбы не взорвутся. Тем не менее у человечества остается множество шансов из эры компьютеров откатиться обратно в каменный век — или, в лучшем случае, сохранить немногое из нынешних завоеваний разума.

«Восемь миллионов жителей тут же принялись затаптывать друг друга насмерть на мостах и в туннелях. Выжившие рассеялись за городом — словно саранча, словно полчища чумных крыс. Они заражали воду. Распространяли брюшной тиф, дифтерит, венерические болезни. Кусали, рвали, убивали, грабили, насиловали. Питались дохлыми собаками и трупами детей... То же самое происходило в Чикаго, Детройте, Вашингтоне, Лондоне, Париже, Бомбее, Шанхае, Токио, Москве, Киеве и Сталинграде — в каждой столице, в каждом промышленном центре, на каждом железнодорожном узле, во всем мире. Цивилизация была разрушена без единого выстрела. Никак не могу понять: почему военные считают, что без бомб не обойтись?» Цитата из антиутопии Олдоса Хаксли «Обезьяна и сущность» (1948) напоминает нам о вариантах кинокатастроф, создатели которых обошлись без мировых войн и даже сверхъестественных событий, вроде нашествия зомби.

В том же году, когда вышла эта книга Хаксли, Джордж Оруэлл написал свой роман-предупреждение «1984» об угрозе тоталитарной диктатуры. Двенадцать лет спустя роман был экранизирован. Через десять лет Франсуа Трюффо снял картину по мотивам еще одной знаковой антиутопии — «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери: о мире, где чтение книг считается преступным. В 1984 году появились вторая экранизация Оруэлла и одновременно с ней — кафкианская «Бразилия» Терри Гиллиама (в этой версии будущего карательную функцию выполняет Министерство информации). Из фильмов, снятых в нынешнем столетии, назовем «Эквилибриум» (2002) Курта Виммера: в центре внимания вновь диктаторский режим, при котором проявление эмоций считается преступлением. И поскольку эмоции под запретом, запрещено и искусство — картины, литература, музыка. Когда вначале из огнеметов сжигают «Джоконду», переклички с Брэдбери очевидны. Мир, оставшийся без чувств, обречен на вымирание. Одна надежда — на тех немногих, кто не хочет мириться с фантазмами в головах политических безумцев...

Следует заметить, что фильмы, подобные «Бразилии» или «Эквилибриуму», сегодня редки. В наши дни постапокалиптический жанр в кино чаще всего не связан с политикой вообще. Всемирная катастрофа вызревает как бы сама собой, без прямого участия официальных лиц из высоких сфер. В знаменитой тетралогии Джорджа Миллера о Безумном Максе (1979—2015), например, авторы абсолютизируют негативные последствия энергетического кризиса.

Итог: Земля превратилась в пустыню, а люди — в озлобленных дикарей на ржавых громыхающих повозках. Топливо стало валютой, люди убивают друг друга за канистру бензина. Кино материализует суждение о том, что цивилизация — лишь фрак на обезьяне, до поры подавившей инстинкты разрушения. Эта мысль издавна беспокоила писателей и философов. Даже оптимисты эпохи Просвещения вынуждены были признавать почти гипнотическое обаяние варварства, которому нелегко сопротивляться. В свою очередь кинофантасты благодаря избранному им жанру получали для своих экспериментов куда более обширное поле. И спешили засеять его всевозможными драконьими зубами, чтобы затем продемонстрировать всходы.

Откуда к людям может прийти беда? В принципе, откуда угодно: из космоса, из-под земли, из океанских вод, из чащи лесов, из самых глубин человеческого организма... Спусковым механизмом грядущей социальной напряженности общепланетного масштаба (и следующего за ней «бессмысленного и беспощадного бунта») могут стать, например, далекий взрыв сверхновой, вспышка на солнце, пандемия, экологическое бедствие и тому подобное — за последние полвека Голливуд, кажется, перебрал все варианты фильмов-предупреждений.

О падении метеорита-гиганта, например, сняты десятки кинолент. Прежде всего вспоминается «Столкновение с бездной» (1998) с участием Моргана Фримена. На лице его героя, президента США Тома Бэкка, — боль, усталость, несуетность, груз ответственности, скорбь об утратах и бесконечная печаль от того, что он ничем не может порадовать соотечественников: к Земле летит комета, попытка сбить ее с курса неудачна, Нью-Йорк и Вашингтон будут разрушены. За три года до сентябрьской катастрофы 2001 года в США зрители фильма Мими Ледер увидели на экране несколько апокалиптических картинок. Тут и падающая статуя Свободы, и пробитый купол Капитолия и (что особенно символично) две разрушенные башни WTC. Виноватых нет, и мстить некому: падение небесных камней — не теракт, но явление природы (или промысел Божий), и никакой Бен Ладен с «Аль-Каидой» к этому не причастен...

Существуют фильмы и о новом оледенении. Назовем хотя бы «Послезавтра» (2004, Роланд Эммерих) или недавнюю антиутопию «Сквозь снег» (2013, Пон Чжун Хо). В картине Эммериха в результате «парникового эффекта» на Землю вновь надвигается ледниковый период. Догадавшегося обо всем раньше других климатолога Джека Холла выслушивают слишком поздно — когда Англия уже подо льдом, а на Нью-Йорк обрушиваются наводнение и ледяной смерч. Большая часть бюджета фильма (125 миллионов) ушла на создание немыслимо убедительных спецэффектов утопления и заморозки городов (само собой, не обошлось дело без обледенелого торса статуи Свободы). Поэтому в картине нет звезд первого ряда, которым пришлось бы отвалить огромные гонорары. Оно и понятно: в фильме-катастрофе место суперзвезды занял ледник... Другая антиутопия, «Сквозь снег», — копродукция кинематографистов США, Южной Кореи, Чехии и Франции. Действие происходит в недалеком будущем. Человечество своей безответственностью само приблизило новый ледниковый период, и теперь все замерзло. Считается, что выжить люди могут только в огромном поезде, который несется по кругу без остановки через весь континент. В хвостовом отсеке — плебс, который питается жуткими протеиновыми плитками, а в первых вагонах — элита. Когда у народа в очередной раз забирают детей, местный бунтарь Кертис поднимает восстание. Вместе с ближайшими соратниками главный герой, борясь и побеждая, поведет восстав-

ших к первым вагонам, где ему откроется правда: механизм двигателя поезда давно сломался. Чтобы колеса могли крутиться по-прежнему, в качестве рабочей силы используют детей — для того их и забирают у обитателей хвостовых отсеков. И как поступить инсургентам? Оставить все как есть ради новых витков по кругу или сорвать стоп-кран, остановить поезд любой ценой — и попытаться выжить на мерзлой земле?..

Тема экологического бедствия в современном голливудском кино тоже достаточно популярна. Из фильмов, снятых сравнительно недавно, упомянем «Книгу Илая» (2010, Альберт Хьюз и Аллен Хьюз). Главный герой тридцать лет непрерывно идет по Америке — с востока на запад, из пустыни к океану, а под ногами только пыль, пыль, пыль от башмаков, снятых с мертвеца. Собственно, и Земля почти уже мертва: три десятилетия назад природа отыгралась на людях, разрушавших окружающую среду. В озоновом слое оказалась дыра, солнце выжгло (или ослепило) большую часть человечества, а меньшая часть, когда выползла из подземных убежищ, для начала истребила Библию — в отместку Богу за то, что он не спас. Уже по названию фильма ясно, что сюжет будет раскручиваться вокруг Библии — последней оставшейся на планете (или в Америке, что для авторов несущественно). Эту Книгу главный герой с иноческим смирением и самурайской стойкостью несет по выжженным дорогам. В фильме маловато «экшена», однако создатели «Книги Илая» и не ставили целью снять боевик: их интересовала тема Служения в чистом виде...

Напоследок следует упомянуть еще один мрачный сценарий будущего — биологический катаклизм. В 2006 году Альфонсо Куарон снял фильм «Дитя человеческое». Время действия — 2027 год. Мир погружен в хаос. В результате генетического сбоя женщины утратили способность к деторождению, и скоро человечество вымрет естественным путем. В России и в Японии, в Мексике и в Германии все горит, и кружится, и катится в тартарары. Старая добрая Англия, впрочем, еще сохраняет остатки порядка, но все — за счет жесточайшей диктатуры и полицейского преследования незаконных иммигрантов, которых загоняют в лагеря. Иммигранты сопротивляются: стреляют на улицах, устраивают взрывы... и все действия (и властей, и инсургентов) не имеют никакого смысла, если человечество обречено. Однако лейтмотивом фильма становится все-таки не отчаяние. По сюжету, одной-единственной женщине на Земле как-то удалось забеременеть. И если ее вовремя доставить в условленное место на побережье, женщину подберет судно с заманчивым названием «Завтра» — тогда, быть может, ученые сообразят, как помочь человечеству. Главный герой картины, во всем разуверившийся британский законопослушный яппи, выбран в качестве провожатого новоявленной чернокожей Мадонны. Постепенно герой теряет весь свой цинизм и в финале готов рискнуть жизнью ради одного проблеска надежды...

«Надежда» — вот ключевое слово даже для самых мрачных фильмов, снятых в жанре предупреждения. Киноапокалипсис, в лучших своих проявлениях, не просто эффектно пугает зрителя. Авторы в меру своего таланта напоминают нам о ценности жизни на планете и о легкости, с какой жизнь может быть утрачена. Банально? Но это именно тот случай, когда средствами самого массового из искусств необходимо доказывать аксиомы.

Леонид Бляхер

Трансграничье[1]

Постоянный фактор в новых условиях

События последних лет, так или иначе связанные с «восточным вектором» российской политики, породили пристальный интерес к социальным и демографическим процессам на Дальнем Востоке России. Однако интерес этот достаточно специфичен и определяется теми, зачастую мифологическими, смыслами, которые транслировали сами дальневосточники в первые годы после распада страны. Это, конечно, прежде всего — «желтая опасность».

О «китайской угрозе» и «нелегальной миграции» из КНР продолжают писать и исследователи, и публицисты, несмотря на то что, пафос этих писаний не имеет ничего общего с реальным положением дел. Причина достаточно очевидна. Регион, который многие десятилетия существовал в режиме форпоста, осажденной крепости, мучительно расставался в первой половине 90-х со своей привычной функцией. Появление на улицах здешних городов китайцев, от которых еще недавно нужно было «защищать страну», трактовалось как угроза, хотя теперь предписывалось с ними «дружить». Эти региональные страхи проникали с улицы в анкеты социологов, экспертные суждения, приобретая иррациональные и апокалиптические формы. С ними, воплощенными в «научных текстах», произошло примерно то же, что со светом погасших звезд. Пока их отзвуки добрались до столичных исследовательских, информационных и политических центров, «китайская угроза» перестала существовать даже в массовом сознании дальневосточников. Тем не менее стойкое убеждение в том, что регион «испытывает внешнее давление», не только бытует вплоть до настоящего времени в публицистике, но и транслируется в официальных документах.

Не менее популярна в науке и прессе идея «демографического кризиса» на Дальнем Востоке, связанного с массовым отъездом из региона местного населения. В принципе, трудно, да и не нужно отрицать очевидный факт. Население региона за последние десятилетия сократилось почти на 20 процентов. Но отток

Бляхер Леонид Ефимович — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета, Хабаровск. Главный редактор журнала «Полития» (Москва). В «Дружбе народов» публикуется впервые.

[1] Статья выполнена в рамках проекта, осуществленного Лабораторией исторической и политической демографии Иркутского государственного университета.

населения — постоянный фактор, который действовал в течение всего времени освоения Дальнего Востока. Государство предпринимало для его компенсации самые разнообразные меры: от масштабных льгот при царском режиме до оргнаборов и труда заключенных — при советском. Так предприятия оборонного комплекса на Дальнем Востоке, требовавшие огромных затрат труда и энергии, могли существовать только при поддержке государства. Когда поддержка «естественным образом» прекратилась, оставшиеся без дела работники, никак не укорененные в местных краях, начали уезжать. Впрочем, регион покидали не только рабочие закрывающихся заводов, но также успешные предприниматели и ученые, музыканты и абитуриенты... Именно это обстоятельство сделало отъезд массовым и создало «миграционные ожидания».

В далеком прошлом в подобных ситуациях исчезали целые города, поскольку уезжала едва ли не бо́льшая часть населения. Теперь города не исчезают, но качественно меняются. Отъезд все же не столь повален, как в былые годы, однако изменения в социальной структуре не менее масштабны. Жители региона вступают в качественно иные социальные отношения — «трудовые коллективы» все больше превращаются в некий аналог общины, ориентированной на выживание и взаимную поддержку. Об этих изменениях, их смысле и направленности, а также о том, как территориальное сообщество воспринимает усилия государства по модернизации региона, и пойдет речь в статье.

«Особый этнос» — дальроссы

Дальний Восток — совершенно особая социокультурная и экономическая зона. С момента появления в регионе русских переселенцев и до настоящего времени она формируется под влиянием гигантского южного соседа, в свете отношений двух стран. Общение России и Китая принимало разные формы: от торговли и «нерушимой дружбы» до откровенного взаимного неприятия и военного противостояния, однако не прерывалось даже в годы самого сильного охлаждения между Москвой и Пекином. Такая устойчивость коммуникации связана и с длительностью самих контактов, и со спецификой взаимодействующих территорий. Как российский Дальний Восток, так и дальняя северная периферия Китая были, долгое время не особенно интересны центральным правительствам обеих стран. Точнее, интерес был не столько прагматическим, сколько геополитическим. В результате регион осваивался практически совместно.

Казаки, призванные защищать регион от иноземцев, в том числе от китайцев, нанимали их на сельскохозяйственные работы. Строительство КВЖД дало мощный толчок переселению российских подданных на территорию Поднебесной. Поток пересленцев из России усилился в годы Гражданской войны, когда возник обширный «русифицированный» район Китая. Несмотря на гонения времен японской интервенции и Второй мировой войны, несмотря на репрессии эпохи «культурной революции», русский субстрат сохранился в северных провинциях Поднебесной. В наши дни эти люди активно используют деловые возможности, возникшие в последние десятилетия.

В 90-е годы прошлого века челночное движение, приход на постсоветский Дальний Восток китайских торговцев и китайских рынков стали важнейшими

приметами новой страницы истории российско-китайского приграничья и трансграничья. В районах Китая, примыкающих к российской границе, формируется инфраструктура, ориентированная на русских шоп-туристов. Возникают торговые центры и гостиницы с вывесками на русском языке, многочисленные лавочки и кафе, учитывающие вкусы русских потребителей. Постепенно русский субстрат становится «изюминкой», которую китайские туроператоры предлагают туристам уже не только в России, но, прежде всего, в Китае и странах Юго-Восточной Азии. Воссоздаются «русские» образы Даляня и Харбина, русские деревни, музеи и многое другое. В результате у границ России возникает регион, не без оснований именующий себя «русским» Китаем.

Сходные процессы, хотя и существенно менее выраженные, протекают на российском Дальнем Востоке. На их динамику существенное сдерживающее влияние оказывала и продолжает оказывать идеология «форпоста России», которая на протяжении большей части XX столетия была основой самосознания жителя региона. В газетных передовицах и властных решениях, в выступлениях местных руководителей и массовых социологических опросах ярко проявлялись антикитайские настроения и у населения, и у власти. Однако огромная заинтересованность в связях с южным соседом оказывалась сильнее привычной идеологии. В городах (прежде всего в Благовещенске и Уссурийске, расположенных рядом с границей и обладающих таможенными переходами) появляется инфраструктура, ориентированная на китайцев. До недавнего времени в Биробиджане и Благовещенске процветали казино, рассчитанные на приезжих с другой стороны Амура.

Возникают китайские оптовые и розничные рынки, китайские рестораны «для русских» и «для своих». Общежития вузов и техникумов переоборудуются под гостиницы для китайских рабочих и торговцев. Образуются целые отрасли хозяйства, нацеленные на работников и на торговцев из Китая. При этом и взгляды жителей дальневосточного приграничья России, и сам характер взаимодействия с сопредельным регионом Китая изменяются в достаточно серьезной степени.

В 90-е годы основной массив граждан КНР, пересекающих российско-китайскую границу, составляли гастарбайтеры и мелкооптовые торговцы. В 2000-е китайские гастарбайтеры становятся редкостью, особенно в еще недавно «китайской» сфере городского благоустройства и строительства. Эту нишу заполняют выходцы из Средней Азии. В сельском хозяйстве, особенно Еврейской автономной области, по-прежнему остается немало китайских рабочих, но меняется сама структура их занятости. Чаще всего предприятия, на которых они трудятся, фактически принадлежат китайским предпринимателям и выпускают товары в основном для китайского рынка. Основными фигурами российско-китайского взаимодействия в «нулевые» годы становятся предприниматели. Причем, и с российской, и с китайской стороны. Поток челночной торговли, столь значительный в 90-е годы XX века, начинает существенно сокращаться. К середине следующего десятилетия он уже едва ощутим. Просторы Китая начинают осваивать российские бизнесмены более крупного разряда.

Формы этого освоения были самыми различными: более дешевые кредиты, заказ комплектующих, экспорт российского сырья. Если на первом этапе постсоветского взаимодействия основным русским персонажем в Китае был «челнок», то в новый период участились визиты официальных лиц, гастроли

артистов, научные и учебные обмены. Шоп-туризм, резко сокративший свои обороты, постепенно заместился иными видами туризма: экскурсионным, рекреационным, медицинским. Чем более крупным был российский бизнес, тем менее он был связан с приграничьем. Заказы российских предприятий размещаются в Гонконге и Шанхае. Игровые и досуговые учреждения с российским участием возникают в Макао.

В десятые годы XXI столетия вновь меняется форма китайского взаимодействия с российским Дальним Востоком. Сюда приходят крупные китайские инвесторы, начинается формирование существенного сегмента региональной экономики, ориентированной на Китай. Дальневосточные вузы входят в ассоциации с китайскими вузами. Устойчивый характер приобретают обмен художественными коллективами, работа в Китае российских ученых, архитекторов и т. д. Регион все теснее включается в социально-экономическое пространство, структурируемое Китаем. В Дальневосточном академическом симфоническом оркестре выступают артисты — граждане Китая, а российские артисты входят в музыкальные коллективы Даляня.

По существу, на дальневосточной территории России, особенно в южной, наиболее населенной ее части, сосуществуют два относительно автономных сектора экономики: ориентированный на Китай и финансируемый из бюджета Российской Федерации. Хотя автономность этих сфер далеко не абсолютна. Многие дальневосточные предприятия удачно совмещают взаимодействие с китайскими предприятиями и выполнение государственных заказов.

При этом речь не идет о «захвате» или агрессии. Все дело в том, что именно в крупнейших городах Китая (Шанхай, Гонконг) сырье из России продается по наивысшей цене. Именно здесь архитекторы получают заказы, ученые — гранты, а российскому бизнесмену проще взять кредит для стартапа... Да и амбициозному молодому человеку из России легче реализовать себя в этих местах. Не случайно, в последние годы в вузах резко возросли конкурсы на специальности, связанные с изучением китайского языка и китайской экономики. Если на рубеже XIX—XX веков именно влияние русской культуры и русского капитала оживило северный Китай, получивший показательное наименование — «Желтороссия», то сегодня воздействие поменяло направление. Китайский капитал и огромный китайский рынок становятся основой для развития российского Дальнего Востока. Казалось бы канувшая в Лету «Желтороссия» вновь возникает на дальневосточном трансграничье. Она охватывает северо-восточные провинции Китая и юг российского Дальнего Востока, все более глубоко проникая в социальную ткань этих регионов. Складывается особый феномен, порожденный взаимодействием двух культур. Это не русская культура в чистом виде и не китайская. Это — трансграничье.

Близость к Китаю становится формой идеологического обоснования «спонтанного порядка», его особого статуса и права на существование. По сути дела, происходит *этнизация регионального дискурса*.

Следует пояснить, что имеется в виду. Слово *этнизация* — это скорее метафора, отражающая стремление автора статьи ухватить некоторое новое явление, нежели строгий термин (не стоит заглядывать в словарь — приведенные там толкования всего лишь затемнят смысл текста). В данном случае под «этнизацией» понимается осознание социальной (территориальной) группой своей особости, выделенности. В начале 90-х годов идея «особого этноса» дальроссов была предметом споров вузовского и научного сообщества в регио-

не[1]. Тогда эта идея не получила особого распространения за пределами вузовских кафедр. Как я постараюсь показать далее, сегодня попытки осмыслить *особость* (не особенность, а именно особость) дальневосточников предпринимаются на гораздо менее интеллектуально нагруженном уровне. «Этнизация» — это способ защиты устойчивых местных форм жизни от внешнего воздействия. Если начало ей задается в «столичных» городах, то наиболее завершенную форму она обретает именно в малых поселениях

Попытаюсь прояснить, как это происходит.

В пространстве «черных дыр»

В развитии Дальнего Востока как части России более или менее очевидно выявляются «приливные» и «отливные» такты. В периоды «прилива», когда государство относительно благоденствовало, центральное правительство вспоминало, что где-то невероятно далеко у него имеются гигантские территории. И богаты они всякими нужными вещами. В XVII столетии это были пушнина, «мягкая рухлядь», и «рыбий зуб», за добычей которых шли первые переселенцы. В следующем столетии главными богатствами оказались серебро и китайские товары. Еще позже — золото, лес, полиметаллы.

С каждым новым «приливным тактом» прибывало новое начальство, ответственное за развитие именно данного вида деятельности. Представители «прошлых», утративших актуальность профессиональных групп отнюдь не исчезали. Просто теперь местным властям не нужно было отчитываться за них перед столичным начальством. Они исчезали не из региона, но из отчетов. Становились невидимыми для государства. В «приливные» периоды их вес в экономике Дальнего Востока был мизерным по сравнению с государственными вложениями в основную отрасль.

Дальний Восток был регионом «про запас», «на будущее». Он скорее олицетворял геополитические амбиции страны, нежели воплощал их. Огромного Дальневосточного военного округа не всегда хватало даже на защиту восточных границ. Экономическая же эффективность региона вообще была сомнительной. Как показывают расчеты экономистов, даже в благополучные 1970—1980-е годы регион тратил почти на 26 процентов больше, чем производил[2]. И это без учета содержания войск ДВО. Транспортные и энергетические тарифы делали любую произведенную там продукцию «золотой». И если речь шла не о золоте как таковом, не об уране, уникальных биоресурсах или алмазах, продукция оказывалась неконкурентоспособной.

Ключевым был иной — политический — смысл существования региона. Здесь, как считали государственные деятели, да и исследователи, находился естественный рубеж государства, граница «цивилизационной платформы»[3]. Такое восприятие региона доминировало и в досоветские времена — по крайней

---

[1] *Попов В.Г.* Дальроссы как этнокультурный тип // Россия на перепутье: контуры новой социальной системы. Вып. 3. Хабаровск, 1999.

[2] *Заусаев В.К.* Стратегический план устойчивого социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре до 2025 года. Хабаровск, 2009.

[3] *Цымбурский В.Л.* Россия — Земля за Великим Лимитрофом: цивилизация и ее геополитика. М., 2000.

мере, после краха «американского проекта» на Аляске. А посему во главу угла ставилась и «осваивалась» граница как таковая, как разделительный рубеж.

Подъем российского флага в Мариинском посту (современный Николаевск-на-Амуре), на острове Сахалин или на Амурском утесе (месте расположения современного Хабаровска) был куда более значимым событием, нежели открытие в регионе серебряных и золотых месторождений. Ведь доходы от последних были минимальными. Так, в конце XVIII столетия на организацию «правильной добычи серебра» казна выделила 25 тысяч рублей, серебра же было добыто менее чем на 26 тысяч. Подобное соотношение сохранялось и впредь.

Потенциальное богатство региона обесценивалось его крайней удаленностью от мировых центров, предельной неразвитостью путей сообщения. Регион символически был обозначен как принадлежащий России, хозяйственное же его освоение откладывалось на будущее. Пространство внутри границ оставалось пустым. Относительно плотно была заселена лишь узкая полоса вдоль верхнего и среднего течения Амура, а также вдоль Дальневосточной железной дороги. Там были работа, жилье, возможность сбыта сельскохозяйственной продукции. Главное — там сосредотачивался смысл региона. Население требовалось для того (особенно ясно это стало после Русско-японской войны), чтобы защищать границу, снабжать армию, обеспечивать коммуникации. Вся остальная территория заселялась эпизодически (золотоносные рудники, охотничьи поселки, угольные копи и т. д.).

Это свойство региона точно подметил один из первых и наиболее глубоких исследователей Дальнего Востока П.Ф.Унтербергер, полагавший, что эти земли очень пригодятся России, когда ее европейская часть окажется перенаселенной (подобная ситуация, по оценке ученого, должна была сложиться к середине XX века). Дальний Восток был необходим «впрок» — для того чтобы избежать массовой миграции российского населения за рубеж. На дальних восточных рубежах страны было необходимо сформировать органы управления, вооруженные силы, хозяйственную и транспортную инфраструктуру, которые, когда это понадобится, позволят развернуть регион в полноценное территориальное образование. А то, что приходится вкладывать средства в Дальневосточье, которое не в состоянии прокормить за счет собственного производства даже наличное население, — это аванс, плата за ожидаемые в будущем блага и за защиту основной территории страны[1].

Плановое хозяйство советского периода не очень заметно повлияло на «потенциальность» региона. Начиная с 1930-х годов, ставка была сделана на развитие ВПК. С экономической точки зрения переброска огромного числа грузов, эшелонов людей и т.п. вряд ли была целесообразной. Но политический смысл региона (форпост и крепость Советского Союза на Дальнем Востоке) в тот период полностью покрывал недостаток экономической целесообразности. И в регион текли ресурсы. В сталинские годы нехватку людей компенсировали трудом заключенных, а с наступлением «вегетарианских» времен — военными строителями и «корейскими лесорубами». Эти бесплатные или, во всяком случае, очень дешевые работники несколько снижали издержки строительства «новой жизни». Частично трудовые ресурсы пополнялись с помощью оргнаборов и комсомольских призывов...

[1] *Унтербергер П.Ф.* Приамурский край 1906—1910 гг. СПб., 1912.

В периоды «отлива», когда центральная власть испытывала те или иные проблемы, значимость «невидимок» существенно возрастала. Регион переходил в режим «консервации». Сокращалось население, в особенности та его часть, что была занята в основной отрасли. Архаизировалась экономика. В этих условиях «невидимки», изначально существующие в пространствах властных лакун вне государственной опеки, становились основой выживания региона. В результате этих «тактов» и удаленности от основных центров, как национальных, так и мировых, Дальний Восток оставался «осваиваемым регионом». В этом статусе он встретил очередной «отлив» в начале 90-х годов.

Распад СССР, экономический кризис, связанный с разрушением хозяйственных связей, внедрение «экономических критериев» для региональной экономики потрясли хозяйство Дальнего Востока, основанное на ВПК. Попытки конверсии оборонных заводов провалились, наиболее передовые в техническом отношении предприятия перестали функционировать или, по крайней мере, оказались в крайне сложной ситуации, а население, связанное с этими производствами, начало стремительно мигрировать. Подобные процессы наблюдались во все периоды «отката».

Однако в последний из них возникло нечто новое. Падение «железного занавеса» на рубеже XX — XXI столетий поставило Дальневосточье в положение непосредственного соседства с глобальными центрами, расположенными в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Агрессивные постиндустриальные экономики Шанхая, Осаки, Токио, Гонконга и др. остро нуждались в ресурсах дальневосточной окраины и готовы были за них платить.

В результате, вместо обычной консервации и архаизации региона, он впервые самостоятельно включается в глобальные экономические процессы. Глобализация, со всеми оговорками, понятными при применении этого термина к Дальневосточью, становится средством выживания. Именно приграничная торговля и последующие более крупные обмены спасли в 90-е годы все приграничье.

Правда, Дальний Восток выходит в большой мир не вполне так, как виделось идеологам постиндустриального развития России. Не как центр экономики знаний, а в качестве поставщика сырья. Однако при малом населении даже это делало региональную экономику вполне эффективной. За вторую половину 90-х годов региональные центры обретают необходимый лоск, обрастают социальной и досуговой инфраструктурой, существенно превосходящей советские аналоги, развивается жилищное строительство.

Постепенно экономическая активность докатывается и до «региональной периферии», до малых городов Дальнего Востока. Из «черных дыр» на экономической карте региона они постепенно превращаются в места не совсем комфортного, но вполне сносного проживания. Так, в Амурске вплоть до конца кризиса 98-го года отток населения превышал 1000 человек в год. Затем снизился до 120—130 уезжающих в год. Важно и то, что, как показали неформализованные интервью, о которых я расскажу дальше, мигранты середины 90-х годов уезжали «насовсем», рвали с местом. В более поздний период миграция шла главным образом в региональные центры, а связь с местом исхода не прерывалась. Сходным образом выглядели миграционные перетоки и в других малых городах региона. Ресурсы для выживания малых городов были различными, совсем не обязательно связанными с приграничной торговлей. Однако именно

здесь, в пространстве таких «черных дыр», государственное воздействие было наиболее слабым. Это и позволяло сложиться порядку, обеспечивающему выживание. О нем — тоже несколько позднее...

«Колонизация» и «защита от Москвы»

В «нулевые» годы вектор развития вновь изменился. Государство «вспомнило» о существовании дальневосточных территорий. Точнее, приступило к исполнению норм, которые в 90-е годы не применялись из-за его слабости. Начали заполняться «лакуны». Более того, появились ресурсы для освоения дальних территорий, которые, согласно официальной статистике и неофициальной мифологии, пусты, бедны и остро нуждаются в капиталовложениях. В регион пошли инвестиции под федеральные целевые программы. Но вместе со средствами явились и новые жесткие правила игры, которые никак не соотносились со сложившимися на Дальнем Востоке правилами. Возникшее противоречие порой выливалось в открытые акции гражданского неповиновения, но чаще проявлялись в «оружии слабых», в более или менее явном оппортунизме.

В личных разговорах, да и в печати, происходящие процессы все чаще осмыслялись не столько как освоение, сколько как «захват» Дальнего Востока, превращение его в колонию. Огромные вливания в экономику региона, которые невозможно перераспределить в интересах местного сообщества, воспринимались как инструмент колонизации. Соответственно, прежнее существование трактовалось как «самостоятельное», «свободное».

Это вполне понятно вызывает и всплеск общественного интереса к поискам самоопределений дальневосточников, описанию их особости. В качестве одной из таких ключевых черт и воспринимаются контакты с Китаем, которые, по мысли идеологов и исследователей, порождают новое качество населения. Если в начальный постсоветский период близость с Китаем трактовалась как угроза, то теперь она все чаще воспринимается как ресурс. Причем ресурс, который необходимо оберегать. Прежде всего «от Москвы».

Все это предельно наглядно проявилось в ходе подготовки и проведения саммита АТЭС во Владивостоке в сентябре 2012 года. Казалось бы, ситуация уникальная. Дальний Восток выходит на авансцену российской политики, становится основой для общенационального проекта «восточного поворота», «ворот в Азию», который создал бы противовес «окну в Европу». Стоит сказать об этом несколько подробнее.

В период, когда Европа процветала, а Азия оставалась глухой мировой периферией, вариант «восточного развития», попытка которого впервые предпринималась Россией в конце XIX века, был не более чем политической экзотикой, лишенной экономического смысла. Отсюда колебания и нерешительность в восточной политике Санкт-Петербурга, приведшие к поражению в Русско-японской войне.

Сегодня ситуация иная. Европу лихорадит. Причем не создается впечатления, что больной идет на поправку. В этих условиях не могла не возникнуть попытка решить проблемы «родных» за счет «двоюродных». Все попытки нашей страны закрепиться в каком-либо секторе, кроме поставки энергоресурсов, гасятся на корню. Ситуация вполне устраивает Европу. Но устраивает ли она

Россию? Все большее распространение получает мнение, что на жестко структурированном европейском рынке для России места попросту не находится. Здесь и всплывает «восточное направление». Рынок АТР намного больше европейского, гораздо более динамично развивается, остро нуждаясь в российском сырье, причем не только углеводородном. Главное же, на этом рынке место для России не то чтобы готово, но потенциально имеется.

Беда в том, что с АТР Россия соприкасается регионом, который большую часть своей истории был не торговой территорией, но крепостью. Именно под эту задачу выстраивались его промышленность и транспортная сеть, закладывались города и заселялись пространства. С основной территорией страны Дальний Восток связан узкой полоской Транссиба, плохо проложенной автомобильной трассой и отнюдь не блестящим авиасообщением. Промышленный потенциал региона в основном составляют предприятия ВПК, затратность которых прежде оправдывалась тем соображением, что мы, мол, «на политике» не экономим...

Таким образом, на роль основной торговой территории в проекте «поворота на Восток» выдвигается регион, принципиально для этого не приспособленный. Значительная часть его населения продолжает мыслить в категориях военного форпоста и ностальгировать по временам, когда этот тип мышления имел под собой основания. Его промышленность предельно нерентабельна. Транспортная инфраструктура пребывает в зачаточном состоянии, а энергетика устроена настолько нерационально, что даже наличие энергетических мощностей не решает проблему. Именно это положение приводило к бесконечным колебаниям всякий раз, как только возникала идея «выхода в АТР».

Но сегодня ситуация уникальна. Во-первых, у страны пока еще есть ресурсы для преобразования региона. Во-вторых, почти два десятилетия дальневосточники на свой страх и риск, при минимальной поддержке государства интегрировались в АТР. Больно, плохо, но интегрировались. Постоянно возрастает количество людей, для которых сопредельные страны перестали быть чем-то неведомым. И в-третьих, ни у России, ни у российского Дальнего Востока, похоже, не остается альтернативы «восточному повороту». В рамках этого «проекта» находится место и для федерального центра, и для местных элит, и для России в целом. Казалось бы, неожиданное, но желанное совпадение интересов федерального центра, дальневосточного бизнеса, населения страны, страдающего без объединительных скреп, да и самих деловых кругов сопредельных государств.

Однако единения рядов не выходит. Напротив, дальневосточники все сильнее делают упор на поиск особенных черт, выделяющих их из общей массы «россиян»[1]. Отчасти это связано с тем обстоятельством, что появление видимых контуров «восточного поворота» совпало по времени с политическим кризисом 2011—2012 годов, когда любые действия власти воспринимались частью общественности крайне отрицательно. Это во многом помешало идее «восточного поворота» стать объединяющей основой для новой политической нации, да и просто получить внятную артикуляцию.

Но было и иное. Модернизационные проекты, реализующиеся и планируемые в регионе, вошли в противоречие с интересами сложившихся за десятилетия локальных территориальных общин, с их социальной и хозяйственной деятельностью.

---

[1] В 2011 году был проведен региональный конкурс «Мы — дальневосточники», материалы которого позволяют заявить о наличии этой тенденции.

Локальные сообщества как основа выживания

В одной из наиболее популярных книг конца прошлого века «Благими намерениями государства»[1] Джеймс Скотт рассматривает взаимодействие государства и локальных общин, «выживающих» в условиях, в которых они, по представлениям «цивилизованного человека», должны погибнуть. Государство с его представлениями о нормальности стремится к несомненной, с его точки зрения, благой цели. Оно хочет улучшить жизнь людей, объединенных в сообщество, дать им классические государственные блага: работу, зарплату, систему социальных гарантий, то есть «общие блага». Но люди совершенно не желают менять привычный и испытанный образ жизни, основанный на взаимной поддержке. С их точки зрения, действия властей, будучи полезными для части сообщества, гибельны для него как целого. К тому же, новации меняют и статусную структуру объединения, лишая его лидеров привычного и признанного положения. Это противоречие может вызвать открытое противостояние, но скорее всего приведет к скрытому сопротивлению модернизационным усилиям государства. Все зависит от местных условий

Подобная драма и разыгрывается сегодня на Дальнем Востоке. И если в крупнейших городах региона противостояние сглаживается возможностью использовать ресурсы бюджета, значительным количеством государственных служащих со стремительно растущей зарплатой, высокооплачиваемых представителей культурного и интеллектуального истеблишмента, а также иными факторами, которые создает масса состоятельных людей, то в малых городах ситуация иная.

Чтобы показать, что в них происходит, я выбрал три города: Дальнереченск в Приморском крае, Амурск в Хабаровском и Биробиджан в Еврейской автономной области.

Города разные и по времени возникновения, и по принципам организации территориального сообщества. Однако в каждом из них основой для выживания людей становится *локальное сообщество* — некий аналог общины, организованный по общинным принципам. Важно и то, что в прошлом эти города оказывались в большей или меньшей степени «неинтересны» центральной власти. При них нет портов или уникальных месторождений полезных ископаемых. Здесь не сосредотачивалось политическое влияние. Эти города оказались словно бы в «лакунах» — существовали не в каком-либо правовом или политическом пространстве, но в «прорехах» этих пространств. Именно потому здесь и возник некий «неформальный порядок».

Термином «община» я обозначаю неформальное объединение людей, ведущих на данной территории совместное хозяйство и осознающих свою общность. Особенность таких общин в том, что их члены формально заняты различными видами деятельности, порой мало связанными между собой. Объединяют их отношения взаимопомощи и взаимное разделение рисков, что создает в итоге единое «комплексное хозяйство», цель которого — выживание членов общины.

Различаются ли общины, сложившиеся в разных городах? Что у них общего и в чем состоят отличия? Каковы условия, в которых общинные формы остаются действенными? Ответы на эти вопросы дали опросы жителей.

---

[1] *Скотт Дж.* Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения человеческой жизни. — М.: Университетская книга, 2005.

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАЯ ОБЩИНА: «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

Самый маленький из трех городов — Дальнереченск, районный центр Приморского края. Живет в нем около тридцати тысяч человек, средний возраст которых 36,7 лет. Город возник в 1859 году и был вначале казачьей станицей на слиянии рек Уссури, Большая Уссурка и Малиновка.

В 1894 году в связи со строительством железной дороги на месте станицы вырос город Иман, постепенно наполнявшийся различными производствами — лесопилками, винокурнями, хлебопекарнями... Обосновались здесь представительство торгового дома «Кунст и Альберс», таможня. С момента основания в городе располагались многочисленные воинские части, казачьи, пограничные формирования, речная флотилия. Воинские части обслуживали многочисленные городские «кустари».

В советский период основные направления городского хозяйства сохранились. Основу составляли деревообрабатывающие комбинаты — Приморский и Дальнереченский, а также лесозаготовительные конторы, бондарный завод по производству тары для рыбной отрасли Приморья. Важным направлением было производство строительных материалов. Продолжала развиваться пищевая промышленность: хлебокомбинат, мясокомбинат, колбасный цех и др. В городе до недавнего времени базировалась Отдельная бригада сторожевых кораблей, батальон связи, ряд пограничных застав.

В постсоветский период предпринималось несколько попыток организовать в Дальнереченске крупный центр деревообработки. Однако, по словам информантов, крайне дорогая электроэнергия и конкуренция с дешевыми китайскими изделиями привела эти попытки к краху. Последней «точкой» стал кризис 1998 года, после которого попытки организации производства регионального уровня не предпринимались. На сегодня в городе работает один ОАО «Приморский ДОК», число работников которого многократно сократилось в последние годы. По экспертным оценкам, число работников (точных данных пока получить не удалось) менее 200 человек. В советские годы было занято более 2500 человек. С ДОКом связано несколько торговых предприятий. Пищевая промышленность представлена ОАО «Пекарь» и птицесовхозом «Соловьевский». Уменьшилось количество воинских частей и связанной с ними инфраструктуры. В целом на ключевых предприятиях города, включая железную дорогу, трудится менее 5000 человек.

В 90-е годы в Дальнереченске активно развивался «челночный бизнес». До настоящего времени действуют два рынка. Однако этот вид занятости стремительно уходит в прошлое. Через город проходит трасса федерального значения «Уссури» (Хабаровск — Владивосток). В связи с этим определенное значение приобретает индустрия гостеприимства — придорожные кемпинги, две гостиницы, кафе и рестораны...

Основой социальных отношений в Дальнереченске выступает многопоколенная семья. Родством считаются, его ценят и используют.

«Обратилась ко мне тетка. Типа, надо помочь с работой сыну. Так я недели три пробегал. Весь город на уши поставил. Понятно, решил вопрос. Но скольким я потом был должен, не пересчитать. А отказать? Как откажешь? Да, сын-

бездельник, беда ходячая. Но она-то сестра матери. А там, может, и к ней обратиться придется. Если заболеет кто» *(мужчина, 54 года, бригадир ДОК)*.

Даже когда жители Дальнереченска переезжают в Хабаровск или Владивосток, крепость родственных связей, контакты с большой семьей и их значение сохраняются.

«У меня муж сестры двоюродной ремонт делал. Ну, договорились. Я заплатила. А он тянет. Там дел на четыре дня. А у него неделя проходит, другая. И ничего толку. Типа, извини, сестренка, работа выгодная подвернулась. Я терпела-терпела, а потом сестре все и выдала, что расскажу в Дальнем, как они с родней себя ведут. Так он сам прибежал, за два дня все сделал» *(женщина, 25 лет, сотрудник МВД)*.

Несколько поколений одной семьи предопределяют крепость родственных уз, усиленных общим прошлым и соседскими связями. В большие семьи могут входить и неродные члены — соседи, школьные друзья, знакомые по работе. Они составляют функциональную «периферию» общины, служат пространством взаимодействия между общинами.

«Вот в том домике, ближе к реке тоже наши друзья живут. Он в нашей больнице много лет гинекологом был. Считай, полгороду пуповины перевязывал. Он уже давно на пенсии. А все равно. Мы как что к ним бежим. Ну и помогаем, понятное дело» *(женщина, 54 года, предприниматель)*.

АМУРСКАЯ ОБЩИНА: «ЗАВОД И ЦЕХ»

Амурск — районный центр и самый северный из трех городов. Жителей в нем поболее, чем в Дальнереченске, — около 45 тысяч. Население постарше. За последние четверть века население города значительно сократилось — в 1989 году здесь жили 60 тысяч человек. Переселялись главным образом в Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Причем, в отличие от Дальнереченска, откуда уезжали люди разных возрастов, Амурск покидала в основном молодежь, что в немалой мере ухудшило демографическую структуру города.

Амурск — типичный советский рабочий поселок. В 1958 году неподалеку от села Падали-Восточное началось строительство целлюлозно-картонного комбината. В селе вырос палаточный городок, в котором жили первостроители, а само оно было переименовано в Амурск. Пару лет спустя строительство объявлено Всесоюзной ударной комсомольско-молодежной стройкой, а поселок Амурск стал райцентром. В 1973 году он получил статус города. До ближайшей железнодорожной станции — 18 километров. Летом сообщение осуществляется по реке Амур.

Городская промышленность — ООО АмурДОК, оборонный завод «Вымпел», горно-металлургический комбинат группы «Полиметалл», ООО «Амуркамень», ряд других производств. До самого недавнего времени все эти промышленные объекты были или остановлены (в том числе Амурский целлюлозно-картонный комбинат, где трудилось до трети трудоспособного населения города), или работали с частичной загрузкой. Несмотря на насчитывающий уже многие годы проект технополиса «Комсомольск-Амурск-Солнечный», частич-

ное восстановление промышленности началось только на закате «нулевых» годов после поступления значительных государственных инвестиций.

Однако, как сообщают информанты, несмотря на безработицу, городские производства испытывают острую нехватку кадров. Квалифицированные работники поразъехались. Промышленное строительство ведется силами региональных предприятий, минимально использующих местные кадры. В городе работает 10 средних учебных заведений, включая музыкальную и художественную школы, технические училища, Амурский политехнический техникум. На вопрос о сфере занятости основной части населения один из респондентов ответил: «В основном — криминал». При этом статистика преступлений по городу и району ниже, чем в соседнем Комсомольском районе. Видимо, имеется в виду неформальный характер занятости.

Социальная ткань в Амурске задавалась не большой семьей, но «заводом и цехом». Подавляющее большинство населения города составляли приезжие, не только из разных мест Хабаровского края, но и из разных регионов страны. Семьи, дружеские привязанности складывались уже по приезду в город, который, как и бо́льшая часть подобных поселений, строился по принципу микрорайонов. Люди, работавшие в одном цехе, на одном предприятии, жили в одних и тех же домах, вместе отдыхали, водили детей в одни и те же школы и детские сады... Все это приводило к формированию сильных неформальных связей, распространявшихся намного дальше, чем производственная сфера.

*«*У нас все было, как сказать, совместное, что ли? Коммунизм такой *<смеется>*. Жены детей друг на дружку перекидывали. Крикнет «пригляди за моим» и убежит. Вместе в дом отдыха, вместе в ДК. Ну, на работе, вообще, понятное дело. Здесь сосед с третьего этажа, а здесь — со второго. А там — из подъезда рядом. Очень дружно жили. Привыкли — все вместе. И дети наши вместе росли. В одни школы ходили, в одних кружках занимались. Это Амурск. Здесь каждый друг за друга» *(мужчина, пенсионер, 64 года).*

«У нас все стараются, чтобы в дело соседей, ну, своих, типа, привлекать. Рядом живут, знают друг про друга все. Свои. Такие не кинут. Если что, наоборот, впишутся за друга. Мы не как в Хабаровске. Мы вместе все живем. Дело вместе, баня вместе, охота, опять же, с соседями сподручнее» *(мужчина, 41 год, предприниматель).*

Хотя сети крайне разветвлены и охватывают десятки человек, плотность их невелика. Достаточно много уехавших продолжает поддерживать связь только с ближайшей родней. Не очень склонны поддерживать прежние контакты и те, кто добились успеха, сделали административную карьеру в городе и районе.

«Мы стараемся по возможности не ходить в бани, на застолья. Тут коррупция и начинается. Знаете, не так трудно отказаться от денег. Придет такой орел, а ты его и пошлешь в... Сами понимаете. Даже приятно смотреть на его обалдевшую физиономию. А как отказать другу, приятелю? Здесь труднее. На этом раньше многие палились. Особенно вначале. Сейчас другое время. Возможности другие. Сейчас это никому не надо. Надо просто нормально работать» *(мужчина, 43 года, работник муниципалитета).*

БИРОБИДЖАНСКАЯ ОБЩИНА: «ЕВРЕЙЦЫ»

Биробиджан — наиболее сложный объект исследования. Дело не только в том, что это самый большой из трех городов. Жителей в нем ненамного больше, чем в Амурске. Дело в его статусе «столицы» субъекта Федерации и, соответственно, в получении больших федеральных трансфертов.

Биробиджан, повторюсь, самый крупный из городов, о которых идет рассказ, — административный центр Еврейской автономной области. Население — 75 тысяч человек, средний возраст которых чуть больше 34 лет. Город возник в 1912 году в качестве железнодорожной станции Тихонькая. В 1928 году пристанционный поселок стал центром переселения «трудящихся евреев». В 1934 году он получил статус города, была предпринята первая на Дальнем Востоке попытка построить «идеальный социалистический город» — попытка, еще менее удачная, чем возведение «города-на-заре» (Комсомольска-на-Амуре).

В Биробиджане развивается главным образом основном легкая промышленность на основе местной сельскохозяйственной продукции и природных ресурсов. Машиностроительные предприятия в настоящее время не работают. Частично функционируют завод силовых трансформаторов, где трудятся 40 работников, и авторемонтный завод. Крупнейшее в прошлом предприятие «Дальсельмаш» распалось на ряд мастерских, где ремонтируют сельскохозяйственную технику для нужд производства бобовых, которое возрождают в основном китайские фирмы.

Значительное место в хозяйстве города занимает взаимодействие с сопредельными территориями Китая — прямая железнодорожная ветка связывает город с таможенным переходом в селе Ленинское. С 2004 года в городе находится управление Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината, строящегося в области. С 2009 года строительство получило серьезные инвестиции из бюджета РФ, частных инвесторов из России и Китая. Именно с комбинатом связаны надежды и областной, и городской экономики. Китай не только согласен покупать его продукцию — железную руду, — но строит дорогу и мост для ее транспортировки, готов финансировать социальную сферу.

Несмотря на статус областного центра, в 90-е годы город переживал трудный период. Разрыв связей с Хабаровским краем, частью которого Еврейская автономная область была до 1990 года, привел к спаду промышленного производства. Невостребованной оказалась и сельскохозяйственная продукция. Горожане вынуждены были переключиться на челночное движение, развитие малого предпринимательства, меновой торговли с окрестными жителями, обмен продуктов на «городские товары». Возникли и первые контакты с сопредельными территориями Китая.

Первоначально, как и в Дальнереченске, связи ограничивались приграничной торговлей. Позже стали создаваться совместные сельскохозяйственные предприятия по производству и переработке бобовых культур, ориентированные на китайский рынок, строительные и ремонтные предприятия. Сокращение числа местных потребителей компенсировалось выходом на китайский рынок.

В «нулевые» годы федеральные трансферты дали толчок к развитию строительства и малого производства стройматериалов. Китайские предприни-

мати начали «поднимать» сельское хозяйство области, вслед за которым появляются пищевая промышленность, производство мебели, одежды и др.

Но несмотря на относительный подъем хозяйства области, его основой остались бюджетные деньги, выделяемые Москвой и распределяемые местной властью. Это наложилось на необычайно устойчивые местные и семейные связи, характерные для области и города. Мне уже прежде доводилось писать о специфике социальных связей в Биробиджане и Еврейской автономной области[1]. Совмещение традиционных устоев еврейской семьи с многопоколенными и общинными сетевыми структурами казачьего населения примерно в равных пропорциях привело к формированию чрезвычайно разветвленных семейных и местных связей, сохранившихся до настоящего времени. Тем более что в советский период население росло в основном за счет естественных процессов демографического воспроизводства. Здесь возникла идеология, позволяющая объединить все «местное» — национальный статус области. По мнению респондентов, в области сложилась особая общность людей — «еврейцы». Это осознание общности пронизывает территориальное сообщество от самых низов до руководящих городских и областных структур, делает его особенно плотным. Если жителям Дальнереченска и Амурска приходится решать проблему самоопределения, то здесь «подсказка» достаточно очевидна.

В советский период описанные структуры не имели особого значения. Во всяком случае, выживание обеспечивалось иными путями. Они скорее составляли неявный, но ощутимый неформальный фон жизни, определяли внепроизводственные связи, сказывались в области досуга и теневых сферах. Но по мере того, как советский строй начал давать сбои, они все более выходили на поверхность. Их значимость возрастала. Дружба и приятельство, родство и соседство служили страховкой для «несунов», становились основой экономики обмена: краску на продукты, одежду и ткань на пиломатериалы и т.д.

Функции различных общин оказывались очень близкими, несмотря на различия в типе их организации, в уровне плотности внутренних социальных связей. Община должна обеспечить выживание и безопасность своих членов. Чем более деградировала «официальная» экономика, тем более явно проявляли себя общинные формы жизни. Кроме того существовал процесс, который вел к их усилению.

Так сложилось, что в советские годы, когда уровень «притока» новых жителей на Дальний Восток был относительно высоким, немногие приезжали в Дальнереченск и Биробиджан. Да и пополнение населения Амурска извне завершилось уже в 80-е годы. Дальнейший рост населения всех трех городов, продолжавшийся до 1990 года, шел за счет естественного прироста при относительно молодом населении.

Отток в «нулевые» тоже был своеобразным. «На запад», в европейскую часть страны, уезжали в основном жители крупных городов. В малых городах массовым явлением, если не считать эмиграцию из Биробиджана в Израиль в начале 90-х, было переселение в ближайший большой город. Из Амурска ехали в Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Из Биробиджана — в Хабаровск. Из Дальнереченска — в Хабаровск и Владивосток. Уезжали наиболее мобильные,

[1] *Бляхер Л.Е., Пегин Н.А.* Биробиджан: между «потемкинской деревней» и nation-building // «Полития», 2011, № 1.

наименее связанные с общинной структурой. Особенно в начальный период. Население же малых городов восполнялось за счет жителей прилегающих сел, леспромхозов, жителей «северов», прибывающих в более комфортные зоны проживания. Ресурсом при переезде выступали родственные и дружеские связи.

«У нас многие перебрались в Дальнереченск. В основном родня из деревень. Здесь не Хабаровск, но, все-таки, больница есть, магазины, с работой проще... Вот, например, дочка моей сестры. Она у нас два года жила, пока в техникуме училась. Потом и на работу ей помогли устроиться. А там она и мать и братьев перетащила. Теперь все здесь живут» *(женщина, 54 года, предприниматель).*

Вполне понятно, что именно эти связи продолжали использоваться и поддерживаться впоследствии. Тем самым возрастало число людей, ориентированных на общинные формы быта.

Особенно значимой община становится в 90-е годы. Территории малых городов, если это были не порты, нефтеносные или золотоносные месторождения, попросту «выпадали» из поля зрения властей. Городские сообщества стали относительно замкнутыми, оказались предоставленными самим себе. Выживание в одиночку выработало только одну успешную стратегию — отъезд. Иное дело — групповое выживание.

«Живем, как можем. Друг другу помогаем. Ну, мы, понятное дело, шмотки, какие из Китая приличнее. Я, считай, всех одеваю. Муж, если нужда в строительстве, распилить чего, доски, это к нему. Бензин, солярка, всякий авторемонт — это к С. Мы же все вместе ему дело ставить помогали. Теперь он нам помогает. Вот К. свиней разводит. Я тоже держу, но для себя. А она — на продажу. Так, В. ей остатки всякие из столовой, Ф. комбикорма подгонит. Я договорюсь на рынке, чтоб товар взяли на реализацию или в ресторане на вокзале. Нормально живем» *(женщина, 54 года, предприниматель).*

Такое сообщество позволяет свести издержки к минимуму, использовать все мыслимые источники выживания. Каждый член сообщества выступает в двух ролях: собственно работника или предпринимателя и участника в предприятиях членов общины.

«Без родни сейчас никуда. Они и денег дадут, если в Китай съездить за шмотьем. Они с врачом помогут. Когда рынок кормить перестал, я стала тамадой подрабатывать. Так первое время все заказы через родню шли. Ну, и сама я всегда помогу». *(женщина, 54 года, предприниматель).*

Участие это отнюдь не добровольное. Отказывающий в помощи «своему», автоматически подвергается санкции со стороны всех остальных, вплоть до полного исключения из системы взаимопомощи.

Структура общины иерархична в минимальной степени. Скорее можно говорить о «ядре общины», составленном из относительно небольшого круга родственников или ближайших соседей — обычно 7—9 человек — и «периферии», которая может быть очень большой. Представители «ядра», как правило, знают всех участников сообщества, тогда как представители «периферии» могут знать только «ядро». Однако существуют и традиционные формы презентации общины, встречи «всех» — это свадьбы, похороны, дни рождений и т.п.

Важная особенность такой общности — то, что она находится в пространстве «вне закона». Закон представляется одной из угроз существованию общины. Вынести с работы пиломатериалы или поделиться вырезкой от только что забитой своей свиньи — явления одного порядка.

«Ну, по закону <*пауза*>, по закону уж совсем жить не получается. Мы же как, ничего важного никто не нарушает. Мы не воруем, не убиваем, не насилуем. У нас даже особых алкашей не водится. А так. Ну, бывает. Нарушишь. Если нормальный мент или знакомый, всегда же договоришься» *(мужчина, 43 года, предприниматель)*.

Формальное законодательство здесь заменяется спонтанно возникающими, но устойчивыми правилами, освященными жизненным опытом, обрастающими санкциями за неисполнение и моральным одобрением для тех, кто их соблюдает. Понятно, что эти правила «работают» только на местном уровне. Попытка руководствоваться ими при «внешнем» взаимодействии вполне могла породить столкновение, типа конфликта мэра Амурска Геннадия Кузьминых и губернатора территории на рубеже XX—XXI веков. Однако в данном случае согласование интересов оказалось возможным, поскольку и «выше» правила игры были столь же неформальными.

Иначе складывались отношения территориальной общины с формальным законодательством.

Община и государство: от сосуществования к противостоянию

Именно потому, что большая часть деятельности общины происходила «поверх закона», для нее оказываются губительным «возвращение» государства и ужесточение условий игры В «нулевые годы» начинается более или менее очевидное противостояние локальных сообществ и государства, власти. Именно тогда дали о себе знать различия в принципах организации общин, различная плотность социальных связей.

Пожалуй, сложнее всего столкновение с государством переживало территориальное сообщество Амурска. Именно здесь сетевые связи были слабее, а государственное воздействие — самым сильным. Город вошел в сферу интересов двух крупных компаний — «Полиметалл» и «Дальлеспром». Проекты, представленные этими предприятиями — металлургический комбинат «Албазино» и ЦКК, — получили федеральное финансирование. Благодаря трехстороннему договору между предприятиями, городом и государством, отчисления в бюджет города за период с 2010 по 2012 год возросли в шесть раз. На эти деньги были реконструированы социальные объекты, обновлена дорожная инфраструктура и т.д.

Тем не менее, энтузиазм это вызывало только у тех, кто так или иначе входил в управленческие структуры района и руководство строящихся предприятий. У остальных отношение к происходящим изменениям было отрицательным. По словам респондентов, горожане не желают их принимать из-за коррупции руководства, которое к тому же не знает «местных условий» и не выработало активной социальной политики.

«Да они эти все проекты "пробили" только для того, чтобы навариться на них, лихие деньги сорвать. Все же это знают. Весь Амурск знает. Ну, и с нашими поделились, конечно. Чтобы те не возбухали» *(мужчина, 64 года, пенсионер)*.

«Все это никому не нужно. Сколько денег угробили на ДК? Лучше бы мусор стали регулярно вывозить. Сейчас еще ладно, холодно. А летом, знаешь,

какая вонь стоит? Или, там, снег убирать. Только в центре пятачок расчистят, а людям хоть из дома не выходи. Переломы сплошные. У меня продавец недавно руку сломала. Сама вся в синяках хожу» *(женщина, 47 лет, частный предприниматель)*.

Эти мотивы повторяются во многих интервью. Однако, как показывает анализ городского бюджета и интервью с работниками муниципалитета, а также наблюдение на улицах города, эти претензии справедливы лишь отчасти. И спортивные сооружения, и Дом культуры, и кинотеатр посещаются активно. При ДК существует народный театр, в котором участвуют более 50 человек, а на спектаклях, по словам работника отдела культуры, зал не пустует.

Осуществлена реконструкция центральных улиц города и трассы, соединяющей Амурск и Комсомольск-на-Амуре. Увеличены зарплаты преподавателей и проведен ремонт в двух профессиональных училищах. По словам педагогов, в последние годы возросло и число поступающих. Проводится реконструкция городского парка. Действительно, снег в городе убирается мало, подходы к подъездам завалены. Но это проблема не только Амурска, но и большей части дальневосточных городов. Не лучше дело обстоит с вывозом мусора и благоустройством межквартальных пространств.

Отдельная проблема — ветхое жилье и недостроенные объекты. Но ее тоже трудно назвать специфической для Амурска. В последние советские годы, когда согласно генеральному плану развития города предполагалось, что его численность дойдет до 150 тысяч человек, было заложено более двух десятков многоквартирных домов. Предполагалось, что в них переедут жители первых — деревянных, частично благоустроенных — домов и общежитий. Однако строительство не было завершено. В результате немалые пространства в городе заняты недостроенными зданиями, а ветхое жилье окончательно приходит в негодность. Жители переселяются в дома, пустующие из-за массового отъезда в 90-е годы. Но средств на снос ветхого жилья в городском бюджете не хватает.

Однако в последние годы и эта проблема начинает решаться. Уже четыре дома реконструированы, их строительство завершено за счет «Полиметалла» и «Дальлеспрома». Разобраны три ветхих дома. Иными словами, претензии горожан не вполне обоснованы. Эту точку зрения отстаивают представители местного самоуправления.

«Я не знаю, что им еще нужно? Тарелочку с неба? Все, что можем, мы делаем. Город благоустраиваем, пенсионерам помогаем, культурные учреждения ремонтируем. Еще пять лет назад всего этого не было и близко. Знаете, как Амурск называли: город-призрак. А сегодня живем. Перспектива есть. А им все плохо. Мы все у них — воры. От жалоб в край и в прокуратуру устали отбиваться. Просто не хотят меняться, вписываться в новую жизнь. Разве не так?» *(женщина, 43 года, работник муниципалитета)*.

Тем не менее при массовом опросе, проведенном в 2011 году Дальневосточным институтом социально-политических исследований, эмоциональный фон большинства интервью остался негативным. Причины недовольства объясняют представители старшего поколения горожан. Суть их ответов — разрушается привычная и устоявшаяся жизнь.

«Конечно, когда Советский Союз рухнул, было очень плохо в городе. Заводы сразу закрылись. Ну, или не закрылись, так жили через пень-колоду. А потом еще этот конфликт был с краем *<середина 90-х>*, когда нам совсем

перестали помогать. Но постепенно как-то утряслось. Кто мог, конечно, уехал. А мы все потихоньку приспособились. Кто-то торговлей занялся. Кто-то так, на огороде и скотине выживал, кто-то стал таксовать до Комсомольска. Ну, пенсии платили, школы работали, училища. Ничего, жили. А теперь все это опять рушат» *(мужчина, 67 лет, пенсионер)*.

Сходным образом описывают картину и другие жители города, не связанные с местной властью, в том числе и некоторые предприниматели. Негативные настроения, которые в иных интервью связываются с разрушением привычного образа жизни, устойчивых человеческих контактов, проявились в нескольких прямых выступлениях, когда в 2010-м горожане, выйдя на улицу, потребовали отставки местного собрания, а в 2013 году отмены (снижения) тарифов ЖКХ. При всем том, что оба эти выступления не привели к сколько-нибудь значимому успеху, острота неприятия положения дел городским сообществом достаточно очевидна.

Администрация города и района воспринимается, да и реально выступает здесь не столько как представители населения, сколько как сторона в конфликте. Причем, сторона, противостоящая населению. Сами же горожане все больше организуются не в большой хозяйственный субъект, но в сети «против» происходящих изменений. В силу этого «неформальные сферы», в которых существовало локальное сообщество, подвергались наиболее сильному давлению.

«Они же все как с цепи сорвались. Сами не живут и другим жить не дают. Сколько катеров стоит на приколе? А раньше ходили до Николаевска. Сколько леса гниет? А раньше деньги приносил людям. Понимаешь?» *(мужчина, 41 год, предприниматель)*.

В Дальнереченске реальность воспринимается и оценивается внешне сходным, то есть не особенно оптимистическим образом: «Да какая сейчас торговля? В прежние годы, когда клуб, где я работала, закрылся и мы начали в Китай ездить, торговля всех кормила. Сына в Хабаровске выучили. Дочку доучиваем. Всем помогали. Дом, вон, строить начали. Теперь все сворачивается. Денег у людей нет. Торговли нет. А налоги платить надо. В этом году, вообще, и аренду, и вмененку в два раза подняли. Если бы не Миша <*муж*>, не знаю, как бы жили» *(женщина, 54 года, индивидуальный предприниматель)*.

Вторят ей и другие индивидуальные предприниматели. Причем, сфера, в которой они действуют, не имеет особого значения.

«Какая торговля? Мне знакомый из Владика <*Владивостока*> предлагал партию товара под реализацию. Вроде и не мусор, а не взяла. Свое продать не могу... Если за день одну-две куртки продам — считай удача. Так и живем» *(женщина, 46 лет, индивидуальный предприниматель)*.

«Раньше, когда иномарки по трассе гоняли в Хабаровск, у меня нормальный оборот был. Водилы у меня все останавливались. Ели. Кто-то на ночь оставался. А там и банька, и куражи. У меня и номера нормальные. Потом пошлины подняли. Стали меньше гонять. Не выгодно стало. Теперь под заказ гонят, а это в десять раз меньше. Вот обороты и падают» *(мужчина, 52 года, владелец кемпинга)*.

На этом фоне работа в бюджетной сфере, где трудятся врачи, преподаватели техникума, пожарные, полицейские, — представляется неожиданно статусной и благополучной. Скорее всего, это связано с общей низкой доходностью, что

делает зарплаты «бюджетников» значимыми. Районные власти, в отличие от Амурска, обладают существенно меньшим ресурсом. Вместе с тем и отношение к ним не столь негативно.

«Они как могут, так и работают. Можно было бы, конечно, лучше. Но люди есть люди. Всем жить нужно <*смеется*>. Они не наглеют. Есть, конечно, уроды. Но, так — люди как люди. С ними всегда можно договориться» *(мужчина, 48 лет, предприниматель)*.

Сами работники муниципалитета тоже оценивают свои возможности очень скромно. По их мнению, город дотируется «по остаточному принципу».

«Им, во Владивостоке, нужно только, чтобы здесь все тихо было. Остальное им по барабану. Отчислений от предприятий почти нет. Торговля задыхается. А тут еще законы такие, что ужас. А виноваты во всем одни мы. Они там все чистенькие и беленькие. Люди не живут, а выживают. Потому во Владике и в Хабаровске скоро наших будет больше, чем в Дальнереченске. Бегут люди» *(мужчина, 54 года, работник муниципалитета)*.

Вместе с тем реальный отток из города гораздо меньше, чем можно было бы предположить, исходя из бесед с горожанами. Противоречивое впечатление производит и сам город. Во всем виден недостаток средств городской и районной администрации — не ведется строительство, общественные здания отремонтированы некачественно и т.п., однако Дальнереченск не кажется заброшенным. Вокзал и прилегающая к нему территория достаточно благоустроены. Да и дома в жилых кварталах отнюдь не выглядят трущобными.

Видимо, здесь сложилась иная ситуация, нежели в Амурске, и община продолжает выполнять свою функцию. Ухудшения, связанные с «возвращением» закона, очевидны. Увеличиваются налоги, растут таможенные пошлины, сворачивается челночная торговля. Но появляются и новые виды деятельности. И возрождаются старые, как, к примеру, традиционная еще в советские времена практика «несунов», то есть использование ресурсов рабочего места. Активнее используются возможности подсобных хозяйств, которые постепенно становятся отнюдь не «подсобными». Наличие родственников и иных членов сообщества в больших городах позволяет наладить эффективный обмен, торговлю.

Стоит отметить и то, что связи внутри общины оказываются в целом сильнее, чем в Амурске. Отчасти это объясняется тем, что Дальнереченск имеет более длительную историю, а потому объединения складывались здесь намного раньше и укреплялись намного дольше. Однако есть и иной аспект. Связи внутри общины оказываются сильнее, поскольку сама она не теряет действенности. Федеральные и региональные власти проявляет крайне ограниченный интерес к городу и территории, и соответственно, местная власть теснее связана с населением, чем с вышестоящими уровнями управления, и воздействие государства на общину оказывается не столь разрушительным.

Биробиджанские горожане, в отличие от жителей Амурска, гордятся происходящими в их городе изменениями.

«Вы посмотрите, как все изменилось. Конечно, старого Биробиджана немножко жалко. Но зато центр — смотреть радостно... хочется. Мрамор, фонтаны, дома нарядные. У нас и концерты проводятся регулярно. Из Хабаровска, даже из Москвы приезжают. Можно сказать, интенсивная культурная жизнь, кстати. Понимаешь, что не совсем в провинции живешь» *(мужчина, 71 год, пенсионер)*.

Как и в Дальнереченске, здесь крайне значим сетевой фактор. Но строится он не только на родственных связях, но и на знакомстве, совместном досуге, обмене услугами. Здесь используются оба варианта организации сообщества — традиционный и «советский».

«Знаете, какой первый вопрос здесь задают, когда на работу принимают или просто собираются общаться? Кого ты знаешь? Не что ты закончил? Не какую должность занимаешь, а кого знаешь. Отсюда и отношение к тебе. Знаешь "серьезных людей", тогда ты — человек. Нет? Тогда — пустое место» *(женщина, 34 года, преподаватель университета)*.

«Как они контачат? Да не на работе. То есть на работе, конечно, тоже. Но это потом. Сначала в бане парятся, на охоту ходят. Так ранг и определяется. Кто с кем в бане и на охоте. Это уже как должность: "Я с самим мэром в баню хожу". Потом и на работе с ними все решают» *(мужчина, 32 года, предприниматель)*.

«Вот твой дядюшка — большой человек. Академик, директор. А вот ему нужно было на прием к губернатору. Он — туда-сюда. А никак. А я позвонил по мобильнику и договорился. Так-то. Я же Винникова еще по комсомолу знаю. В свое время столько водочки вместе выпили, что азохен вей» *(мужчина, 57 лет, предприниматель)*.

Те, кто переселились в город недавно, поддерживают тесную связь с селом или районом, откуда они родом: регулярно обмениваются с деревенскими родственниками (продукты в обмен на городские товары), помогают в трудоустройстве. Сходным образом организовано и сообщество старожилов. Их объединения тоже строятся по соседскому принципу. Правда, если сельские жители стремятся переселиться в Биробиджан, то сами биробиджанцы нацелены на более крупные города на Дальнем Востоке и за его пределами.

«Знаешь, в чем главная проблема. Город на трассе. Как только кто-то поднимается, он сразу переезжает или в Хабаровск, или еще куда подальше. Возьмешь мальца, учишь его. Только начнешь его вверх двигать, а он уже в правительстве в Хабаровске или в Приморье. Так у меня остаются только пионеры или пенсионеры» *(мужчина, 51 год, государственный служащий)*.

Важными элементами территориального сообщества являются в Биробиджане включенные в него представители власти. Мэрия и администрация области — структуры, отнюдь не выделенные, но вполне «освоенные» местным сообществом. Конечно, в первую очередь это возможность получить госзаказ или иным способом приобщиться к благам бюджета. Но не только. Административные лица нередко становились третейскими судьями в неформальных хозяйственных спорах, поддерживали земляков в их делах на «большой земле» и вообще предоставляли общине помощь, далеко выходящую за пределы их служебных обязанностей. Все это придает лидеру авторитет в сообществе, позволяют ему это сообщество «видеть». В противном случае, глава отторгается территорией, что в условиях прочности социальных связей означает его провал как управленца.

В целом Биробиджан производит впечатление сообщества, сплоченного не менее крепко, чем в Дальнереченске. Правда, здешняя община организована гораздо сложнее. Неформальные структуры не столько составляют противовес формальным, сколько пронизывают их, включают в себя. Сложность организации позволила не только обеспечить сообществу выживание, но и «растворить» в себе ресурс, предназначенный «для модернизации».

Большая часть средств направляются на выживание территориального

сообщества. «Свой губернатор» дает территории возможность противодействовать внешним смыслам и социальным группам, которые пытаются в нее проникнуть, но не устраивают местное сообщество. Важным моментом для объединения разрозненных «общин» в нечто целостное выступает «квазиэтнический» фактор, отраженный в самом наименовании области и позволяющий «легально» претендовать на признание особенностей. Иными словами, только здесь у общины есть пространство для переговоров с государством. Именно его наличие делает сеть крайне эффективной, способной «решать проблемы». В свою очередь, сеть расширяется, усиливается за счет новых членов, стремящихся использовать этот ресурс.

В поисках «переговорщика»

Итак, спонтанный порядок, возникающий на периферии в лакунах политической власти, вполне способен обеспечить выживание сообщества. Однако сам факт его существования оказывается вызовом для государства, которое расценивает образование общины как попытку создать некую ему — государству — альтернативу.

Сам же результат и характер противостояния территориальной общины и государства зависит от нескольких очевидных факторов.

Во-первых, это плотность и стабильность самой общинной организации, ее эффективность в решении повседневных проблем участников объединения.

Во-вторых, наличие некоторой публичной и легальной властной структуры, встроенной в общину. Это немаловажный ресурс неформальной общины.

В-третьих, степень заинтересованности государства в данной территории и в реализации данного модернизационного проекта. Если степень высока, то мощи государства, скорее всего, хватит, чтобы раздавить общину. Важна и степень несовпадения интересов государства и общины. Скажем, достаточно очевидно, что сохранение общинных форм в Дальнереченске и разрушение их в Амурске связано с тем, что в Дальнереченск «масштабные проекты» так и не пришли, тогда как в Амурске государственные инвестиции и их воздействие весьма значительны.

В принципе, интересы государства и местного сообщества редко совпадают, особенно если община уже сложилась, и сложилась в стороне от «государственных интересов». Однако пример Биробиджана показывает, что исход противостояния не обязательно конфликтен и трагичен. Определяющей здесь оказывается возможность внятно выразить особость и интересы общины, а также указать на выполнимость их согласования с интересами государства. Иными словами, община, да и не только община, но любое выделенное социальное образование успешно выживает, если у него есть легальный и легитимный «переговорщик», а также пространство для переговоров. Но и здесь долгосрочное согласование интересов часто затруднено тем, что не выражены интересы самого государства. В этих условиях избежать восприятия государственного варианта «общего блага» в качестве формы структурного насилия крайне сложно.

ГЛАЗАМИ НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Тамара Пирожкова

Десять «личных правд» о Каталонии

Говорят, есть любовь с первого взгляда, а у меня получилась — «с первого вдоха»: в тот самый миг, когда я вышла из аэропорта Барселоны в феврале 1997 года и почувствовала теплый запах моря, наполнивший мои неподготовленные легкие, я влюбилась сразу и безоговорочно! Еще до того, как увидела город, до того, как узнала каталонцев, до того, как меня околдовали великаны и волхвы. Это я не волшебных и библейских персонажей имею в виду, а традиции, праздники и легенды страны. Но об этом позже.

Небольшой город или мегаполис?

Ориентироваться в Барселоне, как мне объяснили чуть ли не в первый день, надо по природным ограничителям: горы, море и две реки (Льобрегат и Безос). Так и договариваешься о встрече: на пересечении улицы Араго с Рамбла де Каталония, на стороне моря и Безос. Кажется, все просто, но когда ты находишься в центре и уже слегка покружил по улицам без особой цели (самый лучший способ увидеть что-нибудь необычное!), то понять, где море и с какой стороны какая река, не очень-то и просто. Хорошо, что гору Тибидабо видно и днем и ночью, за исключением, конечно, дождливых и туманных дней, которыми Барселона, к счастью, огорчает не часто.

Первый раз попав в Барселону студенткой, я пошла гулять по городу и сама не заметила, как пересекла весь его по горизонтали. С вертикалью получилось так же быстро: доехала до Парка Гуэль (знаменитый парк в верхней части Барселоны, созданный Антонио Гауди в 1900—1914 годах) и пошла в сторону моря — под горку и с ветерком! Прогулка по Диагонали — проспекту, прочерчивающему всю Барселону по диагонали, — оказалась легкой и приятной, хоть и заняла чуть больше времени, чем ожидалось, и я решила, что Барселона — город небольшой, удобный для пеших прогулок и легкий в ориентировании. Со временем оказалось, что все не так просто!

Тамара Пирожкова родилась в Петропавловске (Северный Казахстан), закончила филологический факультет МГУ и бизнес-школу при Университете Барселоны. Живет в Барселоне, работает директором по маркетингу и связям с общественностью в Ассоциации ведущих брендов Испании, а также приглашенным преподавателем в ряде бизнес-школ.

В Барселоне очень удобная и хорошо развитая система городского транспорта, она связывает не только разные кварталы города, но и близлежащие города. Настолько близлежащие, что сразу и не поймешь, где заканчивается один и начинается другой. На севере город граничит с муниципалитетами Санта-Колома-де-Граманет, Бадалона и Сант-Андриа-де-Бесос, на юге — с Оспиталет-де-Льобрегат и Эсплугес-де-Льобрегат, на юго-востоке город ограничивает Средиземное море, а на западе находятся населенные пункты Сан-Кугат-дель-Вальес и Серданьола-дель-Вальес.

Население собственно города Барселона составляет 1,7 млн человек, однако Барселона не завершается только городской частью: в столичном округе Барселона, так называемой Большой Барселоне, проживает 3,5 млн человек. При этом сам столичный округ является частью каталонской провинции Барселона, где численность населения достигает 5,3 млн жителей (при общем населении Каталонии в 7,5 млн человек). Это делает Барселону шестой по величине агломерацией в Европе и крупнейшей на берегах Средиземного моря. Вот и получается, что Барселона — мегаполис с очень сложной внутренней организацией.

К слову о пеших прогулках. Барселона лежит на семи холмах и двух горах, давших название городским кварталам. Самый высокий холм — Кармель, 267 м, самая высокая точка — гора Тибидабо, ее высота составляет 512 м, а с горы Монжуик высотой 173 м в юго-западной части города открывается великолепный вид на порт Барселоны. Добраться до горы Тибидабо можно на старинном Голубом трамвайчике, а подняться на вершину — на фуникулере. Фантастическая панорама города, старинный парк аттракционов, телевизионная башня Кольсерола, Искупительный Храм Святого Сердца — все это великолепие находится на самой высокой горе Барселоны — Тибидабо. Фуникулер на гору Тибидабо стал первым в своем роде в Испании и был открыт в один день с запуском Голубого травмая — 29 октября 1901 года. А если захочется взглянуть на город со стороны моря, стоит хотя бы раз проехать на фуникулере Барселонета — Монжуик, который был построен по случаю Всемирной выставки в Барселоне 1929 года. Канатная дорога отправляется со смотровой площадки на знаменитой горе Монжуик (наверняка вам знакомы Поющие фонтаны в Барселоне — волшебное шоу света, музыки и потока воды) и позволяет насладиться видами города с высоты до 100 метров в портовой части города. Или можно совершить морскую прогулку на традиционных «голондринах» (в переводе — ласточка).

Вот и получается, что не так-то легко ходить по Барселоне все время пешком (особенно если живешь в верхней части города), и не такой уж маленький этот город! С ориентированием на местности, конечно, все очень индивидуально, но надо признать, что местная система названий улиц и разница в устройстве кварталов может сбить с толку самого опытного «следопыта». Приведу только два примера: готический квартал, в котором практически нет ни одной прямой улицы, и район Эйшампла, представляющий собой сеть из параллельных и перпендикулярных улиц с односторонним движением. С названиями улиц, площадей и переулков путаница возникает в основном из-за того, что одна и та же улица может иметь два, три или даже четыре названия, или маленький отрезок улицы может иметь другое название, причем с собственной нумерацией домов. Ты вроде бы почти дошел до нужного тебе адреса — ан нет!

Шагаешь еще два-три квартала по той же улице, но под другим названием, и лишь потом благополучно возвращаешься к продолжению «своей».

А еще в Барселоне 129 улиц имеют одно и то же название (согласно данным мэрии от 2014 г.), просто они различаются по типам: проезд, переулок или рамбла (пешеходная улица), хоть и не всегда. Часто дома в Барселоне не имеют номера, и в адресе так и обозначено: s/n, то есть sense numero — без номера. Но самое интересное начнется, когда вы наконец отыщете нужную улицу и дом. В Каталонии у каждого подъезда своя нумерация, так же как и у этажей и квартир. Например, 2n 3a означает: второй этаж, третья квартира. «Наш» первый называется «baixos», второй — «entresol», и только потом... первый, второй и так далее до мансард или квартир на крыше — «atic». В результате второй этаж запросто может оказаться третьим или четвертым. Во многих зданиях есть внутренний открытый или закрытый дворик, но вход всегда с улицы.

Небольшой город в постоянном движении

> Чтобы жить полной жизнью, надо находиться в постоянном движении, и только тогда один день будет не похож на другой.
>
> *Пауло Коэльо*

Тем не менее, Барселона — город сравнительно небольшой для столицы, как по площади, так и по количеству населения. Однако когда выходишь на улицу, тебя сразу подхватывает волна какого-то общего движения: машины, мотоциклы, велосипеды, самокаты, ролики, скейты; ну а если взглянуть пошире, то корабли, лодки, серфборды... А еще в самом городе, кроме уже упомянутого фуникулера, можно прокатиться на метро, городской железной дороге или трамвае.

Первое, что меня поразило, когда я попала в Барселону, — это количество мотоциклов на улицах города. Барселона занимает первое место в Европе по количеству мотоциклов на душу населения. Честно говоря, для города с не слишком широкими и заполненными машинами улицами мотоцикл — самое удобное средство передвижения! А главное, его легко припарковать — практически на каждом углу есть специальные места для парковки именно мотоциклов (хотя в некоторых районах найти место для мотоцикла так же трудно, как и для автомобиля). Это, пожалуй, самый демократичный вид транспорта. На мотоциклах одинаково разъезжают мужчины и женщины, молодежь и люди в возрасте, студенты и крупные бизнесмены. Кому что по карману или по душе: от шустрых скутеров до весьма внушительных Harley Davidson. Недавно, гуляя по городу, я услышала восхищенный комментарий туриста из России: «Ты посмотри, как девчата на мотоциклах гоняют! У нас такого не увидишь!»

Но в последние годы европейцы массово пересаживаются на велосипеды, которые все больше проникают в их жизнь, становясь обычным видом транспорта. Барселона уже несколько лет входит в двадцатку самых «велосипедных» городов мира. С 2007 года здесь действует очень удобная система проката велосипедов — Bicing. В любой из четырехсот станций проката любой житель или турист может взять байк, оставив залог, а потом вернуть его в то же или

другое место. Расположены такие велопарковки так же часто, как и автобусные остановки. Оплата принимается по карточкам. Это очень удобно. Исключение составляет горная часть города, куда тяжеловато добраться, крутя педали, но уже запустили пробный проект электровелосипедов, а пока в верхние районы Барселоны специальные грузовики регулярно подвозят велосипеды, собранные в нижних районах.

А теперь о восхитительной любви к роликам, скейтам и прочим ускорителям движения. Среди беспечных прохожих и верениц велосипедистов роллеры с каждым днем все больше заметны на улицах Барселоны. Прибрежные районы всегда привлекали роллеров благодаря большому количеству свободного пространства. Опытные роллеры и начинающие, любители и поклонники, местные и туристы; самокаты, ролики, скейтборды, лонгборды — всему и всем найдется место в этом замечательном городе «на колесах»! А еще много мам и пап, выходящих погулять на роликах или скейтах с коляской, да еще и с собакой, — получается прогулка «с ветерком», полезно и приятно. На роликах устраивают маршруты на любой вкус: семейные, ночные, карнавальные, разгрузочные (да-да, например, 1 января), танцевальные, горные или до другого города — на сколько хватает воображения и сил!

Для меня ролики стали открытием три года назад. Я до сих пор не понимаю, как я могла столько лет смотреть на толпы катающихся роллеров и ни разу не попробовать! И это учитывая, что в детстве все зимы я в обязательном школьном порядке проводила на лыжах и коньках, да и много свободного времени зимой мы проводили на катках. Я и в Барселоне несколько раз бывала на крытых катках, а в последние годы в рождественский период все чаще стали появляться временные катки под открытым небом. Но там всегда толкотня, очереди, почасовая оплата, пластмассовые и часто затупленные коньки... А тут появляется возможность просто встать на ролики и поехать! Куда хочешь, а главное, в любое время года и суток: погода практически всегда благоприятствует, да и хорошее городское освещение помогает. А если тебя вдруг застанет дождь, то всегда найдется какая-нибудь крытая терраса, где не будут хмуро смотреть на роллеров, которые расселись перекусить, не снимая роликов. Не так давно я с группой друзей попала под дождь, которого синоптики не предсказывали, туча набежала как-то очень неожиданно... Мокрый асфальт — главный враг роллеров, ощущение такое, будто ты катишься по льду на стеклянных коньках, а при попытке затормозить сразу вспоминаешь инструкцию «Основные приемы торможения зимой на машине». Она, конечно, совершенно бесполезна, потому что ни сцепления, ни коробки передач у тебя нет — только совет тормозить в сугроб, если тебя «повело». С сугробами в Барселоне трудновато, но всегда найдется клумба или фонарь, поэтому даже опытные роллеры не пренебрегают наколенниками. Так вот, осознав, что дождь зарядил по крайней мере на час и что коэффициент сцепления ролика с дорогой начал угрожающе снижаться, мы остановились у ближайшего бара, который оказался турецким ресторанчиком с очень милыми официантами, вкусно поели, интересно поговорили, а когда туча прошла и солнце подсушило лужи, поехали дальше. Вы скажете, а почему мы просто не переобулись и не вернулись домой? Так ведь мы же встретились, чтобы покататься на роликах!

Ну и еще немного о бегунах. Конечно, это сейчас повсеместное увлечение, и рейтинги тут ни к чему. Просто в Барселоне бегают индивидуально с таким же

удовольствием, как и участвуют в марафонах, полумарафонах и всевозможных забегах. Хочется рассказать об уникальных, веселых и демократичных забегах (можно участвовать в них и пешком, главное — участие).

Летний забег на 5 км под названием *The Color Run*(«Красочный забег»). Его цель — не скорость, а веселье, потому что во время забега участники окатывают друг друга специальными красками. Это мероприятие очень популярно у каталонцев и каждый раз собирает тысячи участников.

Рождественский забег Buff Epic Run, от замка Монтжуик, в двадцатых числах декабря. Это мероприятие одно из самых развлекательных в рождественский период. Сумасшедший забег на 10 километров с препятствиями — от прыжков через соломенные стены до прохождения веревочных лабиринтов и поднятия на гору из сложенных шин.

Если окажетесь в Барселоне 31 декабря, возможно, вы натолкнетесь на перекрытые улицы и сможете увидеть более десяти тысяч человек, совершающих последний спортивный рывок уходящего года, — десятикилометровый «Носатый забег» (Cursa dels Nassos). Он получил свое название от каталонского мифического персонажа — Носатого человека, у которого столько носов на теле, сколько дней осталось до Нового года. Увидеть этого бедолагу можно только один день в году — 31 декабря.

Делу — время, потехе — час!

Какие они, каталонцы? Я так давно чувствую себя «своей», что мне трудно говорить о них со стороны. По работе мне приходиться много ездить по Испании, и меня везде принимают за каталонку: и словечки могу вставить непонятные, и мелодика речи у меня другая (я в повседневной жизни говорю чаще по-каталонски), и выражаюсь я прямолинейнее. Оговорюсь лишь, что в Мадриде незнакомые люди, если и заподозрят, что я иностранка, то тут же решают, что я из Италии, видимо, сказывается мое усиленное старание убрать каталонский акцент, что я делаю исключительно с целью избежать вечных вопросов о независимости, предпочтении футбольной команды или о том, зачем мне нужен каталонский язык. Иногда это простое любопытство, но на личном опыте знаю, что за любопытством скрывается искреннее желание раскритиковать, переубедить, доказать обратное. В первые годы жизни в Каталонии я вдохновенно рассказывала о красоте ее языка, о богатстве культурных традиций, о рачительности и гостеприимстве каталонцев, с увлечением говорила о том, что подавляющее большинство психолингвистических исследований показывает: одновременное изучение двух языков — это плюс для нашего мозга, но со временем поуспокоилась. Испанцы называют каталонцев поляками: язык непонятен в разговорной речи и много шипящих звуков. А каталонцы это разделение наций воспринимают скорее позитивно — да, мы не испанцы! — и даже с чувством юмора: вот уже много лет подряд на государственном канале каталонского телевидения идет программа политической сатиры «Polonia» (Польша), только название пишется вот так POLOИД — со смешением латиницы и кириллицы. Передача завоевала огромное количество призов и премий и продолжает собирать высокие рейтинги в прайм-тайм. Смеются в первую очередь над собой, над своими политиками и своим национальным

характером. Большой урок испанским государственным каналам, где такого днем с огнем не сыщешь.

Поскольку мне трудно объективно размышлять о характере нации в целом — слишком много семейного, дружеского, профессионального и прочего влияния, — то сразу оговорюсь: мои суждения субъективны. Почти двадцать лет моей жизни здесь в принципе сводятся к тому, что с каталонцами легко жить, работать, дружить, веселится, быть самим собой и участвовать в общем деле. На языке еще вертится 10-километровый новогодний забег, так что сократим перечень «личных правд» о каталонцах до десяти.

«Личная правда № 1»

Каталонцы очень похожи характером на русских: ни они, ни мы сразу на шею не бросаемся, в дом не зовем, в друзья не навязываемся. Только в Каталонии это все делается с улыбкой, а не с угрюмым выражением лица; каталонцы дружелюбные и открытые люди, если кого-то давит одиночество, достаточно дойти до ближайшего рынка, и пара часов приятных разговоров тебе обеспечена. Можно пойти погулять по городу и, присев на какой-нибудь террасе бара, завести разговор с соседом. Скорее всего, он ответит дружелюбно, а если попросите совета, например, что посмотреть в городе или стоит ли поехать на Монтсеррат («Зубчатая гора», горный массив в 50 км от Барселоны, среди скал которого спрятался бенедиктинский монастырь — духовный символ и религиозный центр Каталонии, куда ежегодно стекаются тысячи паломников со всего мира поклониться главной реликвии монастыря — «Черной мадонне» — статуе Богоматери XII века с младенцем на коленях), разговор может оказаться долгим и интересным. Когда собираются семья или друзья, то послеобеденные разговоры вообще могут продолжаться до ужина, впрочем, как и в России. Обязательный набор любого дружеского или семейного послеобеденного застолья включает кофе, каталонское игристое вино (cava) и какой-нибудь десерт.

«Личная правда № 2»

Каталонцы рачительны и прагматичны, внимательно присматриваются к деловым партнерам, а уж когда/если их принимают, то это надолго, если не навсегда. Опять же очень напоминают нас: партнер только тогда станет долгосрочным партнером, когда он перешел невидимую границу дружбы. При этом каталонцам чуждо выражение открытой неприязни, они предпочитают придерживаться принципа «другом, может, и не стал, а дела все равно идут». В деловой жизни с ними и легко, и трудно одновременно. Легко, потому что общепринятых норм и правил придерживаются все, создавая этим очень дружелюбную атмосферу бизнеса; потому что очень трудолюбивы (уважают и ценят хорошо выполненную работу, знание своего дела и умение адаптироваться к обстоятельствам); потому что во всем руководствуются здравым смыслом (для него даже имеется особое определение: каталонская рассудительность — seny catala) и имеют деловую хватку; потому что не требуют от других того, чего сами не делают (в Каталонии большинство фирм и компаний — семейные, так что очень часто президент компании работает даже больше часов, чем его подчиненные). Трудно, потому что иногда эти правила и нормы — это давно сложившийся

уклад, который устарел в мировом бизнесе; потому что требуют от других того же, что делают сами (если президент компании работает до восьми-девяти часов вечера, то и подчиненным уйти раньше неловко); потому что зачастую здравый смысл заходит в тупик, и тогда все обдумывается дотошно, со всех возможных точек зрения, и принятие решения затягивается надолго.

«Личная правда № 3»

Каталонцы деньгами не разбрасываются, пыль в глаза пускать не любят, но при этом выбирают качественную одежду, дорогие часы и машины, вкладывают в недвижимость не только для себя, но и для детей. Умеют и любят экономить, но в то же время (или как раз благодаря этому) некоторые умеют красиво или практично их тратить. Иметь загородный апартамент или дом на море или в горах (в Каталонии и море, и горнолыжные курорты в изобилии) — заветная мечта каждого каталонца, причем у большой части населения он уже имеется, конечно, не без участия банковских кредитов, но это расценивается как вложение в будущее, которым можно наслаждаться уже сегодня. Несколько иное отношение к машинам. Будучи людьми прагматичными, они прекрасно понимают, что новокупленная машина сразу начинает падать в стоимости: модели устаревают два раза в год, необходимо оплачивать страховку, муниципальные сборы и налоги, покупать гараж и т.п., а большой километраж и содержание вне крытой парковки сильно подрывают возможность последующей продажи по хорошей цене. Поэтому практически все проходят несколько стадий владения машиной: первая машина обычно подержанная (здесь совсем не зазорно продавать и покупать машины и мотоциклы из вторых рук); вторая стадия — недорогая, но новая машина (ценят прежде всего безопасность, а отсюда и качество); третья стадия — самая разномастная: если за это время вы успели обзавестись детьми, то появляются автомобили семейного формата, если потомства еще нет, то предпочтение отдается спортивным и, конечно же, более дорогим маркам или внедорожникам (модель и марка в зависимости от доходов). В этот же период в семье обычно появляется вторая машина (забота об окружающей среде для каталонцев очень важна, поэтому с каждым годом эксплуатируется все больше гибридных и электрических автомобилей) и часто новый мотоцикл — мечта и дань юности. Последующие стадии определяют работа, достаток, любовь к роскоши или наоборот. Несмотря на то что людей, которые могут себе позволить очень дорогие автомобили, немало, редко когда на трассе в Каталонии встретится «порше» или «ламборджини».

«Личная правда № 4»

Одна из главных черт каталонцев — естественность вне зависимости от статуса. В этом отношении с ними очень просто иметь дело. Общение со знакомым официантом, владельцем магазина или президентом крупной компании не будет иметь серьезных отличий. Конечно, если этот президент — ваш начальник, то, скорее всего, вам просто не придется вести с ним разговоры о погоде и отпуске, но если вы встретились в кафе или баре, где в это время в прямом эфире транслируется матч «Барса» — «Реал Мадрид» (два лучших в Испании, в Европе, да чего уж там, в мире футбольных клуба, служащие

символом неровности отношений между каталонцами и испанцами, которые, однако, одинаково обожают футбол), то вы оба будете громко кричать, чертыхаться, подпрыгивать на стульях во время атаки и потом эмоционально и подробно обсуждать каждую подачу. Статус позабыт, если не насовсем, то уж точно на время матча! Это иногда усложняет жизнь менее подготовленным к такой демократичности поведения индивидуумам: можно по ошибке ляпнуть какую-нибудь глупость кому не надо, хотя достаточно узнать у организаторов или у бармена, кто из важных людей присутствует на мероприятии, и вам их обязательно покажут, а может, и представят! Кстати, о равенстве. Одной из рождественских традиций у каталонцев является изготовление так называемых каганеров — раскрашенных фигурок человечков, справляющих большую нужду. Одного каганера обязательно добавляют в композицию рождественского вертепа, причем католическая церковь не возражает против этого. Фигурки могут изображать не только простых жителей, но и знаменитостей, включая президентов и папу римского. Считается, что народная сатира воплощает в каганерах концепцию равенства всех людей независимо от их общественного положения.

«Личная правда № 5»

Для каталонцев семья, со всеми ее составляющими и вытекающими, — первостепенная ценность. Несмотря на то что в последние 15—20 лет состав среднестатистической семьи значительно уменьшился, крепость внутрисемейных связей не пострадала: воскресные обеды у бабушки, юбилеи, годовщины, Рождество, да и вообще любой праздник, планируется совместно с семьей. Друзья, конечно, тоже приглашаются, но только самые близкие, хотя я не раз попадала на дни рождения друзей моих детей, на которых не было родственников, но это только потому, что семьей торжество уже отпраздновали. Конечно, если принять во внимание, что семьи большие и включают бабушек, прабабушек, двоюродных племянников и всю остальную родню, то совместить это еще и с друзьями просто невозможно! Если называть одним словом, то семья в Каталонии, так же как и в большинстве средиземноморских стран, — это клан. У каждого в ней свое место, все друг за друга стоят горой (вне клана), и все со всеми в состоянии «от того терплю, кого больше всех люблю», хотя нанесенные обиды помнятся и перетираются долго (но только внутри клана). Внутрь можно попасть только по семейным связям, вливаясь сразу во все семейные праздники (причем, неважно, каталонец ты или иностранец); потихоньку начинаешь запоминать, кто кому кем приходится и кто кому когда насолил. При этом знакомство двух кланов, например, перед женитьбой, подготавливается заранее, хотя, скорее всего, после свадьбы оба клана будут существовать, не смешиваясь, — так проще, да и каждому своих забот хватает! Если вам не посчастливилось родиться на берегах Средиземного моря, но велением судьбы вы попали в такой семейный клан, запаситесь терпением и чувством юмора, а заодно анальгетиками и активированным углем: скорее всего на первых порах головная боль от многочасовых разговоров будет сопровождаться тяжестью в желудке от переедания.

«Личная правда № 6»

Каталонцы очень любят веселье, причем с гурьбой, толкотней, светом, огнем, шумом, нарядами и вином (но только когда для этого есть повод, в остальное время ведут себя скромно и гораздо сдержанней, чем ближайшие соседи). Для этого умения хорошо и от души веселиться тоже есть слово, аналог которому сложно найти в русском, да и в других языках: disbauxa — эдакое «развеселье», полная противоположность каталонской рассудительности. Карнавал (carnestoltes) и волхвы (reis d'orient), великаны (gegants) и карлики (nans), драконы (dracs) и головастики (capgrossos), бегающий огонь (correfocs) и замки из людей (castells), традиционные танцы (sardanes i bastoners), петарды и народные гуляния по улицам городов (cercaviles) — чего только нет!.. И во всем этом развеселье принимают участие все, кто умеет и хочет. Все празднования готовятся тщательно и задолго, дух праздника присутствует всегда, главное захотеть стать частью самого процесса. В моем кругу знакомых есть танцоры сарданас, тамбуристы, носители гигантов и драконов, кастельеры (это те, кто принимает участие в построении башен из людей) и участники карнавальных шествий. И это учитывая, что я живу в большом городе. Если бы я жила в небольшом городке или поселке, то большинство моих знакомых и родственников, а скорее всего и я сама, так или иначе участвовали бы в каждом традиционном праздновании.

«Личная правда № 7»

Каталонцы любят свою страну, гордятся ею и искренне стремятся сделать ее лучше, чище, богаче, доступнее. Это проявляется не только на митингах и демонстрациях за независимость, но и в повседневном поведении. Например, в Каталонии раздельным сбором мусора трудно пренебречь — контейнеры для пластмассы, бумаги и стекла стоят там же, где и контейнеры для общего мусора. И никто не говорит при этом громких речей о сохранении окружающей среды, просто в школах и офисах вводятся какие-то меры или осуществляются проекты, которые дают возможность каждому внести свою долю в сохранение планеты, не затрачивая на это ни лишнего времени, ни сил. Скажем, в школе моих детей полтора года назад провели акцию за использование многоразовых упаковок для бутербродов. Интересна не сама акция, а как ее провели, чтобы и детям запомнилось, и до родителей дошло. Поскольку в Каталонии школьный день длинный (с 9 утра до 4 или 5 вечера, в зависимости от типа школы), то дети в школе не только обедают, но и едят второй завтрак, а если остаются на внешкольные занятия, то еще и полдничают; а мамы, заботясь о них, дают на завтрак и полдник бутерброды, завернутые в фольгу. Фольга, как известно, не перерабатывается. Так вот, в школе в течение недели фольгу от бутербродов дети не выбрасывали в мусор, а складывали в кучу в фойе. Уже на третий день куча была такой огромной (в нашей школе учатся 650 человек), что дети не только сами поняли, насколько она вредна для окружающей среды, но и стали просить родителей купить многоразовую упаковку. Родительский комитет договорился о скидке с одним производителем, так что можно было такую упаковку купить прямо в школе, если было лень или некогда дойти до магазина. А через каждые

три—четыре месяца малыши проводят проверочные рейды у старшеклассников (сами малыши быстро привыкли к новой системе, а вот старшеклассникам оказалось сложнее перестроиться); и сегодня фольга в нашей школе практически не используется. Даже тем родителям, которые поначалу жаловались на нововведение, со временем стало понятно, что так проще и дешевле, а заодно и полезнее для окружающей среды. Таких примеров очень много. Сильно обедневшему за годы кризиса населению помогают с едой: один раз в год по всей Каталонии проводится очень крупная акция по сбору самых необходимых продуктов питания (организованная НГО и волонтерами), а в течение года в любое время можно принести еду или помочь на кухне в центрах и приютах; религиозные и социальные ассоциации помощи обездоленным принимают и раздают одежду, игрушки, мебель, детские коляски.

«Личная правда № 8»

Конечно, не все идеально, и раз уж я взялась за «личные правды», то стоит сказать и о том, чего не хватает. В каталанском языке, конечно же, есть слово «душа», а вот выражения «поговорить по душам» или «тронуть душу» нет. Есть похожие выражения со словами «сердце» и «чувства», но в самом проявлении «душевных» порывов я продолжаю чувствовать себя немного не в своей тарелке, как-то неуместно, да и не получается здесь душу изливать. Каждый со своими проблемами разбирается сам, не ожидая и даже не предполагая помощи со стороны. Это не значит, что в ответ всегда слышишь «все в порядке» (я бы даже сказала, что каталонцы подозрительно относятся к тем, у кого все всегда в порядке), они признают, что что-то идет не так, как хотелось бы, но всегда выражают надежду, что все наладится, разрешится и откроются новые возможности. Так что повод и тон для задушевного разговора возникает крайне редко.

Конечно, на то и друзья, чтобы иногда и сдержанным каталонцам можно было поговорить о личном и наболевшем, но и на это должно уйти немало времени. Для сравнения приведу два недавних случая. Первый произошел с одной моей университетской подругой (подруга — русская, не виделись почти два года). Едем в машине, болтаем о том о сем, и тут вдруг по радио зазвучала песня нашей юности, на меня что называется нахлынули воспоминания, чувства и переживания двадцатилетней давности, и я настолько растрогалась, что слезы совершенно неожиданно потекли сами, а подруга и говорит: «Давай еще?» И мы со смехом вперемешку со слезами всю дорогу распевали эти самые песни юности (вот тебе и толчок к задушевному разговору). Второй случай — с моей очень близкой и давней подругой (каталонка, видимся несколько раз в год, а созваниваемся еще чаще). Мы договорились встретиться — поужинать. Осень, погода прекрасная, настроение легкое, перекусили, выпили вина, натолкнулись на уличное празднование одного из районов Барселоны (помимо большого общегородского праздника в больших городах каждый городской район отмечает свои праздники; в Барселоне особенно интересны празднования района Грасия, когда разные улицы района выбирают свою тему, местные жители придумывают соответствующее украшение и устраивается конкурс на лучшую улицу). Мы попали на концерт под открытым небом, а под конец на площади — на соревнования батукад (батукада — это разновидность бразильской самбы, исполняемая барабанным оркестром). Гармония заразительная, задевает те самые

струны души... Но только спустя три часа подруга решилась рассказать мне о мучившей ее проблеме. Благодарю судьбу за обеих подруг, просто разные струны, разные души, разная музыка.

«Личная правда № 9»

Еще одна личностная характеристика, вызывающая у меня непонимание, а иногда и раздражение — это особая разновидность упрямства (tossuderia). Конечно, жить в дружбе и согласии легче с теми, кто думает одинаково с тобой... Но если возникают разногласия и нужно идти на компромисс (хотя каталонцам, как я уже говорила, чужда открытая вражда), то обычно складывается ситуация «нашла коса на камень», причем каждый будет усердно убеждать другого всеми возможными доводами и также усердно не слушать доводы оппонента. И это несмотря на то, что каталонцы больше настроены на худой мир, чем на добрую ссору. Упрямство — качество, присущее всем народам мира, и каталонцы не исключение, скажете вы и будете правы, однако у каталонцев срабатывает небольшой, но очень мощный спусковой крючок — показное безразличие. После бурных получасовых дебатов у одного или у другого обязательно прозвучит безличное: «Ну, это все равно!» (Be, es igual!) Вот это безличное выражение и задевает меня за живое: кому все равно? Почему теперь все равно, а до этого было не все равно? Почему не признать открыто, что ты был не прав? К чему это показное безразличие? Впрочем, можно к этому относиться и как к искусству ухода от спора, не признавая ни победы, ни поражения, и, вероятно, этому стоит у них поучиться, ведь завтра новый день и мало ли с кем сведет жизнь (хорошо бы с единомышленниками!)

«Личная правда № 10»

Наконец пришло время поговорить о национальном самосознании. Стоит учесть, что и для самих каталонцев тема эта очень болезненная. Любой человек, побывавший хоть раз в Каталонии, услышит, увидит и, возможно, согласится с популярным лозунгом «Каталония — это не Испания». Каталония является частью Испании лишь формально, с испанцами у них разное национальное самоощущение — отношение к собственным корням и культуре, накопленное в поколениях, образ жизни, язык, стремления, ценности, мечты. В Национальный день Каталонии (La Diada), который отмечается 11 сентября, уже четыре года сторонники самоопределения организовывают массовые демонстрации. В ходе «Марша к независимости» в сентябре 2012 г. по всей Каталонии прошла массовая манифестация с участием более чем полутора миллионов человек под лозунгом «Каталония — новое государство Европы». В 2013 г. Национальная Ассамблея Каталонии созвала жителей страны на живую цепь, названную «Каталонский путь» — за отделение Каталонии от Испании (La via catalana per la independencia). Длина цепи, протянувшейся с севера на юг через 86 населенных пунктов, составила 480 километров, и в ней участвовало 1 600 000 человек. В 2014 г. каталонцы заполнили улицы Диагональ и Гран Виа де лес Кортс Каталанас до пересечения с Площадью Глориас, образовав букву «V», — еще один акт протеста с требованием независимости Каталонии, в котором приняли участие более чем два с половиной миллиона человек. Участники демонстрации были одеты в

красные и желтые футболки, составив собой живой национальный флаг Каталонии — «сэньеру» (*Senyera*): четыре красные полосы на золотистом фоне. Последняя Диада, 2015 года, тоже не оставила равнодушных: проспект Меридиана заполнили полтора миллиона человек, каждый участник нес указатель определенного цвета, каждый цвет представлял собой одно из качеств независимой Каталонии. Под лозунгом «Путь Свободы» (Via Lliure) манифестанты направляли свои указатели в сторону Парламента, где через две недели должны были пройти выборы нового правительства. Если у кого-то после всего увиденного за эти четыре года остаются сомнения по поводу национального самоощущения каталонцев, стоит просто пройтись по столице — повсюду развешены и нарисованы местные флаги: на балконах домов, на окнах, на стенах, на лобовых стеклах машин, на собачьих ошейниках. Даже в самой маленькой деревне есть высоченный флагшток с развевающимся на нем полотнищем «сэньеры» или «эстелады». (Estelada — неофициальный флаг каталонских земель, является символом борьбы за независимость Каталонии. Возник в результате соединения традиционного каталонского флага со звездой, вписанной в треугольник, — так называемая синяя Эстелада.) Неважно, все ли одинаково желают независимости, важно, что все однозначно ощущают уникальность себя как нации. И не почувствовать этого просто невозможно.

Времена года. Отзвуки языческой реальности

Жизнь в Каталонии подарила мне четыре новых, до того совершенно незнакомых праздника, по одному в каждое время года. Сначала они мне просто пришлись по душе, а сейчас я даже представить себе не могу, как я до этого без них существовала! И я совершенно точно знаю, что они закрепились в моем праздничном календаре так же основательно, как 8 марта (праздник, совершенно не отмечаемый каталонцами), Масленица и Новый год.

Зима — Тио

Во всей рождественско-новогодней суете мой самый любимый персонаж — Тио (с ударением на о — Tió), маленькое бревнышко с нарисованным лицом и в красном традиционном колпаке (la barretina), которое появляется в домах в начале декабря. Ему подыскивают уютное местечко: если есть камин, то возле камина, а если нет, то поближе к кухне, и начинают подкармливать. Да-да, каждую ночь ему оставляют после ужина немного еды, которая к утру исчезает. Ответственность за регулярность кормления и качество еды берут на себя, конечно, самые младшие члены семьи, к тому же они-то как раз больше всех заинтересованы в том, чтобы Тио ел хорошо.

На самом деле большинство детей называют этого персонажа не Тио а Кагатио (Caga Tió — какай, Тио), потому что 24 декабря, в сочельник, укутав Тио теплым покрывалом, все семейство рассаживается вокруг него с палками в руках и, весело напевая песни о Тио, начинает его этими палками поколачивать в ожидании и надежде, что Тио «выкакает» что-нибудь вкусненькое (а в зависимости от того, как принято в семье, может и маленький подарочек преподнести). Язычество чистой воды! День зимнего солнцестояния. Огонь (в

старину, а в деревнях и по сей день, Тио сжигали, чтобы весь год в семье были тепло и достаток), хороводное пение, барабанный стук, хохот... и кульминационное срывание покрывала! Ах, хорошо, когда там появляются турроны, нэулас, польворонс и другие рождественские сласти!!!

А дети продолжают напевать: «Какай, Тио, рождественский Тио! Не какай селедку, она очень соленая, лучше выкакай турроны, они намного вкуснее! (Caga Tio, Tio de Nadal, No caguis arrengades que son salades, Caga turrons que son mes bons!). У нашего Тио очень доброе и умное лицо, мы его любим, поэтому продолжаем кормить аж до Старого Нового года (да, и Старый Новый год мы тоже отмечаем!), а потом он вместе с елкой возвращается в лес до следующего года. Для моих детей это очень грустный день, одно хорошо — через каких-то одиннадцать месяцев он снова появится у нас дома!!!

Весна — Сан Жорди

День святого Георгия (покровителя Каталонии) — это день книги и розы, который празднуется 23 апреля. В этот день, несмотря на то что он рабочий, рано утром на всех рамблах города, а их около двадцати, выстраиваются длинные вереницы столов, заполненные книгами для всех возрастов и на все вкусы, рядом с которыми на каждом перекрестке стоят продавцы роз. Каталонская символика присутствует во всем: желто-красные ленточки обвивают розы, полосатые скатерти накрывают столы, повсюду звучат сарданас (традиционная музыка и танец), толкотня, разговоры, запах роз, новых книг... Я обожаю этот день! Это еще и день всех влюбленных, когда мужчины дарят своей возлюбленной розу, а женщины дарят любимому книгу.

Легенда о святом Георгии, которая легла в основу этого праздника, гласит, что, когда он убил дракона и освободил принцессу, кровь дракона превратилась в розу. О том, что тема розы тесно переплетена с чувством освобождения и победы над злом, говорит и тот факт, что со временем розу стали переплетать с колосом пшеницы. Пшеница у каталонцев напрямую ассоциируется с гимном Каталонии «Жнецы» (народная мелодия песни была создана неизвестным автором в период восстания каталонцев против Испании в 1639—1640 гг. Стихи гимна (на эту мелодию) были написаны в конце XIX века; один из куплетов гласит: «Пусть враг дрожит, узрев наш флаг. Когда наступит время, разрубим свои цепи, как косим золотые колосья» (Que tremoli l'enemic, en veient la nostra ensenya. Com fem caure espigues d'or, quan conve seguem cadenes).

Ну а с книгой все просто: принцесса написала в честь рыцаря поэму! А может, все было и не так, но в этот день книги не только покупают, но и читают вслух, пересказывают, устраивают ярмарки обмена и так далее, особенно много внимания этому дню уделяется в школах. Дракона тоже не забыли, он теперь уютно живет в Барселоне, приветствует всех посетителей Парка Гуэль, его чешуйчатая переливающаяся кожа «покрывает» фасады и крыши большинства зданий, построенных величайшим архитектором Каталонии — Антонио Гауди. И еще пара любопытных деталей: «Крест святого Георгия» является особым знаком уважения для каталонцев, которым дженералитет Каталонии (высший орган административного правления) награждает за выдающиеся заслуги перед страной. «Крест святого Георгия» и его флаг изображены на гербе Барселоны и на гербе футбольного клуба «Барселона».

Лето — Сан Жуан

Вот еще один совершенно нерелигиозный праздник под имением святого! В ночь с 23 на 24 июня на протяжении многих веков по всей Каталонии отмечается главный летний праздник — Ночь святого Жуана. Этот праздник напоминает древний славянский День Ивана Купалы, который также отмечается 24 июня, однако имеет свои национальные особенности. В Каталонии праздник называют еще «Ночь костров» или «Ревелья Сан-Жуана», он очень любим местными жителями, отмечается с размахом и проводится как в крупных городах, так и в маленьких деревеньках, привлекает путешественников и местных жителей своим мистическим весельем, яркостью костров и разноцветных фейерверков, морем музыки и танцев, обилием еды и вина.

Традиция отмечать Ночь Сан-Жуана имеет древнее дохристианское происхождение и связана с днем летнего солнцестояния и наступлением лета. Главными символами праздника являются огонь, свет, солнце и вода. Праздничные ритуалы несут на себе отпечаток языческих поверий о том, что освящение огнем и водой в самую короткую ночь в году имеет магическую силу, защищает от злых чар, болезней, приносит любовь и удачу. В пламени костров, которые зажигаются в эту ночь повсеместно, сгорает все плохое, что накопилось за год.

Гулянья продолжаются всю ночь напролет. В каждом районе города жители выходят из домов, чтобы в компании друзей и близких провести праздничный ужин под открытым небом. На улицах появляются столы с угощениями, а на площадях — сцены с живой музыкой, и все танцуют. Традиционным угощением в Ночь Сан-Жуана является пирог «кока», попробовать который считается залогом здоровья и счастья. Кока имеет круглую форму, символизируя солнце, и может быть сладким или соленым. Главный праздничный напиток в этот день — игристое вино, которое каталонцы называют «кава». Кроме костров в городах устраивают огненные представления и запускают фейерверки.

Если окажетесь в это время в Каталонии, вы ни за что не пропустите этот праздник — кроме костров на улицах вам о нем громко поведают постоянные разрывы петард! Около моего подъезда года три назад открыли магазин петард. Сначала мы волновались, что будем жить на пороховой бочке, но быстро успокоились: магазин работает один раз в год: с середины июня до начала июля. С раннего утра и до позднего вечера стоит очередь, петарды выбираются из огромного ассортимента: от простых хлопушек до настоящих фейерверков, а для детей — по возрасту. Перед подъездом никто их не взрывает, материал по окончании сезона вывозят, а потом целый год тишина и спокойствие (лучше чем когда у тебя под окнами бар!)

Осень — Ла Кастаньяда

Осенью по традиции отмечается Кастаньяда (La Castanyada). Это праздник, который проходит накануне Дня всех святых (Tot Sants) 31 октября. Каштаны поджаривают на открытом огне, а потом их едят вместе с муниатос (сладкий картофель), кондитерскими изделиями панальетс и запивают сладким вином мускатель.

Традиция есть жареные каштаны и сладкий картофель зародилась давно, когда накануне Дня всех святых всю ночь без остановки били в колокола, чтобы жители не забывали молиться о душах ушедших родственников. Звонарям была необходима энергия, и добровольные помощники приходили на площади и пекли звонарям каштаны для восстановления сил. В конце XVIII века, когда жареные каштаны стали продавать как еду, появилась фигура старушки-кастаньеры в длинной темной юбке, платке и переднике — так выглядела типичная уличная продавщица каштанов. Кастаньера стала главной героиней и символом праздника, еще несколько лет назад в конце октября—начале ноября на улицах можно было увидеть много таких продавщиц каштанов, к сожалению, с каждым годом их становится все меньше, они уступают место натиску любителей праздновать Хэллоуин, и большим спросом пользуются уже тыквы, а не каштаны.

«Панельетс» — сласть, приготовленная из миндаля, сахара, яичных желтков и картофеля или бататов. Это очень популярная традиция, поэтому готовят эти сласти не только дома, но и во многих детских садах и школах, от самых классических «панальетс» с кедровыми орешками до более современных вариантов — с шоколадом, кокосом, апельсином, лимоном и т.д.

В отличие от других каталонских праздников, шумных шествий и фейерверков в этот день не увидишь. В День всех святых большинство семей отправляются на кладбища, чтобы возложить цветы, а потом спокойно провести день дома с близкими.

Шесть органов чувств, или Что бы поесть вкусненького?

По определению энциклопедии, органы чувств — это специализированная периферическая анатомо-физиологическая система, обеспечивающая благодаря своим рецепторам получение и первичный анализ информации из окружающего мира и внутренней среды организма.

Человек в Каталонии получает информацию посредством шести основных органов чувств: зрение, слух, вкус, обоняние, осязание и чувство равновесия и положения в пространстве, за которое отвечает вестибулярный аппарат. Этот шестой орган чувств стал для меня сюрпризом (из школьной программы мы знали всего о пяти), но, перечитывая этот текст, я вдруг осознала, что, сама того не ожидая, о Каталонии с любовью я написала как раз по восприятиям всех шести органов чувств.

Ролики, холмы и кривые улицы — это чувство равновесия; фейерверки, великаны, архитектура Гауди и фантастический мир Сальвадора Дали — это зрение; сарданы, петарды и гимн футбольной команды «Барса» (который все знают наизусть с пеленок!) — это слух; запахи роз, моря и грибного леса (грибы в Каталонии очень ценят, умеют и любят собирать) — это обоняние; башни из людей, Тио и теплые каштаны — это осязание. О вкусе отдельно!

Каталонцы относятся к еде очень серьезно: с чувством, толком и расстановкой! Говорить о каталонской кухне можно долго, но эти записки не о

кулинарном искусстве, а о любви, а значит, о том, что любимо, дорого и останется со мной, где бы я ни жила.

Для гурманов Каталония — обязательная остановка. Гастрономия Каталонии обрела всемирную известность благодаря креативной кухне Феррана Адриа. Лучшим рестораном мира на последней церемонии World's 50 Best Restaurants был выбран ресторан братьев Рока «El Celler de Can Roca» (Жирона, Каталония). В Токио десять лет назад открылся — и тут же получил две «звезды Мишлена» — ресторан «Sant Pau» Карме Рускайеды, а ее ресторану в Сант-Поль-де-Мар давно присвоены почетные три звезды. Всего в Каталонии 41 мишленовский ресторан, но очевидно, что интересная кухня их списком не ограничивается.

Самое известное слово, заимствованное многими языками мира из каталанского, — паэлья: рис с овощами, мясом или морепродуктами. Настоящие каталонцы предпочитают «кухню моря и гор». Горы — это мясо, а море — это рыба. Соответственно, чтобы прослыть истинным каталонцем, налегать придется именно на них. В каждой семье свой рецепт паэльи, но ими делятся без страха, потому что главный ингредиент паэльи — это чутье: когда огонь убавить, когда запустить креветки, когда подсолить... Поэтому при одних и тех же ингредиентах у каждого получается свое блюдо. В моей «коронной» паэлье все начинается с морской каракатицы.

Еще одним каталонским словом, которое было заимствовано многими языками, является слово «альиоли», означающее соус из чеснока и оливкового масла. Это один из старейших соусов во всей средиземноморской кухне. Особой хитрости в его приготовлении нет: чеснок давится в ступке и в него каплями добавляется и взбивается масло. Единственное «но» в том, что взбить оливковое масло до такой густоты можетлибо очень мощная техника, либо очень умелая рука.

«Па ам томакэт», или «хлеб с помидором» — самое простое и необыкновенно вкусное блюдо, которое для меня символизирует каталонскую кухню. Каталонцы известны своей бережливостью, и чтобы не выбрасывать засохший хлеб, в прошлом его разогревали на решетке, натирали помидором и чесноком, поливали оливковым маслом и сопровождали различными колбасками. Такое блюдо и теперь является любимым началом обеда или ужина, и во многих ресторанах подают ингредиенты, чтобы посетитель сам мог бы сделать «па ам томакет». А еще очень вкусно его просто намазать альиоли.

Праздничный ужин в рождественскую ночь в Каталонии начинается с супа галетс. Галетс — это крупные макаронные изделия в виде ракушек, они настолько популярны в рождественскую пору, что их огромные муляжи служат рождественским украшением улиц Барселоны. Суп готовится на основе крепкого мясного бульона, которому дают хорошенько настояться, а затем, перед подачей на стол, в него добавляют заранее отваренные галетс. А 26 декабря в Каталонии отмечают праздник святого Стефана, и непременное блюдо, которое подается в этот день, канелонс с мясным фаршем. Канелонс — специальные трубочки из теста, которые начиняют фаршем, его, кстати, приготавливают из мяса, оставшегося от бульона для супа галетс. Практично и экономно.

Десерты уже не раз упоминались в этих заметках, но я не могу обойти стороной главный десерт — каталонский крем с хрустящей корочкой, который готовится из яичных желтков, сахара, молока, лимонной цедры и корицы. Каталонцы всегда были заядлыми сладкоежками. Не случайно первая кондитер-

ская открылась в Барселоне еще в конце XIV века (в Париже это случилось лишь в начале XVII). Каталонский крем (crema catalana) напоминает крем-брюле, известный нам по французской кухне, хотя есть различия. Каталонский крем делается из молока (крем-брюле — из сливок) и доводится до густого состояния на огне, а не на водяной бане, как крем-брюле. Каталония, Англия и Франция до сих пор борются за первенство в создании этого десерта, ну и пускай продолжают бороться, пока мы его с удовольствием поедаем! И если раньше каталонский крем готовили раз в году — в день святого Иосифа, 19 марта, — то теперь местные жители балуют себя им практически ежедневно.

Напиток, о существовании которого я ничего не знала, и, честно сказать, не вызывающий у меня особого энтузиазма, но который обожают мои дети, как и все мои друзья, — орщата, безалкогольный прохладительный напиток, в основе которого сахар и земляной миндаль. Существует легенда о происхождении названия «орщата»: однажды молодая сельская девушка из Валенсии дала королю Каталонии и Арагона попробовать молоко земляного миндаля (так тогда назывался напиток). Удивленный вкусом, король спросил, что это. «Это молоко земляного миндаля», — ответила та. «Это не молоко, это золото, красавица (ор щата)!» — воскликнул король.

На каждом семейном празднике и на торжественных приемах неизменно подают самое известное каталонское белое игристое вино — кава. В 1872 году каталонец Дон Хосе Равентос, семейная фирма которого «Codorniu» производила вина с 1551 года, сделал первое игристое вино. Дон Хосе обучался технологии шампанских вин во Франции и смог успешно внедрить метод у себя на родине. Само название испанских игристых вин «кава» подчеркивает тот факт, что это не имитация французского шампанского, а особый тип каталонского игристого вина, произведенного в определенном регионе и с использованием определенных сортов винограда.

А если очень захочется, то в Каталонии вас научат древнему искусству пития из пуррона. Пуррон — это сосуд, немного похожий на чайник, с длинным тонким носиком. Каталонцы обожают пить вино из пуррона. Нужно как можно выше отвести пуррон ото рта и тонкой струйкой попасть в рот, не проронив ни капли. Пить вино именно так считается наивысшим классом. Достичь этого можно только путем долгих, изнурительных и приятных тренировок.

Под занавес

Вернусь к тому, с чего начала: снизу море, сверху горы, слева река Льобрегат, справа река Безос, а посередине, как в сказке, — жемчужина, прекрасный город Барселона.

Ни столица Каталонии, ни сама страна в рекламе не нуждаются. Пляжи Коста-Бравы и Коста-Дорады, великолепные памятники архитектуры, каталонские замки, монастыри и маленькие средневековые городки, горы и скалы... Все это необъятное богатство природы сосредоточено на небольшой территории, населенной трудолюбивыми, веселыми и очень гордыми своей страной людьми.

Елена Погорельская:

«Актов об уничтожении архива Бабеля нет...»

Разговор ведет Елена Константинова

Елена Погорельская — литературовед, научный сотрудник Государственного литературного музея (Москва). Автор статей и публикаций по истории русской литературы первой половины XX века, один из ведущих специалистов по творчеству Исаака Бабеля. Повод для разговора — выход сборника материалов Международной научной конференции «Исаак Бабель в историческом и литературном контексте: XXI век» (совместный проект издательства «Книжники» и Государственного литературного музея, 2016).

— Долгие годы работая в музее Маяковского, вы занимались исследованием творчества этого поэта. А как и когда на вашем пути появился Бабель?

— Проще всего было бы ответить: так уж случилось. С Бабелем (не как читатель, а как исследователь) я встретилась довольно поздно. Но опять-таки, по моему глубокому убеждению, все в жизни происходит ровно тогда, когда должно произойти. Видимо, судьба подарила мне счастливую встречу с Бабелем именно в тот момент, когда я была к ней готова. А Маяковский и Бабель — это ведь один период в истории литературы. К тому же всю жизнь очень люблю Одессу.

Однажды я написала, что Бабель мог бы вслед за Маяковским сказать о себе: «Три разных истока во мне речевых...» Правда, будь подобные слова произнесены Бабелем, они имели бы иное смысловое наполнение. Бабель — наследник трех культурных традиций: русской, еврейской и западноевропейской, точнее французской. Так вот, мой исследовательский интерес к Бабелю начался с французской темы. В рукописном отделе Государственного литературного музея, где сейчас работаю, я обнаружила письма Бабеля Валентине Александровне Дынник, замечательной переводчице и специалисту по французской литературе, и ее мужу, знаменитому профессору-фольклористу Юрию Матвеевичу Соколову. Речь в этих письмах шла о трехтомном собрании сочинений Мопассана, которое выходило в 1926—1927 годах под редакцией Бабеля в издательстве «Земля и фабрика» и для которого он сам перевел с французского три рассказа — «Идиллия», «Признание» и «Болезнь Андре». Моя

первая работа по Бабелю так и называлась — «И.Э.Бабель — редактор и переводчик Ги де Мопассана». Это 2005 год. Ну а дальше все идет как идет.

— За исключением изъятого при обыске и аресте 15 мая 1939 года в Переделкине и на московской квартире в Большом Николоворобинском переулке, вы изучили вдоль и поперек все, что Бабель написал, напечатал, оставил в рукописях, все, что уцелело у его друзей и знакомых, а также все, что так или иначе связано с его именем...

— Я бы не стала говорить ни о ком, тем более о себе, что изучила все вдоль и поперек. К тому же о Бабеле нельзя знать всего: несмотря на короткую жизнь и компактность сохранившегося наследия — простите, говорю о том, что стало общим местом, — Бабель оставил нам множество загадок. Но иногда мне действительно очень везет, например, с архивными находками.

— Какие из них самые непредсказуемые и ценные?

— Две из числа самых неожиданных связаны с пребыванием Бабеля в рядах Первой Конной армии во время советско-польской войны 1920 года в качестве военного корреспондента газеты «Красный кавалерист».

В Российском государственном военном архиве я искала что-нибудь для реального комментария к конармейским рассказам. Но среди многих других очень ценных документов мне посчастливилось обнаружить справку, выписанную секретариатом Реввоенсовета армии 26 июня 1920 года в Фастове, о снятии с довольствия в столовой штаба армии Бабеля (Лютова) с 24 июня. Эта справка свидетельствует, во-первых, о том, что из штаба армии он был переведен в 6-ю кавалерийскую дивизию в эти числа, а во-вторых, что его настоящая фамилия наряду с псевдонимом *Лютов* также была известна в Конармии. Вообще очень неожиданно было обнаружить имя Бабеля в фонде Управления Первой Конной армии.

Еще одна находка ожидала меня в том же военном архиве, в фонде Управления 3-й кавалерийской бригады 6-й кавалерийской дивизии Первой Конной. Это машинописная копия инструкции по ведению журнала военных действий в Конармии, заверенная К.Лютовым (это единственная на сегодняшний день известная собственноручная подпись писателя как Лютова). Из походного дневника Бабеля мы знаем, что ему было поручено вести журнал военных действий. На обороте инструкции тоже имеется его автограф.

— Какие задачи решает современное бабелеведение?

Изучение наследия писателя ведется сегодня по целому ряду направлений: проблемы текстологии, художественный метод, поэтика, роль литературной традиции, связи с писателями-современниками, мифы и реальность его жизни, рецепция его произведений в России и в зарубежных странах. Творчество Бабеля не только возможно, но и необходимо рассматривать в широком контексте мировой истории и культуры.

В нынешнем столетии исследования о нем выходят на качественно иной уровень, что в первую очередь связано с отменой идеологических и цензурных ограничений. Кроме того, стали доступны многие архивные документы, прямо или косвенно касающиеся Бабеля, которые позволяют по-новому взглянуть на его творческую биографию, да и просто на биографию. Во время конференции состоялась встреча с начальником Управления регистрации и архивных фондов ФСБ России, членом Комиссии при Президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий Василием Христофоровым, который официально зая-

вил, что после многочисленных проверок установлено: И.Э.Бабель ни в одном из списков сотрудников ЧК, ГПУ, НКВД не значится.

— Что на сегодня известно об изъятом архиве Бабеля?

— До сих пор ничего неизвестно. В том числе о тех папках, в которых были его рукописи. Находясь во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке, 11 сентября 1939 года Бабель написал заявление наркому внутренних дел Берии с просьбой разрешить привести в порядок отобранные при аресте рукописи: «Они содержат черновики очерков о коллективизации и колхозах Украины, материалы для книги о Горьком, черновики нескольких десятков рассказов, наполовину готовой пьесы, готового варианта сценария. Рукописи эти — результат восьмилетнего труда, часть из них я рассчитывал в этом году подготовить к печати. Я прошу Вас также разрешить мне набросать хотя бы план книги в беллетристической форме о пути моем...» Привести в порядок рукописи Бабелю не дали. Были ли они в то время на Лубянке, тоже неизвестно. Однако никаких актов об уничтожении архива Бабеля нет, поэтому остается надежда на его обретение. Перед арестом он работал над подготовкой сборника «Новые рассказы», ведь его последний прижизненный сборник.

— За Бабеля после ареста не заступился ни один из писателей. Чем это объяснить?

— А кто бы мог заступиться? Тот, кто сам висел на волоске? Впрочем, мы не располагаем точными сведениями о том, пытался ли кто-нибудь заступиться. В любом случае судьба Бабеля была предрешена, никакое заступничество ничего бы не изменило.

Зато мы знаем другое. Бабель арестован 15 мая 1939 года, а уже 8 июня председатель правления Литфонда СССР К.А.Федин пишет письмо тому же Берии с просьбой дать распоряжение о передаче переделкинской дачи Бабеля «Литературному фонду для дальнейшего использования ее по прямому назначению путем предоставления ее членам Союза писателей для творческой работы и отдыха». 15 июня Берия ставит положительную резолюцию. Комментарии, как говорится, излишни.

— Сборник материалов бабелевской конференции вышел тиражом 500 экземпляров и скоро станет библиографической редкостью.

— Да, по сути, это первый за всю историю литературоведения сборник на русском языке, посвященный Исааку Бабелю. Доклады конференции к 100-летию со дня рождения, проведенной на базе РГГУ, публиковались лишь в специальных выпусках журнала «Литературное обозрение». В 2009 году в США по материалам посвященной Бабелю конференции в Стэнфорде вышла книга на английском — под редакцией доктора славянской филологии, профессора Стэнфордского университета Григория Фрейдина — с символическим названием «The Enigma of Isaak Babel: Biography, History, Context» («Загадка Исаака Бабеля: Биография, история, контекст»).

Думаю, стоит принять во внимание не только широту обсуждаемых тем, но и географический охват нынешнего сборника. Его авторы — филологи, литературоведы, многие с мировым именем, из России, США, Израиля, Франции, Германии, Венгрии, Украины, Грузии, причем это не только специалисты по творчеству Бабеля, но и те, кто занимается русской и зарубежной литературой XX века. Представлены разные литературоведческие школы, разные методики и подходы к произведениям писателя.

Открывает сборник раздел о «Конармии» — главной книге Бабеля. Первые рассказы конармейского цикла публиковались в одесских «Известиях». С появлением этих рассказов в московской печати, еще до выхода отдельного первого издания книги в мае 1926 года, Бабель становится одним из наиболее популярных советских писателей. «Самый знаменитый писатель в Москве», — назвал его в письме Максиму Горькому от 4 марта 1926 года Сергей Григорьев. В этом разделе обсуждаются вопросы текстологии и комментариев, анализируются композиция цикла и характеры персонажей, освещается полемика вокруг конармейских рассказов.

— Одна из текстологических проблем конармейского цикла — опечатки, и довольно грубые...

— К сожалению, эти опечатки сохраняются во всех российских изданиях — начиная или с последних прижизненных вариантов «Конармии», или с первого посмертного сборника Бабеля «Избранное» 1957 года. Вне сомнения их необходимо, по какому бы изданию ни воспроизводилась «Конармия», наконец исправить. Приведу только два наиболее ярких — если можно употребить подобное слово применительно к ошибкам — примера.

В рассказе «Смерть Долгушова» есть фраза: «Поляки вошли в Броды и были выбиты контратакой». В четвертом издании 1930 года из слова «поляки» выпала буква «я», и с тех пор фраза печатается в таком виде: «Полки вошли в Броды и были выбиты контратакой». Если бы это изменение внес сам Бабель, он обязательно бы обозначил, какие полки, по крайней мере польские или наши, а скорее всего, назвал бы номера полков. Речь же в рассказе идет именно о поляках.

Другая ошибка — поистине курьезная — появилась в рассказе «Эскадронный Трунов» в первом посмертном сборнике. В самом начале рассказа говорится о похоронах «всемирного героя» Пашки Трунова, и во всех прижизненных публикациях эта фраза дана одинаково: «Мы обмыли, как умели, лицо мертвеца для того, чтобы вид его был менее ужасен, мы положили кавказское седло у изголовья гроба и вырыли Трунову могилу на торжественном месте — в общественном саду, посреди города, у самого собора». А далее сообщается, что первый пушечный выстрел произведен «по соборным часам». В «Избранном» 1957 года «собор» превратился в «забор», и с тех пор в российских изданиях конармейского цикла «всемирного героя Пашку Трунова» хоронят «на торжественном месте <...> у самого забора».

— Второй раздел сборника «Поэтика, интерпретации, интертекст» и самый объемный, и самый загадочный. Вот несколько названий его «глав»: «Советское Рождество: Иудаизм и христианство в поэтике Исаака Бабеля» (Михаил Вайскопф, Иерусалим), «Белая кляча судьбы, рыцарь Галеот и наука страсти нежной (Еще раз об интертекстах к "Тюи де Мопассану" И.Бабеля)» (Александр Жолковский, Лос-Анджелес), «Почему ди Грассо? (И.Бабель и традиция великих актеров-трагиков XIX — начала XX в.)» (Андрей Малаев-Бабель, Сарасота), «Юлий Цезарь в подвале: Бабель и Шекспир» (Ребекка Стэнтон, Нью-Йорк) и т. д.

— Все это вполне объяснимо. Статьи данного раздела свидетельствуют о насыщенности текстов Бабеля многими скрытыми смыслами, подтекстами, аллюзиями, об их жанровом своеобразии.

А в третьем разделе «Писатель и время» говорится о связях Бабеля с его литературными современниками: Осипом Мандельштамом, Шолом-Алейхемом,

Андреем Платоновым, Михаилом Шолоховым, Владимиром Маяковским, Всеволодом Ивановым. И порой выявляются неожиданные сближения.

— Например?

— Все статьи, посвященные творческим и жизненным связям Бабеля с названными писателями, очень важны и интересны, но я хотела бы выделить две из них: «Сидели два нищих: Бабель и Мандельштам, или Как делалась русская еврейская литература» Григория Фрейдина и «Исаак Бабель в "Фабрике литературы" Андрея Платонова» Натальи Корниенко (Москва). Прежде всего вторую статью я имею в виду, когда говорю о неожиданных сближениях или сопоставлениях. А еще хочу назвать из этого раздела статью «Элиас Канетти: Штрихи к портрету Бабеля» Елены Шастиной (Казань). О встрече Бабеля с Канетти, в то время начинающим писателем, осенью 1928 года в Берлине, на обратном пути из Франции в Россию, конечно же, хорошо известно, но подкупают в этой работе именно детали, всесторонний охват темы.

В четвертом разделе «Бабель, Одесса, южнорусская школа» кроме статей о городском тексте Эдуарда Багрицкого, Юрия Олеши и Бабеля (Мирья Лекке, Бохум) и о метрической прозе Семена Кирсанова (Юрий Орлицкий, Москва) напечатана статья об истории Одесского коммерческого училища — с богатым фактическим материалом, важным для биографии Исаака Бабеля (Алена Яворская, Одесса). Наконец, пятый раздел «Memoria» посвящен одному из первых советских бабелеведов Льву Лившицу. Так мы отдаем дань уважения тем, кто стоял у истоков этой области литературоведческой науки.

— В 1954 году благодаря настойчивости вдовы писателя Антонины Пирожковой Бабель был посмертно реабилитирован. Его первый посмертный сборник «Избранное» вышел после двадцати одного года забвения в «Гослитиздате» тиражом по тем временам скромным — семьдесят пять тысяч экземпляров с предисловием Ильи Эренбурга, который в феврале того же 1957 года в «Литературной газете» напечатал большую статью о писателе — «Необходимое объяснение»...

— ...а затем понадобилось еще девять лет, прежде чем появились два новых сборника Бабеля — в Москве и в Кемерово. И лишь в 1990-м Антонине Николаевне Пирожковой, преодолев многие трудности, удалось издать его сочинения в двух томах.

— Среди тех, кто пробил завесу молчания вокруг имени Исаака Бабеля в научных кругах, есть один из авторов сборника — Сергей Поварцов.

— Думаю, имя Сергея Николаевича Поварцова известно не только литературоведам. Как раз он был комментатором первого бабелевского двухтомника. Долгие годы был дружен с Антониной Николаевной. Вместе с ней, бережно сохранившей то, что уцелело от архива Бабеля, по крупицам собиравшей новую информацию о нем, опубликовал и прокомментировал конармейский дневник писателя, написал предисловие к первой полной публикации дневника. Вклад Сергея Поварцова в бабелеведение трудно переоценить. Он занимался Бабелем почти полвека, начиная с 1960-х годов, что тогда было делом совсем непростым. В 1970 году в Московском областном педагогическом институте Поварцов защитил вторую в СССР кандидатскую диссертацию (после Израиля Смирина, 1964), посвященную писателю, — «Творческие искания И.Э.Бабеля и некоторые особенности литературного процесса 1920—1930-х годов».

Он много работал в архивах; встречался с людьми, знавшими Бабеля, и

записывал их воспоминания — Марии Шапошниковой, родной сестры писателя, Виктора Шкловского, Исаака Лившица, Владимира Сосинского, Тамары Ивановой и других; писал о «Конармии» и драме «Закат». Но, говоря о Поварцове, в первую очередь надо назвать его главную книгу о Бабеле — «Причина смерти — расстрел: Хроника последних дней Исаака Бабеля» (Москва, 1996), которая, наряду с документальной повестью Виталия Шенталинского «Прошу меня выслушать», и поныне остается важнейшим исследованием об истории ареста и гибели писателя. В 2012 году в Краснодаре — Поварцов переехал туда в 2007 году из Омска, где прожил почти всю жизнь, — вышла его книга «Быть Бабелем», в которой он собрал свои статьи последних лет.

18 июня 2015 года Сергей Николаевич ушел из жизни.

По трагическому совпадению, несколькими днями раньше, 13 июня, не стало другого исследователя биографии и творчества Бабеля — выдающегося знатока одесского периода его жизни Александра Розенбойма, чаще всего печатавшегося под псевдонимом Ростислав Александров. Свою книгу о Бабеле он назвал «Волшебник из Одессы: По следам Исаака Бабеля».

— Символично присутствие в сборнике сразу трех представителей Франции. Именно французский язык пятнадцатилетний Бабель, прекрасно им владевший, выбрал для своих первых рассказов. Не говоря уже о том, что он был влюблен во французскую литературу. И французский — это, кажется, первый из иностранных языков, на который были переведены его произведения?

— Если верить «Автобиографии» Бабеля, он действительно свои первые, не дошедшие до нас рассказы написал по-французски. Что касается переводов — чуть раньше Бабель был переведен на немецкий язык (1926) и на испанский (1927). Французские переводы появились в 1928 году. Однако абсолютно верно то, что у французских классиков, как и у русских, Бабель учился писательскому мастерству. Своему кумиру, Мопассану, он посвятил рассказ. Интересно в этой связи замечание переводчика Софи Бенеш: «Когда я переводила Бабеля, я внимательно прочла его переводы, заодно перечитала все рассказы Мопассана и убедилась в том, что у них с Бабелем действительно есть что-то общее — и в стиле, и в ощущении жизни».

Впервые Бабель приехал в Париж 20 июля 1927 года. Потом из-за обострившейся астмы переехал в Марсель, очень полюбившийся ему, напоминавший родную Одессу... Но, всей душой любя Францию и Париж, Бабель вместе с тем прекрасно осознавал, что только в России может быть верным самому себе — оставаться писателем. По возвращении на родину в середине октября 1928 года он признавался матери: «Несмотря на все хлопоты, чувствую себя на родной почве хорошо. Здесь бедно, во многом грустно, но это мой материал, мой язык, мои интересы. И я все больше чувствую, как с каждым днем я возвращаюсь к нормальному моему состоянию, а в Париже что-то во мне было не свое, приклеенное. Гулять за границей я согласен, а работать надо здесь». Второй раз писатель прожил в Париже почти год — с середины сентября 1932 по август 1933-го. Впечатления Бабеля от этого города вылились в один из поздних его шедевров — рассказ «Улица Данте».

В июне 1935 года в Париже состоялся Международный антифашистский конгресс писателей в защиту культуры. Изначально Бабель не был включен в состав советской делегации. И только по настоянию Андре Жида и Андре Мальро его вместе с Пастернаком выпустили на конгресс. Бабель и Пастернак

выехали в Париж 21 июня, в день, когда конгресс уже начался. Выступление Бабеля состоялось 25 июня. Илья Эренбург вспоминал: «Исаак Эммануилович речи не написал, а непринужденно, с юмором рассказал на хорошем французском языке о любви советских людей к литературе». 27 июня Бабель писал матери и сестре в Бельгию: «Конгресс закончился, собственно, вчера. Моя речь, вернее импровизация (сказанная к тому же в ужасных условиях, чуть ли не в час ночи), имела у французов успех. Короткое время положено мне для Парижа, буду рыскать, как волк, в поисках материала — хочу привести в систему мои знания о ville lumiere[1] и, м. б., опубликовать их...»

Эта поездка за границу оказалась последней.

— Должно быть, ответ на вопрос, насколько переводим Бабель и понятен иностранцам, «заключен» опять же в Софи Бенеш, удостоенной за перевод собрания сочинений Бабеля, которое вышло в издательстве «Le bruit du temps» («Шум времени») в 2011 году, французской премии Laure Bataillon (2012). Добавим, что в ее «послужном списке» — Борис Пастернак, Варлам Шаламов, Анна Ахматова, Василий Гроссман, Лидия Чуковская, Надежда Мандельштам, Зинаида Гиппиус; она же лауреат премии «Русофония» (2010) за перевод «Повести непогашенной луны» Бориса Пильняка. И она же не только переводит русскую классику, но и издает — открыв в 1992 году в Париже собственное издательство «Interferences» («Взаимодействие»).

— Да, конечно. Сама Софи Бенеш — на сегодня она последняя, кто перевел Бабеля на французский, — не отрицая проблем, связанных с чрезвычайно сложным языком и стилем Бабеля, считает, что переводчику они по силам: «Я понимаю, что невозможно вполне передать вкус одесского языка. Но утверждаю, что, когда мне пришлось, например, читать вслух куски рассказа «Как это делалось в Одессе», все хохотали. Вообще я подошла к прозе Бабеля как к стихам, обращая самое пристальное внимание на музыку, на ритм, на интонации, на звучность, на ассонансы. Бабель умеет «выкручивать» язык так, что вспыхивают искры, он расширяет границы языка, но не искажает его, он выявляет то, что таилось в языке и что никто до него не угадывал. Я стараюсь таким же образом подойти к французскому языку, но без насилия над ним».

— Несправедливо было бы обойти стороной еще одну страну, но уже ближнего зарубежья — Грузию, которую в сборнике представляет Тамара Рекк-Котрикадзе. Название ее статьи отсылает в историю: «"Народ прекрасной, щедрой, поэтической Грузии" в творчестве и судьбе Исаака Бабеля».

— Я очень рада участию в конференции и в сборнике представителя Грузии, с которой Бабель был связан по работе в газете «Заря Востока», и название статьи — строка из приветственного письма Бабеля к юбилею этой газеты. Бабель в 1922 году жил в Батуми и бывал в Тифлисе. Он публиковал в «Заре Востока» очерки под своим конармейским псевдонимом *К.Лютов*. Статья нашей грузинской гостьи посвящена подробностям основания этой газеты, пребывания Бабеля на Кавказе и, если можно так выразиться, двум «грузинским» текстам Бабеля — рассказу-притче «Баграт-Оглы и глаза его быка» и новелле «Мой первый гонорар».

— Почему, на ваш взгляд, Бабель — с одинаковым «успехом» и в России, и на Украине — становится камнем преткновения для тех, кто страдает националистической болезнью? Какому народу Бабель принадлежит?

---

[1] Город-светоч (*фр.*).

— Но националистическая болезнь, как вы сказали, это болезнь не нашего времени или нынешней политической ситуации. Антисемитизм, как и русофобия и тому подобные «измы» и «фобии», существует с незапамятных времен. Чтобы далеко не ходить за примерами, возьмем их из произведений Бабеля. В рассказе «Замостье» из «Конармии» мужик говорит Лютову: «— Жид всякому виноват <...> и нашему и вашему. Их после войны самое малое количество останется». Или вспомним холодящий душу эпизод из рассказа «Дорога». Но ведь не только о национальной ненависти идет речь. Часто эта ненависть распространяется на талантливых, да просто интеллигентных и образованных людей любой национальности. «...Тут режут за очки», — из той же «Конармии» («Мой первый гусь»).

Я бы видоизменила второй ваш вопрос так: «Какой литературе принадлежит Бабель?»

Для меня лично ответ однозначный: Бабель — русский писатель. Не могу согласиться с той точкой зрения, что язык для «национальности» литературного произведения не является определяющей категорией. Ведь язык — это не только средство общения, но и образ мыслей, а у писателя с языком, на котором он создает свои произведения, связана и его художественная система. Но не стану спорить, Бабеля можно причислить и к русско-еврейским писателям. На эту тему, в частности, есть прекрасная статья «Шабос-нахаму в Петрограде: Бабель и Шолом-Алейхем» Эфраима Зихера в обсуждаемом сборнике. Еще надо назвать уже давнишнюю статью «Русско-еврейская литература и Исаак Бабель» Шимона Маркиша. В упомянутой статье Григория Фрейдина речь идет о *русской еврейской* литературе — это нечто иное. Памятуя об «Одесских рассказах», месте действия «Конармии», вероятно, можно говорить и о русско-украинском писателе Бабеле. Безусловно, Бабель — ярчайший представитель южнорусской литературной школы. Нельзя забывать и о его связи с западноевропейской культурной традицией и о том, что на сегодняшний день произведения Бабеля переведены не только на основные европейские и славянские языки, но и на португальский, норвежский, шведский, датский, даже исландский, а также на китайский, японский, турецкий и многие другие. Следовательно, Бабель принадлежит мировой литературе. Думаю, любящие Бабеля не станут спорить с таким определением: «классик русской и мировой литературы».

— В последние годы интерес к Бабелю, никогда, впрочем, и не стихавший, заметно возрос, что очевидно и по книжным полкам, которые заполняются все новыми и новыми изданиями его книг. Чем это можно объяснить?

— Думаю, в первую очередь яркостью и необычайным своеобразием его литературного дара, безупречностью стиля. Лично меня Бабель завораживает: даже анализируя его тексты, выявляя приемы, я не могу понять до конца — *как* он это сделал. Но, конечно, и содержанием. Ведь непревзойденный мастер короткого рассказа, талантливый драматург и киносценарист, отразив в своем творчестве трудную эпоху первой трети XX века — время революции, гражданской войны, коллективизации, Бабель, как бы, возможно, банально это ни прозвучало, сумел наполнить свои произведения вечными ценностями добра, справедливости и гуманизма. В письме Анне Григорьевне Слоним от 7 декабря 1918 года Бабель признается: «В характере моем есть нестерпимая черта одержимости и нереального отношения к действительности». Мне кажется, что эту самохарактеристику можно отнести и к его произведениям. Ведь в основе

творческого метода Бабеля лежит заостренное сочетание факта и вымысла, достоверности и точности со сдвигами и смещениями действительных событий, географии, иногда дат. Об этом сам писатель говорил не раз: «Полученные от действительности впечатления, образы и краски я забываю. И потом возникает одна мысль, лишенная художественной плоти, одна голая тема... Я начинаю развивать эту тему, фантазировать, облекая ее в плоть и кровь, но не прибегая к помощи памяти... Но удивительное дело! То, что кажется мне фантазией, вымыслом, часто впоследствии оказывается действительностью, надолго забытою и сразу восстановленною этим неестественным и трудным путем. Так была создана «Конармия»». Напомню и знаменитый пассаж из рассказа «Мой первый гонорар»: «Хорошо придуманной истории незачем походить на действительную жизнь; жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную историю».

— Замечания о писательском ремесле, психологии творчества у Бабеля «разбросаны» «повсеместно». Причем не обязательно в его собственных вещах, интервью или выступлениях. Широко известны многие такие «высказывания» Бабеля, например, по воспоминаниям Константина Паустовского: «— У меня нет воображения <...> Я не умею выдумывать. Я должен знать все до последней прожилки, иначе я ничего не смогу написать. На моем щите вырезан девиз: «Подлинность!» Поэтому я так медленно и мало пишу. Мне очень трудно. После каждого рассказа я старею на несколько лет. Какое там к черту моцартианство, веселье над рукописью и легкий бег воображения! <...> Когда я пишу самый маленький рассказ, то все равно работаю над ним, как землекоп, как грабарь, которому в одиночку нужно срыть до основания Эверест <...>

Я беру пустяк — анекдот, базарный рассказ — и делаю из него вещь, от которой сам не могу оторваться. Она играет. Она круглая, как морской голыш. Она держится сцеплением отдельных частиц. И сила этого сцепления такова, что ее не разобьет даже молния. Его будут читать, этот рассказ. И будут помнить».

Что если подобные бабелевские замечания собрать воедино?

— Все эти высказывания из мемуаров Паустовского часто используются даже в научных работах о Бабеле. Но все же надо сделать поправку на то, что воспоминания Паустовского — это в первую очередь художественное произведение, а не документальная проза. Мне с трудом верится, чтобы Бабель в дружеской беседе произносил подобные тирады о литературном труде. Тем более что известно, как он не любил разговоров на литературные темы. Думаю, что для Паустовского, прекрасно знавшего произведения Бабеля, возможно, какие-то его интервью и выступления, именно там находился основной источник необыкновенно привлекательных «высказываний» Бабеля о литературном методе. Хотя какие-то разговоры между друзьями, безусловно, велись. Реальны или сконструированы эти высказывания, но суть отношения Бабеля к писательскому труду они выражают, на мой взгляд, точно. А если все замечания собрать воедино, то мы получим портрет писателя Бабеля — Мастера слова и самого требовательного к своей работе Художника.

— Лично знавших Бабеля изумлял поэтический настрой, что, собственно, угадывается и в стиле даже самых трагичных его рассказов, например, о коллективизации — «Гапа Гужва», «Колывушка». Это что-то среднее между прозой и стихом...

— Да, это, конечно, так. Об этом говорят и мемуаристы, и исследователи,

и просто читатели. Есть у Бабеля и такие рассказы, которые можно назвать стихотворением в прозе — упомянутый «Баграт-Оглы и глаза его быка» или «Кладбище в Козине» из «Конармии». Да и работал Бабель как поэт, многое сочиняя в уме, а потом перенося на бумагу. И оттачивал ритм каждой фразы до такого совершенства, которое возможно именно в настоящей поэзии.

— Были ли у Бабеля стихотворные пробы?

— Бабель — тот редкий писатель-прозаик, который не начинал со стихов и стихов не писал. Во всяком случае, история об этом умалчивает. В Одесском коммерческом училище он вместе со своим школьным другом Исааком Лившицем пробовал издавать литературный журнал. Может, там что-то и было, хотя не думаю. Бабель начинал с того жанра, в котором прославился, — с короткого рассказа. А поэзия, как вы сами заметили, растворена в его прозе.

— Вы, конечно же, помните это стихотворение Бориса Слуцкого:

Кем был Бабель? Враль и выдумщик,
Сочинитель и болтун,
Шар из мыльной пены выдувший,
Легкий, светлый шар-летун.

Кем был Бабель? Любопытным
На пожаре, на войне.
Мыт и катан, бит и пытан,
Очень близок Бабель мне.

Очень дорог, очень ясен
И ни капельки не стар,
Не случаен, не напрасен
Этот бабелевский дар.

Этот портрет Бабеля удачный?

— И да, и нет. Первое четверостишие кажется мне довольно легкомысленным: враль, выдумщик, сочинитель — это Бабель. Но вот болтун — все же к Бабелю совсем не подходит, и уж тем более его произведения никакой не легкий шар-летун, выдутый из мыльной пены.

— В Одессе, на родине Исаака Бабеля, в сентябре 2011 года на углу улиц Жуковского и Ришельевской, напротив дома № 17, где семья Бабеля поселилась в 1909 году, появилась композиция из бронзы, выполненная скульптором Георгием Франгуляном, — именно его проект был одобрен родными писателя: автор «Одесских рассказов» и «Конармии» сидит на ступенях с блокнотом, рядом с ним — символическое катящееся колесо. Что мешает установить памятник Бабелю в центре Москвы, в Большом Николоворобинском переулке, где он жил с 1932 года? Ведь точного подтверждения того, что прах Бабеля, расстрелянного 27 января 1940 года, захоронен именно в общей могиле № 1 на территории Донского монастыря, нет и, видимо, уже не будет...

— Вопрос об установке памятника в Москве, насколько могу судить, упирается в первую очередь в финансирование.

— А ему самому, ироничному, избегавшему пафоса, понравилась бы такая идея?

— Когда в 1928 году в издательстве «Academia» в серии «Мастера современной литературы» вышла посвященная ему книга со статьями Николая Степанова, Павла Новицкого и Григория Гуковского, он писал матери из

Парижа: «В России вышел сборник статей обо мне. Читать его очень смешно — ничего нельзя понять, писали очень ученые дураки. Я читаю все, как будто писано о покойнике, — так далеко то, что я делаю теперь, от того, что я делал раньше. Книжка украшена портретом Альтмана, тоже очень смешно, я вроде веселого мопса». Однако добавил: «Сборник пошлю завтра. Пожалуйста, сохраните его, надо все-таки собирать коллекцию».

Так что я почти уверена, что сама идея установки ему бронзового памятника в центре города его бы повеселила. Улыбнулся бы точно.

— Что бы Бабель, будь он живым, сказал о нашем сегодня?

— Фантазировать о том, что сказал бы Бабель о нашем сегодня, не хочется. Вероятно, что-то он воспринял бы положительно, к чему-то отнесся бы отрицательно. Ведь в каждой эпохе есть хорошее и дурное. Как и в том историческом периоде, в котором он жил... Посмотрите, ведь не будь революции и братоубийственной гражданской войны, у нас, возможно, не было бы такого писателя, как Исаак Бабель, не будь порожденного той же революцией террора 1930-х годов, он прожил бы дольше, и мы бы читали сегодня многие другие его произведения...

— В России учреждалось немало литературных премий в честь писателей: Александра Пушкина, Андрея Белого, Василия Жуковского, Аполлона Григорьева, Александра Солженицына, Булата Окуджавы, Александра Блока, Юрия Казакова, Бориса Пастернака, Алексея Толстого, Анны Ахматовой, Ивана Бунина и т. д. Почему нет премии имени Бабеля?

— Эта премия недавно учреждена. Правда, не в России, а опять же в Одессе.

— А если бы такая премия появилась и у нас, кого вы бы видели первым лауреатом?

— Безусловно Фазиля Искандера.

Николай Анастасьев

Burnt-out case

Борис ПАНКИН. Четыре Я Константина Симонова: Роман-биография. — М.: Изд-во «Собрание», 2015.

Заглавное словосочетание принадлежит сфере права и финансов, обозначая, как поясняют словари, сумму, на которую уменьшается стоимость предприятия с потерей того или иного актива. Однако оно прочно вошло и в литературу — так озаглавлен один из самых глубоких, на мой взгляд, романов Грэма Грина, где рассказана история европейца, изживающего тяжелую душевную смуту в африканском лепрозории. В русском переводе он назван «Цена потери», но содержанию были бы соприродны и иные версии, также не противоречащие семантике понятия, — «Цена победы» или «Безнадежный случай».

И в этих же выражениях, при всей неожиданности, может быть описана судьба Константина Симонова, какой ее изобразил в своем документальном романе Борис Панкин. Бесспорно, эта судьба отчетливо индивидуальна, но в то же время она обладает некоторыми внеличностными чертами и, соответственно, наталкивает на некие общие соображения.

В предисловии к нынешнему, второму, приуроченному к столетнему юбилею Симонова изданию автор вспоминает, что в журнальном варианте книгу опубликовал журнал «Юность». Рискнул опубликовать, уточняет Б.Панкин, «потому что в начале девяностых, в пору оголтелого "переосмысления" всего и вся, даже иные близкие Симонову люди боялись "оскоромиться" симпатиями к сталинскому любимцу».

Честно говоря, я не думаю, что публикация стала со стороны тогдашнего редактора таким уж подвигом духа, да и, зная более или менее круг «близких Симонову людей», что-то не припоминаю тех, кто страшился «оскоромиться». Но что верно, то верно: время было азартное, недолговечная полоса бури и натиска, вчерашних идолов сметала яростно. При этом более всего любопытно, что в авангарде оказались не те, кто мужественно и как раз негромко, с достоинством противостоял лжи и духовному насилию, но люди, вчера еще вполне законопослушные, писавшие правильные слова и произносившие правильные речи, более того — отличники идеологической подготовки. Обнаружилось необыкновенное количество диссидентов — тайных противников советской власти, даже удивительно, как это ей удавалось так долго удерживаться на плаву.

Сейчас многое переменилось. Маятник, не задержавшись на благодатной середине, резко качнулся в противоположную сторону. Наступила тоска по империи, имперскому величию и имперским памятникам. А что за этими

памятниками стоят кровь и несвобода, так это все злобные наветы — происки «пятой колонны» и разномастных заклятых врагов России. Снова воинственный клекот, только стрелы летят в противоположную сторону. Поневоле вспомнишь пародию на благополучно забытый ныне, но в свое время наделавший немало шума роман Кочетова «Чего же ты хочешь?» Эта пародия, стоившая ее блистательному сочинителю Зиновию Самойловичу Паперному изгнания из рядов правящей партии и множества иных неприятностей, заканчивалась так: юный отрок спрашивает отца: «Папа, а все-таки был тридцать седьмой год или не был?» — «Не был, сынок, — отвечает папа. — Но будет».

Казалось бы, в такой атмосфере книга о литераторе, слывшем сталинским фаворитом, написанная, как уже, наверное, стало ясно, с откровенной к нему симпатией, должна бы прийтись ко двору и заслужить одобрение страстных почитателей советской системы и лично вождя народов. Но одно дело слыть, другое — быть. «Четыре Я Константина Симонова» — это, скажу, забегая вперед, — книга о человеке, вершащем самосуд. А фавориты — это ведь победители, триумфаторы, они себя не судят. Боюсь, удовольствия от чтения этого текста наши державники не получат, изначальная радость сменится разочарованием и глухим раздражением, переходящим в праведный гнев. Точно так же не устроит он скорее всего и «либералов» (приходится, увы, огораживать это хорошее слово кавычками, потому что так называют себя люди, весьма смутно, судя по всему, представляющие его наполнение). Одним в книге Бориса Панкина не хватит апологии, другим — пафоса обличения.

Жизненный путь героя автор делит на четыре этапа, каждому из которых соответствует свой образ и свое имя.

КОСТЯ — рассказ о второй половине 30-х годов, когда Симонов делал первые шаги в литературе, когда, после появления «Генерала», он начал, несмотря на очень юные еще годы, быстро обретать славу и будущее казалось чередою головокружительных приключений и побед. С первых же строк, возможно, в поисках соответствий ритма прозы и ритма самой жизни тех лет — жизни и героя, и всей страны, автор всячески подгоняет повествование, переходит от эпизода к эпизоду, не давая себе — и читателю — времени постоять, оглядеться, вдуматься. Даже Халхин-Гол, первое крупное *событие* в судьбе начинающего тогда поэта и драматурга, возникает словно бы попутно, на бегу в будущее. Но тут я ловлю себя на том, что, наверное, не одного лишь стиля интересами руководствовался Борис Панкин, задавая рассказу столь стремительный скоростной режим. Отсекая и сводя к пунктиру боковые линии, он начинает прокладывать магистраль жизненного пути, делает первые шаги к источникам жизненной драмы писателя и литературного деятеля Константина Симонова.

«Папа, был ли тридцать седьмой год?» В жизни Симонова он и был, и не был — и эту странную амальгаму, а на самом деле не странную, а страшную, и не амальгаму, а ту самую трещину, что, по словам Гейне, проходит через сердце поэта, автор «Четырех я» отобразил сурово и точно. Симонов был свидетелем бессудных процессов того времени и в некотором роде их жертвой — попал в тюрьму, хоть и ненадолго, отчим, сгинули в ссылке сестры матери. В душе комсомольца-романтика шевелились вопросы, и в этом смысле 37-й год в его жизни был. Но он их гнал, и в этом смысле 37-го года не было. «Что тут поделаешь? Когда в мире разворачивается такая борьба, когда речь идет о жизни или смерти нового общества, прокладывающего дорогу вперед человечеству, тут

не обойтись и без невинных жертв. Лес рубят — щепки летят. Чуть ли не каждый день он слышал это выражение, но теперь понял, что оно до него как-то не доходило. Теперь, когда коснулось самых близких ему людей, — дошло. Он понял, что можно страдать даже по поводу того, что неизбежно и объективно неотвратимо».

Тут надо сделать оговорку. В силу обстоятельств биографического свойства я, не будучи знаком с Константином Михайловичем близко, неплохо представлял его себе по рассказам отца, знавшего Симонова еще по временам общей молодости и по совместной редакционной работе после войны, а также Л.И.Лазарева, автора целого ряда работ о творчестве Симонова, тесно с ним общавшегося на протяжении нескольких десятилетий (мы же с Лазарем Ильичом почти двадцать лет прослужили в журнале «Вопросы литературы», и я привык доверять точности его суждений не только о книгах, но и о людях). Все это порождает соблазн сопоставлений — похож ли человек, которого изобразил Борис Панкин, на Симонова каким он возникал передо мной в рассказах ему и мне близких людей, да и лично, ибо такие встречи, хоть и редкие, тоже случались? Хотелось бы, однако, такого искушения избежать. Иногда похож, иногда не совсем похож, но какое это, собственно, имеет значение? Борису Панкину приходилось сталкиваться с Константином Михайловичем повседневно (в разных обстоятельствах, в том числе неординарных — в больничной палате), он писал портрет с натуры, не говоря, естественно, о многолетней работе в огромном симоновском архиве и беседах с людьми, так или иначе с героем книги соприкасавшимися. И все же «Четыре Я» — это роман, а у романа, даже документального, — свой устав, автор волен по-своему настраивать оптику и расставлять акценты. И верность оригиналу важна в той степени, в какой образ убедителен психологически, а также не противоречит умственному пейзажу времени.

Я не знаю, на самом ли деле Симонов обманывал себя утешительными общими местами: «лес рубят — щепки летят». Но в любом случае это был коллективный самообман, и самообман, как правило, честный, так что было бы величайшей несправедливостью и неблагодарностью (а инвективы, увы, слышны) видеть в том поколении одних лишь слепых, которых ведут слепые. Иное дело, что такой самообман то и дело оборачивался драмами — и историческими, и личными. Судьба Константина Михайловича Симонова, при всем ее внешнем блеске, эту печальную закономерность подтверждает.

ВОЕНКОР — это, понятно, портрет писателя и журналиста на войне, это рассказ о самом плодоносном времени для Симонова-мастера литературы. Если раньше слава к нему только подбиралась, то теперь настигла вполне, и он, наряду с Твардовским и Эренбургом, бесспорно, стал в воюющей стране самым популярным из пишущих людей. Но не в этом, собственно, дело. На войне достиг полного развития его поэтический дар, и любовная лирика тех лет, а также такие стихотворения как «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» или «Майор привез мальчишку на лафете», по праву войдут в любую антологию русской поэзии XX века. А его повесть «Дни и ночи» — самое сильное, по-моему, из того, что написал Симонов в прозе, — проложила путь Виктору Некрасову и, далее, «лейтенантам» — Василю Быкову, Григорию Бакланову, Юрию Бондареву, каким он был в начальные, лучшие свои писательские годы. Откровенно говоря, в этой главе мне недостает Бориса Панкина — литературного критика, сильно писавшего в свое время об Айтматове и Астафьеве, Трифонове и Абрамове, короче, его же словами говоря, о строгой литературе. Но

опять-таки — роман есть роман, и несколько утратив Константина Симонова-художника, автор точно уловил сдвиг в психологии Симонова-человека. Звучит кощунственно, но, кажется, война для него стала если не самой счастливой, то самой благодатной порою жизни. Кажется, у Михаила Рощина в «Эшелоне» один персонаж говорит: «Будь проклята война, наш звездный час». А у Ольги Берггольц, по которой 37-й год прошелся своей колесницей стократно тяжелее, чем по Симонову, в «Февральском дневнике» есть такая строфа:

В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
Где смерть как тень тащилась по пятам,
Такими мы счастливыми бывали,
Такой свободой бурною дышали,
Что внуки позавидовали б нам.

Военкор вполне мог бы подписаться и под словами персонажа, и под строками поэта. Он обрел ту цельность, которую беспокойно искал Костя и которую безнадежно утратил К.М., о ком речь впереди. И не нужны ему были ни оговорки, ни самообман. Все было ясно, четко и бесспорно. И это зрение тоже было не только его, Военкора, но и общим зрением. Как художники XVIII века вписывали где-то на краю больших многолюдных картин нечеткие автопортреты, Борис Панкин время от времени вторгается в повествование как его персонаж. Двенадцатилетний мальчишка слышит в своем провинциальном Сердобске то ли от взрослых, то ли по радио о победе на Курской дуге и чувствует, что жизнь семьи — не война, этого он по малости лет осознать не может, но именно жизнь — переломилась. И ощущение этого перелома, в разных формах, конечно, было одно на всех.

На другой год после окончания войны Симонов окажется в Америке, его пригласит к себе в гости живший тогда на Кубе Эрнест Хемингуэй (их переписка в «Четырех Я» упомянута), встретиться почему-то не удалось, но чувство внутренней близости, что испытал классик — уже классик, — прочитав повесть «Дни и ночи» неизвестного ему русского, сохранилось. Он оценил в ней то, что и сам, человек прошедший несколько войн, мучительно стремился обрести: ощущение справедливости дела, за которое сражаешься, единства с теми, кто сражается рядом с тобой, и готовность смотреть правде в глаза. Хемингуэй говорил об этом на Конгрессе американских писателей в Париже, когда шла Гражданская война в Испании: «Писать правду о войне очень опасно, и очень опасно доискиваться правды... Когда человек идет на фронт искать правду, он может вместо нее найти смерть». И о том же, наверное, он хотел поговорить при встрече с Симоновым.

Военкор наверняка бы понял мэтра, понял бы его и помудревший, поседевший К.М., что, собственно, и удостоверил, написав предисловие к четырехтомнику Хемингуэя, в который впервые на русском вошел его испанский роман — «По ком звонит колокол».

Но понял ли бы —

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ — герой третьей части романа Бориса Панкина? И если понял, отважился бы изъявить свое согласие открыто?

После войны Симонов стал литературным деятелем — секретарем, депутатом, делегатом, редактором — и тем самым вынудил себя играть по правилам, установленным другими. Наиболее плодоносная пора сменилась писательской убылью, хотя опубликовал он за первое послевоенное десятилетие невероятное

количество вещей в самых разных жанрах. Но мало того — именно на эти годы пришлась иная, куда более тяжкая, убыль — нравственная.

Ничего из того, что было, Борис Панкин не утаивает, пишет открыто и честно.

И о деятельном, на первых ролях, участии в борьбе с «безродными космополитами».

И о выступлении на собрании ленинградских писателей, где Симонов грозно упрекал и без того раздавленного государственной машиной Зощенко, зачем тот, сидя в Алма-Ате в разгар войны, когда гибнут миллионы людей, а в его родном блокадном Ленинграде умирают от голода, пишет «гробокопательскую вещь» («Перед восходом солнца»). Храбрый Военкор, который и впрямь ехал на войну за правдой, рискуя при этом поймать пулю в голову, журналист, ставший на войне писателем и понимающий, что это такое — талант художника, подобных слов бы не выговорил. Деятель, а это тоже одно из «я» Константина Симонова, — сказал.

И про заказную пьесу «Чужая тень», принесшую автору очередную лауреатскую медаль, в книге говорится, и про лукавый отклик на вторую версию «Молодой гвардии», и про комплименты Сурову, которого он же справедливо находил полным литературным ничтожеством (не зная еще, что пьесы за него писали другие), и про многое иное, что стоило впоследствии Симонову тяжелых мук совести.

И это правильно и хорошо — портрет без глянца. И все-таки эти страницы документального романа — рассказ про Константина Михайловича — вызывают у меня смущение. Кажется, что все же, может быть невольно, автор склонен все грехи отпустить. Иногда — устами самого героя (через его внутренний монолог), когда, например, он объясняет полный поворот в отношении к «Молодой гвардии» стремлением прийти на выручку Фадееву. Иногда — словно бы суфлируя ему в попытках оправдать неприглядные поступки обстоятельствами или желанием помочь ближнему: коли дать дубину в руки другому, вышло бы еще хуже. Иногда — в третьем лице. Как в случае с товарищем и сослуживцем Симонова по «Новому миру» Александром Борщаговским, которого он завтра вместе с другими театральными критиками предаст анафеме в докладе на пленуме Союза писателей и у которого, по сути, просит индульгенции: «Он понимал, насколько рискованный это шаг — просить совета у поверженного ныне в прах, в том числе и его руками, друга. Не углядит ли он в этом ханжество, попытку загладить свою, пусть и невольную, вину. Без лишних слов он давал Шуре понять, что они оба жертвы одной и той же ситуации, хоть их роли в этой человеческой комедии далеко не одинаковы». В мемуарных «Записках баловня судьбы» Борщаговский описывает эту историю примерно так же. Вот только интонация иная, под стать названию мемуаров, устало-ироническая. Ее-то и не хватает мне у Бориса Панкина. Ирония — куда более убедительный, нежели прямое слово, аргумент против утешительных самооправданий в том роде, что беспринципность может быть и во благо. Не может. Как не оправдывают ее участие в судьбах людей и добропорядочные поступки, каких на счету Константина Михайловича тоже было немало даже в самые свинцовые годы и о которых в книге повествуется с понятными к нему симпатией и уважением.

Да, так я о биографической точности портрета. Повторяю, в одном случае она несомненна, в других вполне вероятна. Но куда важнее то, что перед читателем возникает образ крупной личности, утрачивающей свой масштаб,

образ писателя, утрачивающего свой дар, образ человека, готового вот-вот сорваться в пропасть, со дна которой уж не подняться.

«Военкор Симонов, — читаем мы, — любил ясность и стремился к ней во всем». На войне она сама пришла к нему, как и к другим. А после войны Константин Михайлович *заставил* себя поверить в ее обретение. Это усилие принесло ему медали, должности, тиражи книг, житейский комфорт. Но слишком велика оказалась цена победы. На переходе к последнему этапу жизни он начал об этом догадываться — при поддержке, как можно понять из книги, жены, Ларисы Алексеевны Жадовой. Упрямо настаивая на благодетельной неизбежности своих поступков, Константин Михайлович признает:

«— Был и другой выход. /.../ Положить голову на плаху. Проку в этом не было бы, но такой выход, такая возможность всегда остается для человека, и он об этом должен помнить. Я понимал, что такая возможность есть, но на плаху голову не положил...

— А может быть, и был бы прок, — сказала Лариса».

КМ

Это самая объемистая и вместе с тем самая насыщенная психологически, более того — феноменологически, часть книги, охватывающая сроки приблизительно с XX съезда партии, то есть с 1956 года, до кончины Симонова, последовавшей в 1979 году. Именно на этом, финальном отрезке жизни происходит духовный самосуд, раскрывающий глубину и мужество личности, да и разрешающийся немалыми литературными удачами, хотя, повторяю, до творческих высот Военкора КМ так и не поднялся.

Психология — это боренья, долгие и мучительные.

Боренья с властью, которая и фаворитов — действительных, а в особенности мнимых — может сурово осадить, если они хоть на шаг отступают в сторону. Вспомнить хоть, с каким невероятным трудом пробивался на экран фильм Василия Ордынского по сценарию Симонова «Если дорог тебе твой дом». Еще горше была история с дневниками первых ста дней войны. Хоть сколько-нибудь здоровое, хоть сколько-то свободное от пропагандистских клише сознание просто не в силах найти разумное объяснение тому, что через тридцать лет после Победы кому-то может показаться опасным и нежелательным честное свидетельство очевидца первых, кровавых, шагов к ней, и какого очевидца! — самого Константина Симонова, остававшегося в глазах не одного поколения читателей если не самым первым, тоодним из первых военных писателей страны. Но так было: написанные в 1967 году «Сто суток войны» увидели свет, да и то в усеченном виде, лишь семь лет спустя.

И все-таки изнурительные бои с цензурой, политуправлением армии и иными учреждениями власти оставались, да, плотным и насыщенным, но все-таки фоном непрекращающихся борений с самим собой. Или, скажем, внутренним конфликтом писателя и литературного деятеля, человека строя, пусть далеко не рядового и дорожащего своей индивидуальностью и своим именем. Верх брал то один, то другой. Иногда КМ горько и устало признавался самому себе, что «почему-то последнюю границу между добром и злом он всегда позволял проводить за себя кому-то свыше», и тогда «все вокруг начинало светиться недобрым светом, жизнь виделась прожитой напрасно, все сделанное — грудой мусора», а порой, напротив, и думал, и действовал в согласии с уставом, например, призывая молодого тогда писателя Дудинцева не тяготиться, а гордиться тем, «что он работает под руководством коммунистической партии».

На одном из писательских съездов Симонова, напоминает автор романа, впервые за все послевоенные годы не выбрали секретарем Союза, и «он сам удивился, как мало это обстоятельство оказалось способным испортить ему настроение». А на следующем съезде все вошло в свою колею, и «приятно было убедиться, что в правление он тайным голосованием избран почти единогласно, увидеть потом на состоявшемся тут же первом заседании правления лес рук, поднятых за него при выборах секретарей».

При чтении таких строк охватывает некоторая оторопь и растерянность, настолько они не сходятся с тем образом К.М.Симонова, каким он всегда оставался — и остается — в моем сознании. Да, писатель, может, и не выдающийся, но личность несомненно яркая и крупная, неужели же его действительно могут волновать такие ничтожные атрибуты, как участие или неучастие в выборных органах, лауреатские медали, грамоты и тому подобное? Зачем они ему? Он — Симонов. Автор, правда, тут же уточняет, что начальственное положение дает возможность как-то влиять на литературный процесс, а «бланк секретаря Союза писателей прибавляет веса его многочисленным обращениям». Но опять-таки мой опыт — в данном случае уже не опосредованный, но личный — этого не подтверждает. Как-то случилось попросить одного из руководителей писательского Союза помочь разобраться с бытовой ситуацией. Руководитель, относившийся ко мне хорошо, сразу изъявил полную готовность выполнить просьбу и уже потянулся к секретарскому бланку, но вдруг остановился и посоветовал обратиться лучше к Константину Михайловичу, резонно заметив, что его ходатайство будет иметь больший вес. Так оно, к слову, и получилось, и даже бланка не потребовалось — оказалось достаточно телефонного звонка.

Так что, допускаю, в данном случае черты портрета оказались несколько сдвинуты, что объясняется, возможно, жизненным опытом автора — в свою пору редактора «Комсомольской правды», затем руководителя Агентства по авторским правам, далее посла и, наконец, министра иностранных дел, то есть человека, хорошо знающего язык и нравы, принятые в коридорах власти. Ну и что? В любом случае на стороне Бориса Панкина — правда, превышающая личный опыт и личное самочувствие одного писателя.

И вот тут психология уступает место сначала истории, а затем феноменологии. И, стало быть, мне придется, нарушая рецензионный канон, отойти от сюжета, да и в большой степени от героя книги. Но — надеюсь — не от ее внутреннего содержания.

История — это взаимоотношения писателя (и вообще художника) с властью в условиях тоталитарного государства.

Рассказывают (и это кажется достоверным, ибо известно мне не только по письменным источникам, но и в изустном исполнении племянницы ее главного героя, выросшей в его доме), что Уильям Фолкнер, получив вместе с соотечественниками — нобелевскими лауреатами — приглашение в Белый дом, отмахнулся: мол, слишком я стар, чтобы ехать за тысячу миль ради удовольствия разделить трапезу с незнакомым человеком. Он даже не поблагодарил за приглашение, и это, конечно же, не похвально. Но Фолкнер никого не хотел обидеть. У него была ясная позиция. Только что избранный президент Джон Кеннеди собирался взбодрить нацию и надеялся, что в решении этой задачи ему помогут лучшие умы и самые известные люди страны. А Фолкнер считал, что задача это, конечно, благородная, но совершенно не его дело. Суверенитет

вымышленной Йокнапатофы он ставил никак не ниже суверенитета реальных Соединенных Шатов Америки.

И в условиях свободного общества, где частный человек, а художник в особенности, дорожит своей независимостью, это нормальная позиция, на месте Фолкнера мог оказаться любой — Камю, Стравинский, Пикассо, Лоуренс Оливье, Феллини, да кто угодно.

И вот ситуация более или менее сходная, хотя и с существенной поправкой — не президент (премьер-министр, генеральный секретарь, канцлер, далее по номенклатуре) приглашает писателя, но писатель просит аудиенции и получает ее, и по выходе из высокого кабинета его охватывает едва ли не мистический трепет.

«На него снова, в который уж раз, гипнотически подействовала вся эта обстановка, окружающая власть, это странное невыразимое чувство, которое охватывает человека, когда он вдруг оказывается лицом к лицу с тем, кто ее олицетворяет. О великая и коварная магия приобщения! Даже такому человеку, как он, который сам вызывал чувства и метаморфозы у миллионов своих поклонников, трудно было противостоять ей».

И это тоже нормальная реакция, в условиях несвободного общества даже у художника атрофируется благодатное чувство внутренней свободы. На месте Симонова тоже мог оказаться любой, и действительно оказывались многие, в том числе художники, оставившие в искусстве куда более заметный след, чем он. Например, Александр Твардовский. Обращаясь в ЦК КПСС за разрешением опубликовать в «Новом мире», который он тогда редактировал, роман «По ком звонит колокол», он изъясняется с тамошними деятелями на языке прилежного канцеляриста: «до сведения общественности всего мира», «не всегда правильно понята и верно освещена» и так далее (вот сближение, сколь удивительное, столь и закономерное: Твардовский — автор писем в ЦК КПСС и Симонов — автор явно конвойного, на языке позднейших времен, предисловия к «Колоколу» изъясняются одним слогом: «Роберт Джордан беззаветно сражается за дело народа, и в то же время в своих мыслях, думая о народе, революции, коммунизме, часто многое судит со своих, не разделяемых нами позиций»). А из недавно обнародованных писем Твардовского жене, датированных годами войны, видно, сколь ревниво он ждал, дадут «Василию Тёркину» Сталинскую премию или нет. Будто она могла удостоверить величие поэмы, явно не нуждающейся в таких знаках доблести. А вот на судьбу автора, верно, повлиять могла, став чем-то вроде охранной грамоты и укротив рвение разнокалиберных деятелей, начавших было возводить барьер между «Книгой про бойца» и ее читателями.

Но самое интересное начинается дальше, там и тогда, где и когда утрачивают принудительную силу исторические, национальные и иные различия, и мы попадаем в среду общих понятий и вечных противоречий. Одно из них: власть и художественная культура или, скажем, поэт и государство, теократическое, автократическое, демократическое — любое, о конфликте между которыми еще Платон задумывался. А почти два с половиной тысячелетия спустя Ницше разъяснил, что вечные вопросы ходят по улицам. И ведь действительно ходят, и случаются во время этих прогулок сближения поистине странные.

Семьдесят лет назад Джордж Оруэлл написал эссе про свободу печати и вообще творческой деятельности. В оригинале оно называется The Prevention of Literature, что буквально означает Предотвращение Литературы, а по смыслу — Враги Литературы.

Их много, и, конечно, внешний враг номер один — это тоталитаризм, устанавливающий цензуру не только слова, но прежде всего мысли, о чем, собственно, и напишет спустя два года Оруэлл свою знаменитую антиутопию. Положим, автора эссе порой немного заносит; он утверждает, будто «расцвета своего повествовательная литература достигает во времена демократии и свободомыслия», а в тоталитарных государствах, которым удается просуществовать более двухсот лет, она, напротив, обречена на гибель. Исторический опыт, и прежде всего опыт русской литературы, этого не подтверждает, и вообще прямой зависимости между уровнем художественного творчества и состоянием общественных институтов нет, на что обратил внимание непопулярный ныне Энгельс. «Позорная в политическом и социальном отношении эпоха (конец XVIII—начало XIX веков) была, — писал он, — в то же время великой эпохой немецкой литературы». И то сказать — и «Вертер» уже написан, и первая часть «Фауста», и «Разбойники», и братья Шлегели вошли в полную силу, словом — всемирный Олимп.

Но в принципе с Оруэллом не поспоришь, как не поспоришь с любым общим местом.

Однако в том же эссе с самого начала и до последней точки проводится другая мысль, уже далеко не столь тривиальная — и грустная, конечно. Вот она: «Тоталитаризм еще не повсюду достиг полного торжества. Наше собственное общество, в широком смысле, это по-прежнему общество либеральное. Осуществляя свое право свободного высказывания, приходится бороться с экономическим давлением и влиятельными общественными группировками, — но не с тайной полицией, во всяком случае, пока. Коль скоро вы готовы оставаться в стороне, сказать или напечатать можно фактически все что угодно. Но чрезвычайно дурным знаком является то, о чем я говорил в самом начале этого очерка: сознательными противниками свободы становятся те, для кого свобода должна представлять высшую ценность. Широкой публике, в общем, нет до этого дела. Людям не по душе преследование еретика, но вместе с тем они не бросятся на его защиту. Им достает одновременно и здравомыслия, и глупости не усваивать тоталитарные воззрения. А прямое, осознанное наступление на интеллектуальное достоинство идет со стороны самих интеллектуалов».

В подтверждение этой мысли Оруэлл ссылается на парадокс, наблюдаемый в английской жизни первых послевоенных лет: «Противники существующего порядка, или, по крайней мере, наиболее многочисленные и типичные из них, восстают в то же время против интеллектуальной чести и достоинства. "Мужество одиночества" (слова из протестантского религиозного гимна XVIII века. — *Н.А.*) представляет собою в их глазах идеологический криминал и практическую угрозу».

И вот тут как раз происходят те самые странные сближения времен и умонастроений, которые столь отчетливо ощущаешь при чтении давнего эссе Джорджа Оруэлла. Тем более, что и он постоянно оборачивается в нашу сторону, на Россию, вернее, на Советский Союз. Стрельба влет по недавнему прошлому и его символам сделалась любимым развлечением нынешних ревнителей интересов государства российского. О том, что интересы эти можно понимать совершенно различно, говорить здесь было бы неуместно, и обратить внимание хотелось бы лишь на одно: если чего по-настоящему и добилась Россия в 90-е годы, так это свободы слова.

Но даже это не главное.

Власть отказывается от тотального контроля за сознанием, власть не претендует на руководство духовной жизнью вообще и художественной культурой в частности, предоставляя ей полную свободу *саморазвития*.

Но она так и остается невостребованной.

Вспоминаю, как в начале 90-х Ельцин встретился в Бетховенском зале Большого театра с творческой интеллигенцией Москвы, и что же услышал? — одни лишь рукоплескания и славословия, которых, кажется, и сам не очень ждал.

Вспоминаю, как в конце того же десятилетия в Центральном доме актера с писателями, артистами, художниками встретился начальник рангом пониже — тогдашний мэр Москвы Лужков. Картина та же самая.

Все по Оруэллу.

Ну, а если свобода не нужна тем, кому она, казалось бы, нужна более всего, то она упраздняется — разными способами. Могут быть акты вандализма, вроде запрета на показ «Тангейзера» в Новосибирском оперном театре. Может быть бюрократический кураж, когда президенту страны предоставляется право утверждать своим указом президента Академии наук — избранника бессмертных, как их называют во Франции. А может быть и мягкая, как сейчас любят говорить, сила, и, случается, поощрение превосходит своим эффектом наказание.

К власти, к государству в общем, претензий нет: это Левиафан, насилие — в его природе, это его стихия. Смешно ведь сердиться на серого волка, поедающего ягнят. Но нам, мирным ягнятам, зачем в пасть волку лезть, да еще и добровольно?

Между тем именно это и происходит.

Не умолкают призывы к созданию разного рода общественных (но, конечно, государством формируемых) комитетов, то есть, называя вещи своими именами, комитетов по цензуре. Объявляются Годы литературы и кинематографа, и все в полном восторге, но мало кого тревожит, что в Год литературы в стране сильно уменьшилось количество книжных магазинов, а также школ и библиотек. Писатели, уставшие от внутрикорпоративных дрязг, хотят создать единое профессиональное сообщество, но опять-таки взывают к государству: помогите.

Это дорога в никуда.

Оптимальная форма взаимоотношений художника с властью — это тип общения Вольтера с богом: здороваться, но не разговаривать. Потому что равноправный, дружественный союз даже при демократии, не говоря уж об иных формах правления, невозможен, хотя, кто спорит, хотелось бы. Безнадежный случай, они говорят на разных языках и просто обречены на взаимонепонимание. Лучше других об этом сказал мексиканский поэт Октавио Пас: «Поэт остается в стороне — вечный раскольник, чья прирожденная судьба — говорить *не то*, говоря то же самое, что любой вокруг». И он же, рассуждая о ситуации, сложившейся во Франции времен короля Людовика-Солнце, но словно бы к нам обращаясь, предупреждает: «Искусству стоило бы не искать, а бежать любого высокого покровительства, которое рано или поздно кончается упразднением творчества под предлогом мудрого руководства».

...Такие вот попутные соображения возникают при чтении книги о писателе, который стоял слишком близко к власти и потому не смог в полной мере осуществить дарованный ему талант.

Евгений Абдуллаев

Война и мір

...Si vous ne me dites pas que nous avons la guerre...

Трудно сразу вспомнить, откуда — но вот перевод: «...Если вы мне не скажете, что у нас война...». И — несколькими строчками ниже: «Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер...»

Войны еще, собственно, никакой не было. Но состав воздуха изменился. Направление мыслей, темы разговоров. *Nous avons la guerre*.

Сегодня война снова оказывается темой номер раз. Сигналы идут с обеих сторон. В феврале по Би-би-си показывают документальный фильм «Третья мировая война: в командном пункте». В мае выходит — и тут же становится бестселлером — книга «Война 2017 года с Россией» («2017 War with Russia»). Автор — британский генерал Ричард Ширрефф, экс-заместитель верховного главнокомандующего ОВС НАТО. Книга относится к разряду худлита: вымышленные ситуации, вымышленные персонажи. Но мессидж вполне реальный. Запад должен готовиться к войне с Россией.

Со времени романа другого генерала, Джона Хэкетта, «Третья мировая война: август 1985 года», вышедшего в самый пик «холодной войны» (1982), подобных опусов не припомню...

Тема войны проникает и в российские толстые журналы (в газетах и «телеящике» она уже давно как дома).

В первом номере «Неприкосновенного запаса» публикуется статья Алексея Левинсона «Годится любая война», основанная на данных соцопросов «Левада-центра».

«Российское массовое сознание, — пишет Левинсон, — за многие десятилетия никогда так сильно не боялось войны и так далеко не заходило, самозабвенно играя в нее». Речь, уточняет социолог, не идет о какой-то конкретной войне с каким-то конкретным противником (это, по крайней мере, радует). Но сам факт милитаризации сознания не может не настораживать.

«Война, ведущая к завершению современности, обнуляет предыдущие достижения и обиды. Речь при этом идет о войне вообще, не определяемой как гражданская или мировая, и эта война помещается сознанием в неопределенное время: она и в будущем, она, возможно, и в настоящем. ... Она может происходить как в окружающей нас реальности, так и в реальности (массового)

сознания — в "пропаганде". И самое главное: *люди начинают верить, что война сделает что-то хорошее*».

Что ж, это понятно. Общество цементируется страхами — общие страхи заставляют сбиваться плотнее друг к другу, терпеть друг друга. Российское общество 90-х скреплялось страхами беспредела (уголовного и слабо отличимого от него властного). В «нулевые» — страхами терактов и «исламской угрозы». Теперь, в 10-е — страхами Большой войны. Страхами — и как это всегда бывает — надеждами.

«Неприкосновенный запас» — журнал больше социологический, научный. Но вот и «Звезда» публикует в третьем номере статью ученого и литератора Герберта Ноткина «Мир без нас». Тема все та же. Перспективы Большой войны — и технологическая неготовность к ней России.

Слово на ветер; не оживёт, пока
в долгом дыхании не прорастёт зерно.
Скажешь «зима» — и всё снегами занесено.
Скажешь «война» — и угадаешь наверняка.

Это уже из Михаила Айзенберга, февральское «Знамя».

Действительно, «угадаешь наверняка»...

Впрочем, еще в позапрошлом году вышли два поэтических сборника, в которых это ощущение — *Nous avons la guerre* — проговорено с неожиданной определенностью. Поскольку срок рецензионной давности еще не исчерпан — да и откликов эти книги вызвали, увы, мало, — остановлюсь на них подробнее.

«MISSA IN TEMPORE BELLI / Месса во времена войны» Бориса Херсонского (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха) и «Довоенное. Стихи 2010—2013годов» Бахыта Кенжеева (М.: ОГИ).

Кенжеев и Херсонский — ровесники, одногодки: оба родились в 1950-м. Оба относятся к поколению, войну уже не заставшему, — но живые последствия войны запомнившему всей цепкостью детской памяти. Из Кенжеева:

Нищий плачет на коленях, а живой, как птица злость,
молча к плугу ладит лемех, нержавеющую ось.
Да и что такое время? Дрожжевой его замес
солидарен только с теми, кто и весел, и воскрес,
для кого вполоборота двадцать скорбного числа
почвы чёрная работа мятой влажной проросла.

Для кого «двадцать скорбное число» — двадцать второе июня — поросло быльем, «мятой влажной», для тех новая война действительно будет горизонтом не только страха, но и надежды. (Надежды, как обычно оказывается, совершенно беспочвенной.)

Действительно, главной причиной новой Большой войны является — нет, не экономика, и не борьба за «сферы влияния»... Главной причиной новой Большой войны оказывается ослабление памяти о предыдущей Большой войне. Приходят новые поколения, для которых война — это фильмы и мемориалы, а не личный опыт горя и унижения. «И выедет к армии маршал, Не видевший этой войны», — как писал поэт Сергей Орлов в 1975 году. Теперь у нас — и у «них», и везде — только такие маршалы и генералы.

Все любят войну, в которой почти никто не погиб.
Толпятся на площадях и кричат ги-гип-ура,
и ещё раз — гип-гип-ура, и снова — гип-гип-ура!
я — старый мальчик, я это видел вчера.

Будь я ребенок, я б тоже скакал, закусив губу,
но я — старый мальчик, я видел все это в гробу,
в белых тапочках, в царской мантии, в золотой мишуре.
Будь я маленький мальчик, я бы в это играл во дворе.

Но я — старый мальчик, я видел эту толпу...

Это уже Борис Херсонский. Если война в книге Кенжеева — скорее, некая тень на ярко и подробно освещенной солнцем земле, то у Херсонского — это тотальная и всепроникающая свинцовая реальность. Дело здесь, думаю, не только в причинах биографических (Херсонский живет в стране, где действительно идет война). Поэтика Кенжеева вообще светлее, жизнерадостней; Кенжеев — лирик, Херсонский — эпик. В «двойном портрете» этих поэтов — по аналогии со знаменитой философской парой — Кенжееву, скорее, принадлежит роль «смеющегося Демокрита», а Херсонскому — «плачущего Гераклита». Гераклита, который первый увидел в войне (*полемос*) почти космическую категорию. «Война — отец всего и царь всего, одних она явила богами, других людьми, одних — рабами, других — свободными». Разве что, по Херсонскому, рабами перед лицом войны оказываются все.

Хочешь хлеба и зрелищ? купи и телик включи.
Хочешь мира духовного — никого ничему не учи.
Хочешь блага ближнему? — не мешайся, в сторонке стой.
Зачем тебе сложности? Ты — человек простой.

Был простой советский, теперь — хрен знает каков
будешь всегда, ныне и присно и во веки веков.
Скажи «аминь» и рассыпься галькой у кромки вод.
Длинноногое время войну переходит вброд.

Обе книги — воспоминания о прежней войне (и ее многочисленных отзвуках и преломлениях в советских реалиях) и предостережение о новой. «Пусковым механизмом» которой может оказаться не злая воля политиков и генералов, а тот самый «простой человек», который начинает — снова процитирую статью «Годится любая война» — *«верить, что война сделает что-то хорошее»*.

Что же может предотвратить войны? Ответа в стихах нет. Его и не может быть — поэзия диагностирует, но рецептов не выдает. Есть лишь некая общая надежда на слабость, которая может парадоксальным образом победить. На тихий, но настойчивый ропот мыслящего тростника. В обеих книгах есть стихи, в которых сталкиваются эти две силы. Сила силы и сила слабости. У Херсонского — «Человечество делится на мускулистых и мозгляков...». И у Кенжеева — стихотворение, которое так и называется: «Два голоса». Голос первый, бодро вещающий, что

...наша ржавчина стоит иной
стали крупповской. В наших единственных
небесах аэростат надувной
проплывает высоко на страже
мира в благословенном краю,
и курлыкают стаи лебяжьи,
отзываясь на песню мою.

И второй, сетующий почти угасающим шепотом:

...Всё расхищено, предано, прожито,
в жертву отдано Бог весть кому.
Только мы, погрузиться не в силах
в город горний, живой водоём,
знай, пируем на тихих могилах
и военные песни поём.

«Я пишу стихи потому, что Первая мировая война, Вторая мировая война, атомная бомба, если угодно — третья мировая война — мне не нужны», — написал когда-то Аллен Гинзберг.

То же можно сказать и о стихах Кенжеева и Херсонского.

Затянувшаяся игра в бисер в литературе заканчивается. Похоже, именно поэзия, инструмент более чувствительный, чем проза, уловила новое тревожное настроение.

Так во вполне мирном 1912 году Блок написал своего «Авиатора» («Иль отравил твой мозг несчастный/ Грядущих войн ужасный вид...»). Так в довоенном 1937-м появились мандельштамовские «Стихи о неизвестном солдате».

Проводить параллели не хотелось бы. Возможно, сегодня все не так драматично. Нынешнее *Nous avons la guerre* может оказаться ложной тревогой; Анна Павловна еще надвое сказала. Большой Войны, хотелось бы верить, не будет. (Хотя как быть с «малыми» войнами?) И все же. Война становится фактом современной литературы. Прежде всего, поэзии; и об этом стоит говорить.

Даниил Чкония

Что такое суп с котом

Александр Тимофеевский. Как холодильник стал будильником. — М.: Б.С.Г.—Пресс, 2015.
Александр Тимофеевский. Клоуниада. — М.: КомпасГид, 2015.
Александр Тимофеевский. Зоопарк. — М.: КомпасГид, 2016.
Александр Тимофеевский. Я енот. — М.: Альпина Паблишер, 2016.

Нелитературное воспоминание: однажды я вел очередную экскурсию, на этот раз в бельгийском Брюгге — жемчужине европейского туризма. Один из экскурсантов то и дело обращался ко мне с вопросами, которые выдавали в нем человека с незаурядным умом, оригинально мыслящего, иронично-колючего, по-мальчишески озорного, безмерно обаятельного. Мы познакомились, и я с удивлением обнаружил, что передо мной поэт, имя которого мне о многом говорило: Александр Тимофеевский.

Удивительный человек, не сдавшийся перипетиям трудной судьбы, он при каждой мимолетной встрече обрушивает на тебя волну едкой, но не злобной иронии, парадоксальные суждения и какую-то нерастраченную детскость мышления и поведения.

Поэтому я не удивляюсь его поэтическим успехам — как в поэзии взрослой, так и в стихах, которые относятся к его творчеству для детей. И это не случайно. Вот строфы из стихов для взрослого читателя:

О, как мы к женщине глухи,
Её себе считая ровней,
Мы посвящаем ей стихи,
Мы говорим: — ты помнишь, помнишь?
Мы говорим ей: — ты забыла
Тот пляж, тот сад и то авто.
А женщина не то любила
И помнила совсем не то.

Интересно, как вдруг похоже интерпретирует автор свое мировосприятие, с которым он повторяет эту мысль, этот поэтический прием, но уже в книжке стихов для детей:

Мы подбегаем к турьей горке,
От турьей горки мы в восторге...
И тур глядит из той горы.
О, как глаза его добры,
Он прямо в нас глядит из тьмы,
Но видит он не то, что мы.

Женщина «не то» любила и помнила, тур видит «не то», что видим мы... И это пример не случайного совпадения или механического перенесения приема. Это убежденность поэта в том, что окружающий нас мир не однозначен, что воспринима-

ется он во всей своей полноте разносторонним взглядом. Об этом же ещё один пример из детских стихов:

В воде холодной, без пальто
Мы ищем то, не знаем что,
А рыба хитрая пила,
Хвостом вильнувши, уплыла,
И из морских глубин на нас
Глядят внимательных сто глаз.

Не только ты, взрослый или маленький читатель, видишь мир своим взглядом, но и мир всматривается в тебя, ты одновременно субъект и объект в такой формуле мировосприятия. Эта способность понимать, чувствовать, видеть взгляд другого, обращенный на тебя, — одно из свойств поэтического мышления Александра Тимофеевского. Отсюда и нередкая для автора самоирония во взрослых стихах, способность видеть себя со стороны. И если согласиться, что смысл поэзии в том, чтобы делать человека лучше, стихи Тимофеевского как нельзя точнее соответствуют этому представлению.

Чем особенно хороши детские стихи автора? Умением говорить с самым маленьким читателем на доступном ему языке, но не сюсюкая, не сдабривая стихотворную речь фальшивым заигрыванием с малолетним, а ведя с ним беседу — как с человеком, уже проявляющим личностные качества.

Книжка про Енота составлена из разнообразных стихов, дающих представление об этом симпатичном зверьке — читать ее интересно и взрослому «умнику», даже не замечаешь, как тебя вовлекают в этот рассказ о енотах. Стихи даны на прекрасно иллюстрированных Анной Горлач страницах, и по всему полю страниц разбросаны авторские комментарии к стихам.

Все говорят, что я парень-рубаха, вижу как кошка, слух как у Баха.
Перемещаюсь в кромешной тьме, и как разведчик себе на уме.
У Енотов такое, друзья, осязание, что мы обо всём узнаём заранее...

И комментарий на этой же страничке: «Ощупывая ловкими лапами всё вокруг, еноты получают важную информацию. Интернет им не нужен!» В этом комментарии — весь Тимофеевский: и его ирония, и ненавязчивое наставление тому, кто сегодня рано оказывается в зависимости от интернета, сокращая до минимума реальное осязание жизни. Только это сказано как бы мимолетом, без назидательного занудства — что и нужно в разговоре с маленьким читателем. Право слово, книжку «Я Енот» следует рекомендовать и взрослым, столько разнообразно интересного и подталкивающего мысль в живом направлении разбросано в стихах и комментариях. При этом в конце книжки приведен список мультяшек, научно-популярных фильмов и книг о енотах, подсказывающих малышам и их родителям, что еще стоит почитать и посмотреть об этом обаятельном герое книги, зверьке, который превратился стараниями поэта в вашего друга.

Замечательные стихи из другой книжки «Как холодильник стал будильником» превращают привычные детские каляки-маляки в живые существа, действующие раздельно и посылающие в облаках приветы один другому. Или, скажем, привычно брошенное словосочетание «суп с котом» обретает реальное содержание:

Бывает суп с грибами,
Бывает с потрохами,
Бывает суп капустный
И с тыквой — очень вкусный.
Вчера мы ели суп с котом,
Я ел сперва, а кот потом.

Веселая улыбка, праздничное веселье и остроумие живут в этих книжках поэта. Его игровые сюжеты с неожиданными поворотами поэтической мысли будят живую мысль детей. В ряду таких стихов и строфы о Крокодиле Гене и Чебурашке, ничуть не уступающие знаменитой песенке на стихи Тимофеевского про день рожденья. Забавно, как Крокодил Гена рассказывает про ловлю рыбы с Чебурашкой. Сам-то Гена не удит, а лежит и переживает за друга, ибо представляет плывущих под водой рыб, а у Чебурашки нет улова. Гена пытается указать другу на его ошибку:

Я Чебурашке говорю:
– Ты позабыл надеть на крю...
А он: — Во время лова
Не говори ни слова.

Так повторяется несколько раз, а Гена представляет себе, что мимо проплывают все новые рыбы разных пород, и расстраивается. Вот друзья возвращаются с неудачного лова, и Гена в сердцах бросает:

И не сдержавшись крикнул я:
— Ты насадить забыл червя!

А он в ответ: — Спасибо!
Ты что ж мне раньше не сказал,
Ты что же целый день молчал,
Весь день молчал, как рыба?

Забавно, весело, остроумно. Но мир, действительно, не столь однозначен, порой он оборачивается не лучшей своей стороной. И если говорить о взрослых стихах Александра Тимофеевского, то иной раз и выхода из несовершенства этого мира не видно. Печальный опыт, печальное знание, пережитое подсказывают автору тяжелые слова:

Что за беда у них? Спроси их.
А в песне той разгул и стон,
Как будто пьяная Россия
Вместилась вся в один вагон.
Как будто их судьбой суровой
Сдавило всех, скрутило в жгут,
Как будто в бочке омулёвой
Сейчас все вместе поплывут.
Но не уйти от жуткой тени.
Она ползёт, сгустился мрак.
И только не смолкает пенье,
Гимн безграничного терпенья —
И было так... И будет так.

Но детский мир пока еще устроен иначе. Он добрей и мудрей. В нем даже страх гибельного противостояния разрешается невозможностью этого противостояния, а потому превращается в неопасную и даже веселую игру: слон и кит угрожают друг другу смертельной расправой, для чего кит предлагает сразиться в воде, а слон на суше. Но их взаимные угрозы могут только рассмешить малыша — потому что мир устроен разумно:

Ко мне! — кричит кит из волны.
А слон трубит: — Сюда!..
Надеюсь я, у них войны
Не будет никогда!
И хорошо придумал бог,
Чтобы не быть беде:
Кит на земле дышать не мог,
А слон не мог в воде.

Поэт творит этот уютный и добрый мир, приглашая маленького читателя на прогулку по своему «Зоопарку», так называется еще одна книжка автора. В ней звери предстают забавными существами, обретающими — или стремящимися обрести — человеческие характеры. Обезьяна с очень умными глазами, медведь, который размышляет о носороге — сколько у того рогов, пингвин в белой манишке и черном фраке — важный посол звериного царства, которому следует подать машину, чтобы доставить его на прием, черепаха в своей «защитной спецодежде», которая должна открыть личико, — вот уж совсем неожиданно! — как Гюльчатай...

Тимофеевский предается этой игре с видимым удовольствием, которое не может не заразить малышей. Поэт виртуозно играет словами, а дети своим обостренным слухом должны воспринять музыкальную ноту, звуковую игру слова, при этом радуясь льву, который отказывается от хищных соблазнов:

Лев зевает, лев зевает,
Очень долго: зе-вву-ва...
Восхищенье вызывает
Зев зевающего льва.
Лев поел, попил водицы
И зевнул в сторонку, чтоб
Невзначай не соблазниться
Видом зебр и антилоп.

А неугомонный автор зовет дальше, в мир разнообразных приключений в книжке, которая называется «Клоуниада». Клоуниада — это страна, в которую забрел автор вместе с нами, страна, где действуют свои законы и правила, где множество приключений являются поводом для рождения стихов.

Взрослые стихотворения Александра Тимофеевского часто исполнены грусти и печали, объяснимыми всеми сложностями нашей взрослой жизни:

Всё мигом утекло,
Не удержал в ладони.
Уперся лбом в стекло
В троллейбусном вагоне.
Ну, что там, жизнь, покажь,
Ведь очень интересно!
А за окном пейзаж,
В котором нет мне места.

Зато Александру Павловичу Тимофеевскому есть место в его детских стихах. Он дарит малышам, их мамам, папам, бабушкам и дедушкам поистине самобытный взгляд на другую, только открывающую этот мир, жизнь. Жизнь, где царят добро и свет!

Ирина Василькова

«Грозового облака внутри»

Удивительно сбывается порой в стихах нечто неназванное, невербализованное, до конца неотрефлексированное. Скажем, пишет поэт в 2003 году: «Было уже не скучно, еще не страшно, / Было еще не стыдно, уже не просто», — а через 12 лет книгу приходится называть «Юго-Восток». Тогда едва проклюнулось, теперь проросло.

Новая книга Ирины Евсы, поэта, живущего в Харькове, лауреата «Русской премии» 2015 года, состоит из трех частей. Две первые — это избранные стихи из «Описи имущества» (2003) и «Трофейного пейзажа» (2006). Теперь к ним добавилась третья часть — «Южный вокзал».

Мне уже приходилось писать о двух первых книгах. Однако, став частью иной целостности, они требуют нового прочтения — в поисках пропущенных неявных смыслов, непроросших кристалликов, которые сложатся потом в горькую соль «Юго-Востока».

Позволю себе автоцитату: «Поэтическая речь Ирины Евсы сродни искусству фотографии. Ее визуальность четка, ярка и конкретна. ...Запечатление эффектной, самодовлеющей предметности жизни, пойманной врасплох объективом, не упустившим ни одной детали, подразумевает равнозначность каждого предмета — и в итоге вроде бы должно давать нуль. (Правда, Евса кое-где пользуется еще и фотомонтажом, или как сейчас говорят, фотопластикой, но так тонко, что коллаж неотличим от действительности.) Поэтому всегда есть соблазн принимать ее фотоизображения за статичные бессобытийные картинки — но...».

Остановимся на этом «но». Я писала о том, что делает искусную версификацию автора поэзией настоящего мастера, о том, что в якобы статичном «кадре» у Евсы всегда присутствует некий несфокусированный, царапающий глаз фрагмент, иногда еле заметный на периферии зрения, чаще всего связанный с невозможностью гармонии между «Она» и «Он». Именно этот фрагмент всегда был главным, именно от него сквозило драмой, и не просто бытовой драмой, но фундаментальной оппозицией между явленным и несостоявшимся. Такой разорванный «инь-ян». И в несостоявшейся коммуникации не были виноваты ни Она, ни Он, но безликое Ничто или сам ход вещей. Именно оттуда залетал метафизический сквознячок, хотя лирическая героиня старалась быть перед ним неуязвимой в своей иронической броне.

В новой книге видно, как смещаются акценты. Уже в последней трети «Трофейного пейзажа» нарастает военная семантика — мятеж, революция, полководец. Не просто отсутствие гармонии, разрыв — боевое столкновение. Опять соперничают двое: «Дымит твоя эскадра, моя пыхтит в ответ./ Меж нас ложатся ядра, возы летят в кювет». Финал отрезвляет: «...как только твои войска подойдут вплотную, / эта малая Атлантида уйдет на дно» — и пустой трофейный пейзаж кажется победителю уже не столь заманчивым. Победа ли это? Скорее, понимание принципиаль-

---

Ирина Евса. Юго-Восток [из трех книг]. — М.: Изд-во «Арт Хаус медиа», 2015.

ной несводимости жизни к оппозиции победа—поражение.

И если в начале книги лирическая героиня сама является почти частью этого пейзажа, то чем дальше, тем больше она отстраняется от безоговорочно нацеленного на победу мира. Отстраняется без лишнего пафоса и трагического надрыва. Лучшим выходом ей кажется не только молчать, как старый китаец вфинальном стихотворении второй части («кто знает — не говорит»), но вообще устраниться, «незаметно вылинять, раствориться / как дымок в пейзаже»...

Нет, не растворишься — действительность возвращает к себе. Чем ближе к финалу книги, тем меньше в стихах Ирины Евсы иронической мудрости и больше метафоричности. «Южный вокзал» сродни яростному фоторепортажу — жесткому, местами даже обличительному. Деталей не убавилось — но другими стали ассоциации, тревожными тропы: «облаков приграничные катера», «свежевыпавший снег, на котором / ёлок подстреленные пехотинцы». Даже обычное утро «верещит парламентом ворон, / которому плевать на беды населенья». Даже март здесь опасен, «как тоска японцев по Курилам».

И всё больше становится прямых высказываний, высвечивающих актуальные и болезненные реалии: «Одесса и Москва, Тбилиси и Бишкек / едва ль проложат путь к последней из утопий», «Междоусобицей пахнет в державе, / мобилизацией, пятой колонной», «Крым — земля такая: /жить — живи, но не пускай корней», «Один сбежал сражаться за свободу/ в чужой стране, озлившись на свою». Несфокусированные пятна, царапающие сетчатку образы будто сместились от периферии зрения к его центру. Социальность, да — но какая? Не разящий выпад, а плач по общей неустроенности мира.

Мы все теперь живем «грозового облака внутри», но, как герой одного из стихотворений, дурачок Петя, все еще надеемся, что «до свадьбы точно заживёт». Будто не видим реальности, которая неустойчива и опасна: «Тут одно словцо — и дурость пойдет на дурость,/ и степное эхо бодро подхватит "Бей их!"» Кого — их?

Как говорит муравей-философ из центрального стихотворения «Южного вокзала»:

> И когда избранник щедрот монарших,
> протоптав тропинку к его плато,
> вопрошает грозно: «А ты — за наших?» —
> он таращит зенки: «А наши — кто?»

Такое время. Всех гонит ветер. Бесприютность вместо дома, «пустеющие контуры фигур» вместо друзей. Холодно, но если разворошить пепел — как же нестерпимо горячо внутри! Однако ничего не поделаешь — «Надо держать лицо. /Вот и держу, аж сводит судорогой ладони».

«Южный вокзал» — книга о потерях, о бегствах, разрывах, о расползании ткани. Об ощущении глобальной катастрофы. Тоска о веке если не золотом, но хотя бы о таком, где вчерашний друг не скажет:

> Ты прости, но я на службе, кореш.
> Плавно пальцем жму на спусковой.

И весь «Юго-Восток» — о том, как разрастается трещина, из которой свистит уже не сквознячок, а вихрь, разрушающий самые основы. На берегу реки Гань Ба не срабатывает даже древняя восточная мудрость о трупах врагов, проплывающих мимо тебя. Ты все равно не победитель — ибо победить невозможно.

> Отвернуться, уйти. А дудки тебе! Смочил
> Дождик рыжую глину в малом твоем порту.
> И щетина травы растёт из твоих морщин,
> И лишайник ползет по каменному хребту.

Но здесь настало время сказать о неслучайной и принципиальной приверженности Ирины Евсы к классическому стиху. Именно классическая форма является, как сказал Сергей Аверинцев, оплотом «дисциплины, человеческой выдержки и осанки, нужной, как всегда считалось, именно перед лицом жути». Кристаллическая решетка держит обломки распадающегося мира.

Ольга Пахомова-Скрипалёва

«И понимать простую красоту за гранью боли...»

Нечасто трагическая музыка стихотворений остается в читателе навсегда, он ударяется о нее, как о событие жизни, меняющее русло неспешного обывательского мировосприятия. И здесь можно говорить о расширении души по аналогии с расширением сознания. Техника версификации при этом играет второстепенную роль, потому задумываешься над тем, как сделано стихотворение, — душа молчит. Стихи совсем немногих поэтов, моих современников и старшего поколения, звучат во мне, к ним хочется вернуться и свериться с ними. И это и есть, по моему убеждению, главный, если не единственный, критерий подлинности поэзии. В числе этих немногих поэтов — Евгений Блажеевский.

За расхожей фразой «поэт пишет кровью сердца» — жестокая реальность: степень восприимчивости поэта к миру делает его крайне уязвимым. Отсюда — попытки уйти от этой реальности хотя бы на время, выпасть из боли, выключить себя, «ибо жизнь страшнее смерти...» В известном смысле ранняя смерть поэта — тоже защита (если хотите — протест).

Насколько Евгений Блажеевский был тонкокож, можно судить по воспоминаниям друзей и, конечно, по его пронзительному творчеству, где проступает «тайная связь» его ремесла «с избытком и жаждою боли». Еще довольно молодым человеком он напишет стихотворение, которое потом войдет в диптих «1972», где эта тайная связь манифестируется ярко и недвусмысленно: пристальность внимания поэта к маргинальному миру есть не что иное, как отклик на пушкинский призыв милости к падшим. Эта пристальность не любопытствующая, не возглашающая суд, но та, от которой перехватывает горло.

Большим домам сей дом игрушечный,
Старомосковский — не чета.
В нем пахла едко, по-старушечьи,
Пронзительная нищета.
.....
Я в это время окаянное,
Средь горя и макулатуры,
Не спал. В окне галдели пьяные,
Тянуло гарью из Шатуры.
И я, любивший разглагольствовать
И ставить многое на вид,
Тогда почувствовал, о Господи,
Что эта грязь во мне болит,
Что я, чужою раной раненный,
Не обвинитель, не судья...

(«1972 год»)

Пока *такой* взгляд на человека существует, проверяя на болевую реакцию душу читателя, в этом мире оскудевающей любви есть надежда на сострадание. По сути, в этом и заключается социальная миссия искусства, и здесь уместнее говорить о гражданской поэзии, чем в случае патриотических стихов на тему неиссякаемой политической злободневности.

Поэт имеет право на обобщения, поскольку судьба его — тосковать сердцем и *плакать с плачущими*, ее не отменишь, судьба, которую безоговорочно приняли лучшие люди из поколения Евгения Блажеевского — «*лагерей и питомников дети в обворованной сбродом стране*». И становится понятным новое качество свободы для поэта — «*безмерное чувство покоя*»,

---

Евгений Блажеевский. Письмо. — М.: Арт Хаус медиа, 2015.

оно же — не всегда трезвое одиночество, которым приходится платить за содранную кожу сердечную, за врожденную деликатность, за стыд от чужого бесстыдства...

Потом я поглядел на этот мир,
На этот неугодный Богу пир,
На алчущее скопище народу
И, не найдя в гримасах суеты
Присутствия высокой пустоты,
Обрёл свою спокойную свободу.
(Эксперимент)

Поднимаясь на трагическую высоту стиха Блажеевского, понимаешь, что скорбь об изгоях, покаянная любовь к матери, способность к истинному дружеству — не следствие воспитания, каких-то обстоятельств жизни поэта, не дань житейскому укладу, но часть дара, часть главная и существенная. И здесь прав Игорь Меламед, подводящий нас к важному выводу в своей статье памяти поэта: «...как поэт Блажеевский был носителем христианских ценностей. По неприятию безбожного мира он был, в сущности, религиозным поэтом, оттого и написал напоследок, что его путь "угоден Богу"» («Континент», 2005, № 124).

Поразительно, но все, кто писал о поэте (Станислав Рассадин, Юрий Кублановский, Инна Ростовцева, Юрий Кувалдин), сходились в одном: Блажеевский — поэт с живой совестью и той скромностью, что суть необходимые условия поэтического гения. Игорь Меламед в цитируемой выше статье с горечью замечает: «Со временем Блажеевский все больше убеждался, что его реальное положение в литературе не соответствует масштабу его дарования... Женя сознательно оборвал общение со многими из тех, с кем когда-то начинал, ибо они далеко ушли от него в литературной "иерархии". Он понимал, что за ними не поспеть, а точнее говоря, ему уже было с ними "не по пути". Блажеевский отошел от прежних товарищей тихо, никого впоследствии не предавая. Он никогда не завидовал друзьям, прославившимся исключительно благодаря своему дарованию. "Я, к счастью, принадлежу к тем, кто, видя, что у соседа хороший забор, думает не как бы его спалить, а как усовершенствовать свой собственный..." — ответил Женя, когда я спросил о его отношении к славе Ивана Жданова и Александра Ерёменко, имена которых еще недавно были на "знамени" его поколения и которые так же тихо, каждый по-своему, сошли на обочину с литературно-тусовочной магистрали...» И дальше: «Женя презирал "премиальную" паранойю и *гнушался угождать невзыскательному читателю.* — В эпоху распада стиха, распыления классических традиций Евгений Блажеевский оставался верен духу высокой поэзии, был одним из немногих "хранителей" ее гармонического строя и лада. "Мыслить себя вне традиции — все равно что считать себя не рожденным, а найденным в капусте. Если поэт вне традиции, на нем можно ставить крест", — утверждал Блажеевский в пору разгула бесстыдной и шулерской новизны, нередко оказывавшейся всего лишь замаскированной графоманией...»

Самостоятельный зрелый читательский опыт (предваряющий писательский) и верность традиции родного стихосложения у Блажеевского являются почвой, на которой взросло и окрепло его искусство — ритмического разнообразия, стилевой выдержанности, композиционной тщательности, прописанности деталей, проистекающих из логики поэтического (по аналогии с живописным) повествования.

Мастеров блестящей версификации, отточенного слога ныне избыток. Но испокон веков в искусстве первично «что», а не «как», вернее, без этого «что» «как» — пустое рукоделие... Блажеевскому не только было что сказать — он выразил боль лучшей части поколения 70-х, менее всего приспособленной ко лжи, которой, по точному слову Владимира Соколова, было суждено «*на родине как на чужбине тоской по родине болеть...*»[1], и невозможность для

[1] *Соколов В.Н.* «Тоска по родине», 1971. Ср.:
Из местной жизни,
Чуждой славянину,
Я непременно вырваться хотел.
И променял
Чужбину
На чужбину...
(*Монолог провинциала, 1980*)

русского сердца покинуть страну, где нет свободы, но есть «любовь /.../ хотя бы к этой милой русской речи,/ хотя бы к этой Родине несчастной».

Это написано в 1976 году.

Крах тоталитарной системы неизбежен, но краху Отечества поэт как солдат обязан противостоять. Провожая в 90-е (и раньше) своих друзей в земли обетованные, Блажеевский никуда не уезжает из страны, разделяет с нею ее позор и надежду на воскресение, понимая, что «*уходящему Синай, остающимся Голгофа*» (Борис Чичибабин). И не только констатирует «*невесело в моей больной отчизне*», а вдруг — парадоксально — поет гимн той, оттепельной, а не тюремно-барачной родине, в которой — опять же парадоксально — утверждает иную свободу и иное веселье, в которых хотя бы не было цинизма... Поскольку родина — это мы сами:

Весёлое время!.. Ордынка... Таганка...
Страна отдыхала, как пьяный шахтёр,
И голубь садился на вывеску банка,
И был безмятежен имперский шатёр.
И мир, подустав от всемирных пожарищ,
Смеялся и розы воскресные стриг,
И вместо привычного слова «товарищ»
Тебя окликали: «Здорово, старик!» ...
(«Те дни породили неясную смуту...»)

Поэзия Евгения Блажеевского предельно точно и выпукло фиксирует время. Подобно цветной вклейке[1] на развороте эпохи, живописная панорама его стихотворений наглядно доказывает, что любая идея всегда укоренена в дышащем черноземе жизни, поэтому всегда так органично соседствует акварель его сокровенной лирики с графикой городских зарисовок и путевых пейзажей.

Здесь нету суеты заласканных земель,
Здесь всё наперечёт, здесь «только» или «кроме».
Как исповедь души, вобравшей вешний хмель,
На сотни русских вёрст разбросанные комья

Передо мной лежат в суровой наготе,
Но что-то в них живёт мучительно и свято.
Такая нагота присутствует в Христе,
Распятая земля — воистину распята...
(«Урал»)

Стих Блажеевского в высшей степени концентрирован и ритмически многообразен — от философского венка сонетов («По дороге в Загорск...») до ироничных стилизаций под японские танка и верлибров, пронизанных токами внутренней рифмы и похожих на минироманы («Повесть», «Любовь»):

И ты меня обнимешь на прощанье,
А я увижу рельсы,
По которым
Уедешь ты
Искать и тосковать.
Ох, это будет горькая дорога!..
И где-нибудь,
В каком-нибудь Нью-Йорке
Загнутся рельсы,
Как носы полозьев...

Свободы нет,
Но есть ещё любовь
Хотя бы к этим сумеркам московским,
Хотя бы к этой милой русской речи,
Хотя бы к этой Родине несчастной.
Да, есть любовь —
Последняя любовь.
(«По улице Архипова пройду...»)

В блестящем стихотворении «Первый посетитель» в воображении главного героя разворачивается воспоминание о будущем на грани реального:

Красавица влажно дышала
И думал он, как в дыму,
Что не миновать централа
И Первого марта ему...
Что после,
Под пыльною каской,
Рукой зажимая висок,
Он встретится с пулей китайской
И рухнет лицом на Восток.
Что в спину земная ось ему
Вопьётся,
а вдоль бровей,
Как пьяный — по зимнему озеру,
По глазу пройдёт муравей...

Способность так видеть и запечатлевать в слове вызывает восхищение, а кинематографический эффект произведений Блажеевского, где дальний план вдруг сменяется крупным, яркую вспышку рет-

[1] Последний посмертный сборник стихотворений Евгения Блажеевского снабжен цветными вклейками репродукций его собственных картин.

роспекции фиксирует замедленный кадр («Те дни породили неясную смуту...», «Весна», «Киев», «Тбилиси»), вообще уникален...

Стихи Блажеевского потому и здоровы, что классицистичны. Вырасти из традиции в понимании Блажеевского не означало соответствия метрическим, композиционным и экспрессивно-лексическим рамкам, раз и навсегда заданным русскими поэтами со времен Пушкина, но подразумевало верность высокой планке их культуры и мастерства.

В связи со сказанным позволю себе привести здесь цитату из письма известного христианского мыслителя Сергея Фуделя своему сыну Николаю (в то время филологу-второкурснику). В письме, написанном в 1947 году из политической ссылки при слабом огне керосинки, кратко, наглядно и предельно просто Фудель сформулировал суть и цель подлинного искусства: «...необходимо осознание того, что искусство не есть какое-то жертвоприношение "единственного и его собственности", не есть акт только в художнике совершаемый, а есть нечто совершаемое художником для других и с другими, с читателями, слушателями, зрителями. Художник — это человек, устроивший пир и призывающий на него всех своих друзей, и вот каждый участвующий в пире, хотя он и не устраивал его, соучаствует во всем, он во всем равноправен в этот час со своим хозяином. Читатель, принявший так высокое произведение прозы, становится действительно равноправен художнику. А если только так и можно и нужно принимать искусство, то только такие вещи необходимо принимать, которые будут нужны душе. Если же я по запаху блюд на столе понимаю, что это будет не такой пир, о котором сказано:

"Кончен пир. Умолкли хоры.
Опорожнены амфоры.
На главах венки измяты.
Лишь курились ароматы
В опустевшем тёмном зале..." —

то я предпочитаю черный хлеб своего одиночества и "безыскусственности" скверным консервам в хорошей упаковке и с звучной фирмой изготовителя... В этом и заключается простота в отношении к искусству, отсутствие провинциального подобострастия. Раз я "соучаствую", то я кровно заинтересован в том, чтобы соучаствовать в хорошем...»[1]

Конец XX века, по счастью, оставил нам имена замечательных поэтов, какие-то два десятилетия назад, буквально на расстоянии вытянутой руки к нашей юности, — жили те, кто защищал от распада поэтический бастион эпохи, уже ушедшие и те, кто продолжают этоделать в наши дни (пусть читатель сам назовет дорогие ему имена)... Мы привиты их живой поэзией.

Мне чудится добрая перемена ветра на попутный — к живым источникам поэзии с их свидетельством о Промысле, покаянии и милосердии. Читатель Евгения Блажеевского еще грядет и его ждет радость соучастия в творческом бытии, честно до капли прожитом и столь светло выраженном поэтом:

Хлопают дверьми амбары, клети,
Путь лежит безжалостен и прям.
Но в домах посапывают дети,
Женщины придвинулись к мужьям.
Но, уйдя в скорлупы да в тулупы,
Жизнь течёт в бушующей ночи.
Корабельно подвывают трубы,
Рассекают стужу кирпичи.
И приятно мне сквозь проклятущий,
Бьющий по лицу колючий снег
Видеть этот медленно плывущий
Тёплый человеческий ковчег...

(«Воспоминание о метели»)

[1] Фудель С.И. Собр. соч. в 3 тт. Т. 1. Письма и воспоминания. — М.: Русский путь, 2001.

Ольга Балла

Ничего нельзя исключить

Как выглядит предложенная Игорем Харичевым версия мироустройства глазами физиков, судить не отважусь, но готова поверить, что там все вполне корректно: будучи по исходному образованию физиком, автор, несомненно, говорил об этих материях не на чужом себе языке и уж наверное знал, что и как моделировал. Для гуманитария — да и просто для частного человека, особенно для него! — она открывает возможности головокружительные.

Потому что это именно о возможностях. Об их неисчерпаемости и необозримости. Словом, как раз о том, от чего шалеешь в молодости и к чему к зрелым годам обычно делаешься менее восприимчив. Хотя бы уже из чисто защитных соображений. Чтобы на части не разорвало. И так-то разрывает...

А вот главного героя романа, счастливца, — не разрывает. И не потому, что он как раз дожил до своих средних лет (хотя именно так: дожил и, что называется, состоялся — обзавелся приемлемым социальным статусом, обязанностями, инерциями, рутиной, в меру нелюбимой и в меру незамечаемой женой, в меру отчуждающейся дочерью-подростком... ну, словом, все как у людей). Его целиком, наяву и во плоти, втягивает в иные возможности — о которых он, вообще-то, не так чтобы и задумывался. Притом в осуществившиеся. В другие варианты собственной судьбы и русской истории. С реальными шансами все это прожить, испробовать на ощупь, на вкус, цвет и запах. Посмотреть, что сталось с Советским Союзом, который благополучно пережил 1991 год с сохранением всего мыслимого, вплоть до руководящей роли коммунистической партии (не поверите — герою там понравилось, насовсем бы остался; но об этом позже). Погулять по Москве в той России, где не было победы большевиков в гражданской войне, где даже Великой Отечественной не случилось (там герою понравилось еще больше)...

И, главное, он ничего ради этого не предпринимает — в смысле, намеренно. Он так же изумленно-растерян, находчиво-беспомощен и по большому счету слеп перед своим вариантом мироздания, как мы — перед нашим. Поставлен (кем? почему? почему именно он?.. — не спрашивайте) перед фактом. Втянуло — живи.

В изложении для простеца-гуманитария (каким, собственно, главный герой во всех вариантах своих судеб неизменно и оказывается) устройство мира выглядит так, — втолковывает его будущему страннику по вселенным не кто-нибудь, а профессиональный физик, занимающийся космологией и особенно интересующийся идеей множественности вселенных. «Вселенная может быть не одна... Возьмем любого человека. Когда он что-то делает, например, кушает или ругается с женой, то же самое повторяет множество его двойников, которые кушают или ругаются с женой в невидимых нам параллельных мирах, о которых ничего не знают и не могут знать астрономы. Ну, это как если поставить много зеркал, и человек бесконечно повторялся бы в них.» Ну, разве что «в каждом из миров есть свои особенности». Как не быть, разные же все-таки. Отдельный вопрос — насколько разные? До каких пределов? И есть ли вообще эти пределы?

А вот неизвестно.

Игорь Харичев. Своя вселенная: Роман. — М.: Academia, 2015.

По крайней мере, вскоре адресату этой речи — писателю Василию Петровскому — предстоит убедиться во всем сказанном на собственном опыте. А также и в том, что — как, опять же вскоре, не без изумления констатирует научная мысль — между параллельными мирами есть переходы. Правда, открываются они в непредвиденных местах и во время, не поддающееся никакому расчету. Так же точно и закрываются. В общем, с каждым может случиться.

Шел по переходу в метро — провалился в иную реальность (без усилий и даже без потрясений — просто вдруг, «словно вспышка, явилось ощущение чего-то странного», больше ничего). И оказался в роли собственного двойника. Вернее, на его месте. Вытеснив таким образом того, ничего не подозревающего беднягу, в нашу — покинутую им — реальность. (А вот бы, мечтает читатель, они встретились!.. Нет. В этой версии Мироздания такое не предусмотрено.)

И далее главы романа примутся ветвиться. Скорее, запараллеливаться. Те из глав, номеру которых сопутствует звездочка, станут повествовать о происходящем в той России, что осталась Советским Союзом — и это будет самая долгая и подробная из рассказанных здесь *иноисторий*. Затем, дразня читательское воображение, рядом с первой звездочкой вспыхнет вторая, уводящая нас в Российскую Республику, не знавшую ни победивших большевиков, ни гибели царской семьи, ни Сталина, ни коллективизации, ни террора тридцатых, ни войны сороковых... — в нее Петровский, опять же нежданно, провалится из едва освоенного им СССР.

Правда, эта *иноистория* — из всех предложенных обещавшаяся самой интересной — в романе окажется совсем короткой. Займет всего-то два дня. Герой и сориентироваться толком не успеет: ни почитать здешнюю литературу (порыться в книжных этого Иномосковья!), ни послушать здешнюю музыку (ох, какая, должно быть, другая!), ни походить как следует по не разрушенной тем, другим XX веком Москве, ни хотя бы поездить всласть на ее метро (что автор этих смятенных строк сделал бы, признаться, в первую очередь). Оно, кстати сказать, окажется обескураживающе похожим на то, какое состоялось в нашей реальности, а ведь проекты еще до революции, которой у них там счастливо не случилось, разные были. То же кольцо с радиусами, разве что станций больше. Но те, что совпадают с нашими, почему-то находятся в тех же местах, а то и зовутся так же. Там есть и «Бунинская аллея», и двойница нашей «Театральной» с тем же именем (интересно, как хоть выглядит-то? Нет, мы ни слова об этом не прочитаем. Упустить возможность описать *иноархитектуру* метро — ну как можно?) И точно так же соединяет «Театральную» с «Охотным рядом», — который там, для разнообразия, «Моховая», — длинный (ну, может, чуть менее длинный, чем у нас) переход, откуда Василия Петровского и выбрасывает снова, опять же ни с того ни с сего, в его (нашу) родимую реальность.

А третьей звездочке, увы, не бывать. Этими двумя бесконечное разнообразие мыслимых и немыслимых реальностей в романе исчерпывается.

Интересно, что физически — в смысле действующих там физических законов — параллельные миры идентичны. По крайней мере, те из них, что достались в опыте нашему герою.

Различие между двойниками из разных миров — в деталях, в основном незначительных. Из самого значительного — разве что разница в месте работы, и та не радикальная. Писатель и сотрудник журнала о дизайне в нашей реальности, в сохранившемся СССР, Василий Петровский оказывается секретарем Союза писателей, а в Российской Республике — главным редактором журнала «Модный интерьер»; в одной реальности женатый на Свете и бросивший Наталью, в другой — он женат на Наталье и разведен со Светой, а в третьей — опять-таки оставил Наталью ради Светы, только уже вместе с дочерью (которую в первой реальности родил со Светой). В каждой вселенной поджидают его до мелочей узнаваемые обитатели нашего мира: не только друзья и знакомые, но и Зюганов, и Горбачев, и

Егор Гайдар (этот последний попадает даже в Российскую Республику как глава ее парламента под именем Егора Голикова). В каждой поджидает его верный собеседник, физик Астахов, с которым снова и снова препирается он о параллельности миров — даже теми же словами. Словом, в каждую новую для себя реальность странник по мирам, целиком совпадающий с тамошним собой по личностным чертам, вписывается — с поправкой на некоторую начальную растерянность — легко и без зазоров. И с каждой из своих новообретаемых женщин он зачинает ребенка.

Понимаете, нет давления инаковости. Сопротивления материала. Того, что могло бы быть наиболее плодотворным.

Щедрыми возможностями собственного замысла автор воспользовался совсем немного. Оба варианта альтернативной истории здесь скорее намечены широкими мазками. Больше всего внимания достается личным обстоятельствам героя, не слишком, как мы заметили, отличным от «параллельных». То есть, тому самому, как он «кушает и ругается с женой». Оба показанных нам иномирья оказываются более-менее точной копией нашего. А ведь как можно было бы развернуться, описывая эти миры! — даже если ограничиться по преимуществу бытовыми обстоятельствами: что и как ели да пили (об этом автор пишет много и со вкусом). У этой повседневности могла бы быть совсем другая фактура. Ведь даже в той России-СССР, которая ответвилась от нашей реальности в 1991-м, за истекшие к началу XXI столетия двадцать с лишним лет могло бы накопиться изрядно различий — например, просторечия и идиомы, не знакомые у нас; другая еда, другая мода, другие бытовые предметы... А уж Российская Республика с ее другим XX веком! Да у нее, вне всякого сомнения, была бы прежде всего совершенно другая речь — с другими интонациями, другой лексикой, которую выходец из нашего мира, пожалуй, не всегда бы и понимал! А архитектура не развороченной большевистскими проектами, сохранившейся в прежней целости старой Москвы? Сколько возможностей для описания этого пространства! Автор же находит уместным сказать лишь то, что оно обнаруживало исключительное стилевое единство. (Да не было в Москве никогда — еще до всех разрушений — никакого стилевого единства.) Другая антропология там едва обозначена — у жителей безреволюционной России, по мысли автора, больше самоуважения и достоинства, но это больше заявлено, чем показано. Обитатели выжившего СССР от наших сомирников ничем не отличаются.

И, что характерно, обе показанные нам реальности безоговорочно лучше нашей. Даже советская. Уязвимых точек и теневых сторон ни у одной из них ни Петровский, ни создавший его автор и не предполагают. Мы оказываемся в худшем из миров. А как, интересно, с катастрофическими вариантами развития? Вот уж чего среди возможностей было изрядно. Как вам, например, победа Гитлера во Второй мировой? Ядерная война в результате Карибского кризиса? Распад России на много маленьких государств и гражданская война после 1991-го или 1993-го? Победа ГКЧП и новый террор? Да мало ли.

Метафизика же всего этого дивного многомирья — в отличие от его физики — оставлена столь же непостижимой, как и та, что действует в нашем мире. Видимо, для указания на это и введен в повествование таинственный персонаж, явно мистического порядка, иногда являющийся глубоко неверующему Петровскому как его персональный «ангел-хранитель». По идее, он время от времени открывает Петровскому будущее, но на протяжении всего повествования — хотя один раз ему явился — этого ни разу не сделал. Интересен ангел главным образом своим заключительным разговором с физиком Астаховым об устройстве мира. В котором, по своему обыкновению, не открывает ему ни-че-го.

«— Почему вы не можете сказать мне правду? — воскликнул он (Астахов. — *О.Б.*)

— Что есть правда?

— Ну... как на самом деле все устроено. Есть параллельные вселенные или нет? Василий был там или ему привиделось?

— Ничего нельзя исключать.

— Можно найти Уравнения Мироздания, которые позволят предсказывать и изучать свойства этого и других миров?

— Ничего нельзя исключать.»

Как вы понимаете, это — интуиция исключительно плодотворная. Она позволяет нам отпустить воображение на свободу, всласть странствовать по предполагаемым мирам и надеяться, например, на то, что в какой-нибудь из мыслимых вселенных вот прямо сейчас некий писатель сидит и придумывает нашу жизнь, в реальности и неизменности которой мы так уверены, и пишет ее, и переписывает, и перепишет ее совсем иначе. Вплоть до преодоления, наконец, стесняющих закономерностей пространства и времени. Кто-нибудь доказал, что от выдумывания миров и жизней их свойства не меняются? Кто-нибудь это опроверг?

Ничего нельзя исключать.

Евгений Брейдо

Поэтика ускользающей ясности

Геннадий Кацов вернулся к стихосложению в 2011 году. С 1993 года занимался только журналистикой и эссеистикой.

18 лет молчания — человеческая и поэтическая судьба, удивительная в любую эпоху, увы, не уникальная в наше время рассеяния. Из старших можно вспомнить Алексея Цветкова, из ровесников — Александра Ерёменко, у младших — еще увидим.

Геннадий Кацов был в 1980-х участником литературной группы «Эпсилон Салон» (отцы-основатели — Николай Байтов и Александр Бараш) и директором легендарного московского клуба «Поэзия», откуда вышел и разбежался по свету весь московский underground 70-х—80-х. Но то были стихи молодого человека. Потом — в начале 1989 года — эмиграция, судьба многих в этом поколении.

Эмиграция — всегда драма, только совсем не обязательно — неудача. Расцвет эмигрантской поэзии последних лет говорит сам за себя. Только эмигрантская ли она? Общее пространство интернета, общие сборники, публичные чтения, регулярное общение. Кажется, мы живем в удивительную эпоху, когда эмиграция вполне существует, но литература уже не разделена, слава богу, она — одна. Просто добавились новые темы, новый опыт. Поэзия стала богаче, с прозой сложнее, но это — другой разговор.

Направления и группы в современной русской поэзии давно остались позади, последними были метафористы и концептуалисты 80-х — 90-х. Сейчас есть отдельные поэты, имена, голоса. Поэзии, в сущности, все равно, как устроен литературный процесс. Читателям нужны просто хорошие стихи.

Одно из ярких новых, еще не совсем «забытых старых» имен — Геннадий Кацов. Стихи молодого человека ушли в прошлое, остались в его «московском периоде». Сегодня есть зрелый сложившийся поэт.

И невероятный взрыв — пять книг за без малого четыре года. Две из них вошли в лонг-лист «Русской премии», часть стихов попала в шорт-лист Волошинской премии.

Речь об одной из этих книг — «Три Ц и верлибрарий».

Три «Ц» — три цитаты, «нашей жизни

Геннадий Кацов. «Три Ц и верлибрарий». — Нью-Йорк: Изд-во «КриК», 2015.

скудная основа»: жизнь и смерть, природа, искусство. А о чем еще люди пишут?

И конечно, вечная мистическая тройка. Три разговора, три встречи.

Последняя часть — верлибрарий, специально выделенный участок полной стиховой свободы. Стих ведь обманчив, двойственен, с одной стороны, едва ли ограничен даже силой воображения, с другой — жестко ритмически организован. Верлибр декларирует свободу небывалую, полную, без-размерную.

Композиция книги настолько цельная и прозрачная, что ее вполне можно назвать классической.

Первая «Ц» — цитата из «Макбета»: «И завтра, и завтра, и завтра». Один из самых популярных шекспировских монологов. Эта часть многолюдна. Звучат разные голоса, множество лиц, портретов — людей очень известных, кого-то напоминающих, неизвестных вовсе, но совершенно живых.

И бесконечный, несмолкаемый, нескончаемый разговор о жизни и смерти, культуре, судьбе с самыми разными и неожиданными собеседниками — Энеем, Сенекой, первым американским президентом Джорджем Вашингтоном, Иваном Буниным, тенями правителей, матерью убитого Бориса Немцова, родителями, странно знакомыми актером (Лев Дуров, очевидно) и завсегдатаем кафе (Бродский, без сомнения), друзьями-поэтами и многими другими, всех сразу и не запомнишь, тем более не перечислишь.

А мог бы я прожить иную жизнь?
Конечно, мог, хотя вот этой жалко,
При том, что не понять, куда бежал-то
И что хотел, в конце концов, сложить.
(*А мог бы я прожить иную жизнь?)*

В глазах рабов покорных видишь состраданье,
Покорен и Сенат, покоен римский форум:
Всесильный ученик был послан в наказанье,
Не жить, а умирать стоически с которым.
(На смерть Сенеки)

...И он плывёт, покойник, в эту роль,
Вдоль скал, что берега нагромоздили,
Но, как на кладбище автомобилей,
Безлюдно там и смерть лежит горой.
(Актёр)

На обратном пути ничего необычного нет,
Разве несколько стёршихся в памяти
маленьких станций,
На которых бы можно случайно сойти
и остаться,
Разорвав и развеяв по ветру обратный билет.
На обратном пути ничего необычного нет.
(На обратном пути ничего необычного нет)

Вторая «Ц» — цитата из «Святой Эмили» Гертруды Стайн: «Роза есть роза есть роза».

Это стихи о временах года, времени, природе, причем природе действующей, активной, как обычно бывает в Новом свете, — снеге, ветре, вьюге, дожде. Нельзя сказать, что поэт выбирает какое-то время года, они все ему по-разному дороги:

...как долго ни носи
В себе надежду, что в подлунном мире
Есть времена у года — их четыре,

Поскольку всё в природе говорит,
Что может быть одно, и два, и три,
Покуда грач весенний или стриж
Ещё летит, и виски жжёт внутри.
Покуда, в небо окунув ладони,
Не ощутить, что теплый свет бездонен.
(Времена года: настоящее и будущее)

Сами названия говорят о многом: «Зимняя элегия», «Элегия сумерек», «Стансы к прожитым в августе суткам». Природа сливается с поэзией в трепетной хрупкой гармонии.

Третья «Ц» — цитата из пародии Иосифа Бродского «Два часа в резервуаре»: «Искусство есть искусство есть искусство есть искусство», парафраз к фразе Стайн.

Здесь много стихов о живописи — как бы небольшой, но изысканный, тщательно отобранный музей, о поэзии (о технической стороне дела), о творчестве как таковом.

Всё поцелуй Родена так же длится,
Всё пламенеет Лейтона июнь,
И у помпейцев восковые лица,
И мальчик у Риберы вечно юн.
(Музей метрополии)

Опять четырехстопный ямб,
Хотя престижней амфибрахий:
Когда б не комплексы и страхи
В виду конструкции, друзья б
Гордились метрикой строки,
Ударным слогом, как из пушки...
(Творя творчество)

Но все это на самом деле переплав самых разных материй — и изобразитель-

ного искусства, и философии, и разных жизненных наблюдений — в поэзию. В самых лучших чистейших точнейших традициях ремесла. Стих становится совсем раскованным, словно взлетает, любимые трехсложники и выламывающиеся из них дольники порхают легкими ямбами.

Названия стихотворений полемичны и торчат в разные стороны, собирая под обложкой этой небольшой книжки множество очень разных классических текстов и не всегда названных событий: «Творя творчество», «Триумф разума», «Разговор книгопродавца с читателем», «Сон в летнюю ночь, на День независимости», «Московский дивертисмент», «Памятник рукотворный» и т.д.

Завершающий раздел — «Верлибрарий»— как бы переключает читательское восприятие с мастерской тонко выстроенной ритмики на резкий прозаический синтаксис. Но переключение это лукаво — стих поменялся, при этом остался собой, с тем же переплетением слов сказанных и вроде бы сказанных, сцепленных с другими, не произнесенными вовсе, но незримо присутствующими в тексте.

Поэтика Геннадия Кацова кажется на первый взгляд удивительно ясной, однако стоит чуть вслушаться, как тут же проступают подтексты, интонации, разбросанные тут и там ключики названий. Ясность очень быстро, стремительно ускользает, и ты оказываешься там, где и должен был — в сложном, со всеми предшественниками связанном мире нежданных мостиков и переплетений, ритмов, фоники.

Слышны голоса поэтов — А.Пушкина, Н.Некрасова, О.Мандельштама, Б.Пастернака, И.Бродского, многих современников, которых блестящий стилизатор Кацов показывает безошибочно и со снайперской точностью. Много длинных трехсложных размеров, часто анапестов, переходящих в дольники.

И всюду в тексте скрытые и явные отсылки, напрашивающиеся сопоставления — это стих, воспитанный на русском двадцатом веке. Словно парит над книжкой вечное мандельштамовское: «И снова скальд чужую песню сложит и как свою её произнесёт».

Геннадий Кацов — поэт культуры и природы, философский лирик, одинаково легко перерабатывающий в поэзию глубинное ощущение жизни и очень конктретные знания и принципы философии и естественных наук. Эта линия в поэзии вполне вечна, наверное, ее следует отсчитывать еще от Лукреция с его поэмой «О природе вещей».

Многие мотивы идут от торжественного одического Державина, никак нельзя забыть и Некрасова с его трехсложными размерами в русском стихе, и предтечу акмеизма Иннокентия Аннненского. Анапест и основанный на трехсложниках дольник — любимые размеры Кацова. Среди непосредственных предшественников в поэзии культуры нужно упомянуть и Льва Лосева. Важен в рассматриваемой поэтике Иосиф Бродский, хотя при множестве ритмических и синтаксических перекличек поэтический мир Геннадия Кацова вовсе не напоминает мир И.Б.

Для поэтов этого поколения авангард и модерн начала прошлого века давно стали классикой, причем классикой очень живой, востребованной. В то же время механизм работы со словом, множество подтекстов, приходяшихся на одно сказанное слово, заставляет говорить о выращивании поэтики Кацова из «русской семантической поэтики», как группа исследователей назвала в 70-е годы прошлого века поэтику Мандельштама и Ахматовой, хотя парадигма семантической поэтики, безусловно, гораздо шире и не ограничивается этими двумя поэтами.

Сейчас не время поэтических объединений, групповых манифестов. Из вождей и трибунов вышли просто поэты, планеты.

«У каждой все особое, своё...» Геннадий Кацов создал свою поэтику обманчивой, ускользающей ясности, когда за четкой чистой картинкой тут же палимпсестно проступает другая, только освоишься с ней, как уже видишь третью, и так, кажется, до бесконечности, потому что «слово — это пучок, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку».

В сегодняшней русской поэзии вне направлений в полную силу звучит совершенно отдельный, сильный, самобытный и ни на кого не похожий голос, вобравший в себя поэтическую палитру двадцатого века.

Вспоминая Баруздина...

Рубрику ведет Лев Аннинский

Девяносто лет со дня рождения Сергея Баруздина... Даты жизни начинают отсвечивать трагедией века. Всего месяц отделяет день рождения от того дня — полтора десятилетия спустя — когда Великая Отечественная война обрушивает страну в режим военного времени. Это ситуация начала биографии. Ситуация конца? Не легче... Считанные месяцы — нет, недели — остаются до краха Советского Союза, коему отдана энергия всей жизни... Вот так и уложилась жизнь — все 65 лет — начавшись в призыв...

Повоевать успел... мальчишкой, в сущности. Жизнь отдал работе мирного времени. Литературной работе. Печататься начал в первый послевоенный год — в журнале «Пионер». Окончил Литературный институт. Стал широкочитаемым детским классиком. До последних своих дней редактировал журнал «Дружба народов»...

В этом журнале посчастливилось и мне работать под его началом. Говорю «посчастливилось», потому что лучшего редактора я до того не знал... а после — все другие варианты редакторства неизменно сопоставлял с его стилем. Благотворный, щедрый, нессякаемый строй ценностей, вынашиваемый в уникально-многнонациональной стране. Для меня это великое время, и оно неотделимо от памяти о Сергее Алексеевиче Баруздине. Из всего того, что я мог бы рассказать о его редакторской работе и человеческой позиции, приведу один эпизод... в жанре «Заметок неисторика», так что История пусть проглянет...

Это было уже в самом конце 80-х: Сергей Алексеевич неожиданно предложил мне... съездить с ним в Китай. Идея для того времени достаточно запредельная (лучше сказать: «забугорная»). Я думаю, тут сыграло роль стечение обстоятельств. Баруздин был приглашен поехать вместе с женой, но она почему-то не смогла, и он избрал в спутники меня.

Поездка (пара недель) была по-советски щедра (с выездом к морю) и по-советски же символична (с выступлениями перед слушателями, настроенными неподдельно солидарно). Один эпизод запал в память. Сразу и навсегда.

Выяснилось, что китайцы питают интерес к происхождению и смыслу фамилий. Меня с отцовским станичным псевдонимом раскурочили сразу. Потом пришел черед главного визитера.

— Что значит фамилия «Баруздин»?

Сергей Алексеевич засветился улыбкой:

— Вы, наверное, знаете, что в 1812 году французский император Наполеон наведался в Россию в роли завоевателя.

— Знаем! — подтвердили китайцы.

— Так вот: один из этих пришельцев был в России ранен, по каковой причине не смог вместе со своими убраться восвояси.

— И что же?! — включились китайцы.

— Его приютила русская красавица. Вылечила, поставила на ноги. И вышла за него замуж, положив начало нашему роду. Французское «Баруздэн» (с неподдельной сонорностью) преобразилось в русское, вполне родное «Баруздин».

Господи! Какие следы оставляют войны! Иные шрамы веками кровоточат...

А тут — привет Бонапарту! Пришел — ушел. И оставил такую замечательную фамилию. И незабываемого наследника многонациональной нашей духовности.

Спасибо судьбе, Сергей Алексеевич!

Summary

Poetry

Different poetical worlds crossing in some points of today's life, coinciding and responding to each other by the floods of light or not crossing at all — like parallel universes... This how the poems by Andej KOROVIN, Andrej GRITZMAN, Sergrj SOLOVYEV and Evgenij STEPANOV are sounding in this issue.

Valerij BOCHKOV. Coronation of the Beast

Some time in the future. Our ex-compatriot and now citizen of the USA comes to Russia on some urgent business and finds himself in the epicenter of unexpected events. Coup d'etat has just taken place but it seems unknown who and with what purpose committed it. Who will be ruling the country now? Various quite obscure forces start the fighting. Involved in it on the opposite sides happen to be the protagonist's son and his old friend who turns out to be nearly the main person in the plot. A thriller? A dystopia? A novel as a warning?

Leonid BLYAHER. Transboundary Territory

The author investigates the situation on the Far East where the modernizing efforts of the state come into contradiction with the interests, strategy of surviving and way of life of the local population.

Tamara PIROZKOVA. Ten Private Truths about Catalonia

Sardanes, panalyets, battakudes... What do all these incomprehensible words mean? Tamara Pirozkova who has been living in Catalonia for twenty years now will explain everything and will answer all the questions about Catalans: how do they live, what do they like, what are their national character, habits and customs?..

«There Are No Acts about the Destruction of Babel's Archives...» Interview with the scholar Elena POGORELSKAYA

«Personally for me Babel is a Russian writer. I do not agree that the language is not the determining category for "the nationality" of a literary work. Because the language is not only a means of intercourse but the way of thinking too. And for the author the language he is writing in is also the basis of his artistic system... I think those who like Babel won't argue the definition "a classic of the Russian and world literature"».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

дружбанародов.com

на его странице в Живом журнале

http://drujba-narodov.livejournal.com/

и в Журнальном зале

http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»